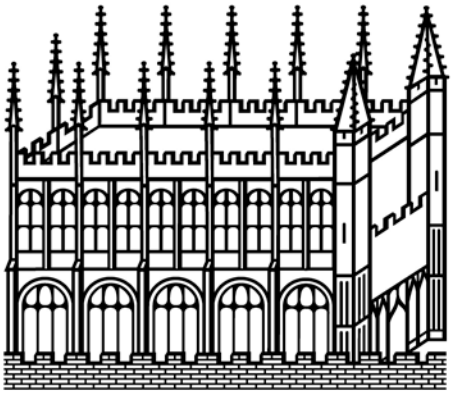

Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

308 D 16 Confined to Library

TAYLOR INSTITUTION
DOMINUS ILLUMINATIO MEA

✓ PROV.

NEVILL FORBES BEQUEST

PG3337. H4. A1. 1875 (9)
= Rep. Slav. 12:1

ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ IX

БЫЛОЕ И ДУМЫ

1850—1864

Томъ второй

Часть пятая

GENÈVE — BALE — LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1879

Tous droits réservés.

LIBRARY OF THE TAYLOR INSTITUTION
UNIVERSITY
25 SEP 1936
OF OXFORD

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА XL.

Европейскій комитетъ.— Русскій генеральный консулъ въ Ниццѣ.— Письмо къ А. Ѳ. Орлову. — Преслѣдованіе ребенка. — Фогты — Перечисленіе изъ надворныхъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне — Пріемъ въ Шателѣ.

(1850—1851)

Съ годъ послѣ нашего пріѣзда въ Ниццу изъ Парижа, я писалъ: „Напрасно радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ у дверей моихъ пентаграммъ, я не нашелъ ни желаннаго мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ — отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакой многоугольникъ, развѣ только квадратъ селюлярной тюрьмы.

„Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станціей 1848 года и станціей 1852 — новаго ничего развѣ какое личное несчастіе доломаетъ грудь, какое-нибудь колесо жизни разсыплется."

Письма изъ Франціи и Италіи (11 іюня 1851).

Дѣйствительно, перебирая то время, ставовится больно, какъ бываетъ при воспоминаніи похоронъ, мучительныхъ болѣзней, операцій. Не касаясь еще здѣсь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темныя тучи, довольно было общихъ происшествій и га-

зетныхъ новостей, чтобъ бѣжать куда нибудь въ степь. Франція неслась съ быстротой падающей звѣзды къ 2 Декабря. Германія лежала у ногъ Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрія. Полицейскіе кондотьеры съѣзжались на свои вселенскіе соборы и тайно совѣщались объ общихъ мѣрахъ международнаго шпіонства. Революціонеры продолжали пустую агитацію. Люди, стоявшіе во главѣ движенія, обманутые въ своихъ надеждахъ, теряли голову. Кошутъ возвращался изъ Америки, утративъ долю своей народности, Мацини заводилъ въ Лондонѣ съ Ледрю-Ролленомъ и Руге *центральный европейскій комитетъ*... а реакція свирѣпѣла больше и больше.

Послѣ нашей встрѣчи въ Женевѣ, потомъ въ Лозаннѣ, я видѣлся съ Мацини въ 1850 году. Онъ былъ во Франціи тайно, остановился въ какомъ-то аристократическомъ домѣ и присылалъ за мной одного изъ своихъ приближенныхъ. Тутъ онъ говорилъ мнѣ о проектѣ международной юнты въ Лондонѣ и спрашивалъ, желалъ ли бы я участвовать въ ней, *какъ русскій*; я отклонилъ разговоръ. Годъ спустя, въ Ниццѣ, явился ко мнѣ Орсини, отдалъ программу, разныя прокламація европейскаго центральнаго комитета и письмо отъ Мацини, съ новымъ предложеніемъ. Участвовать въ комитетѣ я и не думалъ; какой же элементъ русской жизни я могъ представить тогда, совершенно отрѣзанный отъ всего русскаго? Но эта не была единственная причина, по которой европейскій комитетъ мнѣ былъ не по душѣ. Мнѣ казалось, что въ основѣ его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движенія*, которую комитетъ представлялъ, т. е. возстановленіе угнетенныхъ національностей,

не была такъ сильна въ 1851 году, чтобъ имѣть *явно* свою юнту. Существованіе такого комитета доказывало только терпимость англійскаго законодательства и отчасти то, что министерство не вѣрило въ его силу, иначе оно прихлопнуло бы его, или alien билемъ, или предложеніемъ пріостановить habeas corpus.

Европейскій комитетъ, напугавшій всѣ правительства, ничего не дѣлалъ, не догадываясь объ этомъ. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмомъ и увѣряютъ себя, что они дѣлаютъ *что нибудь*, имѣя періодическія собранія, кипы бумагъ, протоколы, совѣщанія, подавая голоса, принимая рѣшенія, печатая прокламаціи, professions de foi и проч. Революціонная бюрократія точно такъ же распускаетъ дѣла въ слова и формы, какъ наша канцелярская. Въ Англіи пропасть разныхъ ассоціацій, имѣющихъ торжественныя собранія, на которыя являются герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначеи собираютъ деньги, литераторы пишутъ статьи, и всѣ вмѣстѣ рѣшительно ничего не дѣлаютъ. Собранія эти, большей частью филантропическія и религіозныя, съ одной стороны служатъ развлеченіемъ, а съ другой примиряютъ христіанскую совѣсть людей, преданныхъ свѣтскимъ интересамъ. Но такого кроткаго и мирнаго характера не могъ представлять въ Лондонѣ революціонный сенатъ en permanence. Это былъ гласный заговоръ, заговоръ съ открытыми дверями, то есть невозможный.

Заговоръ долженъ быть тайной. Время *тайныхъ обществъ* миновало только въ Англіи и Америкѣ. Вездѣ, гдѣ есть меньшинство, предварившее пониманіе массъ и желающее осуществить ими понятую идею,—если нѣтъ ни свободы рѣчи, ни права собранія, — будутъ составляться тайныя общества. Я говорю объ этомъ совер-

шенно объективно; послѣ юношескихъ попытокъ, окончившихся моей ссылкой въ 1835 году, я не участвовалъ *никогда ни въ какомъ тайномъ обществѣ*, но совсѣмъ не потому, что я считаю расточеніе силъ на индивидуальныя попытки за лучшее. Я не участвовалъ потому, что мнѣ не случилось встрѣтить общества, которое соотвѣтствовало бы моимъ стремленіямъ, въ которомъ я могъ бы что нибудь дѣлать. Еслибъ я встрѣтилъ союзъ Пестеля и Рылѣева, разумѣется, я бросился бы въ него головою.

Другая ошибка или другое несчастіе комитета, состояло въ отсутствіи единства. Это собраніе въ одинъ фокусъ разнородныхъ стремленій могло только въ дѣйствительномъ единствѣ развить составную силу. Еслибъ каждый, входя въ комитетъ, вносилъ только свою исключительную національность, это не мѣшало бы еще; у нихъ было бы единство ненависти къ одному главному врагу, къ священному союзу. Но возрѣнія ихъ, согласныя въ двухъ отрицательныхъ принципахъ, въ отрицаніи царской власти и соціализма, въ остальномъ были различны; для ихъ единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляютъ одностороннюю силу каждаго, подвязывая именно тѣ струны для общаго акорда, которыя звучатъ всего рѣзче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонію.

Прочитавъ бумаги, которыя привезъ Орсини, я написалъ къ Маццини слѣдующее письмо:

Ницца, 13 Сентября 1850.

„Любезный Маццини! Я васъ уважаю искренно, и потому не боюсь откровенно высказать вамъ мое мнѣніе. Во всякомъ случаѣ, вы меня выслушаете терпѣливо и снисходительно.

Вы чутъ ли не одинъ изъ главныхъ *политическихъ* дѣятелей послѣдняго времени, имя котораго осталось окружено сочувствіемъ и уваженіемъ. Можно не соглашаться съ вами въ мнѣніяхъ, въ образѣ дѣйствія, но не уважать васъ нельзя. Ваше прошедшее, Римъ 1848 и 1849 годовъ обязываютъ васъ гордо нести великое вдовство, до тѣхъ поръ, пока событія снова позовутъ предупредившаго ихъ бойца. Потому-то мнѣ и больно видѣть имя ваше вмѣстѣ съ именами людей неспособныхъ, испортившихъ все дѣло, съ именами, которыя намъ только напоминаютъ бѣдствія, обрушенныя ими на насъ.

Какая тутъ можетъ быть организація? — это одно смѣшеніе.

Ни вамъ, ни исторіи эти люди не нужны, все, что для нихъ можно сдѣлать—это отпустить имъ ихъ прегрѣшенія. Вы ихъ хотите покрыть вашимъ именемъ, вы хотите раздѣлить съ ними ваше вліяніе, ваше прошедшее; они раздѣлятъ съ вами свою непопулярность, свое прошедшее.

Что *новаго* въ прокламаціяхъ, что въ Proscrit? гдѣ слѣды грозныхъ уроковъ послѣ 24 Февраля? Это продолженіе прежняго либерализма, а не начало новой свободы — это эпилогъ, а не прологъ. Почему нѣтъ въ Лондонѣ той организаціи, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основаніи неопредѣленныхъ стремленій, а только на глубокой и общей мысли;— но гдѣ же она?

Первая публикація, дѣлаемая при такихъ условіяхъ, какъ присланная вами прокламація, должна была быть исполнена искренности, ну а кто же можетъ прочесть безъ улыбки имя Арнольда Руге подъ прокламаціей, говорящей во имя божественнаго провидѣнія. Руге проповѣдывалъ съ 1838 года философскій атеизмъ, для

него (если голова его устроена логически) идея провидѣнія должна представлять въ зародышѣ всѣ реакціи. Это уступка, дипломація, политика, оружія нашихъ враговъ. Къ тому же все это ненужно. Богословская часть прокламаціи — чистая роскошь, она ничего не прибавляетъ ни къ разумѣнію, ни къ популярности. Народъ имѣетъ положительную религію и церковь. Деизмъ, религія раціоналистовъ, представительная система, приложенная къ вѣрѣ, религія, окруженная атеистическими учрежденіями.

Я съ своей стороны проповѣдую полный разрывъ съ неполными революціонерами, отъ нихъ на двѣсти шаговъ вѣетъ реакціей. Нагрузивъ себѣ на плечи тысячи ошибокъ, они ихъ до сихъ поръ оправдываютъ; лучшее доказательство, что они ихъ повторятъ.

Въ Nouveau Monde тотъ же vacuum horrendum, печальное пережевываніе пищи, вмѣстѣ зеленой и сухой, которая все таки не переваривается.

Пожалуста не думайте, что я это говорю для того, чтобъ отклонять отъ дѣла. Нѣтъ, я не сижу сложа руки. У меня еще слишкомъ много крови въ жилахъ и энергіи въ характерѣ, чтобъ удовлетвориться ролью страдательнаго зрителя. Съ тринадцати лѣтъ я служилъ одной идеѣ и былъ подъ однимъ знаменемъ — войны противъ всякой втѣсняемой власти, противъ всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Мнѣ хотѣлось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну — настоящимъ казакомъ..... auf eigene Faust, какъ говорятъ нѣмцы, при большой революціонной арміи—не вступая въ правильные кадры ея, пока они совсѣмъ не преобразуются.

Въ ожиданіи этого — я пишу. Можетъ, это ожиданіе продолжится долго, не отъ меня зависитъ измѣненіе

капризнаго, людскаго развитія; но говорить, обращать, убѣждать зависитъ отъ меня—и я это дѣлаю отъ всей души, и отъ всего помышленія.

Простите мнѣ, любезный Маццини, и откровенность и длину моего письма, и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человѣкомъ, преданнымъ вашему дѣлу, — но тоже преданнымъ и своимъ убѣжденіямъ".

На это письмо Маццини отвѣчалъ нѣсколькими дружескими строками, въ которыхъ, не касаясь сущности, говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ силъ въ одно единое дѣйствіе, грустилъ о разномысліи ихъ и пр.

Въ ту-же осень, въ которую меня вспомнилъ Маццини и европейскій комитетъ, вспомнилъ меня, наконецъ, и противоевропейскій комитетъ Николая Павловича.

Однимъ утромъ горничная наша, съ нѣсколько озабоченнымъ видомъ, сказала мнѣ, что русскій консулъ внизу и спрашиваетъ, могу ли я его принять. Я до того уже считалъ покончеными мои отношенія съ русскимъ правительствомъ, что самъ удивился такой чести и не могъ догадаться, что ему отъ меня надобно.

Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура *втораго* порядка.

— Я имѣю вамъ сдѣлать сообщеніе.

— Не смотря на то, отвѣчалъ я, что я не знаю вовсе какого рода, я почти увѣренъ, что оно будетъ непріятное. Прошу садиться.

Консулъ покраснѣлъ, нѣсколько смѣшался, потомъ сѣлъ на диванъ, вынулъ изъ кармана бумагу, развернулъ и, прочитавши: „Генералъ-адъютантъ, графъ Орловъ сообщилъ графу Несельроде, что Его Им..." — снова всталъ.

Тутъ по счастью я вспомнилъ, что въ Парижѣ, въ нашемъ посольствѣ, объявляя Сазонову приказъ государя возвратиться въ Россію, секретарь всталъ, и Сазоновъ, ничего не подозрѣвая, тоже всталъ, а секретарь это дѣлалъ изъ глубокаго чувства долга, требующаго, чтобъ вѣрноподданный держалъ спину на ногахъ и нѣсколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мѣрѣ того какъ консулъ вставалъ, я глубже и покойнѣе усаживался въ креслахъ, и желая, чтобъ онъ это замѣтилъ, сказалъ ему, кивая головой: „Сдѣлайте одолженіе, я слушаю.“

— „ераторское Величество, продолжалъ онъ, снова садясь, изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чемъ ему объявить, не принимая отъ него никакихъ причинъ, которыя могли бы замедлить его отъѣздъ, и не давая ему ни въ какомъ случаѣ отсрочки.“

Онъ замолчалъ. Я продолжалъ не говорить ни слова.

— Что-же мнѣ отвѣчать? спросилъ, онъ складывая бумагу.

— Что я не поѣду.

— Какъ не поѣдете?

— Такъ-таки, просто не поѣду.

— Вы обдумали-ли, что такой шагъ...

— Обдумалъ.

— Да какъ-же это... Позвольте, что-же я напишу?— по какой причинѣ?..

— Вамъ не велѣно принимать никакихъ причинъ.

— Какъ-же я скажу, вѣдь это ослушаніе воли его Императорскаго Величества?

— Такъ и скажите.

— Это невозможно, я никогда не осмѣлюсь написать это — и онъ еще больше покраснѣлъ. Право, лучше

было бы вамъ измѣнить ваше рѣшеніе, пока все это еще *келейно*. (Консулъ вѣрно думалъ, что Ш отдѣленіе — монастырь).

Какъ я ни человѣколюбивъ, но, для облегченія переписки генеральнаго консула въ Ниццѣ, не хотѣлъ ѣхать въ Петропавловскія кельи отца Леонтія или въ Нерчинскъ, не имѣя даже въ виду Евпаторіи въ легкихъ Николая Павловича.

— Неужели, сказалъ я ему, когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поѣду? Забудьте, что вы консулъ, и разсудите сами. Имѣнье мое секвестровано, капиталъ моей матери былъ задержанъ, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я послѣ этого ѣхать, не сойдя съ ума?

Онъ мялся, постоянно краснѣлъ и, наконецъ, попалъ на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу, сказалъ онъ, вступать. . . я понимаю затруднительное положеніе, съ другой стороны милосердіе! — Я посмотрѣлъ на него, онъ опять покраснѣлъ,—сверхъ того, зачѣмъ же вамъ отрѣзывать себѣ всѣ пути, вы напишите мнѣ, что вы очень больны, я отошлю къ графу.

— Это ужь слишкомъ старо, да и на что же безъ нужды говорить неправду.

— Ну, такъ ужь потрудитесь написать мнѣ письменный отвѣтъ.

— Пожалуй. Вы мнѣ не оставите ли копіи съ бумаги, которую читали?

— У насъ этого не дѣлается.

— Жаль. Я собираю колекцію.

Какъ ни былъ простъ мой посьменный отвѣтъ, консулъ все же перепугался: ему казалось, что его пере-

ведутъ за него, не знаю, куда нибудь въ Бейрутъ или въ Триполи; онъ рѣшительно объявилъ мнѣ, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмѣлится. Какъ я его ни убѣждалъ, что на него не можетъ пасть никакой отвѣтственности, онъ не соглашался и просилъ меня написать другое письмо.

— Это невозможно, возразилъ я ему, я не шучу этимъ шагомъ и вздорныхъ причинъ писать не стану: вотъ вамъ письмо и дѣлайте съ нимъ что хотите.

— Позвольте, говорилъ самый кроткій консулъ изъ всѣхъ бывшихъ послѣ Юнія Брута и Калпурнія Бестіи, вы письмо это напишите не ко мнѣ, а къ графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дѣло не трудное, стоитъ поставить M. le comte, вмѣсто M. le consul; на это я согласенъ.

Переписывая мое письмо, мнѣ пришло въ голову, для чего же это я пишу Орлову по французски. По русски кантонистъ какой нибудь въ его канцеляріи или въ канцеляріи III отдѣленія можетъ его прочесть, его могутъ послать въ сенатъ и молодой оберъ-секретарь покажетъ его писцамъ; зачѣмъ же ихъ лишать этого удовольствія. А потому я перевелъ письмо; вотъ оно:

М. Г.

Графъ Алексѣй Ѳедоровичъ!

Императорскій консулъ въ Ниццѣ сообщилъ мнѣ высочайшую волю о моемъ возвращеніи въ Россію. При всемъ желаніи, я нахожусь въ невозможности исполнить ее, не приведя въ ясность моего положенія.

Прежде всякаго вызова, болѣе года тому назадъ положено было запрещеніе на мое имѣнье, отобраны дѣловыя бумаги, находившіяся въ частныхъ рукахъ, наконецъ, захвачены деньги, 10,000 фр., высланные мнѣ изъ

Москвы. Такія строгія и чрезвычайныя мѣры противъ меня показываютъ, что я не только въ чемъ-то обвиняемъ, но что, прежде всякаго вопроса, всякаго суда признанъ виновнымъ и наказанъ — лишеніемъ части моихъ средствъ.

Я не могу надѣяться, чтобъ одно возвращеніе мое могло меня спасти отъ печальныхъ послѣдствій политическаго процеса. Мнѣ легко объяснить каждое изъ моихъ дѣйствій, но въ процесахъ этого рода судятъ мнѣнія, теоріи; на нихъ основываютъ приговоры. Могу ли я, долженъ ли я подвергать себя и все мое семейство такому процесу...

В. С. оцѣните простоту и откровенность моего отвѣта и повергнете на высочайшее разсмотрѣніе причины, заставляющія меня остаться въ чужихъ краяхъ, не смотря на мое искреннее и глубокое желаніе возвратиться на родину.

Ницца, 23 Сентября 1850.

Я дѣйствительно не знаю, возможно ли было скромнѣе и проще отвѣчать; но у насъ такъ велика привычка къ рабскому молчанію, что и это письмо консулъ въ Ниццѣ счелъ чудовищно-дерзкимъ, да вѣроятно и самъ Орловъ также.

Молчать, не смѣяться, да и не плакать, а отвѣчать по данной формѣ, безъ похвалы и осужденія, безъ веселья, да и безъ печали, это идеалъ, до котораго деспотизмъ хочетъ довести подданныхъ и довелъ солдатъ; но какими средствами? А вотъ я вамъ разскажу.

Николай разъ на смотру, увидавъ молодца флангового солдата съ крестомъ, спросилъ его: „Гдѣ получилъ крестъ?“ По несчастью, солдатъ этотъ былъ изъ какихъ-то изшалившихся семинаристовъ и, желая восполь-

зоваться такимъ случаемъ, чтобъ блеснуть краснорѣчіемъ, отвѣчалъ: „Подъ побѣдоносными орлами Вашего Величества.“ Николай сурово взглянулъ на него, на генерала, надулся и прошелъ. А генералъ, шедшій за нимъ, когда поровнялся съ солдатомъ, блѣдный отъ бѣшенства, поднялъ кулакъ къ его лицу и сказалъ: „Въ гробъ заколочу Демосѳена!

Мудрено ли, что краснорѣчіе не цвѣтетъ при такихъ поощреніяхъ!

Отдѣлавшись отъ императора и консула, мнѣ захотѣлось выйти изъ категоріи безпаспортныхъ.

Будущее было темно, печально... я могъ умереть, и мысль, что тотъ же краснѣющій консулъ явится распоряжаться въ домѣ, захватитъ бумаги, заставляла меня думать о полученіи гдѣ нибудь правъ гражданства. Само собою разумѣется, что я выбралъ Швейцарію, не смотря на то, что именно около этого времени въ Швейцаріи сдѣлали мнѣ полицейскую шалость.

Съ годъ послѣ рожденія моего втораго сына, мы съ ужасомъ замѣтили, что онъ совершенно глухъ. Разные консультаціи и опыты скоро доказали, что возбудить слухъ было невозможно. Но тутъ явился вопросъ, слѣдовало ли его оставить, какъ это всегда дѣлаютъ, нѣмымъ. Школы, которыя я видѣлъ въ Москвѣ, далеко не удовлетворяли меня. Разговоръ пальцами и знаками не есть разговоръ, говорить надобно ртомъ и губами. По книгамъ я зналъ, что въ Германіи и въ Швейцаріи дѣлали опыты учить глухо-нѣмыхъ говорить, какъ мы говоримъ, и слушать, смотря на губы. Въ Берлинѣ я видѣлъ въ первый разъ оральное преподаваніе глухонѣмымъ и слышалъ, какъ они декламировали стихи. Это огромный шагъ впередъ отъ методы Аббата Лепе. Въ Цюрихѣ это ученіе доведено до большаго совер-

шенства. Моя мать, страстно любившая Колю, рѣшилась поселиться съ нимъ на нѣсколько лѣтъ въ Цюрихѣ, чтобы посылать его въ школу.

Ребенокъ этотъ былъ одаренъ необыкновенными способностями: вѣчная тишина вокругъ него, сосредоточивая его живой, порывистый характеръ, славно помогала его развитію и вмѣстѣ съ тѣмъ изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горѣли умомъ и вниманіемъ; пяти лѣтъ онъ умѣлъ дразнить намѣренно-каррикатурно всѣхъ приходившихъ къ намъ, съ такимъ комическимъ тактомъ, что нельзя было не смѣяться.

Въ полгода онъ сдѣлалъ въ школѣ большіе успѣхи. Его голосъ былъ voilé; онъ мало обозначалъ ударенія, но уже говорилъ очень порядочно по нѣмецки, и понималъ все, что ему говорили съ разстановкой; все шло какъ нельзя лучше; проѣзжая черезъ Цюрихъ, я благодарилъ директора и совѣтъ, дѣлалъ имъ разныя любезности, они мнѣ.

Но послѣ моего отъѣзда, старѣйшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русскій графъ, а русскій эмигрантъ и, къ тому же, пріятель съ радикальной партіей, которую они терпѣть не могли, да еще и съ соціалистами, которыхъ они ненавидѣли, и, что хуже всего этого вмѣстѣ, что я человѣкъ не религіозный и открыто признаюсь въ этомъ. Послѣднее они вычитали въ ужасной книжкѣ: Vom andern Ufer, вышедшей, какъ на смѣхъ, у нихъ подъ носомъ, изъ лучшей цюрихской типографіи. Узнавъ это, имъ стало совѣстно, что они даютъ воспитаніе сыну человѣка, не вѣрящаго ни по Лютеру, ни по Лойолѣ, и они принялись искать средствъ, чтобъ сбыть его съ рукъ. Такъ какъ провидѣніе въ этомъ вопросѣ было заинтересовано, то оно имъ тот-

часъ и указало путь. Городская полиція вдругъ потребовала *паспортъ ребенка*; я отвѣчалъ изъ Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля дѣйствительно мой сынъ, что онъ означенъ на моемъ паспортѣ, но что особаго вида я не могу взять изъ русскаго посольства, находясь съ нимъ не въ самыхъ лучшихъ сношеніяхъ. Полиція не удовлетворилась и грозила выслать ребенка изъ школы и изъ города. Я разсказалъ это въ Парижѣ, кто-то изъ моихъ знакомыхъ напечаталъ объ этомъ въ National'ѣ. Устыдившись гласности, полиція сказала, что она не требуетъ высылки, а только какую-то ничтожную сумму денегъ въ обезпеченіе (caution), что ребенокъ не кто нибудь другой, а онъ самъ. Какое же обезпеченіе нѣсколько сотъ франковъ? А съ другой стороны, еслибъ у моей матери и у меня не было ихъ, такъ ребенка выслали бы (я спрашивалъ ихъ объ этомъ черезъ „National“)? И это могло быть въ XIX столѣтіи, въ свободной Швейцаріи! Послѣ случившагося мнѣ было противно оставлять ребенка въ этой ослиной пещерѣ.

Но что же было дѣлать? Лучшій учитель въ заведеніи, молодой человѣкъ, отдавшійся съ увлеченіемъ педагогіи глухонѣмыхъ, человѣкъ съ основательнымъ университескимъ образованіемъ, по счастію не дѣлилъ мнѣній полицейскаго синхедріона и былъ большой почитатель именно той книги, за которую разсвирѣпѣли благочестивые квартальные Цюрихскаго кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти въ домъ моей матери, съ тѣмъ, чтобы ѣхать съ ней въ Италію. Онъ, разумѣется, согласился. Институтъ взбѣсился, но дѣлать было нечего. Мать моя съ Колей и Шпильманомъ отправились въ Ниццу. Передъ отъѣздомъ она послала за своимъ залогомъ, ей его не выдали, подъ предло-

гомъ, что Коля еще въ Швейцаріи. Я написалъ изъ Ниццы. Цюрихская полиція потребовала свѣдѣній: имѣетъ ли Коля законное право жить въ Піэмонтѣ.

Это было уже слишкомъ, и я написалъ слѣдующее письмо къ президенту Цюрихскаго кантона:

„Г. Президентъ!

„Въ 1849 я помѣстилъ моего сына, пяти лѣтъ отъ роду, въ цюрихскій институтъ глухо-нѣмыхъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ цюрихская полиція потребовала у моей матери его паспортъ. Такъ какъ у насъ не спрашиваютъ ни у новорожденныхъ, ни у дѣтей, ходящихъ въ школу, паспортовъ, то сынъ мой и не имѣлъ отдѣльнаго вида, а былъ помѣщенъ на моемъ. Это объясненіе не удовлетворило цюрихскую полицію. Она потребовала залогъ. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшаго на себя столько опасливаго подозрѣнія со стороны цюрихской полиціи, вышлютъ—внесла его.

„Въ Августѣ 1850 г., желая оставить Швейцарію, моя мать потребовала залогъ, но цюрихская полиція его не отдала; она хотѣла прежде узнать о дѣйствительномъ отъѣздѣ ребенка изъ кантона. Пріѣхавъ въ Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, при чемъ она приложила свидѣтельство о томъ, что мы и, главное, шести-лѣтній и подозрительный сынъ мой находимся въ Ниццѣ, а не въ Цюрихѣ. Цюрихская полиція, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другаго свидѣтельства, въ которомъ здѣшняя полиція должна была засвидѣтельствовать: „что сыну моему официально позволяется жить въ Піэмонтѣ“ (que l'enfant est officielement toleré). Г. Шултесъ сообщилъ это г. Авигдору.

„Видя такое эксцентрическое любопытство цюрих-

ской полиціи, я отказался отъ предложенія г. Авигдора послать новое свидѣтельство, которое онъ очень любезно предложилъ мнѣ самъ взять. Я не хотѣлъ доставить этого удовольствія цюрихской полиціи, потому что она, при всей важности своего положенія, все же не имѣетъ права ставить себя полиціей международной, и потому еще, что требованіе ея не только обидно для меня, но и для Піэмонта.

„Сардинское правительство, господинъ Президентъ, правительство образованное и свободное. Какъ же возможно, чтобъ оно не дозволило жить (ne tolerât pas) въ Піэмонтѣ больному ребенку шести лѣтъ? Я дѣйствительно не знаю, какъ мнѣ считать этотъ запросъ цюрихской полиціи: за странную шутку или за слѣдствіе пристрастія къ залогамъ вообще.

„Представляя на ваше разсмотрѣніе, г. Президентъ, это дѣло, я буду васъ просить, какъ особеннаго одолженія, въ случаѣ новаго отказа, объяснить мнѣ это происшествіе, которое слишкомъ любопытно и интересно, чтобъ я считалъ себя въ правѣ скрыть его отъ общаго свѣдѣнія.

„Я снова писалъ къ г. Шултесу о полученіи денегъ и могу васъ смѣло увѣрить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенокъ, не имѣемъ ни малѣшаго желанія, послѣ всѣхъ полицейскихъ непріятностей, возвращаться въ Цюрихъ. Съ этой стороны нѣтъ ни тѣни опасности.“

Ницца, 9 Сентября 1850.

Само собою разумѣется, что послѣ этого полиція города Цюриха, не смотря на вселенскія притязанія, выплатила залогъ.

... Кромѣ Швейцарской натурализаціи, я не принялъ

бы въ Европѣ никакой, ни даже англійской; поступить добровольно въ подданство чье бы то ни было, было мнѣ противно. Не сквернаго барина на хорошаго хотѣлъ перемѣнить я, а выйти изъ крѣпостнаго состоянія въ свободные хлѣбопащцы. Для этого предстояли двѣ страны: Америка и Швейцарія.

Америка — я ее очень уважаю; вѣрю, что она призвана къ великому будущему, знаю, что она теперь вдвое ближе къ Европѣ, чѣмъ была, но американская жизнь мнѣ антипатична. Весьма вѣроятно, что изъ угловатыхъ, грубыхъ, сухихъ элементовъ ея сложится иной бытъ. Америка не приняла осѣдлости, она не достроена, въ ней работники и мастеровые въ будничномъ платьѣ таскаютъ бревна, таскаютъ каменья, пилятъ, рубятъ, приколачиваютъ... Зачѣмъ же постороннему обживать ея сырое зданіе?

Сверхъ того, Америка, какъ сказалъ Гарибальди, „страна забвенія родины;“ пусть же въ нее ѣдутъ тѣ, которые не имѣютъ вѣры въ свое отечество, они должны ѣхать съ своихъ кладбищъ; совсѣмъ напротивъ, по мѣрѣ того, какъ я утрачивалъ всѣ надежды на романо-германскую Европу, вѣра въ Россію снова возрождалась, но думать о возвращеніи при Николаѣ было бы безуміемъ.

И такъ, оставалось вступить въ союзъ съ свободными людьми Гельветической конфедераціи.

Фази, еще въ 1849 году, обѣщалъ меня натурализировать въ Женевѣ, но все оттягивалъ дѣло; можетъ, ему просто не хотѣлось прибавить мною число соціалистовъ въ своемъ кантонѣ. Мнѣ это надоѣло, приходилось переживать черное время, послѣднія стѣны покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до бѣды... Карлъ Фогтъ предложилъ мнѣ списаться о моей

натурализаціи съ Ю. Шаллеромъ, который былъ тогда президентомъ Фрибурскаго кантона и главою тамошней радикальной партіи.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о немъ самомъ.

Въ однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встрѣчаются иногда, какъ бы на выкупъ ей, здоровыя, коренастыя семьи, исполненныя силы, упорства, талантовъ. Одно поколѣніе даровитыхъ людей смѣняется другимъ многочисленнѣйшимъ, сохраняя изъ рода въ родъ дюжесть ума и тѣла. Глядя на какой нибудь невзрачный, старинной архитектуры домъ въ узкомъ, темномъ переулкѣ, трудно представить себѣ, сколько въ продолженіе ста лѣтъ сошло по стоптаннымъ каменнымъ ступенькамъ его лѣстницы молодыхъ парней съ котомкой за плечами, съ всевозможными сувенирами изъ волосъ и сорванныхъ цвѣтовъ въ котомкѣ, благословляемые на путь слезами матери и сестеръ... и пошли въ міръ, оставленные на однѣ свои силы, и сдѣлались извѣстными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домикъ, крытый черепицей, въ ихъ отсутствіе опять наполнялся новымъ поколѣніемъ студентовъ, рвущихся грудью впередъ въ неизвѣстную будущность.

За неимѣніемъ другаго, тутъ есть наслѣдство примѣра, наслѣдство фибрина. Каждый начинаетъ самъ и знаетъ, что придетъ время, и его выпроводитъ старушка бабушка по стоптанной каменной лѣстницѣ, бабушка, принявшая своими руками въ жизнь три поколѣнія, мывшая ихъ въ маленькой ваннѣ и отпускавшая ихъ съ полною надеждой; онъ знаетъ, что гордая старушка увѣрена и въ немъ, увѣрена, что и изъ него выйдетъ что нибудь... и выйдетъ непремѣнно!

Dann und wann, черезъ много лѣтъ, все это разсѣянное населеніе побываетъ въ старомъ домикѣ, всѣ эти состарившіеся оригиналы портретовъ, высящихъ въ маленькой гостинной, гдѣ они представлены въ студенческихъ беретахъ, завернутые въ плащи, съ рембрантовскимъ притязаніемъ со стороны живописца—въ домѣ тогда становится суетливѣе, два поколѣнія знакомятся, сближаются..... и потомъ опять все идетъ на трудъ. Разумѣется, что при этомъ кто нибудь непремѣнно въ кого нибудь хронически влюбленъ, разумѣется, что дѣло не обходится безъ сентиментальности, слезъ, сюрпризовъ и сладкихъ пирожковъ съ вареньемъ, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзіей съ мышцами и силой, которую я рѣдко встрѣчалъ въ выродившихся, рахитическихъ дѣтяхъ аристократіи, и еще менѣе у мѣщанства, строго соразмѣряющаго число дѣтей съ приходо - расходной книгой.

Вотъ къ этимъ-то благословеннымъ семьямъ древнегерманскимъ принадлежитъ родительскій домъ Фогта.

Отецъ Фогта чрезвычайно даровитый професоръ медицины въ Бернѣ; мать—изъ рода Фолленовъ, изъ этой эксцентрической, нѣкогда надѣлавшей большаго шума, швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами *юной* Германіи въ эпоху тугендбундовъ и буршеншафтовъ, Карла Занда и политическаго Schwärmerei 17 и 18 годовъ. Одинъ Фолленъ былъ брошенъ въ тюрьму за Вахтбургскій праздникъ въ память Лютера: онъ произнесъ дѣйствительно зажигательную рѣчь, вслѣдъ за которою сжегъ на кострѣ іезуитскія и реакціонныя книги, всякіе символы самодержавія и папской власти. Студенты мечтали сдѣлать его императоромъ единой и нераздѣльной Германіи. Его внукъ,

Карлъ Фогтъ, въ самомъ дѣлѣ былъ однимъ *изъ викаріевъ имперіи* въ 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь въ жилахъ сына бернскаго професора, внука Фолленовъ. А вѣдь, au bout du compte, все зависитъ отъ химическаго соединенія, да отъ качества элементовъ. Не Карлъ Фогтъ станетъ со мной спорить объ этомъ.

Въ 1851 г. я былъ проѣздомъ въ Бернѣ. Прямо изъ почтовой кареты я отправился къ Фогтову отцу съ письмомъ сына. Онъ былъ въ университетѣ. Меня встрѣтила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла какъ друга своего сына и тотчасъ повела показывать его портретъ. Мужа она не ждала ранѣе 6 часовъ; мнѣ его очень хотѣлось видѣть, я возвратился, но онъ уже уѣхалъ на какую-то консультацію къ больному. Второй разъ старушка встрѣтила меня уже какъ стараго знакомаго и повела въ столовую, желая, чтобъ я выпилъ рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большимъ круглымъ столомъ, неподвижно прикрѣпленнымъ къ полу; объ этомъ столѣ я уже давно слышалъ отъ Фогта, и потому очень радъ былъ лично познакомиться съ нимъ. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофей, вино и все нужное для ѣды, тарелки, горчицу, соль, такъ что, не безпокоя никого и безъ прислуги, каждый привертывалъ къ себѣ что хотѣлъ, ветчину или варенье. Только не надобно было задумываться или много говорить, а то вмѣсто горчицы можно было попасть ложкой въ сахаръ... если кто нибудь повертывалъ дискъ. Въ этомъ населеніи братьевъ и сестеръ, короткихъ знакомыхъ и родныхъ, гдѣ всѣ были заняты розно, срочно, общій обѣдъ вечеромъ было трудно устроить. Кто приходилъ и кому хотѣлось ѣсть,

тотъ садился за столъ, вертѣлъ его на право, вертѣлъ его на лѣво, и управлялся какъ нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другаго.

Остаться у нихъ я не могъ; ко мнѣ вечеромъ хотѣли пріѣхать Фази и Шаллеръ, бывшіе тогда въ Бернѣ; я обѣщалъ, если пробуду еще полъ дня, зайти къ Фогтамъ и, пригласивши меньшаго брата, юриста, къ себѣ ужинать, пошелъ домой. Звать старика такъ поздно и послѣ такого дня, я не счелъ возможнымъ. Но около двѣнадцати часовъ гарсонъ, почтительно отворая двери передъ кѣмъ-то, возвѣстилъ намъ: Der Herr Professor Vogt, — я всталъ изъ за стола и пошелъ къ нему на встрѣчу.

Вошелъ старикъ довольно высокаго роста, съ умнымъ, выразительнымъ лицемъ, превосходно сохранившійся.

— Ваше посѣщеніе, сказалъ я ему, мнѣ вдвойнѣ дорого, я не смѣлъ васъ звать такъ поздно, послѣ вашихъ трудовъ.

— А я не хотѣлъ васъ пропустить черезъ Бернъ, не увидавшись съ вами. Услышавъ, что вы были у насъ два раза и что вы пригласили Густава, я пригласилъ самъ себя. Очень, очень радъ, что вижу васъ, то, что Карлъ о васъ пишетъ, да и безъ комплиментовъ, я хотѣлъ познакомиться съ авторомъ „Съ того берега.“

— Душевно благодарю васъ; вотъ мѣсто, садитесь съ нами, у насъ ужинъ во всемъ разгарѣ, что вамъ угодно?

— Я не буду ѣсть, но рюмку вина выпью съ удовольствіемъ.

Въ его видѣ, словахъ, движеніяхъ было столько непринужденности, вмѣстѣ — не съ тѣмъ добродушіемъ, которое имѣютъ люди вялые, прѣсные и чувствитель-

ные — а именно, съ добродушіемъ людей сильныхъ и увѣренныхъ въ себѣ. Его появленіе нисколько не стѣснило насъ, напротивъ, все пошло живѣе.

Разговоръ переходилъ отъ предмета къ предмету, вездѣ, во всемъ онъ былъ дома, уменъ, evcillé, оригиналенъ. Рѣчь зашла какъ-то о федеральномъ концертѣ, который давался утромъ въ бернскомъ соборѣ, и на которомъ были всѣ, кромѣ Фогта. Концертъ былъ гигантскій, со всей Швейцаріи съѣхались музыканты, пѣвцы и пѣвицы для участія въ немъ. Музыка, разумѣется, была духовная. Съ талантомъ и пониманіемъ исполнили они знаменитое твореніе Гайдена. Публика была внимательна, но холодна, она шла изъ собора, какъ идутъ отъ обѣдни; не знаю, насколько было благочестія, но увлеченія не было. Я тоже испыталъ на самомъ себѣ. Въ припадкѣ откровенности, я сказалъ это знакомымъ, съ которыми выходилъ; по несчастію, это были правовѣрные, ученые, горячіе музыканты, они напали на меня, объявили меня профаномъ, неумѣющимъ слушать музыку глубокую, серьезную. „Вамъ только нравятся мазурки Шопена,“ говорили они. Въ этомъ еще нѣтъ бѣды, думалъ я, но, считая себя все же несостоятельнымъ судьей, замолчалъ.

Надобно имѣть много храбрости, чтобъ признаваться въ такихъ впечатлѣніяхъ, которыя противорѣчатъ общепринятому предразсудку или мнѣнію. Я долго не рѣшался при постороннихъ сказать, что „Освобожденный Іерусалимъ“—скученъ, что „Новую Элоизу“—я не могъ дочитать до конца, что „Германъ и Доротея“— произведеніе мастерское, но утомляющее до противности. Я сказалъ что-то въ этомъ родѣ Фогту, разсказывая ему мое замѣчаніе о концертѣ.

— А что, спросилъ онъ, Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, безъ всякихъ границъ.

— Я зналъ это, потому что я вполнѣ вамъ сочувствую. Какъ же это возможно, чтобъ живой, современный человѣкъ могъ себя такъ искуственно натянуть на религіозное настроеніе, чтобъ наслажденіе его было естественно и полно. Для насъ также нѣтъ піэтистической музыки, какъ нѣтъ духовной литературы, она для насъ имѣетъ смыслъ историческій. У Моцарта, напротивъ, звучитъ намъ знакомая жизнь, онъ поетъ отъ избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда Don-Giovani, когда Nozze di Figaro были новостію, что это былъ за восторгъ, что за откровеніе новаго источника наслажденій! Моцартова музыка сдѣлала эпоху, переворотъ въ умахъ, какъ Гётевъ Фаустъ, какъ 1789 годъ. Мы видѣли въ его произведеніяхъ, какъ свѣтская мысль XVIII-го столѣтія съ своей секуляризаціей жизни вторгалась въ музыку; съ Моцартомъ революція и новый вѣкъ вошли въ искуство. Ну какъ же намъ послѣ Фауста читать Клопштока и безъ вѣры слушать эти литургіи въ музыкѣ?...

Долго и необыкновенно занимательно говорилъ старикъ, онъ одушевился, я налилъ еще раза два вина въ его бокалъ, онъ не отказывался и не торопился пить. Наконецъ, онъ посмотрѣлъ на часы: — „Ба, ужъ два часа, прощайте, мнѣ въ девять надобно быть у больнаго.“

Я съ истинной дружбой проводилъ его.

Два года спустя, онъ доказалъ, какъ много энергіи въ его сѣдой головѣ, и какъ его теоріи—*правда*, т. е. какъ онѣ близки къ практикѣ. Вѣнскій рефюжье, докторъ Кудлихъ посватался за одну изъ дочерей Фогта; отецъ былъ согласенъ, но вдругъ протестантская консисторія потребовала метрическія свидѣтельства жени-

ха. Разумѣется, ему, какъ изгнаннику, ничего нельзя было достать изъ Австріи, и онъ, представилъ приговоръ, по которому былъ осужденъ заочно; одного свидѣтельства Фогта и его дозволенія было бы достаточно для консисторіи, но бернскіе піэтисты, по инстинкту ненавидѣвшіе Фогта и всѣхъ изгнанниковъ, уперлись. Тогда Фогтъ собралъ всѣхъ своихъ друзей, профессоровъ и разныя бернскія знаменитости, разсказалъ имъ дѣло, потомъ позвалъ свою дочь и Кудлиха, взялъ ихъ руки, соединилъ и сказалъ присутствовавшимъ: „Васъ, друзья, беру въ свидѣтели, что я, какъ отецъ, благословляю этотъ бракъ и отдаю мою дочь, по ея желанію за такого-то.“

Поступокъ этотъ ошеломилъ піэтистическое общество въ Швейцаріи; оно съ негодованіемъ и ужасомъ взглянуло на этотъ антецедентъ, сдѣланный не горячимъ юношей, не бездомнымъ изгнанникомъ, а старцемъ безукоризненнымъ и уважаемымъ всѣми.

Теперь отъ отца перейдемте къ его старшему сыну.

Я съ нимъ познакомился въ 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы въ два года нашей жизни въ Ниццѣ. Это не только свѣтлый умъ, но и самый свѣтлый нравъ изъ всѣхъ видѣнныхъ мною. Я счелъ бы его за очень счастливаго человѣка, еслибъ зналъ, что онъ не долго проживетъ; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сихъ поръ, донимая только одними мигренями. Его натура реальная, живая, всему раскрытая — имѣетъ многое, чтобъ наслаждаться, все, чтобъ никогда не скучать, и почти ничего, чтобъ мучиться внутренно, разъѣдать себя недовольной мыслію, страдать теоретически — сомнѣніемъ и практически — тоской по несбывшимся мечтамъ. Страстный поклонникъ красотъ природы, неутомимый работникъ въ нау-

кѣ, онъ все дѣлалъ необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художникъ въ своемъ дѣлѣ, онъ имъ наслаждался; радикалъ — по темпераменту, реалистъ — по организаціи, и гуманный человѣкъ — по ясному и добродушно ироническому взгляду, онъ жилъ именно въ той жизненной средѣ, къ которой единственно идутъ Дантовскія слова; Qui e l'uomo felice.

Онъ прожилъ жизнь дѣятельно и беззаботно, нигдѣ не отставая, вездѣ въ первомъ ряду; не боясь горькихъ истинъ, онъ также пристально всматривался въ людей, какъ въ полипы и медузы, ничего не требуя ни отъ тѣхъ, ни отъ другихъ, кромѣ того, что они могутъ дать. Онъ не поверхностно изучалъ, но не чувствовалъ потребности переходить извѣстную глубину, за которой и оканчивается все свѣтлое, и которая, въ сущности, представляетъ своего рода выходъ изъ дѣйствительности. Его не манило въ тѣ нервные омуты, въ которыхъ люди упиваются страданіями. Простое и ясное отношеніе къ жизни исключало изъ его здороваго взгляда ту поэзію печальныхъ восторговъ и болѣзненнаго юмора, которую мы любимъ, какъ все потрясающее и ѣдкое. Его иронія, какъ я замѣтилъ, была добродушна, его насмѣшка весела; онъ смѣялся первый и отъ души своимъ шуткамъ, которыми отравлялъ чернило и пиво педантовъ-професоровъ и своихъ товарищей по парламенту in der Paul's Kirche.

Въ этомъ жизненномъ реализмѣ было то общее, симпатическое, что насъ связывало; хотя жизнь и развитіе наше были такъ розны, что мы во многомъ расходились.

Во мнѣ не было и не могло быть той спѣтости и того единства, какъ у Фогта. Воспитаніе его шло такъ же правильно, какъ мое безсистемно; ни семейная связь,

ни теоретическій ростъ никогда не обрывались у него, онъ продолжалъ традицію семьи. Отецъ стоялъ возлѣ примѣромъ и помощникомъ; глядя на него, онъ сталъ заниматься естественными науками. У насъ обыкновенно поколѣніе съ поколѣніемъ расчленено; общей, нравственной связи у насъ нѣтъ. Я съ раннихъ лѣтъ долженъ былъ бороться съ воззрѣніемъ всего окружавшаго меня, я дѣлалъ опозицію въ дѣтской, потому что старшіе наши, наши дѣды были не Фоллены, а помѣщики и сенаторы. Выходя изъ нея, я съ той же запальчивостію бросился въ другой бой и только что кончилъ университетскій курсъ, былъ уже въ тюрьмѣ, потомъ въ ссылкѣ. Наука на этомъ переломилась, тутъ представилось иное изученіе, изученіе міра несчастнаго съ одной стороны, грязнаго съ другой.

Наскучивъ этой патологіей, я бросился съ жадностью на философію, отъ которой Фогтъ чувствовалъ непреодолимое отвращеніе. Окончивъ курсъ медицины и получивъ дипломъ доктора, онъ не рѣшился лечить, говоря, что не достаточно вѣритъ въ врачебную кабалистику, и снова весь отдался физіологіи. Трудъ его очень скоро обратилъ на себя вниманіе не только нѣмецкихъ ученыхъ, но и парижской академіи наукъ. Онъ уже былъ професоромъ сравнительной анатоміи въ Гисенѣ, товарищемъ Либиха, (съ которымъ велъ потомъ озлобленную химико-теологическую полемику), когда революціонный шквалъ 1848 года оторвалъ его отъ микроскопа и бросилъ въ франкфуртскій парламентъ.

Разумѣется, что онъ сталъ въ самый радикальный рядъ, говорилъ исполненныя остроты и отваги рѣчи, выводилъ изъ терпѣнія умѣренныхъ прогресистовъ, а иногда и неумѣреннаго короля прусскаго. Вовсе не будучи политическимъ человѣкомъ, онъ по удѣльному

вѣсу сдѣлался однимъ изъ „лидеровъ“ опозиціи, и когда эрцъ-герцогъ Іоаннъ, бывшій какимъ-то викаріемъ имперіи, окончательно сбросилъ съ себя маску добродушія и популярности, заслуженной тѣмъ, что онъ женился когда-то на дочери станціоннаго смотрителя и иногда ходилъ во фракѣ, Фогтъ съ четырьмя товарищами были выбраны на его мѣсто. Тутъ дѣла нѣмецкой революціи пошли быстро подъ гору: правительства достигли цѣли, выиграли нужное время (по совѣту Метерниха) — щадить парламентъ имъ было безполезно. Изгнанный изъ Франкфурта, парламентъ мелькнулъ какой-то тѣнью въ Стутгардтѣ, подъ печальнымъ названіемъ Nach-Parlament, тамъ его реакція и придушила. Оставалось викаріямъ по добру, да по здорову уѣхать отъ вѣрной тюрьмы и каторжной работы... Переѣхавъ швейцарскія горы, Фогтъ стряхнулъ съ себя пыль франкфуртскаго собора и, росписавшись въ книгѣ путешественниковъ „К. Фогтъ — викарій Германской имперіи въ бѣгахъ,“ снова принялся съ той же невозмутимой ясностью, веселымъ расположеніемъ духа и неутомимымъ трудолюбіемъ за естественныя науки. Съ цѣлью изученія морскихъ зоофитовъ онъ поѣхалъ въ Ниццу въ 1850.

Не смотря на то, что мы шли съ разныхъ сторонъ и разными путями, мы встрѣтились на *трезвомъ совершеннолѣтіи въ наукѣ.*

Былъ ли я такъ послѣдователенъ какъ Фогтъ — и *въ жизни*, трезво ли я на нее смотрѣлъ? Теперь мнѣ кажется, что нѣтъ. Да я не знаю, впрочемъ, хорошо ли начинать съ трезвости; она не только *предупреждаетъ* много бѣдствій, но и лучшія минуты жизни. Вопросъ трудный, который, по счастію, для каждаго разрѣшается не разсужденіями и волей, а организаціей и собы-

тіями. Теоретически освобожденный, я не то; что хранилъ разныя непослѣдовательныя вѣрованія, *а они сами остались*; романтизмъ революціи я пережилъ, мистическое вѣрованіе въ прогресъ, въ человѣчество, оставалось дольше другихъ теологическихъ догматовъ; а когда я ихъ пережилъ, у меня еще оставалась религія личностей, вѣра въ двухъ, трехъ, увѣренность въ себя, въ волю человѣческую. Тутъ были, разумѣется, противорѣчія; внутреннія противорѣчія ведутъ къ несчастіямъ, тѣмъ болѣе прискорбнымъ, обиднымъ, что у нихъ впередъ отнято послѣднее человѣческое утѣшеніе, оправданіе себя въ своихъ собственныхъ глазахъ...

Въ Ниццѣ Фогтъ принялся съ необыкновенной ревностью за дѣло... Покойные, теплые заливы Средиземнаго моря представляютъ богатую колыбель всѣмъ frutti di mare, вода просто полна ими. Ночью бразды ихъ фосфорнаго огня тянутся, мерцая за лодкой, тянутся за весломъ, салпы можно брать рукой, всякимъ сосудомъ. Стало быть, въ матеріалѣ не было недостатка Съ ранняго утра сидѣлъ Фогтъ за микроскопомъ, наблюдалъ, рисовалъ, писалъ, читалъ, и часовъ въ пять бросался, иногда со мной, въ море (плавалъ онъ какъ рыба); потомъ онъ приходилъ къ намъ обѣдать и, вѣчно веселый, былъ готовъ на ученый споръ и на всякіе пустяки, пѣлъ за фортепьяно уморительныя пѣсни или разсказывалъ дѣтямъ сказки съ такимъ мастерствомъ, что они, не вставая, слушали его цѣлые часы.

Фогтъ обладаетъ огромнымъ талантомъ преподаванія. Онъ. полушутя, читалъ у насъ нѣсколько лекцій физіологіи для дамъ. Все у него выходило такъ живо, такъ просто и такъ пластически выразительно, что дальній путь, которымъ онъ достигъ этой ясности, не былъ замѣтенъ. Въ этомъ-то и состоитъ вся задача педагогіи

— сдѣлать науку до того понятной и усвоенной, чтобъ заставить ее говорить простымъ, *обыкновеннымъ* языкомъ.

Трудныхъ наукъ нѣтъ, есть только трудныя изложенія, т. е. непереваримыя. Ученый языкъ, языкъ условный, подъ титлами, языкъ стенографированный, временной, пригодный ученикамъ; содержаніе спрятано въ его алгебраическихъ формулахъ для того, чтобъ, раскрывая законъ, не повторять сто разъ одного и того же. Переходя рядомъ схоластическихъ пріемовъ, содержаніе науки обрастаетъ всей этой школьной дрянью,—а доктринеры до того привыкаютъ къ уродливому языку, что другаго не употребляютъ, имъ онъ кажется понятенъ—въ стары годы имъ этотъ языкъ былъ даже дорогъ, какъ трудовая копѣйка, какъ отличіе отъ языка вульгарнаго. По мѣрѣ того, какъ мы изъ учениковъ переходимъ къ дѣйствительному знанію — стропилы и подмостки становятся противны—мы ищемъ простоты. Кто не замѣтилъ, что учащіеся вообще употребляютъ гораздо больше трудныхъ терминовъ, чѣмъ выучившіеся.

Вторая причина темноты въ наукѣ происходитъ отъ недобросовѣстности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отдѣлаться отъ опасныхъ вопросовъ. Наука, имѣющая какую нибудь цѣль, вмѣсто истиннаго знанія—не наука. Она должна имѣть смѣлость прямой, открытой рѣчи. Въ недостаткѣ откровенности, въ робкихъ уступкахъ никто не обвинитъ Фогта. Скорѣе „нѣжныя души“ упрекнутъ его въ томъ, что онъ слишкомъ прямо и слишкомъ просто высказываетъ свою правду, находящуюся въ прямомъ противорѣчіи съ общепринятой ложью. Христіанское воззрѣніе пріучило къ дуализму и идеальнымъ образамъ такъ сильно, что насъ непріятно поражаетъ все естественно здоровое;

нашъ умъ, свихнутый вѣками, гнушается голой красотой, дневнымъ свѣтомъ и требуетъ сумерокъ и покрывала.

Читая Фогта, многимъ обидно, что ему ничего не стоитъ принимать самыя рѣзкія послѣдствія, что ему жертвовать такъ легко, что онъ не дѣлаетъ усилій, не мучится, желая примирить теодицею съ біологіей—ему до первой какъ будто дѣла нѣтъ.

Дѣйствительно, натура Фогта такова, что онъ никогда иначе не думалъ и *не могъ* иначе думать, въ этомъ то и состоитъ его непосредственный реализмъ. Теологическія возраженія могли ему представлять только историческій интересъ; нелѣпость дуализма до того ясна его простому взгляду, что онъ не можетъ вступать въ серьозный споръ съ нимъ, такъ какъ его противники — химическіе богословы и святые отцы физіологіи—въ свою очередь не могутъ серьезно опровергать магію или астрологію. Фогтъ отшучивается отъ ихъ нападокъ—а этого по несчастію мало.

Вздоръ, которымъ ему возражаютъ, вздоръ всемірный и по этому очень важный. Дѣтство человѣческаго мозга таково, что онъ не беретъ простой истины; для сбитыхъ съ толку, разсѣянныхъ, смутныхъ умовъ только то и понятно, чего понять нельзя, что невозможно или нелѣпо.

Тутъ нечего ссылаться на толпу; литература, образованные круги, судебныя мѣста, учебныя заведенія, правительства и революціонеры поддерживаютъ напереперывъ родовое безуміе человѣчества. И какъ семьдесятъ лѣтъ тому назадъ сухой деистъ Робеспьеръ казнилъ Анахарсиса Клоца, такъ какіе нибудь Вагнеры отдали бы сегодня Фогта въ руки палача.

Бой невозможенъ, сила съ ихъ стороны. Противъ

горсти ученыхъ, натуралистовъ, медиковъ, двухъ-трехъ мыслителей, поэтовъ, — весь міръ, отъ Пія IX „съ незапятнаннымъ зачатіемъ“ до Маццини съ „республиканскимъ Iddio;“ отъ московскихъ православныхъ кликушъ славянизма до генералъ-лейтенанта Радовица, который, умирая, завѣщалъ професору физіологіи Вагнеру то, чего еще никому не приходило въ голову завѣщать — *безсмертіе души* и ея защиту; отъ американскихъ заклинателей, вызывающихъ покойниковъ, — до англійскихъ полковниковъ-мисіонеровъ, проповѣдующихъ верхомъ передъ фронтомъ слово божіе индійцамъ. Людямъ свободнымъ остается одно сознаніе своей правоты и надежда на будущія поколѣнія.

... А если докажутъ, что это безуміе, эта религіозная манія — единственное условіе гражданскаго общества, что для того, чтобъ человѣкъ спокойно жилъ возлѣ человѣка, надобно обоихъ свести съ ума и запугать, что эта манія—единственная уловка, въ силу которой творится исторія?

Я помню французскую каррикатуру, сдѣланную когда-то противъ фурьеристовъ, съ ихъ attraction passionnée: на ней представленъ оселъ, у котораго на спинѣ прикрѣпленъ шестъ, а на шестѣ повѣшено сѣно, такъ чтобъ онъ могъ его видѣть. Оселъ, думая достать сѣно, долженъ идти впередъ — двигалось, разумѣется, и сѣно—онъ шелъ за нимъ. Можетъ, доброе животное и прошло бы далѣе такъ, но вѣдь все таки *оно осталось бы въ дуракахъ!*

Перехожу теперь къ тому, какъ одна страна радушно приняла меня въ то самое время, какъ другая безъ всякаго повода вытолкнула.

Шаллеръ обѣщалъ Фогту похлопотать о моей нату-

рализаціи, т. е. найти общину, которая согласилась бы принять меня и потомъ поддержать дѣло въ Большомъ совѣтѣ. Въ Швейцаріи для натурализаціи необходимо, чтобъ предварительно какое нибудь сельское или городское общество было согласно на принятіе новаго согражданина, что совевшенно согласно съ самозаконностью каждаго кантона и каждаго мѣстечка въ свою очередь. Деревенька Шатель, близъ Мора (Муртенъ), соглашалась за небольшой взносъ денегъ въ пользу сельскаго общества принять мою семью въ число своихъ крестьянскихъ семей. Деревенька эта недалеко отъ Муртенскаго озера, возлѣ котораго былъ разбитъ и убитъ Карлъ Смѣлый, несчастная смерть и имя котораго такъ ловко послужили австрійской ценсурѣ (а потомъ и петербургской), для замѣны имени Вильгельма Теля въ Россиніевской оперѣ.

Когда дѣло поступило въ Большой совѣтъ, два іезуитствующіе депутата подняли голосъ противъ меня, но ничего не сдѣлали. Одинъ изъ нихъ говорилъ, что надобно было бы знать, почему я былъ въ ссылкѣ, и чѣмъ навлекъ гнѣвъ Николая. „Да, это само по себѣ рекомендація!“ — отвѣчалъ ему кто-то, и всѣ засмѣялись. Другой, изъ видовъ предупредительной осторожности, требовалъ новыхъ обеспеченій, чтобъ, въ случаѣ моей смерти, воспитаніе и содержаніе моихъ дѣтей не пало на бѣдную комуну. Удовлетворился и этотъ сынъ во Іисусѣ отвѣтомъ Шаллера. Мои права гражданства были признаны огромнымъ большинствомъ, и я сдѣлался изъ русскихъ надворныхъ совѣтниковъ тягловымъ крестьяниномъ сельца Шателя, что подъ Муртеномъ, originaire de Châtel près Morat, какъ росписался фрибургскій писарь на моемъ паспортѣ.

Натурализація нисколько не мѣшаетъ, впрочемъ,

карьерѣ въ Россіи, я имѣю два блестящихъ примѣра передъ глазами: Людовикъ Бонапартъ — гражданинъ Турговіи и Александръ Николаевичъ — бюргеръ Дармштадскій сдѣлались послѣ ихъ натурализаціи императорами. Такъ далеко я и не иду.

Получивъ вѣсть объ утвержденіи моихъ правъ, мнѣ было почти необходимо съѣздить поблагодарить новыхъ согражданъ и познакомиться съ ними. Къ тому же у меня именно въ это время была сильная потребность побыть одному, всмотрѣться въ себя, свѣрить прошлое, разглядѣть что нибудь въ туманѣ будущаго, и я былъ радъ внѣшнему толчку.

Наканунѣ моего отъѣзда изъ Ниццы я получилъ приглашеніе отъ начальника полиціи, de la sicurezza publica. Онъ мнѣ объявилъ приказъ министра внутреннихъ дѣлъ, выѣхать немедленно изъ сардинскихъ владѣній. Эта странная мѣра со стороны ручнаго и уклончиваго сардинскаго правительства удивила меня гораздо больше, чѣмъ высылка изъ Парижа въ 1850. Къ тому же и не было никакого повода.

Говорятъ, будто я обязанъ этимъ усердію двухъ-трехъ вѣрноподданныхъ русскихъ, жившихъ въ Ниццѣ, и въ числѣ ихъ мнѣ пріятно назвать министра юстиціи Панина; онъ не могъ вынести, что человѣкъ, навлекшій на себя высочайшій гнѣвъ Николая Павловича, не только покойно живетъ и даже въ одномъ городѣ съ нимъ, но еще пишетъ статейки, зная, что государь императоръ этого не жалуетъ. Пріѣхавъ въ Туринъ, юстиція, говорятъ, попросилъ, такъ, по доброму знакомству, министра Азеліо выслать меня. Сердце Азеліо чуяло вѣрно, что я въ крутицкихъ казармахъ, учась по итальянски, читалъ его La Disfida di Barletta—романъ „и не классическій и не старинный,“ хотя тоже скучный,

и ничего не сдѣлалъ; а можетъ и потому онъ не рѣшился меня *выслать*, что, прежде такихъ дружескихъ вниманій, надобно было *прислать* посланника, а Николай все еще дулся за мятежныя мысли Карла Альберта.

За то ницкій интендантъ и министры въ Туринѣ воспользовались рекомендаціей при первомъ же случаѣ. Нѣсколько дней до моей высылки, въ Ниццѣ было „народное волненіе," въ которомъ лодочники и лавочники, увлекаемые краснорѣчіемъ банкира Авигдора, протестовали, и притомъ довольно дерзко, говоря о независимости ницскаго графства, о его неотъемлемыхъ правахъ, — противъ уничтоженія свободнаго порта. Общее, легкое таможенное положеніе для всего королевства уменьшало ихъ привилегіи, безъ уваженія „къ независимости ницскаго графства" и къ его правамъ, „начертаннымъ на скрижаляхъ исторіи."

Авигдора, этого Оконеля Пальоне (такъ называется *сухая* рѣка, текущая въ Ниццѣ), посадили въ тюрьму, ночью ходили патрули, и народъ ходилъ, тѣ и другіе пѣли пѣсни и притомъ однѣ и тѣже — вотъ и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой изъ иностранцевъ не участвовалъ въ этомъ семейномъ дѣлѣ тарифовъ и таможенъ. Тѣмъ не менѣе интендантъ указалъ на нѣсколько человѣкъ изъ рефюжье, какъ на зачинщиковъ, и въ томъ числѣ на меня. Министерство, желая показать примѣръ цѣлебной строгости, велѣло меня прогнать вмѣстѣ съ другими.

Я пошелъ къ интенданту (изъ іезуитовъ) и, замѣтивъ ему, что это совершеннѣйшая роскошь высылать человѣка, который самъ ѣдетъ и у котораго визированный пасъ въ карманѣ, спросилъ его въ чемъ дѣло? Онъ увѣрялъ, что самъ такъ же удивленъ, какъ я, что мѣ-

ра взята министромъ внутреннихъ дѣлъ, даже безъ предварительнаго сношенія съ нимъ. При этомъ онъ былъ до того учтивъ, что у меня не осталось никакого сомнѣнія, что все это напакостилъ онъ. Я написалъ разговоръ мой съ нимъ извѣстному депутату опозиціи, Лоренцо Валеріо, и уѣхалъ въ Парижъ.

Валеріо свирѣпо напалъ на министра въ своей интерпеляціи и требовалъ отчета, почему меня выслали. Министръ мялся, отклонялъ всякое вліяніе русской дипломаціи, свалилъ все на доносы интенданта и смиренно заключилъ, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то оно съ удовольствіемъ измѣнитъ свое рѣшеніе.

Опозиція аплодировала. Слѣдственно, de facto запрещеніе было снято, но, не смотря на мое письмо къ министру, онъ мнѣ не отвѣчалъ. Рѣчь Валеріо и отвѣтъ на нее я прочиталъ въ газетахъ, и рѣшился ѣхать просто на просто въ Туринъ, на возвратномъ пути изъ Фрибурга. Чтобъ не имѣть отказа въ визѣ, я поѣхалъ безъ визы; на піэмонтской границѣ со стороны Швейцаріи пассы осматриваютъ безъ свирѣпаго ожесточенія французскихъ жандармовъ. Въ Туринѣ я пошелъ къ министру внутреннихъ дѣлъ: вмѣсто его меня принялъ его товарищъ, завѣдывавшій верховной полиціей, графъ Понсъ де-ла-Мартино, человѣкъ извѣстный въ тѣхъ краяхъ, умный, хитрый и преданный католической партіи.

Пріемъ его меня удивилъ. Онъ мнѣ сказалъ все то, что я ему хотѣлъ сказать; что-то подобное было со мной въ одно изъ свиданій съ Дуббельтомъ, но графъ Понсъ перещеголялъ.

Онъ былъ очень пожилыхъ лѣтъ, болѣзненный, худой, съ отталкивающей наружностію, съ злыми и лука-

выми чертами, съ нѣсколько клерикальнымъ видомъ и жесткими, сѣдыми волосами на головѣ. Прежде чѣмъ я успѣлъ сказать десять словъ о причинѣ, почему я просилъ ауденціи у министра, онъ перебилъ меня словами:

— Да помилуйте, гдѣ же тутъ можетъ быть сомнѣніе... отправляйтесь въ Ниццу, отправляйтесь въ Геную, оставайтесь здѣсь—только безъ малѣйшей rancune, мы очень рады... это все надѣлалъ интендантъ... видите, мы еще ученики, не привыкли къ законности, къ конституціонному порядку. Если бы вы сдѣлали что нибудь противное законамъ, на то есть судъ, вамъ нечего тогда было бы пенять на несправедливость, неправда-ли?

— Совершенно согласенъ съ вами.

— А то *берутъ* мѣры, которыя раздражаютъ. . . заставляютъ кричать—и безъ всякой нужды!

Послѣ этой рѣчи противъ *самого себя*, онъ проворно схватилъ листъ бумаги съ министерскимъ заголовкомъ и написалъ: Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo credera conveniente. Per il ministro S. Martino—12 Luglio 1851. „Вотъ вамъ на всякій случай, впрочемъ, будьте увѣрены, до этой бумаги дѣло не дойдетъ. Я очень, очень радъ, что мы покончили съ вами это дѣло.“

Такъ какъ это значило vulgariter, „ступайте съ богомъ,“ то я и оставилъ моего Понса, улыбаясь впередъ лицу, которое сдѣлаетъ интендантъ въ Ниццѣ; но этого лица богъ мнѣ не привелъ видѣть, его смѣнили.

Но возвращаюсь къ Фрубургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и проѣхавши по знаменитому мосту, какъ всѣ смертные, бывшіе въ Фрибургѣ, мы отправились съ добрымъ старичкомъ, канцлеромъ Фрибургскаго кантона, въ Шатель. Въ Муртенѣ префектъ

полиціи, человѣкъ энергическій и радикальный, просилъ насъ подождать у него, говоря, что староста поручилъ ему предупредить его о нашемъ пріѣздѣ, потому что ему и прочимъ домохозяевамъ было бы очень непріятно, еслибъ я пріѣхалъ невзначай, когда всѣ въ полѣ на работѣ. Погулявши часа два по Мора или Муртену, мы отправились и префектъ съ нами.

Возлѣ дома старосты ждали насъ нѣсколько пожилыхъ крестьянъ и впереди ихъ самъ староста, почтенный, высокаго роста, сѣдой и хотя нѣсколько сгорбившійся, но мускулистый старикъ. Онъ выступилъ впередъ, снялъ шляпу, протянулъ мнѣ широкую, сильную руку и, сказавъ Lieber Mitbürger... произнесъ привѣтственную рѣчь, на такомъ германо-швейцарскомъ нарѣчіи, что я ничего не понялъ. Приблизительно можно было догадаться, что онъ могъ мнѣ сказать, а потому, да еще взявъ въ соображеніе, что если я скрылъ, что не понимаю его, то и онъ скроетъ, что не понимаетъ меня, я смѣло отвѣчалъ на его рѣчь:

„Любезный гражданинъ староста, и любезные шательскіе сограждане! Я прихожу благодарить васъ за то, что вы въ вашей общинѣ дали пріютъ мнѣ и моимъ дѣтямъ и положили предѣлъ моему бездомному скитанію. Я, любезные граждане, не за тѣмъ оставилъ родину, чтобъ искать себѣ другой: я всѣмъ сердцемъ люблю народъ русскій, а Россію оставилъ потому, что не могъ быть нѣмымъ и праздднымъ свидѣтелемъ ея угнетенія; я оставилъ ее послѣ ссылки, преслѣдуемый свирѣпымъ самовластіемъ Николая. Рука его, достававшая меня вездѣ, гдѣ есть король или господинъ, не такъ длинна, чтобъ достать меня въ общинѣ вашей! Я спокойно прихожу подъ защиту и кровъ вашъ, какъ въ гавань, въ которой я всегда могу найти покой. Вы,

граждане Шателя, вы, эти нѣсколько человѣкъ, вы могли, принимая меня въ вашу среду, остановить занесенную руку русскаго императора, вооруженную милліономъ штыковъ. *Вы сильнѣе его!* Но сильны вы только вашими свободными, вѣковыми, республиканскими учрежденіями! Съ гордостью вступаю я въ вашъ союзъ! И да здравствуетъ Гельветическая республика!“

— Den neuen Bürger hoch! Es lebe der neue Bürger? отвѣчали старики и крѣпко жали мою руку; я самъ былъ нѣсколько взволнованъ!

Староста пригласилъ насъ къ себѣ.

Мы вошли и сѣли за длинный столъ на скамьяхъ, на столѣ былъ хлѣбъ и сыръ. Двое крестьянъ втащили страшной величины бутыль, больше тѣхъ классическихъ бутылей, которыя прѣютъ цѣлыя зимы въ старинныхъ нашихъ домахъ, въ углу на лежанкѣ, наполненныя наливками и настойками. Бутыль эта была въ плетеной корзинѣ и наполнена бѣлымъ виномъ. Староста сказалъ намъ, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутыль онъ помнитъ лѣтъ за тридцать, и что вино это употребляется только при чрезвычайныхъ случаяхъ. Всѣ крестьяне сѣли съ нами за столъ, кромѣ двухъ, хлопотавшихъ около каѳедральной бутылки. Они изъ нея наливали вино въ большую кружку, а староста наливалъ изъ кружки въ стаканы; передъ каждымъ крестьяниномъ былъ стаканъ, но мнѣ онъ принесъ нарядный хрустальный кубокъ, причемъ онъ замѣтилъ канцлеру и префекту: „Вы на этотъ разъ извините, почетный-то кубокъ ужъ нынѣче мы подадимъ нашему новому согражданину; съ вами мы свои люди.“

Пока староста наливалъ вино въ стаканы, я замѣтилъ, что одинъ изъ присутствующихъ, одѣтый не со-

всѣмъ по крестьянски, былъ очень безпокоенъ, обтиралъ потъ, краснѣлъ, ему нездоровилось; когда же староста провозгласилъ мой тостъ, онъ съ какой-то отчаянной отвагой вскочилъ и, обращаясь ко мнѣ, началъ рѣчь. „Это, шепнулъ мнѣ на ухо староста съ значительнымъ видомъ, гражданинъ учитель въ нашей школѣ.“ Я всталъ.

Учитель говорилъ не по швейцарски, а по нѣмецки, да и не просто, а по образцамъ изъ нарочито-извѣстныхъ ораторовъ и писателей: онъ помянулъ и о Вильгельмѣ Телѣ и о Карлѣ Смѣломъ (какъ тутъ поступила бы австрійско-александринская театральная ценсура —развѣ назвала бы Вильгельма—Смѣлымъ, а Карла — Телемъ?), и при этомъ не забылъ не столько новое, сколько выразительное сравненіе неволи съ позлащенной клѣткой, изъ которой птица все же рвется; Николаю Павловичу досталось отъ него порядкомъ, онъ его ставилъ рядомъ съ очень облихованными людьми изъ римской исторіи. Я чуть не перервалъ его на этомъ, чтобъ сказать: „Не обижайте покойниковъ!“ но, какъ будто предвидя, что и Николай скоро будетъ въ ихъ числѣ, промолчалъ.

Крестьяне слушали его, вытянувъ загорѣлую, сморщившуюся шею, и прикладывая, въ видѣ глазнаго зонтика, руку къ ушамъ; канцлеръ немного вздремнулъ, и чтобъ скрыть это, первый похвалилъ оратора.

Между тѣмъ староста сидѣлъ не сложа руки, а усердно наливалъ вино, провозглашая, какъ самый привычный къ дѣлу церемоніймейстеръ, тосты. — За конфедерацію! За Фрибургъ и его радикальное правительство! За Президента Шаллера!

„За моихъ любезныхъ согражданъ въ Шателѣ!“ предложилъ я, наконецъ, чувствуя, что вино, не смотря на

слабый вкусъ, далеко не слабо. Всѣ встали... Староста говорилъ; „нѣтъ, нѣтъ, liber Mitbürger, полный кубокъ, какъ мы пили за васъ полный!“ Старички мои расходились, вино подогрѣло ихъ... „Привезите вашихъ дѣтей, говорилъ одинъ, — да, да, подхватили другіе, пусть они посмотрятъ, какъ мы живемъ, мы люди простые, дурному не научимъ, да и мы ихъ посмотримъ.“ — Непремѣнно, отвѣчалъ я, непремѣнно.

Тутъ староста ужъ пошелъ извиняться въ дурномъ пріемѣ, говоря, что во всемъ виноватъ канцлеръ, что ему слѣдовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное, что тогда встрѣтили бы меня и проводили ружейнымъ залпомъ. Я чуть не сказалъ ему à la Louis Philippe. — „Помилуйте... да что же случилось? — Однимъ крестьяниномъ только больше въ Шателѣ?“

Мы разстались большими друзьями. Меня нѣсколько удивило, что я не видѣлъ ни одной женщины, ни старухи, ни дѣвочки, да и ни одного молодаго человѣка. Впрочемъ, это было въ рабочую пору. Замѣчательно и то, что на такомъ рѣдкомъ для нихъ праздникѣ не былъ приглашенъ пасторъ.

Я имъ это поставилъ въ большую заслугу. Пасторъ непремѣнно испортилъ бы все, сказалъ бы глупую проповѣдь, и съ своимъ чиннымъ благочестіемъ похожъ былъ бы на муху въ стаканѣ съ виномъ, которую непремѣнно надобно вынуть, чтобъ пить съ удовольствіемъ.

Наконецъ, мы снова усѣлись въ небольшую коляску, или вѣрнѣе линейку канцлера, завезли префекта въ Мора, и покатились въ Фрибургъ. Небо было покрыто тучами, меня клонилъ сонъ и кружилось въ головѣ. Я усиливался не спать; неужели это ихъ вино? думалъ я

съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ самому себѣ... Канцлеръ лукаво улыбался, а потомъ самъ задремалъ; дождь сталъ накрапывать, я покрылся пальто, сталъ было засыпать... потомъ проснулся отъ прикосновенія холодной воды... дождь лилъ какъ изъ ведра, черныя тучи словно высѣкали огонь изъ скалистыхъ вершинъ, дальніе раскаты грома пересыпались по горамъ. Канцлеръ стоялъ въ сѣняхъ и громко смѣялся, говоря съ хозяиномъ Zöringer Hoff'a.

— Что, спрашивалъ меня хозяинъ, видно наше простое, крестьянское вино не то, что французское?

— Да неужели мы пріѣхали? спрашивалъ я, выходя весь мокрый изъ линейки.

— Это не такъ мудрено, замѣтилъ канцлеръ, а вотъ что мудрено, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слыхали?

— Ничего.

Потомъ я узналъ, что простыя швейцарскія вина, вовсе не крѣпкія на вкусъ, получаютъ съ лѣтами большую силу и особенно дѣйствуютъ на непривычныхъ. Канцлеръ нарочно мнѣ не сказалъ этого. Къ тому же, еслибъ онъ и сказалъ, я не сталъ бы отказываться отъ добродушнаго угощенія крестьянъ, отъ ихъ тостовъ, и еще менѣе не сталъ бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступилъ, доказывается тѣмъ, что черезъ годъ, проѣздомъ изъ Берна въ Женеву, я встрѣтилъ на одной станціи моратскаго префекта: „Знаете ли вы, сказалъ онъ мнѣ, чѣмъ вы заслужили особенную популярность нашихъ шательцевъ?“—Нѣтъ? — „Они до сихъ поръ разсказываютъ съ гордымъ самодовольствіемъ, какъ новый согражданинъ, выпивши ихъ вина, проспалъ грозу и доѣхалъ, не зная какъ, отъ Мора до Фрибурга, подъ проливнымъ дождемъ.“

И такъ, вотъ какимъ образомъ я сдѣлался свободнымъ гражданиномъ Швейцарской конфедераціи и напился пьянъ шательскимъ виномъ!*)

*) Не могу не прибавить, что именно этотъ листъ мнѣ пришлось поправлять въ Фрибургѣ, и въ томъ же Zœringerhof'ѣ. И хозяинъ все тотъ же, съ видомъ дѣйствительнаго хозяина, и столовая, гдѣ я сидѣлъ съ Сазоновымъ въ 1851 году, та же — и комната, въ которой черезъ годъ я писалъ свое завѣщаніе, дѣлая исполнителемъ его Карла Фогта, и этотъ листъ, напомнившій столько подробностей.

Пятьнадцать лѣтъ!

Невольно, безотчетно беретъ страхъ...

14 Октября, 1866.

ГЛАВА XLI.

П. Ж. Прудонъ. — Изданіе la Voix du Peuple. — Переписка.— Значеніе Прудона. — Прибавленіе.

Вслѣдъ за Іюньскими баррикадами, пали и типографскіе станки. Испуганные публицисты пріумолкли. Одинъ старецъ Ламене приподнялся мрачной тѣнью судьи, проклялъ—герцога Альбу Іюньскихъ дней—Кавеньяка и его товарищей, и мрачно сказалъ народу! „А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобы имѣть право на слово!“

Когда первый страхъ осаднаго положенія миновалъ и журналы снова стали оживать, они въ замѣнъ насилія встрѣтили готовый арсеналъ юридическихъ кляузъ и судейскихъ уловокъ. Началась старая травля, par force, радакторовъ, травля, въ которой отличались министры Людвига Филиппа. Уловка ея состоитъ въ уничтоженіи залога рядомъ процесовъ, оканчивающихся всякій разъ тюрьмой и денежной пенею. Пеня берется изъ залога; пока залогъ не дополненъ — нельзя изда-

вать журналъ, какъ онъ пополнится — новый процесъ. Игра эта всегда успѣшна, потому что судебная власть во всѣхъ политическихъ преслѣдованіяхъ дѣйствуетъ за одно съ правительствомъ.

Ледрю-Ролленъ сначала, потомъ полковникъ Фраполи, какъ представитель Маццініевской партіи, заплатили большія деньги, но не спасли „Реформу.“ Всѣ рѣзкіе органы соціализма и республики были убиты этимъ средствомъ. Въ томъ числѣ, и въ самомъ началѣ, Прудоновъ Le Représentant du Peuple, потомъ его же Le Peuple. Прежде чѣмъ оканчивался одинъ процесъ, начинался другой.

Одного изъ редакторовъ, помнится Дюшена, приводили раза три изъ тюрьмы въ асизы по новымъ обвиненіямъ, и всякій разъ снова осуждали на тюрьму и штрафъ. Когда ему въ послѣдній разъ, передъ гибелью журнала, было объявлево рѣшеніе, онъ, обращаясь къ прокурору, сказалъ: L'addition, s'il vous plait! ему въ самомъ дѣлѣ накопилось лѣтъ десять тюрьмы и тысячъ пятьдесятъ штрафу.

Прудонъ былъ подъ судомъ, когда журналъ его остановился послѣ 13 Іюня. Національная гвардія ворвалась въ этотъ день въ его типографію, сломала станки, разбросала буквы, какъ бы подтверждая именемъ вооруженныхъ мѣщанъ, что во Франціи настаетъ періодъ высшаго насилія и полицейскаго самовластія.

Неукротимый гладіаторъ, упрямый безансонскій мужикъ не хотѣлъ положить оружія, и, тотчасъ затѣялъ издавать новый журналъ: La Voix du Peuple. Надобно было достать 24,000 фр. для залога. Е. Жирарденъ былъ не прочь ихъ дать, но Прудону не хотѣдось быть въ зависимости отъ него, и Сазоновъ предложилъ мнѣ внести залогъ.

Я былъ многимъ обязанъ Прудону въ моемъ развитіи и, подумавши нѣсколько, согласился, хотя и зналъ, что залога не на долго станетъ.

Чтеніе Прудона, какъ чтеніе Гегеля, даетъ особый пріемъ, оттачиваетъ оружіе, даетъ не результаты, а средства. Прудонъ по преимуществу діалектикъ, контроверзистъ соціальныхъ вопросовъ. Французы въ немъ ищутъ экспериментализта, и, не находя ни смѣты фаланстера, ни икарійской управы благочинія, пожимаютъ плечами и кладутъ книгу въ сторону.

Прудонъ, конечно, виноватъ, поставивъ въ своихъ „Противорѣчіяхъ“ эпиграфомъ: destruo et edificabo; сила его не въ созданіи, а въ критикѣ существующаго. Но эту ошибку дѣлали съ поконъ вѣка всѣ ломавшіе старое; человѣку одно разрушеніе противно; когда онъ принимается ломать, какой нибудъ идеалъ будущей постройки невольно бродитъ въ его головѣ, хотя иной разъ это пѣсня каменщика, разбирающаго стѣну.

Въ большей части соціальныхъ сочиненій важны не идеалы, которые почти всегда или недосягаемы въ настоящемъ, или сводятся на какое нибудь одностороннее рѣшеніе, а то, что, достигая до нихъ, становится *вопросомъ*. Соціализмъ касается не только того, что было рѣшено прежнимъ эмпирически-религіознымъ бытомъ, но и того, что прошло черезъ сознаніе односторонней науки; не только до юридическихъ выводовъ, основанныхъ на традиціонномъ законодательствѣ, но и до выводовъ политической экономіи. Онъ встрѣчается съ раціональнымъ бытомъ эпохи гарантій и мѣщанскаго экономическаго устройства, какъ съ своей непосредственностью, точно такъ, какъ политическая экономія относилась къ теоретически-феодальноиу государству.

Въ этомъ отрицаніи, въ этомъ улетучиваніи стараго

общественнаго быта страшная сила Прудона; онъ такой же поэтъ діалектики, какъ Гегель—съ той разницей, что одинъ держится на покойной выси научнаго движенія, а другой втолкнутъ въ сумятицу народныхъ волненій, въ рукопашный бой партій.

Прудономъ начинается новый рядъ французскихъ мыслителей. Его сочиненія составляютъ переворотъ не только въ исторіи соціализма, но и въ исторіи французской логики. Въ діалектической дюжести своей онъ сильнѣе и свободнѣе самыхъ талантливыхъ французовъ. Люди чистые и умные, какъ Пьеръ Леру и Консидеранъ, не понимаютъ ни его точки отправленія, ни его метода. Они привыкли играть впередъ подтасованными идеями, ходить въ извѣстномъ нарядѣ, по торной дорогѣ къ знакомымъ мѣстамъ. Прудонъ часто ломится цѣликомъ, не боясь помять чего нибудь по пути, не жалѣя ни раздавить что попадется, ни зайти слишкомъ далеко. У него нѣтъ ни той чувствительности, ни того риторическаго, революціоннаго цѣломудрія, которое у французовъ замѣняетъ протестанскій піэтизмъ... Отъ того онъ и остается одинокимъ между своими, болѣе пугая, чѣмъ убѣждая своей силой.

Говорятъ, что у Прудона германскій умъ. Это не правда, напротивъ, его умъ совершенно французскій; въ немъ тотъ родоначальный галло-франкскій геній, который является въ Рабле, въ Монтенѣ, въ Вольтерѣ и Дидро... даже въ Паскалѣ. Онъ только усвоилъ себѣ діалектическій методъ Гегеля, какъ усвоилъ себѣ и всѣ пріемы католической контроверзы; но ни Гегелева философія, ни католическое богословіе не дали ему ни содержанія, ни характера—для него это орудія, которыми онъ пытаетъ свой предметъ, и орудія эти онъ такъ приладилъ и обтесалъ по своему, какъ приладилъ

французскій языкъ къ своей сильной и энергической мысли. Такіе люди слишкомъ твердо стоятъ на своихъ ногахъ, чтобы чему нибудь покориться, чтобы дать себя заарканить.

„Мнѣ очень нравится ваша система," сказалъ Прудону одинъ англійскій туристъ.

— Да у меня нѣтъ никакой системы, отвѣчалъ съ неудовольствіемъ Прудонъ, и былъ правъ.

Это-то именно и сбиваетъ его соотечественниковъ, привыкшихъ къ нравоученіямъ на концѣ басни, къ систематическимъ формуламъ, оглавленіямъ, къ отвлеченнымъ обязательнымъ рецептамъ.

Прудонъ сидитъ у кровати больнаго, и говоритъ, что онъ очень плохъ потому и потому. Умирающему не поможешь, строя идеальную теорію о томъ, какъ онъ могъ бы быть здоровъ, не будь онъ болѣнъ, или предлагая ему лекарства, превосходныя сами по себѣ, но которыхъ онъ принять не можетъ, или которыхъ совсѣмъ нѣтъ на лицо.

Наружные признаки и явленія финансоваго міра служатъ для него, такъ какъ зубы животныхъ служили для Кювье, лѣстницей, по которой онъ спускается въ тайники общественной жизни: онъ по нимъ изучаетъ силы, влекущія больное тѣло къ разложенію. Если онъ послѣ каждаго наблюденія провозглашаетъ новую побѣду смерти, развѣ это его вина? Тутъ нѣтъ родныхъ, которыхъ страшно испугать, мы сами умираемъ этой смертью. Толпа съ негодованіемъ кричитъ: „лекарства! лекарства! или молчи о болѣзни!" Да зачѣмъ же молчать? Только въ самовластныхъ правленіяхъ запрещаютъ говорить о неурожаяхъ, заразахъ и о числѣ побитыхъ на войнѣ. Лекарство, видно, не легко находится; мало ли какіе опыты дѣлали во Франціи со времени

неумѣренныхъ кровопусканій 1793: ее лечили побѣдами и усиленными моціонами, заставляя ходить въ Египетъ, въ Россію, ее лечили парламентаризмомъ и ажіотажемъ, маленькой республикой и маленькимъ Наполеономъ — что же, лучше что ли стало? Самъ Прудонъ попробовалъ было разъ свою патологію и срѣзался *на Народномъ банкѣ*—не смотря на то, что, сама по себѣ взятая, идея его вѣрна. По несчастію, онъ въ заговориваніе не вѣритъ, а то и онъ причитывалъ бы ко всему: „Союзъ народовъ! Союзъ народовъ! Всеобщая республика! Всемірное братство! grande armée de la démocratie! Онъ не употребляетъ этихъ фразъ, не щадитъ революціонныхъ старовѣровъ, и за то французы его считаютъ эгоистомъ, индивидуалистомъ, чуть не ренегатомъ и измѣнникомъ.

Я помню сочиненія Прудона, отъ его разсужденія „о Собственности“ до „Биржеваго руководства“; многое измѣнилось въ его мысляхъ — еще бы прожить такую эпоху, какъ наша, и свистать тотъ же дуэтъ a moll'ной, какъ Платонъ Михайловичъ въ „Горе отъ ума.“ Въ этихъ перемѣнахъ именно и бросается въ глаза внутреннее единство, связующее ихъ отъ диссертаціи, написанной на школьную задачу безансонской академіи, до недавно вышедшаго carmen horrendum биржеваго распуства, тотъ же порядокъ мыслей, развиваясь, видоизмѣняясь, отражая событія, идетъ и черезъ „Противорѣчія“ политической экономіи и черезъ его „Исповѣдь,“ и черезъ его „журналъ.“

Косность мысли принадлежитъ религіи и доктринаризму; они предполагаютъ упорную ограниченность, оконченную замкнутость, живущую особнякомъ или въ своемъ тѣсномъ кругѣ, отвергающемъ все, что жизнь вноситъ новаго... или, по крайней мѣрѣ, не заботясь о

томъ. Реальная истина должна находиться подъ вліяніемъ событій, отражать ихъ, оставаясь вѣрною себѣ, иначе она не была бы *живой истиной,* а истиной вѣчной, успокоившейся отъ треволненія міра сего — въ мертвой тишинѣ святого застоя.*)

Гдѣ и въ какомъ случаѣ, случалось мнѣ спрашивать, Прудонъ измѣнилъ органическимъ основамъ своего воззрѣнія? Мнѣ всякій разъ отвѣчали его политическими ошибками, его промахами въ революціонной дипломаціи. За политическія ошибки, онъ, какъ журналистъ, конечно, повиненъ отвѣтомъ, но и тутъ онъ виноватъ не передъ собой; напротивъ, часть его ошибокъ происходила отъ того, что онъ вѣрилъ своимъ началамъ больше, чѣмъ партіи, къ которой онъ, по неволѣ, принадлежалъ, и съ которой онъ не имѣлъ ничего общаго, а былъ собственно соединенъ только ненавистью къ общему врагу.

Политическая дѣятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую онъ облекалъ во всѣ доспѣхи своей діалектики. Совсѣмъ напротивъ, вездѣ ясно видно, что политика, въ смыслѣ стараго либерализма и конституціонной республики, стоитъ у него на второмъ планѣ, какъ что-то полупрошедшее, уходящее. Въ политическихъ вопросахъ онъ равнодушенъ, готовъ дѣлать уступки, потому что не приписываетъ особой важности формамъ, которыя, по его мнѣнію, не существенны. Въ подобномъ отношеніи къ религіозному вопросу стоятъ всѣ, оставившіе христіанскую точку зрѣнія. Я могу признавать, что конституціонная религія протестантизма нѣсколько посвободнѣе католиче-

*) Въ новомъ сочиненіи Стюарта Миля on Liberty, онъ приводитъ превосходное выраженіе объ этихъ разъ навсегда рѣшенныхъ истинахъ: „the deap slumber of a decided opinion.“

скаго самодержавія, но принимать къ сердцу вопросъ объ исповѣданіи и церкви не могу; я вслѣдствіе этого надѣлаю, вѣроятно, ошибокъ и уступокъ, которыхъ избѣжитъ всякій, самый пошлый бакалавръ богословія или приходскій попъ.

Безъ сомнѣнія, не мѣсто было Прудона въ Народномъ собраніи, такъ какъ оно было составлено, и личность его терялась въ этомъ мѣщанскомъ вертепѣ. Прудонъ въ своей „Исповѣди революціонера“ говоритъ, что онъ не умѣлъ найтиться въ Собраніи. Да что же могъ тамъ дѣлать человѣкъ, который Марастовой конституціи, этому кислому плоду семимѣсячной работы семисотъ головъ, сказалъ: „Я подаю голосъ противъ вашей конституціи, не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституція.“

Парламентская чернь отвѣчала на одну изъ его рѣчей: „Рѣчь въ Монитеръ, оратора въ сумасшедшій домъ!“ Я не думаю, чтобъ въ людской памяти было много подобныхъ парламенскихъ анекдотовъ, съ тѣхъ поръ, какъ александрійскій архіерей возилъ съ собой на вселенскіе соборы какихъ-то послушниковъ, вооруженныхъ во имя Богородицы дубинами, и до вашингтонскихъ сенаторовъ, доказывающихъ другъ другу палкой пользу рабства.

Но даже и тутъ Прудону удавалось становиться во весь ростъ и оставлять середь перебранокъ яркій слѣдъ.

Тьеръ, отвергая финансовый проэктъ Прудона, сдѣлалъ какой-то намекъ о нравственномъ растлѣніи людей, распространяющихъ такія ученія. Прудонъ взошелъ на трибуну и, съ своимъ грознымъ и сутуловатымъ видомъ коренастаго жителя полей, сказалъ улыбающемуся старичишкѣ: „Говорите о финансахъ, но не говорите о нравственности, я могу принять это за ли-

чность, я вамъ уже сказалъ это въ комитетѣ. Если же вы будете продолжать, я — я не вызову васъ на дуель (Тьеръ улыбнулся). Нѣтъ, мнѣ мало вашей смерти, этимъ ничего не докажешь. Я предложу вамъ другой бой. Здѣсь, съ этой трибуны, я разскажу всю мою жизнь, фактъ за фактомъ, каждый можетъ мнѣ напомнить, если я что нибудь забуду или пропущу. И потомъ пусть разскажетъ свою жизнь мой противникъ!“ Глаза всѣхъ обратились на Тьера: онъ сидѣлъ нахмуренный и улыбки совсѣмъ не было, да и отвѣта тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудонъ, глядя съ презрѣніемъ на защитниковъ религіи и семьи, сошелъ съ трибуны. Вотъ гдѣ его сила, — въ этихъ словахъ рѣзко слышится языкъ новаго міра, идущаго съ своимъ судомъ и со своими казнями.

Съ Февральской революціи Прудонъ предсказывалъ то, къ чему Франція пришла; на тысячу ладовъ повторялъ онъ: берегитесь, не шутите, „это не Катилина у воротъ вашихъ, а смерть.“ Французы пожимали плечами. Обнаженныхъ челюстей, косы, клепсидры—всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это „минутное затмѣніе, послѣобѣденный сонъ великаго народа!“ Наконецъ разглядѣли многіе, что дѣло плохо. Прудонъ унывалъ менѣе другихъ, пугался менѣе, потому что предвидѣлъ; тогда его обвинили не только въ безчувственности, но и въ томъ, что онъ накликалъ бѣду. Говорятъ, что китайскій императоръ таскаетъ ежегодно за хохолъ придворнаго звѣздочета, когда тотъ ему докладываетъ, что дни начинаютъ убывать.

Геній Прудона дѣйствительно антипатиченъ французскимъ риторамъ, его языкъ оскорбляетъ ихъ. Революція развила свой пуратанизмъ, узкій, лишенный вся-

кой терпимости, свои обязательные обороты, и патріоты отвергаютъ написанное не по формѣ, точно такъ. какъ русскіе судьи. Ихъ критика останавливается передъ ихъ символическими книгами, въ родѣ „Contrat Social," „Объявленія правъ человѣка." Люди вѣры — они ненавидятъ анализъ и сомнѣнія; люди заговоровъ —они все дѣлаютъ сообща и изъ всего дѣлаютъ интересъ партіи. Независимый умъ имъ ненавистенъ, какъ мятежникъ, они даже въ прошедшемъ не любятъ самобытныхъ мыслей. Луи-Бланъ почти досадуетъ на эксцентрическій геній Монтеня.*) На этомъ гальскомъ чувствѣ, стремящемся снять личность стадомъ, основано ихъ пристрастіе къ *приравниванію*, къ единству военнаго строя, къ централизаціи, т. е. къ деспотизму.

Кощунство француза и рѣзкость сужденій больше шалость, баловство, удовольствіе подразнить, чѣмъ потребность разбора, чѣмъ сосущій душу скептицизмъ. У него бездна маленькихъ предразсудковъ, крошечныхъ религій—за нихъ онъ стоитъ съ запальчивостію Донъ-Кихота, съ упрямствомъ раскольника. Оттого-то они и не могутъ простить ни Монтеню, ни Прудону ихъ *вольнодумство и непочтительность* къ общепринятымъ кумирамъ. Они, какъ петербургская цензура, позволяютъ шутить надъ титулярнымъ совѣтникомъ, но тайнаго не тронь. Въ 1850 г. Е. Жирарденъ напечаталъ въ „Presse'ѣ" смѣлую и новую мысль, что основы права не вѣчны, а идутъ, измѣняясь съ историческимъ развитіемъ. Что за шумъ возбудила эта статья—брань, крикъ, обвиненія въ безнравственности продолжались, съ легкой руки „Gazette de France," мѣсяцы.

Участвовать въ возстановленіи такого органа, какъ

*) «Historie de la Révolution Francaise.»

„Peuple,“ стоило пожертвованій, я написалъ Сазонову и Хоецкому, что готовъ внести залогъ.

До того времени мои сношенія съ Прудономъ были ничтожны; я встрѣчалъ его раза два у Бакунина, съ которымъ онъ былъ очень близокъ. Бакунинъ жилъ тогда съ А. Рейхелемъ въ чрезвычайно скромной квартирѣ за Сеной, въ rue de Bourgogne. Прудонъ часто приходилъ туда слушать Рейхелева Бетховена и Бакунинскаго Гегеля,—философскіе споры длились дольше симфоній. Они напоминали знаменитыя всенощныя бдѣнія Бакунина съ Хомяковымъ у Чаадаева, у Елагиной, о томъ же Гегелѣ. Въ 1847 году Карлъ Фогтъ, жившій тоже въ rue de Bourgogne и тоже часто посѣщавшій Рейхеля и Бакунина, наскучивъ какъ-то вечеромъ слушать безконечные толки о феноменологіи, отправился спать. На другой день утромъ онъ зашелъ за Рейхелемъ, имъ обоимъ надобно было идти къ Jardin des Plantes; его удивилъ, не смотря на ранній часъ, разговоръ въ кабинетѣ Бакунина; онъ пріотворилъ дверь—Прудонъ и Бакунинъ сидѣли на тѣхъ же мѣстахъ, передъ потухшимъ каминомъ, и оканчивали въ краткихъ словахъ начатый вчера споръ.

Боясь сначала смиренной роли нашихъ соотечественниковъ и патронажа великихъ людей, я не старался сближаться даже съ самимъ Прудономъ, и, кажется, былъ не совершенно неправъ. Письмо Прудона ко мнѣ, въ отвѣтъ на мое, было учтиво, но холодно и съ нѣкоторой сдержанностью.

Мнѣ хотѣлось съ самаго начала показать ему, что онъ не имѣетъ дѣла: ни съ сумасшедшимъ prince russe, который изъ революціоннаго дилетантизма, а вдвое того изъ хвастовства дастъ деньги, ни съ правовѣрнымъ поклонникомъ французскихъ публицистовъ, глубоко бла-

годарнымъ за то, что у него берутъ 24,000 франковъ. ни, наконецъ, съ какимъ нибудь тупоумнымъ bailleur de fonds, который соображаетъ, что внести залогъ за такой журналъ, какъ „Voix du Peuple," *серьезное* помѣщеніе денегъ. Мнѣ хотѣлось показать ему, что я очень знаю, *что дѣлаю*, что имѣю свою положительную цѣль, а потому хочу имѣть положительное вліяніе на журналъ; принявши безусловно все то, что онъ писалъ о деньгахъ, я требовалъ, во первыхъ, права помѣщать статьи свои и не свои, во вторыхъ, права завѣдывать всею иностранною частью, рекомендовать редакторовъ для нея, кореспондентовъ и пр., требовать для послѣднихъ плату за помѣщенныя статьи; это можетъ показаться страннымъ, но я могу увѣритъ, что „National" и „Reforme" открыли бы огромные глаза, еслибъ кто нибудь изъ иностранцевъ смѣлъ спросить денегъ за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помѣшательство, какъ будто иностранцу впдѣть себя въ печати въ *парижскомъ* журналѣ не есть:

Lohn der reichlich lohnet.

Прудонъ согласился на мои требованія, но все же они покоробили его. Вотъ что онъ писалъ мнѣ 29 Августа 1849 года, въ Женеву: „И такъ дѣло рѣшено: подъ моей общей дирекціей вы имѣете участіе въ изданіи журнала, ваши статьи должны быть принимаемы *безъ всякаго контроля*, кромѣ того, къ которому редакцію обязываетъ уваженіе *къ своимъ мнѣніямъ* и страхъ судебной отвѣтственности. Согласные въ идеяхъ, мы можемъ только расходиться въ выводахъ, что же касается до обсуживанія заграничныхъ событій, мы ихъ совсѣмъ предоставляемъ вамъ. Вы и мы мисіонеры одной мысли. Вы увидите нашъ путь по общей полемикѣ,

и вамъ надобно будетъ держаться его; я увѣренъ, что мнѣ никогда не придется *поправлять ваши мнѣнія;* я это счелъ бы величайшимъ несчастіемъ, скажу откровенно, весь успѣхъ журнала зависитъ отъ нашего согласія. Надобно вопросъ демократическій и соціальный поднять на высоту предпріятія европейской лиги. *Предположить,* что мы не будемъ согласны другъ съ другомъ, значитъ предположить, что у насъ недостаетъ необходимыхъ условій для изданія журнала, и *что намъ было бы лучше молчать.*" На эту строгую депешу я отвѣчалъ высылкою 24,000 фр. и длиннымъ письмомъ совершенно дружескимъ, но твердымъ; я говорилъ на сколько я теоретически согласенъ съ нимъ, прибавивъ, что я, какъ настоящій скиѳъ, съ радостію вижу, какъ разваливается старый міръ и думаю, что наше призваніе возвѣщать ему его близкую кончину. „*Ваши соотечественники далеки отъ того, чтобы раздѣлять эти идеи.* Я знаю одного свободнаго француза, — это васъ. Ваши революціонеры—консерваторы. Они христіане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопросъ негаціи и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франціи, что нѣтъ спасенія внутри разваливающагося зданія, что и спасать изъ него нечего, что самыя его понятія о свободѣ и революціи проникнуты консерватизмомъ и реакціей. Дѣйствительно, политическіе республиканцы составляютъ не больше какъ одну изъ варіацій на туже конституціонную тему, на которую играютъ свои варіаціи Гизо, Одилонъ-Баро и др. Вотъ этотъ взглядъ слѣдовало бы проводить въ разборѣ послѣднихъ европейскихъ событій, преслѣдовать реакцію, католицизмъ, монархизмъ не въ ряду нашихъ враговъ—это чрезвычайно легко—но въ собственномъ нашемъ станѣ. Надобно обличить кру-

говую поруку демократовъ и власти. Если мы не боимся затрогивать побѣдителей, то не будемъ бояться изъ ложной сантиментальности затрогивать и побѣжденныхъ.

„Я глубоко убѣжденъ, что если инквизиція республики не убьетъ нашъ журналъ—это будетъ лучшій журналъ въ Европѣ.“ Я и теперь въ этомъ убѣжденъ. Но какъ же мы съ Прудономъ могли думать, что вовсе нецеремонное правительство Бонапарта допуститъ такой журналъ? Это трудно объяснить.

Прудонъ былъ доволенъ моимъ письмомъ и 15 Сентября писалъ мнѣ изъ консьержери. „Я очень радъ, что встрѣтился съ вами на одномъ или на одинаковомъ трудѣ, я тоже написалъ нѣчто въ родѣ философіи*) подъ заглавіемъ „Исповѣдь революціонера.“ Вы въ ней, можетъ, не найдете вашего варварскаго задора (verve barbare), къ которому васъ пріучила нѣмецкая философія. Не забывайте, что я пишу для французовъ, которые со всѣмъ своимъ революціоннымъ пыломъ, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Какъ бы ограниченъ ни былъ мой взглядъ, все же онъ на сто тысячъ туазовъ выше самыхъ высокихъ вершинъ нашего журнальнаго, академическаго и литературнаго міра; меня еще станетъ на десять лѣтъ, чтобы быть великаномъ между ними.

„Я совершенно раздѣляю ваше мнѣніе на счетъ такъ называемыхъ республиканцевъ; разумѣется, это одинъ видъ общей породы доктринеровъ. Что касается этихъ вопросовъ, намъ не въ чемъ убѣждать другъ друга. Во мнѣ и въ моихъ сотрудникахъ вы найдете людей, которые пойдутъ съ вами рука въ руку...

*) Я тогда напечаталъ „Vom andern Ufer.“

„Я также думаю, что методическій, мирный шагъ, незамѣтными переходами, какъ того хотятъ экономическія науки и философія исторіи, не возможенъ больше для революціи; намъ надобно дѣлать страшные скачки. Но, въ качествѣ публицистовъ, возвѣщая грядущую катастрофу, намъ не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то насъ возненавидятъ и будутъ гнать, а намъ надобно *жить*“...

Журналъ пошелъ удивительно. Прудонъ изъ своей тюремной кельи мастерски дирижировалъ своимъ оркестромъ. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздраженія, которое тюрьма раздуваетъ.

„Кто вы такой г. президентъ? пишетъ онъ въ одной статьѣ, говоря о Наполеонѣ, скажите — мужчина, женщина, гермафродитъ, звѣрь или рыба?“ И мы все еще думали, что такой журналъ можетъ держаться!

Подписчиковъ было не много, но уличная продажа была велика, въ день продавалось отъ 35,000 до 40,000 экземпляровъ. Расходъ особенно замѣчательныхъ номеровъ, напр. тѣхъ, въ которыхъ помѣщались статьи Прудона, былъ еще больше; редакція печатала ихъ отъ 50,000 до 60,000 и часто на другой день экземпляры продавались *по франку*, вмѣсто одного су.*)

Но совсѣмъ этимъ къ 1 Марту, т. е. черезъ полгода, не только въ кассѣ не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафовъ. Гибель была неминуема. Прудонъ значительно ускорилъ ее. Это случилось такъ: разъ я засталъ у него въ С. Пелажи д'Алтонъ-Ше и двухъ изъ редакторовъ. Д'Алтонъ-Ше, тотъ перъ

*) Мой отвѣтъ на рѣчь Донозо Кортеса, отпечатанный тысячъ въ 50 экземпляровъ, вышелъ весь и, когда я попросилъ черезъ два, три дня себѣ нѣсколько экземпляровъ, редакція принуждена была скупить ихъ по книжнымъ лавкамъ.

Франціи, который скандализовалъ Пакье и испугалъ всѣхъ перовъ, отвѣчая съ трибуны на вопросъ „да развѣ вы не католикъ?“—„Нѣтъ, но еще больше, я вовсе не христіанинъ, да и не знаю деистъ ли.“ Онъ говорилъ Прудону, что послѣдніе нумера „Voix du Peuple“ слабы; Прудонъ разсматривалъ ихъ и становился все угрюмѣе, потомъ, совершенно разсерженный, обратился къ редакторомъ: „Что же это значитъ? Пользуясь тѣмъ, что я въ тюрьмѣ, вы спите тамъ въ редакціи. Нѣтъ, господа, эдакъ я откажусь отъ всякаго участія и напечатаю мой отказъ, я не хочу, чтобъ мое имя таскали въ грязи, у васъ надобно стоять за спиной, смотрѣть за каждой строкой. Публика принимаетъ это за мой журналъ, нѣтъ этому надобно положить конецъ. Завтра я пришлю статью, чтобъ загладить дурное дѣйствіе вашего маранья, и покажу, какъ я разумѣю духъ, въ которомъ долженъ быть нашъ органъ.“ Видя его раздраженіе, можно было ожидать, что статья будетъ не изъ самыхъ умѣренныхъ, но онъ превзошелъ наши ожиданія, его Vive l'Empereur былъ диѳирамбъ ироніи, ироніи ядовитой, страшной.

Сверхъ новаго процеса правительство отомстило по своему Прудону. Его перевели въ скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, въ ней забрали окно до половины досками, чтобъ нельзя было ничего видѣть кромѣ неба, не велѣли къ нему пускать никого, къ дверямъ поставили особаго часоваго. И эти средства, не приличныя для исправленія шестнадцатилѣтняго шалуна, употребляли семь лѣтъ тому назадъ съ однимъ изъ величайшихъ мыслителей нашего вѣка. Не поумнѣли люди со времени Сократа, не поумнѣли со времени Галилея, только стали мельче. Это неуваженіе къ генію, впрочемъ, явленіе новое, возобновленное въ по-

слѣднее десятилѣтіе. Со времени Возрожденія талантъ становится до нѣкоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали въ темную комнату, не ставили въ уголъ; такихъ людей иногда преслѣдуютъ и убиваютъ, но не унижаютъ мелочами, ихъ посылаютъ на эшафотъ, но не въ рабочій домъ.

Буржуазно-императорская Франція любитъ равенство.

Гонимый Прудонъ еще рванулся въ своихъ цѣпяхъ, еще сдѣлалъ усиліе издавать Voix du Peuple въ 1850; но этотъ опытъ былъ тотчасъ задушенъ. Мой залогъ былъ схваченъ до копѣйки. Пришлось замолчать единственному человѣку во Франціи, которому было еще что сказать.

Послѣдній разъ я видѣлся съ Прудономъ въ С. Пелажи, меня высылали изъ Франціи—ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы съ нимъ, не было ни тѣни близкой надежды. Прудонъ сосредоточенно молчалъ, досада кипѣла во мнѣ; у обоихъ было много думъ въ головѣ, но говорить не хотѣлось.

Я много слышалъ о его жесткости, rudesse, нетерпимости, на себѣ я ничего подобнаго не испыталъ. То, что *мягкіе* люди называютъ его жесткостью — были упругія мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли, въ гнѣвѣ онъ напоминалъ сердящагося Лютера или Кромвеля, смѣющагося надъ Крупіономъ. Онъ зналъ. что я его понимаю, зналъ и то, какъ немногіе его понимаютъ, и цѣнилъ это. Онъ зналъ, что его считали за человѣка мало экспансивнаго, и, услышавъ отъ Мишле о несчастіи, постигшемъ мою мать и Колю, онъ написалъ мнѣ изъ С. Пелажи между прочимъ: „Неужели судьба еще и съ этой стороны должна добивать насъ. Я не могу придти въ себя отъ этого ужаснаго происшествія. Я васъ лю-

блю и *глубоко ношу васъ* здѣсь, въ этой груди, которую такъ *многіе считаютъ каменной.*"

Съ тѣхъ поръ я не видалъ его;*) въ 1851 г., когда я, по милости Леона Фоше, пріѣзжалъ въ Парижъ на нѣсколько дней, онъ былъ отосланъ въ какую-то центральную тюрьму. Черезъ годъ я былъ проѣздомъ и тайкомъ въ Парижѣ, Прудонъ тогда лечился въ Безансонѣ.

У Прудона есть отшибленный уголъ, и тутъ онъ неисправимъ, тутъ предѣлъ его личности, и, какъ всегда бываетъ, за нимъ онъ консерваторъ и человѣкъ преданія. Я говорю о его воззрѣніи на семейную жизнь и на значеніе женщины вообще. „Какъ счастливъ нашъ N.—говаривалъ Прудонъ, шутя, — у него жена не на столько глупа, чтобъ не умѣла приготовить хорошаго pot au feu, и не на столько умна, чтобъ толковать о его статьяхъ. Это все, что надобно для домашняго счастья."

Въ этой шуткѣ Прудонъ, смѣясь, выразилъ серьезную основу своего воззрѣнія на женщину. Понятія его о семейныхъ отношеніяхъ грубы и реакціонны, но и въ нихъ выражается не мѣщанскій элементъ горожанина а скорѣе упорное чувство сельскаго pater familias'а, гордо считающаго женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора послѣ того, какъ это было написано, Прудонъ издалъ свое большое сочиненіе *„О справедливости въ церкви и революціи.*

Книгу эту, за которую одичалая Франція снова осудила его на три года тюрьмы, прочиталъ я внимательно и закрылъ третій томъ, задавленный мрачными мыслями.

*) Послѣ писаннаго, я видѣлся съ нимъ въ Брюселѣ.

Тяжкое..... тяжкое время!..... Разлагающій воздухъ его одуряетъ сильнѣйшихъ.....

И этотъ „яркій боецъ“ не выдержалъ, надломился; въ его послѣднемъ трудѣ, я вижу туже мощную діалектику, тотъ же розмахъ, но она приводитъ уже его къ прежде задуманнымъ результатамъ; она уже не свободна въ послѣднемъ словѣ. Я подъ конецъ книги слѣдилъ за Прудономъ, какъ Кентъ слѣдилъ за королемъ Лиромъ, ожидая, какъ онъ образумится, но онъ заговаривался больше и больше, — такіе же припадки нетерпимости, необузданной рѣчи, какъ у Лира, и такъ же „Every inch“ обличаетъ талантъ, но..... талантъ „тронутый.“ И онъ бѣжитъ съ трупомъ, только не дочери, а матери, которую считаетъ живой!*)

Романская мысль, религіозная въ самомъ отрицаніи, суевѣрная въ сомнѣніи, отвергающая одни авторитеты во имя другихъ, рѣдко погружалась далѣе, глубже in medias res дѣйствительности, рѣдко такъ діалектически смѣло и вѣрно снимала съ себя всѣ путы, какъ въ этой книгѣ. Она отрѣшилась въ ней не только отъ грубаго дуализма религіи, но и отъ ухищреннаго дуализма философіи; она освободилась не только отъ небесныхъ привидѣній, но и отъ земныхъ; она перешагнула черезъ сантиментальную апотеозу человѣчества, черезъ фатализмъ прогреса, у ней нѣтъ тѣхъ неизмѣняемыхъ литій о братствѣ, демократіи и прогресѣ, которыя такъ жалко утомляютъ среди раздора и насилія. Прудонъ пожертвовалъ пониманью революціи ея идолами, ея языкомъ и перенесъ нравственность на единственную реальную почву, — грудь человѣческую, признающую одинъ разумъ и никакихъ кумировъ, „развѣ его.“

*) Я долею измѣнилъ мое мнѣніе объ этомъ сочиненіи Прудона (1866 .

И послѣ всего этого, великій иконоборецъ испугался освобожденной личности человѣка, потому что, освободивъ ее отвлеченно, онъ впалъ снова въ метафизику, придалъ ей *небывалую волю*, не сладилъ съ нею, и повелъ на закланіе богу безчеловѣчному, холодному богу *справедливости*; богу равновѣсія, тишины, покоя, богу браминовъ, ищущихъ потерять все личное и распуститься, опочить въ безконечномъ мірѣ ничтожества.

На пустомъ алтарѣ поставлены *вѣсы*. Это будутъ новые каудинскіе фуркулы для человѣчества.

„Справедливость," къ которой онъ стремится, даже не художественная гармонія Платоновой республики, не *изящное* уравновѣшиваніе страстей и жертвъ. Гальскій трибунъ ничего не беретъ изъ „анархической и легкомысленной Греціи," онъ стоически попираетъ ногами личныя чувства, а не ищетъ согласовать ихъ съ требой семьи и общины. „Свободная" личность у него часовой и работникъ безъ выслуги, она несетъ службу и должна стоять на караулѣ до смѣны смертью, она должна морить въ себѣ все лично-страстное, все внѣшнее долгу, потому что *она не она*, ея смыслъ, ея сущность внѣ ея; она органъ справедливости, она *предназначена*, какъ дѣва Марія, носить въ мученіяхъ идею и водворить ее на свѣтъ для спасенія государства.

Семья, первая ячейка общества, первыя ясли справедливости, осуждена на вѣчную, безвыходную работу; она должна служить жертвенникомъ очищенія отъ личнаго, въ ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья, въ современной мастерской, идеалъ Прудона. Христіанство слишкомъ изнѣжило семейную жизнь, оно предпочло Марію—Маріѣ, мечтательницу—

хозяйкѣ, оно простило согрѣшившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а въ Прудоновой семьѣ именно надобно мало любить. И это не все: христіанство гораздо выше ставитъ личность, чѣмъ семейныя отношенія ея. Оно сказало сыну: „брось отца и мать и иди за мной," сыну, котораго слѣдуетъ, во имя *воплощенія справедливости*, снова заковать въ колодки безусловной отцовской власти, сыну, который не можетъ имѣть воли при отцѣ, пуще всего въ выборѣ жены. Онъ долженъ закалиться въ рабствѣ, чтобы въ свою очередь сдѣлаться тираномъ дѣтей, рожденныхъ безъ любви, по долгу, для продолженія семьи. Въ этой семьѣ бракъ будетъ нерасторгаемъ, но за то холодный какъ ледъ; бракъ собственно побѣда надъ любовью, чѣмъ меньше любви между женой-кухаркой и мужемъ-работникомъ, тѣмъ лучше. И эти старыя, изношенныя пугала изъ гегелизма правой стороны, пришлось-то мнѣ еще разъ увидѣть подъ перомъ Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвѣта исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный трудъ современнаго пролетарія, трудъ, отъ котораго по крайней мѣрѣ была свободна аристократическая семья древняго Рима, основанная на рабствѣ; нѣтъ больше ни поэзіи церкви, ни бреда вѣры, ни упованья рая, даже и стиховъ къ тѣмъ порамъ „не будутъ больше писать," по увѣренію Прудона, за то работа будетъ „увеличиваться." За свободу личности, за самобытность дѣйствія, за независимость, можно пожертвовать религіознымъ убаюкиваніемъ, но пожертвовать всѣмъ для воплощенія идеи справедливости, что это за вздоръ!

Человѣкъ осужденъ на работу, онъ долженъ работать до тѣхъ поръ, пока опустится рука, сынъ вынетъ изъ

холодныхъ пальцевъ отца стругъ или молотъ и будетъ продолжать вѣчную работу. Ну, а какъ въ ряду сыновей найдется одинъ поумнѣе„ который положитъ долото и спроситъ: — Да изъ чего же мы это выбиваемся изъ силъ? „Для торжества справедливости,“ скажетъ ему Прудонъ. А новый Каинъ отвѣтитъ ему: „Да кто же мнѣ поручилъ торжество справедливости?“—„Какъ кто? — развѣ все призваніе твое, вся твоя жизнь не есть воплощеніе справедливости?“—„Кто же поставилъ эту цѣль? скажетъ на это Каинъ. Это слишкомъ старо, бога нѣтъ, а заповѣди остались. Справедливость не есть мое призваніе, работать не долгъ, а необходимость, для меня семья совсѣмъ не пожизненныя колодки, а среда для моей жизни, для моего развитія. Вы хотите держать меня въ рабствѣ, а я бунтую противъ васъ, противъ вашего безмѣна, такъ какъ вы всю вашу жизнь бунтовали противъ капитала, штыковъ, церкви, такъ какъ всѣ французскіе революціонеры бунтовали противъ феодальной и католической традиціи; или вы думаете, что послѣ взятія Бастиліи, послѣ террора, послѣ войны и голода, послѣ короля мѣщанина и мѣщанской республики, я повѣрю вамъ, что Ромео не имѣлъ правъ любить Джуліету за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вѣковую ссору, и что я ни въ тридцать, ни въ сорокъ лѣтъ не могу выбрать себѣ подруги безъ позволенія отца, что измѣнившую женщину нужно казнить, позорить. Да за кого же вы меня считаете съ вашей юстиціей?“

А мы съ своей діалектической стороны на подмогу Каину прибавили бы, что все понятіе о *цѣли* у Прудона. совершенно непослѣдовательно. Телеологія, это тоже теологія, это Февральская республика, т. е. та же Іюльская монархія, но безъ Людовика Филиппа. Какая

же разница между предопредѣленной цѣлесообразностью и промысломъ?*)

Прудонъ, черезъ край освободивши личность, испугался, взглянувъ на своихъ современниковъ, и чтобъ эти каторжные, ticket of leave, не надѣлали бѣдъ, онъ ловитъ ихъ въ капканъ римской семьи.

Въ растворенныя двери реставрированнаго атріума, безъ ларъ и пенатъ, видится уже не *А-нархія*, не уничтоженіе власти, государства, а строгій чинъ, съ централизаціей, съ вмѣшательствомъ въ семейныя дѣла, съ наслѣдствомъ и съ лишеніемъ его за наказаніе; всѣ старые римскіе грѣхи выглядываютъ съ ними изъ щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведетъ естественно за собой античное отечество съ своимъ ревнивымъ патріотизмомъ, этой свирѣпой добродѣтелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чѣмъ всѣ пороки вмѣстѣ.

Человѣкъ, прикрѣпленный къ семьѣ, дѣлается снова крѣпокъ землѣ. Его движенія очерчены, онъ пустилъ корни въ свое поле, онъ только на немъ то, что онъ есть; „французъ, живущій въ Россіи, говоритъ Прудонъ, русскій, а не французъ.“ Нѣтъ больше ни колоній, ни заграничныхъ факторій, живи каждый у себя...

„Голландія не погибнетъ, сказалъ Вильгельмъ Оранскій въ страшную годину, она сядетъ на корабли и уѣдетъ куда нибудь въ Азію, а здѣсь мы спустимъ плотины.“ Вотъ какіе народы бываютъ свободны.

Такъ и англичане; какъ только ихъ начинаютъ тѣснить, они плывутъ за океанъ, и тамъ заводятъ юную и болѣе свободную Англію. А уже конечно нельзя сказать объ англичанахъ, чтобъ они или не любили своего

*) Самъ Прудонъ сказалъ: «Rien ne ressemble plus a la prémeditation, que la logique des faits.»

отечества, или чтобъ они были не національны. Расплывающаяся во всѣ стороны Англія заселила полміра, въ то время какъ скудная соками Франція—одни колоніи потеряла, а съ другими не знаетъ что дѣлать. Онѣ ей и не нужны; Франція довольна собой и лѣпится все больше и больше къ своему средоточію, а средоточіе къ своему господину. Какая же независимость можетъ быть въ такой странѣ?

А съ другой стороны, какъ же бросить Францію, la belle France? „Развѣ она и теперь не самая свободная страна въ мірѣ, развѣ ея языкъ—не лучшій языкъ, ея литература — не лучшая литература, развѣ ея силабическій стихъ —не звучнѣе греческаго гексаметра!“ Къ тому же ея всемірный геній усвоиваетъ себѣ и мысль и твореніе всѣхъ временъ и странъ: „Шекспиръ и Кантъ, Гёте и Гегель—развѣ не сдѣлались своими во Франціи?“ И еще больше: Прудонъ забылъ, что она ихъ исправила и одѣла, какъ помѣщики одѣваютъ мужиковъ, когда ихъ берутъ во дворъ.

Прудонъ заключаетъ свою книгу католической молитвой, положенной на соціализмъ; ему стоило только растричь нѣсколько церковныхъ фразъ и прикрыть ихъ, вмѣсто клобука фригійской шапкой, чтобъ молитва „византинскихъ“ архіереевъ—какъ разъ пришлась архіерею соціализма!

Что за хаосъ! Прудонъ, освобождаясь отъ всего, кромѣ *разума*, хотѣлъ остаться не только мужемъ въ родѣ Синей Бороды, но и французскимъ націоналистомъ —съ литературнымъ шовинизмомъ и безграничной родительской властью, а потому вслѣдъ за крѣпкой, полной силъ мыслію свободнаго человѣка слышится голосъ свирѣпаго старика, диктующаго свое завѣщаніе и хо-

тящаго теперь сохранить своимъ дѣтямъ ветхую храмину, которую онъ подкапывалъ всю жизнь.

Не любитъ романскій міръ свободы, онъ любитъ только домогаться ея; силы на *освобожденіе* онъ иногда находитъ, на *свободу* никогда. Не печально ли видѣть такихъ людей, какъ Огюстъ Контъ, какъ Прудонъ, которые послѣднимъ словомъ ставятъ: одинъ — какую-то мандаринскую іерархію, другой—свою каторжную семью и апотеозу безчеловѣчкаго pereat mundus — fiat justicia!

РАЗДУМЬЕ

ПО ПОВОДУ ЗАТРОНУТЫХЪ ВОПРОСОВЪ

I

... Съ одной стороны безотвѣтно спаянная, заклепанная на глухо семья Прудона, неразрывный бракъ, нераздѣльность отцовской власти — семья, въ которой для *общественной* цѣли лица гибнутъ, *кромѣ одного*, свирѣпый бракъ, въ которомъ признана неизмѣняемость чувствъ, кабала обѣту; съ другой — возникающія ученья, въ которыхъ бракъ и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былаго и независимость лицъ.

Съ одной стороны женщина, чуть не побиваемая каменьями за измѣну, съ другой — самая ревность, поставленная hors la loi, какъ болѣзненное, искаженное чувство эгоизма, пропріетаризма и романтическаго ниспроверженія здоровыхъ и естественныхъ понятій.

Гдѣ истина... гдѣ діагональ? Двадцать три года тому назадъ, я уже искалъ выхода изъ этого лѣса противорѣчій.*)

Мы смѣлы въ отрицаніи и всегда готовы толкнуть всякаго перуна въ воду, — но перуны домашней и семейной жизни какъ-то water-proof, они все „выдыбаются.“ Можетъ въ нихъ и не осталось смысла, — но жизнь осталась; видно орудія, употребляемыя противъ нихъ, только скользнули по ихъ змѣиной чешуѣ, уронили ихъ, оглушили... но не убили.

Ревность... Вѣрность... Измѣна... Чистота... темныя силы, грозныя слова, по милости которыхъ текли рѣки слезъ, рѣки крови,—слова, заставляющія содрогаться насъ, какъ воспоминаніе объ инквизиціи, пыткѣ, чумѣ... и притомъ слова, подъ которыми, какъ подъ Дамокловымъ мечемъ — жила и живетъ семья.

Ихъ не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицаніемъ. Они остаются *за угломъ* и дремлютъ, готовыя при малѣйшемъ поводѣ все губить, близкое и дальное — губить насъ самихъ...

Видно надобно оставить благое намѣреніе тушить до тла такіе тлѣющіе пожары, и скромно ограничиться только тѣмъ, чтобъ разрушительный огонь — человѣчески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, такъ какъ судомъ нельзя ихъ оправдать. Страсти — факты, а не догматы.

Ревность сверхъ того состояла на особыхъ правахъ. Сама по себѣ сильная и *совершенно естественная* страсть, — она до сихъ поръ, вмѣсто обузданія, укрощенія была только подстрекаема. Христіанское ученіе, ставящее, изъ ненависти къ тѣлу, все плотское на не-

*) „Былое и Думы,“ Т. III. „По поводу одной драмы.“

обыкновенную высоту, аристократическое поклоненіе своей крови, чистотѣ породы — развило до нелѣпости понятіе несмываемаго пятна, смертельной обиды. Ревность получила jus gladii, право суда и мести. Она сдѣлалась *долгомъ чести*, чуть не добродѣтелью. Все это не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, — но за тѣмъ все же на днѣ души остается очень *реальное* и несокрушимое чувство *боли*, *несчастія*, называемое ревностью, чувство элементарное — какъ само чувство любви, противостоящее всякому отрицанію — чувство „ирредуктибельное."

... Тутъ опять тѣ вѣчныя грани, тѣ Кавдинскія фуркулы, подъ которыя насъ гонитъ исторія. Съ обѣихъ сторонъ *правда*, съ обѣихъ *ложь*. Бойкимъ entweder — oder и тутъ ничего не возьмешь. Въ минуту полнаго отрицанія *одного* изъ терминовъ, *онъ* возвращается — такъ какъ за послѣдней четвертью мѣсяца является съ другой стороны первая.

Гегель *снималъ* эти пограничные столбы человѣческаго разума, подымаясь въ *безусловный духъ*; въ немъ они не исчезали, а *преображались*, *исполнялись*, какъ выражалась нѣмецкая теологическая наука, — это мистицизмъ, философская теодицея, аллегорія и самое дѣло, намѣренно смѣшанные. Всѣ религіозныя примиренія непримиримаго дѣлаются *искупленіями*, т. е. священнымъ преобразованіемъ, священнымъ обманомъ, такимъ разрѣшеніемъ, которое не разрѣшаетъ, а дается на вѣру. Что можетъ быть противоположнѣе *личной воли и необходимости*, а вѣрой и онѣ легко примиряются. Человѣкъ безропотно въ одно и тоже время принимаетъ справедливость наказанія — за поступокъ, который былъ предопредѣленъ.

Самъ Прудонъ поступилъ, въ другомъ порядкѣ во-

просовъ, гораздо человѣчественнѣе нѣмецкой науки. Онъ выходитъ изъ экономическихъ противорѣчій тѣмъ, что признаетъ обѣ стороны подъ обузданіемъ высшаго начала. Собственность — *право* и собственность — *кража* становятся рядомъ, въ вѣчномъ колебаніи, въ вѣчномъ восполненіи, подъ постоянно растущимъ міродержавіемъ *справедливости.* Ясно, что противорѣчія и споръ переносятся въ другую сферу, и что къ отвѣту требовать приходится понятіе справедливости больше, чѣмъ право собственности.

Чѣмъ высшее начало проще, менѣе мистично и менѣе односторонно, чѣмъ оно реальнѣе и прилагаемѣе, тѣмъ полнѣе оно сводитъ термины противорѣчащіе на ихъ наименьшее выраженіе.

Безусловный, „перехватывающій“ духъ Гегеля замѣненъ у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею врядъ ли разрѣшатся вопросы страстей. Страсть сама по себѣ несправедлива. Справедливость отвлекается отъ личностей, она междулична — страсть только индивидуальна.

Тутъ выходъ не въ судѣ, а въ человѣческомъ развитіи личностей, въ выводѣ ихъ изъ лирической замкнутости на бѣлый свѣтъ, *въ развитіи общихъ интересовъ.*

Радикально уничтожить ревность, значитъ уничтожить *любовь къ лицу,* замѣняя ее любовью къ женщинѣ или къ мужчинѣ, вообще любовью къ полу. Но именно только *лучное, индивидуальное* и нравится, оно-то и даетъ колоритъ, tonus, страстность всей нашей жизни. Нашъ лиризмъ — *личный,* наше счастье и несчастье — *личное* счастье и несчастье. Доктринаризмъ со всей своей логикой такъ же мало утѣшаетъ въ личномъ горѣ, какъ и римскія консоляціи съ своей рито-

рикой. Ни слезъ о потери, ни слезъ ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтобъ *они лились человѣчески...* и чтобъ въ нихъ равно не было ни монашескаго яда, ни дикости звѣря, ни вопля уязвленнаго собственника.*)

II

Свести отношенія мужчины и женщины на случайную половую встрѣчу такъ же невозможно, какъ поднять и свинтить ихъ до гробовой доски въ неразрывномъ бракѣ. И то и другое можетъ встрѣтиться на закраинахъ половыхъ и брачныхъ отношеній, какъ частный случай, какъ исключеніе, но не какъ общее правило. Половое отношеніе перервется или будетъ постоянно стремиться къ болѣе тѣсному и прочному со-

*) Читая корректурный листъ, мнѣ попалась французская газета, въ которой разсказанъ чрезвычайно характеристическій случай. Возлѣ Парижа какой-то студентъ завелъ связь съ дѣвушкой, связь эта открылась. Отецъ ея отправился къ студенту и умолялъ его со слезами, *на колѣняхъ*, *возстановить* честь дочери и жениться на ней; студентъ съ дерзостью отказался. Колѣнопреклоненный отецъ далъ ему пощечину, студентъ его вызвалъ, они стрѣлялись; во время дуэли, старика хватилъ параличъ, изуродовавшій его. Студентъ сконфузился и „рѣшился жениться," а невѣста огорчилась и рѣшилась выйти за мужъ. Газета прибавляетъ, что такая *счастливая* развязка вѣрно будетъ много способствовать къ выздоровленію старика. Неужели все это не сумасшедшій домъ, неужели Китай, Индія, надъ юродствами и уродствами которыхъ мы столько издѣваемся, представляютъ что нибудь безобразнѣе, глупѣе этой исторіи; я уже не говорю безнравственнѣе. Парижскій романъ въ сто разъ преступнѣе всѣхъ поджариваемыхъ вдовъ и зарываемыхъ весталокъ. Тамъ *вѣра*, снимающая всякую отвѣтственность, а здѣсь однѣ условныя, призрачныя понятія о внѣшней чести, о внѣшней репутаціи... Не явно ли изъ дѣла, что за человѣкъ студентъ? За что же судьбу дѣвушки сковали съ нимъ à perpetuité? За что же ее сгубили для спасенія имени! О Бедламъ! (1866).

единенію, такъ какъ нерасторгаемый бракъ — къ освобожденію отъ внѣшней цѣпи.

Люди постоянно протестовали противъ обѣихъ крайностей. Нерасторгаемый бракъ былъ принимаемъ ими лицемѣрно или сгоряча. Случайная близость никогда не имѣла полной инвеституры, ее всегда скрывали, такъ какъ хвастались бракомъ. Всѣ попытки офиціальной регламентаціи публичныхъ домовъ, не смотря на то, что онѣ имѣютъ въ виду ихъ стѣсненіе, оскорбляютъ общественный, нравственный смыслъ. Онъ въ устройствѣ видитъ признаніе. Проэктъ, сдѣланный однимъ господиномъ въ Парижѣ, во время Директоріи, о заведеніи привилегированныхъ публичныхъ домовъ, съ своей іерархіей и проч., былъ даже въ тѣ времена принятъ свистомъ и палъ подъ громомъ смѣха и пренебреженія.

Здоровая жизнь человѣка равно бѣжитъ отъ монастыря и отъ скотнаго двора, отъ безполья инока, поставленнаго церковью выше брака, и отъ бездѣтнаго удовлетворенія страстей...

Бракъ для христіанства — уступка, непослѣдовательность, слабость. Христіанство смотритъ на бракъ такъ, какъ общество на конкубинатъ.

Монахъ и католическій попъ приговорены къ вѣчному безбрачью, въ награду за глупую побѣду свою надъ человѣческой природой.

Вообще христіанскій бракъ мраченъ и несправедливъ, онъ возстановляетъ неравенство, противъ котораго проповѣдуетъ евангеліе, и отдаетъ жену въ рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) пожертвована, выходя изъ церкви, она становится излишней и замѣняется долгомъ и обязанностью. Изъ самаго свѣтлаго, радостнаго чувства хри-

стіанство сдѣлало боль, истому и грѣхъ. Роду человѣческому приходилось или вымереть, или быть непослѣдовательнымъ. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаяніемъ и угрызеніемъ совѣсти, а сочувствіемъ, реабилитаціей. Протестъ начался въ самый разгаръ католичества и рыцарства.

Грозный мужъ, Рауль Синяя борода, въ латахъ съ мечемъ, своевольный, ревнивый и безпощадный, босой монахъ, угрюмый, безумный, изувѣръ, готовый мстить за свои лишенія, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и гдѣ нибудь въ башнѣ или подвалѣ рыдающая женщина, юноша пажъ въ цѣпяхъ, за которыхъ никто не вступится. Все мрачно, дико, вездѣ кровь, ограниченность, насиліе и латинская молитва въ носъ.

Но за спиной монаха, исповѣдника и тюремщика, стоящихъ на стражѣ брака съ грознымъ мужемъ, отцомъ, братомъ — слагается въ тиши *народная легенда*, раздается пѣсня, ходитъ изъ мѣста въ мѣсто, изъ замка въ замокъ, съ трубадуромъ и минезенгеромъ — она поетъ *за* несчастную женщину. Судъ разитъ — пѣсня отпускаетъ. Церковь предаетъ анаѳемѣ любовь внѣ брака — пѣсня проклинаетъ бракъ безъ любви. Она защищаетъ влюбленнаго пажа, падшую жену, угнетенную дочь — не разсужденіемъ, а сочувствіемъ, жалостью, плачемъ. Пѣсня для народа — его свѣтская молитвя, его *другой* выходъ изъ голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы.

Въ праздничные дни, литаніи Богородицѣ смѣнялись печальными звуками des complaintes, которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее и

ставили передъ всѣхъ скорбящей дѣвой, прося ея заступы и прощенья.

Изъ пѣсенъ и легендъ протестъ растетъ въ романъ и драму. Въ драмѣ онъ становится силой. Обиженная любовь, мрачныя тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный судъ. Процессъ ихъ потрясалъ тысячи сердецъ, вырывая слезы и крики негодованія противъ кабальнаго брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партѣра и ложъ произносили постоянно свое оправданіе лицамъ и осужденіе институтамъ.

Между тѣмъ, въ эпоху политическихъ перестроекъ и свѣтскаго направленія умовъ, одна изъ двухъ крѣпкихъ ножекъ брака стала подламываться. Переставая все болѣе и болѣе быть таинствомъ, т. е. теряя послѣднюю основу свою, онъ тѣмъ больше опирался на полицію. Только мистическимъ вмѣшательствомъ высшей силы и можетъ быть оправданъ христіанскій бракъ. Тутъ есть своя логика, безумная, но логика. Квартальный, надѣвающій на себя трехцвѣтный шарфъ и вѣнчающій съ гражданскимъ кодексомъ въ рукѣ, гораздо нелѣпѣе священника въ ризѣ, окруженнаго дымомъ ладона, образами, чудесами. Самъ первый консулъ Наполеонъ, самый буржуазно-политическій человѣкъ въ дѣлѣ любви и семьи, догадался, что бракъ на съѣзжей больно плохъ, и уговаривалъ Камбасереса прибавить какую нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что *она* обязана быть *вѣрной* мужу (о немъ ни слова) и слушаться его.

Какъ скоро бракъ выходитъ изъ сферъ мистицизма, онъ дѣлается expedient — внѣшней мѣрой. Ее ввели испуганные „Синія Бороды,“ обрившіеся и сдѣлав-

шіеся „синими подбородками,“ Раули, въ судейскихъ парикахъ, академическихъ фракахъ, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданскій бракъ —мѣра государственнаго хозяйства, освобожденіе государства отъ воспитанія дѣтей и вящее прикрѣпленіе людей къ собственности. Бракъ безъ вмѣшательства церкви сдѣлался кабальнымъ контрактомъ на пожизненное отданіе своего тѣла другъ другу. До вѣры, до мистическихъ бредней законодателю дѣла нѣтъ, лишь бы контрактъ былъ исполненъ, а не будетъ исполненъ, онъ найдетъ средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? Въ Англіи, въ классической странѣ юридическаго развитія, подвергаютъ же страшнѣйшимъ истязаніямъ шестнадцатилѣтняго мальчика, котораго старый казарменный сводникъ, съ лентами на шляпѣ, напоитъ элемъ и джиномъ и завербуетъ въ полкъ. Отчего же не наказывать позоромъ, раззореніемъ, выдачей головой дѣвочку, которая, не давая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra, забывая, что season ticket не передается.

Но и на „синій подбородокъ“ нашлись свои труверы и романисты. Противъ контрактоваго брака водрузился догматъ психіатрическій, физіологическій, догматъ *абсолютной непреложности страстей и человѣческой несостоятельности бороться съ ними.*

Вчерашніе рабы брака идутъ въ рабство любви. На любовь суда нѣтъ, противъ нея силъ нѣтъ.

За тѣмъ стирается всякій разумный контроль, всякая отвѣтственность, всякое самообузданіе. Покореніе человѣка неотразимымъ и неподчиненнымъ ему силамъ дѣло совершенно противоложное тому освобожденію въ разумѣ и разумомъ, тому образованію характера сво-

боднаго человѣка, къ которому стремятся, разными путями, всѣ соціальныя ученія.

Мнимыя силы, если люди ихъ принимаютъ за дѣйствительныя, точно также мощны, какъ и дѣйствительныя, и это потому, что матеріалъ, даваемый человѣкомъ, *тотъ же*, какая бы сила ни была. Человѣкъ, который боится духовъ, и человѣкъ, который боится бѣшеныхъ собакъ, боится одинаковымъ образомъ и можетъ умеретъ отъ страха. Разница въ томъ, что въ одномъ случаѣ человѣку можно доказать, что онъ боится вздора, а въ другомъ нельзя.

Я отрицаю то царственное мѣсто, которое даютъ *любви* въ жизни, я отрицаю ея самодержавную власть, и протестую противъ слабодушнаго оправданія увлеченіемъ.

Неужели мы освободились отъ всего на свѣтѣ, отъ бога и діавола, отъ римскаго и уголовнаго права, и провозгласили разумъ единственнымъ путеводителемъ и регуляторомъ для того, чтобъ скромно, какъ Геркулесъ, лечь у ногъ Омфалы или уснуть на колѣнахъ Далилы? Неужели женщина искала своего освобожденія отъ ига семьи, вѣчной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своихъ правъ на самобытный трудъ, на науку и гражданское значеніе для того, чтобъ снова начать всю жизнь ворковать какъ горлица и изнывать отъ десятка Леоне-Леони вмѣсто одного.

Да, женщину въ этомъ вопросѣ мнѣ всего больше жаль, ее безвозвратнѣе точитъ и губитъ всепожирающій Молохъ любви. Она больше вѣруетъ въ него, больше страдаетъ. Она больше сосредоточена на одномъ половомъ отношеніи, больше *загнана въ любовь*... Она больше сведена съ ума, и меньше насъ доведена до него.

Мнѣ ее жаль.

III.

Развѣ кто нибудь серьезно, честно старался разбить предразсудки въ женскомъ воспитаніи? ихъ разбиваетъ опытъ, и оттого-то ломится не предразсудокъ, а жизнь.

Люди обходятъ вопросы, насъ занимающіе, какъ старухи и дѣти обходятъ кладбище или мѣста, на которыхъ совершилось злодѣйство. Однѣ боятся нечистыхъ духовъ, другіе чистой правды, и остаются при фантастическомъ неустройствѣ и неизслѣдованной тьмѣ. Серьезнаго единства во взглядѣ на половыя отношенія такъ же мало, какъ во всѣхъ практическихъ сферахъ. Все еще мерещится возможность соединить христіанскую нравственность, идущую отъ попранія плоти на *тотъ свѣтъ*, съ земной, реальной нравственностью *этого* свѣта. Съ досады, что не ладится и чтобъ не долго мучить себя надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, люди оставляютъ по выбору и по вкусу то, что имъ нравится изъ церковнаго ученія, и бросаютъ то, что не нравится, на томъ самомъ основаніи, на которомъ, не соблюдая постовъ, усердно ѣдятъ блины, и, не оставляя веселыхъ религіозныхъ обычаевъ, устраняются отъ скучныхъ. А, кажется, давно пора внести больше спѣтости и мужества въ поведеніе. Пусть уважающій законъ остается подзаконнымъ и не нарушаетъ его, а непримающій—свободнымъ отъ него открыто и сознательно.

Трезвый взглядъ на людскія отношенія гораздо труднѣе для женщины, чѣмъ для насъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; онѣ больше обмануты воспитаніемъ, меньше знаютъ жизнь, и оттого чаще оступаются и ломаютъ голову и сердце, чѣмъ освобождаются, всегда бунтуютъ

и остаются въ рабствѣ, стремятся къ перевороту и пуще всего поддерживаютъ существующее.

Съ дѣтскихъ лѣтъ дѣвушка испугана половымъ отношеніемъ, какой-то *страшной, нечистой тайной*, отъ которой ее предостерегаютъ, отстращиваютъ, какъ будто этотъ грѣхъ имѣетъ какую-то чарующую силу. И потомъ тоже чудовище, тоже magnum ignotum, пятнающее неизгладимымъ пятномъ дальнѣйшій намекъ на котораго заставляетъ краснѣть и позорить ставится цѣлью ея жизни. Мальчику, едва умѣющему ходить, даютъ жестяную саблю, пріучая его къ убійству, ему пророчатъ гусарскій мундиръ и эполеты, дѣвочку убаюкиваютъ надеждой богатаго, краснаго жениха, и она мечтаетъ объ эполетахъ, но не на своихъ плечахъ, а на плечахъ суженаго.

Dors, dors mon enfant,
Jusqu'a l'âge de quinze ans,
A quinze ans faut te réveiller,
A quinze ans faut te marier.

Надобно дивиться хорошей человѣческой натурѣ, не поддающейся такому воспитанію — слѣдовало бы ожидать, что всѣ дѣвочки, такъ убаюканныя съ пятнадцати лѣтъ, пустятся на ускоренную замѣну убитыхъ мальчиками, пріученными съ дѣтства къ смертоноснымъ оружіямъ.

Христіанское ученіе вселяетъ ужасъ передъ „плотью," прежде чѣмъ организмъ сознаетъ свой полъ; оно будитъ въ ребенкѣ опасный вопросъ, бросаетъ тревогу въ отроческую душу, и когда приходитъ время отвѣта — *другое* ученіе возводитъ, какъ мы сказали, для дѣвушки половое назначеніе въ искомый идеалъ; ученица становится *невѣстой*, и та же тайна, тотъ же грѣхъ, но *очищенный*, является вѣнцомъ воспитанья, желаніемъ

всѣхъ родныхъ, стремленіемъ всѣхъ усилій, чуть не общественнымъ долгомъ. Искуства и науки, образованіе, умъ, красота, богатство, грація, все устремлено туда-же, все это розы, которыми усыпается путь къ *официальному* паденью... къ тому же грѣху, мысль о которомъ считалась преступленіемъ, но которое измѣнило свою сущность тѣмъ чудомъ, которымъ папа, взалкавши на дорогѣ, благословилъ *скоромное блюдо въ постное.*

Словомъ, отрицательно и положительно все воспитаніе женщины остается воспитаніемъ половыхъ отношеній, около нихъ вертится вся ея послѣдующая жизнь... *отъ нихъ* она бѣжитъ, *къ нимъ* она бѣжитъ, *ими* опозорена, *ими* гордится. . . Сегодня хранитъ отрицательную святость непорочности, сегодня ближайшей подругѣ, краснѣя, шопотомъ, говоритъ о любви, завтра при блескѣ и шумѣ, при толпѣ, зажженныхъ люстрахъ и громѣ музыки, бросается въ объятія мужчины.

Невѣста, жена, мать—женщина едва подъ старость *бабушкой* освобождается отъ половой жизни и становится самобытнымъ существомъ, особенно, если *дѣдушка* умеръ. Женщина, помѣченная любовью, не скоро ускользаетъ отъ нея... беременность, кормленіе, воспитаніе, развитіе той же тайны, того же акта любви, въ женщинѣ онъ продолжается, не въ одной памяти а въ крови и въ тѣлѣ, въ ней онъ бродитъ и зрѣетъ, и разрываясь—не разрывается.

На это физіологически-крѣпкое и глубокое отношеніе христіанство дунуло своимъ лихорадочнымъ, монашескимъ аскетизмомъ, своими романтическими бреднями, и раздуло его въ безумное и разрушительное пламя — ревности, мести, кары, обиды.

Выпутаться женщинѣ изъ этого хаоса — геройскій подвигъ, его совершаютъ однѣ рѣдкія, исключительныя

натуры; остальныя женщины мучатся, и если не сходятъ съ ума, то только благодаря легкомыслію, съ которымъ мы всѣ живемъ до грозныхъ столкновеній и ударовъ, не мудрствуя лукаво, и безсмысленно переходя съ дня на день отъ случайности къ случайности и отъ противорѣчія къ противорѣчію.

Какую ширину, какое человѣчески-сильное и человѣчески-прекрасное развитіе надобно имѣть женщинѣ, чтобъ перешагнуть всѣ палисады, всѣ частоколы, въ которыхъ она поймана!

Я видѣлъ одну борьбу и одну побѣду...

ГЛАВА XLII

Coup d'état. — Прокуроръ покойной республики. — Гласъ коровій въ пустынѣ. — Высылка прокурора. — Порядокъ и цивилизація торжествуютъ.

„Vive la mort, друзья! И съ новымъ годомъ! Теперь будемъ послѣдовательны, не измѣнимъ собственной мысли, не испугаемся осуществленія того, что мы предвидѣли, не отречемся отъ знанія, до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Теперь будемъ сильны и постоимъ за наши убѣжденія.

„Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, ни отчаяваться. ни понурить голову. Совсѣмъ напротивъ, намъ надо ее поднять— мы оправданы. Насъ называли зловѣщими воронами, накликивающими бѣды, насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были тольло винсваты въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, одобреніемъ устрашенныхъ событіями въ Парижѣ.“

(Письма изъ Франціи и Италіи, Письмо XIV, Ницца, 31 Дек. 1851.)

Утромъ, помнится 4 Декабря, вошелъ ко мнѣ нашъ поваръ Pasquale Rocca и съ довольнымъ видомъ объя-

вилъ, что въ городѣ продаютъ афишы съ извѣщеніемъ о томъ, что „Бонапартъ разогналъ Собраніе и назначилъ *красное* правительство.“ Кто такъ усердно служилъ Наполеону и распространялъ, даже внѣ Франціи (тогда Ницца была итальянской), такіе слухи въ народѣ—не знаю, но каково должно быть число всякаго рода агентовъ, политическихъ кочегаровъ, взбивателей, подогрѣвателей, когда и на Ниццу хватило?

Черезъ часъ явились — Фогтъ, Орсини, Хоецкій, Матьё и др., всѣ были удивлены... Матьё, типическое лице изъ французскихъ революціонеровъ, былъ внѣ себя.

Лысый, съ черепомъ въ видѣ грецкаго орѣха, т. е. съ черепомъ чисто гальскимъ, не помѣстительнымъ, но упрямымъ, съ большой, темной и нечесаной бородой, съ довольно добрымъ выраженіемъ и маленькими глазами — Матьё походилъ на пророка, на юридиваго, на авгура и на его птицу. Онъ былъ юристъ и въ счастливые дни Февральской республики былъ гдѣ-то прокуроромъ или за прокурора. Революціонеръ онъ былъ до конца ногтей: онъ отдался революціи, такъ какъ отдаются религіи, съ полной вѣрой, никогда не дерзалъ ни понимать, ни сомнѣваться, ни мудрствовать лукаво, а любилъ и вѣрилъ, называлъ Ледрю-Роллена— Ледрррю и Луи-Блана — Бланомъ просто, говорилъ когда могъ citoyen и постоянно конспирировалъ.

Получивши вѣсть о 2 Декабрѣ, онъ исчезъ и возвратился черезъ два дня, съ глубокимъ убѣжденіемъ, что Франція поднялась, que cela chauffe и особенно на югѣ, въ Варскомъ департаментѣ, около Драгиньяна. Главное дѣло состояло въ томъ, чтобъ войти въ сношенія съ представителями возстанія... кой кого онъ видѣлъ и съ ними рѣшилъ ночью, перейдя Варъ на извѣстномъ мѣ-

стѣ, собрать на совѣщаніе людей важныхъ и надежныхъ... Но, чтобъ жандармы не могли догадаться, было положено съ обѣихъ сторонъ подавать сигналы „коровьимъ мычаніемъ.“ Если дѣло пойдетъ на ладъ, Орсини хотѣлъ привести всѣхъ своихъ друзей и, не совсѣмъ довѣряя вѣрному взгляду Матьё, самъ отправился вмѣстѣ съ нимъ черезъ границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, вѣрный своей революціонной и немного кондотьерской натурѣ, сталъ приготовлять своихъ товарищей и оружіе. Матьё пропалъ.

Черезъ сутки, ночью меня будитъ Рокка, часа въ четыре: „Два господина, прямо съ дороги, имъ очень нужно, говорятъ они, васъ видѣть. Одинъ изъ нихъ далъ эту записку.“ — „Гражданинъ, бога ради, какъ можно скорѣе, вручите подателю 300 или 400 фран., крайне нужно. Матьё.“

Я захватилъ деньги и сошелъ внизъ: въ полумракѣ сидѣли у окна двѣ замѣчательныя личности; привычный ко всѣмъ мундирамъ революціи, я все таки былъ пораженъ посѣтителями. Оба были покрыты грязью и глиной, съ колѣнъ до пятокъ, на одномъ былъ красный шарфъ, шерстяной и толстый; на обоихъ затасканныя пальто, по жилету поясъ, за поясомъ большіе пистолеты, остальное, какъ слѣдуетъ—всклокоченные волосы, большія бороды и крошечныя трубки. Одинъ изъ нихъ, сказавъ citoyen, произнесъ рѣчь, въ которой коснулся до моихъ цивическихъ добродѣтелей и до денегъ, которыя ждетъ Матьё. Я отдалъ деньги. — „Онъ въ безопасности?“ спросилъ я. „Да, отвѣчалъ его посолъ, мы сейчасъ идемъ къ нему за Варъ. Онъ покупаетъ лодку.“

— Лодку? за чѣмъ?

— Гражданинъ Матьё имѣетъ цѣлый планъ высадки

— гнусный трусъ лодочникъ не хотѣлъ дать въ наемъ лодку...

— Какъ, высадку во Франціи... съ одной лодкой...

— Пока, гражданинъ, это тайна.

— Comme de raison.

Прикажете росписку?

— Помилуйте, зачѣмъ.

На другой день явился самъ Матьё, точно также по уши въ грязи... и усталый до изнеможенія; онъ всю ночь мычалъ коровой, нѣсколько разъ казалось слышалъ отвѣтъ, шелъ на сигналъ и находилъ дѣйствительнаго быка или корову. Орсини, прождавъ его гдѣто часовъ десять къ ряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и какъ всегда со вкусомъ и чисто одѣтый, походилъ на человѣка, вышедшаго изъ своей спальной, а Матьё носилъ на себѣ всѣ признаки, что онъ нарушалъ спокойствіе государства и покушался возстать.

Началась исторія лодки. Долго ли до грѣха, сгубилъ бы онъ полдюжины своихъ, да полдюжины итальянцевъ. Остановить, убѣдить его было невозможно. Съ нимъ показались и военачальники, приходившіе ко мнѣ ночью — можно было быть увѣреннымъ, что онъ компрометируетъ не только всѣхъ французовъ, но и насъ всѣхъ въ Ниццѣ. Хоецкій взялся его угомонить и сдѣлалъ это артистомъ.

Окно Хоецкаго, съ небольшимъ балкономъ, выходило прямо на взморье. Утромъ онъ увидѣлъ Матьё, бродящаго съ таинственнымъ видомъ по берегу моря... Хоецкій сталъ ему дѣлать знаки; Матьё увидѣлъ и показалъ, что сейчасъ придетъ къ нему, но Хоецкій выразилъ страшнѣйшій ужасъ—телеграфировалъ ему руками неминуемую опасность, и требовалъ, чтобъ онъ подо-

шелъ къ балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочкахъ, подкрался. „Вы не знаете?“ спросилъ его Хоецкій — Что? — Въ Ниццѣ взводъ французскихъ жандармовъ.

— Что вы?

— Ш-ш-ш-ш... Ищутъ васъ и вашихъ друзей, хотятъ дѣлать у насъ домовой обыскъ—васъ сейчасъ схватятъ, не выходите на улицу.

— Violation du territoire... я буду протестовать.

— Непремѣнно, только теперь спасайтесь.

— Я въ St-Helène къ Герцену.

— Съ ума вы сошли. Прямо себя отдать въ руки, дача его на границѣ, съ огромнымъ садомъ, и не провѣдаютъ, какъ возьмутъ—да и Рокка видѣлъ уже вчера двухъ жандармовъ у воротъ.

Матьё задумался.—Идите моремъ къ Фогту, спрячьтесь у него покамѣсть, онъ, кстати, всего лучше вамъ дастъ совѣтъ.

Матьё берегомъ моря, т. е. вдвое дальше пошелъ къ Фогту и началъ съ того, что разсказалъ ему отъ доски до доски разговоръ съ Хоецкимъ. Фогтъ въ ту же минуту понялъ въ чемъ дѣло и замѣтилъ ему: „Главное, любезный Матьё, не теряйте ни минуты времени. Вамъ черезъ два часа надобно ѣхать въ Туринъ — за горой проходитъ дилижансъ, я возьму мѣсто и проведу васъ тропинкой.

— Я сбѣгаю домой за пожитками... и прокуроръ республики нѣсколько замялся.

— Это еще хуже, чѣмъ идти къ Герцену. Что вы, въ своемъ ли умѣ, за вами слѣдятъ жандармы, агенты, шпіоны. . . а вы домой цаловаться съ вашей толстой провансалкой, экой Селадонъ. Дворникъ! закричалъ Фогтъ (дворникъ его дома былъ крошечный нѣмецъ, уморительный, похожій на давно не мытый кофейникъ

и очень преданный Фогту),—пишите скорѣе, что вамъ нужна рубашка, платокъ, платье, онъ принесетъ, и, если хотите, приведетъ сюда вашу Дульцинею, цалуйтесь и плачьте сколько хотите.

Матьё отъ избытка чувствъ обнялъ Фогта.

Пришелъ Хоецкій. „Торопитесь, торопитесь," говорилъ онъ, съ зловѣщимъ видомъ.

Между тѣмъ, воротился дворникъ, пришла и Дульцинея—осталось ждать, когда дилижансъ покажется за горой. Мѣсто было взято.

– Вы вѣрно опять рѣжете гнилыхъ собакъ или кроликовъ? спросилъ Хоецкій у Фогта — quel chien de métier?..

— Нѣтъ.

— Помилуйте, у васъ такой запахъ въ комнатѣ, какъ въ катакомбахъ въ Неаполѣ.

— Я и самъ чувствую, но не могу понять, это изъ угла... вѣрно мертвая крыса подъ поломъ — страшная вонь, и онъ снялъ шинель Матьё, лежавшую на стулѣ. Оказалось, что запахъ идетъ изъ шинели.

— Что за чума у васъ въ шинели? спросилъ его Фогтъ.

— Ничего нѣтъ.

— Ахъ это вѣрно я—замѣтила, краснѣя, Дульцинея — я ему положила на дорогу фунтъ лимбургскаго сыра въ карманъ, un peu trop fait.

— Поздравляю вашихъ сосѣдей, въ дилижансѣ, кричалъ Фогтъ, хохоча, какъ онъ одинъ въ свѣтѣ умѣетъ хохотать. Ну однако пора.— Маршъ!

И Хоецкій съ Фогтомъ выпроводили агитатора въ Туринъ.

Въ Туринѣ Матьё явился къ министру внутреннихъ дѣлъ съ протестомъ. Тотъ его принялъ съ досадой и

смѣхомъ. „Какъ же вы могли думать, чтобъ французскіе жандармы ловили людей въ Сардинскомъ королевствѣ—вы нездоровы.“

Матьё сослался на Фогта и Хоецкаго.

„Ваши друзья, сказалъ министръ, надъ вами пошутили.“ Матьё написалъ Фогту; тотъ нагородилъ ему не знаю какой вздоръ въ отвѣтъ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкаго, и черезъ нѣсколько недѣль написалъ мнѣ письмо, въ которомъ между прочимъ писалъ: „Вы одинъ, гражданинъ, изъ этихъ господъ не участвовали въ коварномъ поступкѣ противъ меня...“

Къ характеристическимъ странностямъ этого дѣла принадлежитъ безъ сомнѣнія то, что возстаніе въ Варѣ было очень сильное, что народныя массы дѣйствительно поднялись и были усмирены оружіемъ, съ обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и тѣлохранители его, при всемъ усердіи и мычаніи, не знали, гдѣ къ нимъ примкнуть? Никто не подозрѣваетъ ни его, ни его товарищей, что они намѣренно ходили пачкаться въ грязи и глинѣ и не хотѣли идти туда, гдѣ была опасность—совсѣмъ нѣтъ. Это вовсе не въ духѣ французовъ, о которыхъ Дельфина Ге говорила: „что они всего боятся, за исключеніемъ ружейныхъ выстрѣловъ,“ и еще больше не въ духѣ de la démocratie militante и красной республики... Отчего же Матьё шелъ на право, когда возставшіе крестьяне были на лѣво?

Нѣсколько дней спустя—какъ желтый листъ, гонимый вихремъ — стали падать на Ниццу несчастныя жертвы подавленнаго возстанія. Ихъ было такъ много, что піэмонтское правительство, до поры, до времени, дозволило имъ остановиться какими-то биваками или цыганскимъ таборомъ возлѣ города. Сколько бѣдствій и несчастій видѣли мы на этихъ кочевьяхъ— это та страшная, за-

кулисная часть внутреннихъ войнъ, которая обыкновенно остается за большой рамой и пестрой декораціей вторыхъ Декабрей.

Тутъ были простые земледѣльцы, мрачно тосковавшіе о домѣ, о своей землицѣ, и наивно говорившіе: „Мы вовсе не возмутители и не partageux; мы хотѣли защищать порядокъ, какъ добрые граждане, ce sont ces coquins, которые насъ вызвали (т. е. чиновники, меры, жандармы), они измѣнили присягѣ и долгу--а мы теперь должны умирать съ голоду въ чужомъ краѣ или идти подъ военный судъ?... Какая же тутъ справедливость?“ —И дѣйствительно, coup d'état, въ родѣ втораго Декабря, убиваетъ больше, чѣмъ людей,—онъ убиваетъ всякую нравственность, всякое понятіе о добрѣ и злѣ у цѣлаго населенія, это такой урокъ разврата, который не можетъ пройти даромъ. Въ числѣ ихъ были и солдаты, troupiers, которые не могли сами надивиться, какъ они, вопреки дисциплины и приказаній капитана, очутились не съ той стороны, съ которой полкъ и знамя. Ихъ число, впрочемъ, не было велико.

Тутъ были простые, небогатые буржуа, которые на меня не дѣлаютъ того омерзительнаго впечатлѣнія какъ не простые—жалкіе, ограниченные люди, они кой-какъ съ трудомъ, между обмѣриваніемъ и обвѣшиваніемъ, усвоивая себѣ двѣ, три мысли и полумысли объ обязанностяхъ—возстали за нихъ, когда увидѣли, что ихъ святыня попрана.— „Это побѣда эгоизма, говорили они, да, да эгоизма, а ужъ гдѣ эгоизмъ, тутъ порокъ, надобно, чтобы каждый исполнялъ долгъ свой безъ эгоизма.“

Тутъ были, разумѣется, и городскіе работники, этотъ искренній и настоящій элементъ революціи, стремящейся декретировать la sociale — и въ ту же мѣру воздать буржуа и aristo, въ какую они имъ воздаютъ.

Наконецъ, тутъ были раненые—и страшно раненые. Я помню двоихъ крестьянъ среднихъ лѣтъ, доползшихъ, оставляя кровавый слѣдъ, отъ границы до предмѣстья, въ которомъ жители подняли ихъ полумертвыми. За ними гнался жандармъ, видя, что граница не далеко, онъ выстрѣлилъ въ одного и раздробилъ ему плечо... раненый продолжалъ бѣжать... жандармъ выстрѣлилъ еще разъ, раненый упалъ; тогда онъ поскакалъ за другимъ и нагналъ его сначала пулей, а потомъ самъ. Второй раненый сдался, жандармъ въ торопяхъ привязалъ его къ лошади и вдругъ хватился перваго... тотъ доползъ до перелѣска и пустился бѣжать... догнать его верхомъ было трудно, особенно съ другимъ раненымъ, оставить лошадь невозможно... *Жандармъ выстрѣлилъ* „à bout portant“ *плънному въ голову, сверху внизъ*, тотъ упалъ замертво, пуля раздробила ему всю правую сторону лица, всѣ кости. Когда онъ пришелъ въ себя—никого не было... онъ добрался по знакомымъ тропинкамъ, протоптаннымъ контрабандистами до Вара, и перешелъ его, исходя кровью; тутъ онъ нашелъ совершенно истощеннаго товарища и съ нимъ *дожилъ* до первыхъ домовъ St. Helène. Тамъ, какъ я сказалъ, ихъ спасли жители. Первый раненый говорилъ, что послѣ выстрѣла онъ зарылся въ какіе-то кусты, что онъ потомъ слышалъ голоса, что охотникъ-жандармъ вѣрно настигъ другихъ и поэтому удалился.

Каково усердіе французской полиціи!

За нимъ слѣдовало усердіе меровъ, ихъ помощниковъ, прокуроровъ *республики* и префектовъ, оно показалось при подачѣ и счетѣ голосовъ; все это исторіи чисто французскія, извѣстныя всему міру. Скажу только, что въ отдаленныхъ мѣстахъ мѣры для достиженія огромнаго большинства при вотированіи были взяты съ сель-

ской простотой. По ту сторону Вара, въ первомъ мѣстечкѣ меръ и жандармскій brigadier сидѣли возлѣ урны и смотрѣли какой бюльтень кто кладетъ, тутъ же говоря, что они свернутъ потомъ въ бараній рогъ всякого *бунтовщика*. Казенные бюльтени были печатаны на особой бумагѣ—ну такъ и вышло, что во всемъ мѣстечкѣ нашлось, не знаю, пять или десять смѣльчаковъ безпардонныхъ, вотировавшихъ противъ плебисцита; остальные, и съ ними вся Франція, вотировали имперію in spe.

OCEANO NOX

(1851)

I.*)

...Ночью, съ 7 на 8 Іюля, часу во второмъ, я сидѣлъ на ступенькѣ Кариньянскаго дворца въ Туринѣ; площадь была совершенно пуста, поодаль отъ меня дремалъ нищій, часовой тихо ходилъ взадъ и впередъ, насвистывая пѣсню изъ какой-то оперы и побрякивая ружьемъ... Ночь была горячая, теплая, пропитанная *запахомъ* широкко.

Мнѣ было необычайно хорошо, такъ какъ не бывало давно; я опять почувствовалъ, что я еще молодъ и силенъ силами въ груди, что у меня есть друзья и вѣрованія, что я полонъ любовью, какъ тринадцать лѣтъ передъ тѣмъ. Сердце билось такъ, какъ я отвыкъ чувствовать въ послѣднее время. Оно билось, какъ въ тотъ

*) Этотъ отрывокъ (никогда еще не печатавшійся) принадлежитъ къ той части „Былаго и Думы," которая будетъ издана гораздо позже, и для которой я писалъ всѣ остальныя. Нѣсколько строкъ о страшномъ происшествіи, бывшемъ 16 Ноября 1851—въ запискахъ Орсини, принимавшаго самое горячее участіе въ несчастіи, поразившемъ меня, были поводомъ, что я напечаталъ второй отрывокъ въ „Полярной Звѣздѣ" 1859.

мартовскій день 1838, когда я, завернувшись въ плащъ, ждалъ Кетчера у фонарнаго столба, на Поварской.

Я и теперь ждалъ свиданья, свиданья съ *той же* женщиной, и ждалъ, можетъ, еще съ большей любовью, хотя къ ней и примѣшивались грустныя, черныя ноты; но въ эту ночь ихъ было мало слышно. Послѣ безумнаго кризиса горести, отчаянія, набѣжавшаго на меня при моемъ проѣздѣ черезъ Женеву, мнѣ стало лучше. Кроткія письма Natalie, исполненныя грусти, слезъ, боли, любви, довершили мое выздровленіе. Она писала, что ѣдетъ изъ Ниццы въ Туринъ мнѣ на встрѣчу, что ей хотѣлось бы пробыть нѣсколько дней въ Туринѣ. Она была права: намъ надобно было еще разъ однимъ всмотрѣться другъ въ друга, выжать другъ другу кровь изъ ранъ, утереть слезы и, наконецъ, узнать окончательно, *есть ли* для насъ общее счастіе, — и все это наединѣ, даже безъ дѣтей, и, притомъ, *въ другомъ* мѣстѣ, не при той обстановкѣ, гдѣ мебель, стѣны, могли не во-время что нибудь напомнить, шепнуть какое нибудь полузабытое слово.

Почтовая карета должна была во второмъ часу придти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждалъ у сумрачнаго Кариньянскаго дворца, недалеко отъ него она должна была заворачивать.

Я пріѣхалъ въ этотъ же день утромъ изъ Парижа, черезъ Mont-Cenis; въ hôtel Feder мнѣ дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мнѣ нравился этотъ праздничный видъ, онъ былъ кстати. Я велѣлъ приготовить небольшой ужинъ и пошелъ бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъѣзжала къ почтовому дому, Natalie узнала меня. „Ты тутъ!“ сказала она, кланяясь въ окно. Я отворилъ дверцы и она бросилась ко мнѣ на

шею съ такой восторженной радостью, съ такимъ выраженіемъ любви и благодарности, что у меня въ памяти мелькнули, какъ молнія, слова изъ ея письма: „Я возвращаюсь, какъ корабль, въ свою родную гавань послѣ бурь, караблекрушеній и несчастій — сломанный, но спасенный.“

Одного взгляда, двухъ - трехъ словъ было за глаза довольно... все было понято и объяснено; я взялъ ея небольшой дорожный мѣшокъ, перебросилъ его на трости за спину, подалъ ей руку и мы весело пошли по пустымъ улицамъ въ отель. Тамъ всѣ спали, кромѣ швейцара. На накрытомъ столѣ стояли двѣ незажженныя свѣчи, хлѣбъ, фрукты и графинъ вина; я никого не хотѣлъ будить, мы зажгли свѣчи и, сѣвши за пустой столъ, взглянули другъ на друга и разомъ вспомнили Владимірское житье.

На ней было бѣлое кисейное платье или блуза, надѣтая на дорогу отъ палящаго жара, и при первомъ свиданіи нашемъ, когда я пріѣзжалъ изъ ссылки, она была также вся въ бѣломъ и вѣнчальное платье было бѣлое. Даже лицо ея, носившее рѣзкіе слѣды глубокихъ потрясеній, заботъ, думъ и страданій, напоминало выраженіемъ черты того времени.

И мы сами были тѣ же, только теперь мы подавали другъ другу руку, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга, и въ какую-то исключительность нашей судьбы, а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость..... едва уцѣлѣвшіе отъ тяжелыхъ ударовъ и неисправимыхъ ошибокъ. Вновь отправляясь въ путь, мы, не считаясь, раздѣлили печальную ношу былаго. Съ этой ношей приходилось идти болѣе скромнымъ шагомъ, но внутри на-

болѣвшихъ душъ сохранилось все для возмужалаго, отстоявшагося счастія. По ужасу и тупой боли, еще яснѣе разглядѣли мы, какъ мы не разнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, дѣтьми.

Въ эту встрѣчу все было кончено, оборванные концы срослись, не безъ рубца, но крѣпче прежняго; такъ срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшія на глазахъ, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу. Я видѣлъ ея борьбу, ея мученье, я видѣлъ, какъ она изнемогала. Она видѣла меня слабымъ, несчастнымъ, оскорбленнымъ, оскорбляющимъ, готовымъ на жертву и на преступленіе.

Мы слишкомъ большой платой заплатили другъ за друга, чтобъ не понимать, чего мы стоимъ, и какъ дорого мы обошлись другъ другу. „Въ Туринѣ, писалъ я, въ началѣ 1852, было наше второе вѣнчаніе; его смыслъ можетъ быть глубже и знаменательнѣе перваго, онъ совершился съ полнымъ сознаніемъ всей отвѣтственности, которую мы вновь брали въ отношеніи другъ къ другу, онъ совершился въ виду страшныхъ событій...“

Любовь какимъ-то чудомъ пережила ударъ, который долженъ былъ ее разрушить.

Послѣднія, темныя облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно послѣ разлуки въ нѣсколько лѣтъ; день давно сквозилъ яркими полосами въ опущенныя жалузи, когда мы встали изъ за пустого стола...

Дня черезъ три, мы поѣхали вмѣстѣ домой въ Ниццу по Ривьерѣ, мелькнула Генуя, мелькнулъ Ментоне, гдѣ мы такъ часто бывали и въ такомъ розномъ настроеніи духа, мелькнуло Монако, врѣзывающееся въ море бархатной травой и бархатнымъ пескомъ; все

встрѣчало насъ весело, какъ старые друзья послѣ размолвки, а тутъ виноградники, рощи розъ, померанцовыхъ деревьевъ и море, стелящееся передъ домомъ, и дѣти, играющіе на берегу... вотъ они узнали, бросились не встрѣчу. *Мы дома.*

Спасибо судьбѣ за эти дни, за эту треть года, шедшаго за ними: ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вѣчная язычница, увѣнчала обреченныхъ на жертву пышнымъ вѣнкомъ осеннихъ цвѣтовъ... и усыпала хоть на время своимъ макомъ и благоуханіемъ!

Пропасти, дѣлившія насъ, исчезли, берега сдвинулись. Развѣ это не та же рука, которая черезъ всю жизнь была въ моей рукѣ, и развѣ это не тотъ же взглядъ, только иногда онъ мутится отъ слезъ? „Успокойся же сестра, другъ, товарищъ, вѣдь все прошло—и мы тѣ же, какъ въ юные, святые, свѣтлые годы!“

... „Послѣ страданій, которыхъ, можетъ, ты знаешь мѣру, иныя минуты полны блаженства; всѣ вѣрованія дѣтства, юности, не только совершились, но прошли сквозь страшныя испытанія, не утративъ ни свѣжести, ни аромата, и разцвѣли съ новымъ блескомъ и новой силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь,“ писала она своему другу въ Россію.

Разумѣется, отъ прошлаго остался осадокъ, до котораго нельзя было касаться безнаказанно: что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлюшій испугъ и боль.

Прошедшее не корректурный листъ, а ножъ гильотины, послѣ его паденія многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, какъ отлитое въ металѣ, подробное, неизмѣнное, темное, какъ бронза. Люди вообще забываютъ только то, чего не стоитъ по-

мнить, или чего они не понимаютъ. Дайте иному забыть два-три случая, такія-то черты, такой-то день, такое-то слово, и онъ будетъ юнъ, смѣлъ, силенъ, а съ ними онъ идетъ какъ ключъ ко дну. Не надобно быть Макбетомъ, чтобъ встрѣчаться съ тѣнью Банко; тѣни не уголовные судьи, не угрызенія совѣсти, *а несокрушимыя событія памяти.*

Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имѣетъ свои права, оно фактъ, съ нимъ надобно *сладить*, а не забыть его,—и мы шли къ этому дружными шагами,

... Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая нибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я въ то же мгновеніе встрѣчалъ испуганный взглядъ, смотрѣвшій на меня съ безконечной мукой и говорившій: „Да, ты правъ, иначе и быть не можетъ, но—“ и я старался разгонять набѣжавшія тучи.

Святое время примиренья, я вспоминаю о немъ сквозь слезы...

... Нѣтъ, не *примиренья*, это слово не идетъ. Слова, какъ гуртовыя платья, въ пору до „извѣстной степени“ *всѣмъ* людямъ одинакого роста и плохо одѣваютъ каждаго *отдѣльно.*

Намъ нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали другъ о другѣ, но не расходились. Въ самыя мрачныя минуты, какое-то неразрывное единство, безсомнѣнное для обоихъ, и глубокое уваженіе другъ къ другу были присущи. Мы походили скорѣе на людей, оправляющихся послѣ тяжкой горячки, чѣмъ на помирившихся: бредъ прошелъ, мы узнали другъ друга взглядомъ, нѣсколько слабымъ и мутнымъ. Боль

вынесенная была памятна, утомленіе ощутительно, но вѣдь мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

..... Мысль, нѣсколько разъ прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотѣла написать свою Исповѣдь. Она была недовольна ея началомъ, жгла листки, одно длинное письмо и одна страничка уцѣлѣли..... По нимъ можно судить о томъ, что пропало..... Читая ихъ, становится жутко, чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающаго и теплаго сердца, чувствуешь шопотъ этихъ беззвучныхъ тайнъ, вѣчно скрытыхъ, едва просыпающихся въ сознаніи. Въ этихъ строкахъ можно было уловить, какъ мучительная борьба переходила въ новый закалъ и боль въ мысль. Еслибъ этотъ трудъ не былъ грубо прерванъ, онъ составилъ бы великій антецедентъ, въ замѣну уклончиваго молчанія женщины и надменнаго покровительства ея — мужчиной; но самый безсмысленный ударъ разразился надъ нашей головой и окончательно все разбилъ.

II

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...
V. Hugo.

Такъ оканчивалось лѣто 1851. Мы были почти совсѣмъ одни. Моя мать съ Колей и съ Шпильманомъ уѣхали погостить въ Парижѣ къ М. К. Тихо проводили мы время съ дѣтьми. Казалось, всѣ бури были назади.

Въ Ноябрѣ мы получили письмо отъ моей матери, что она скоро выѣзжаетъ, потомъ другое изъ Марселя,

въ которомъ она писала, что на другой день, 15 Ноября, они садятся на пароходъ и ѣдутъ къ намъ. Во время ея отсутствія, мы переѣхали въ другой домъ также на берегу моря, въ предмѣстьи С. Еленъ. Въ домѣ этомъ съ большимъ садомъ было помѣщеніе для моей матери; мы убрали ея комнату цвѣтами, нашъ поваръ досталъ съ Сашей китайскихъ фонарей и развѣсилъ ихъ по стѣнамъ и деревьямъ. Все было готово — дѣти часовъ съ трехъ не сходили съ террасы; наконецъ, въ шестомъ часу на горизонтѣ отдѣлилась отъ моря темная струйка дыма, а черезъ нѣсколько минутъ показался и пароходъ, стоявшій неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у насъ, Франсуа пустился на пристань, я сѣлъ въ коляску и поѣхалъ туда же.

Когда я пріѣхалъ на пристань, пароходъ уже вошелъ, лодки ждали кругомъ разрѣшенія sanitá сходить пассажирамъ. Одна изъ нихъ подъѣзжала къ дебаркадеру, на ней стоялъ Франсуа. „Какъ, спросилъ я, вы уже назадъ ѣдете?“

Онъ мнѣ не отвѣчалъ; я взглянулъ на него и обмеръ; онъ былъ зеленаго цвѣта и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. — Что это? спросилъ я, вы больны? — Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, минуя мой взглядъ, только наши не пріѣхали. — Какъ не пріѣхали? — Тамъ что-то съ пароходомъ случилось, такъ не всѣ пассажиры пріѣхали. Я бросился въ лодку и велѣлъ скорѣе отчаливать.

На пароходѣ меня встрѣтили съ какимъ-то зловѣщимъ почетомъ и съ совершеннымъ молчаніемъ. Самъ капитанъ дожидался меня; все это совсѣмъ не въ обычаяхъ, и я ждалъ чего нибудь ужаснаго. Капитанъ сказалъ мнѣ, что между островомъ Іеромъ и материкомъ пароходъ, на которомъ была моя мать, стол-

кнулся съ другимъ и пошелъ ко дну, что большая часть пассажировъ взяты имъ и другимъ пароходомъ, шедшимъ мимо. У меня, сказалъ онъ, только двѣ молодыя дѣвушки изъ вашихъ, и повелъ меня на переднюю палубу — всѣ разступились съ тѣмъ же мрачнымъ молчаніемъ. Я шелъ безсмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нея, высокая, стройная дѣвушка, лежала на палубѣ съ растрепанными и мокрыми волосами; возлѣ нея горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая дѣвушка хотѣла приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась въ другую сторону.

— Что же это, наконецъ? Гдѣ они? спросилъ я, болѣзненно схвативши руку горничной.

— Мы ничего не знаемъ, отвѣчала она, пароходъ потонулъ — насъ замертво вытащили изъ воды. Какая то англичанка дала намъ свои платья, чтобъ переодѣться.

Капитанъ грустно посмотрѣлъ на меня, потресъ мою руку и сказалъ: „Отчаяваться не надо, съѣздите въ Іеръ, быть можетъ и найдете кого нибудь изъ нихъ.“

Поручивъ Энгельсону и Франсуа больныхъ, я поѣхалъ домой въ какомъ-то ошеломленіи; все въ головѣ было смутно и дрожало внутри, я желалъ, чтобъ домъ нашъ былъ за тысячу верстъ. Но вотъ блеснуло что-то между деревьевъ, еще и еще; это были фонарики, зажженные дѣтьми. У воротъ стояли наши люди, Тата и Natalie съ Олею на рукахъ.

— Какъ, ты одинъ? — спросила меня спокойно Natalie, да ты хоть бы Колю привезъ.

— Ихъ нѣтъ — сказалъ я — съ ихъ пароходомъ что-то случилось, надобно было перейти на другой, тотъ не всѣхъ взялъ. Луиза здѣсь.

— *Ихъ нѣтъ!* вскрикнула Natalie. — Я теперь только разглядѣла твое лицо: у тебя глаза мутны, всѣ черты искажены. Бога ради, что такое?

— Я ѣду ихъ искать въ Іеръ.

Она покачала головой и прибавила: — Ихъ нѣтъ! ихъ нѣтъ! потомъ молча приложила лобъ къ моему плечу. Мы прошли алеей, не говоря ни слова: я привелъ ее въ столовую; проходя, я шепнулъ Роккѣ: „Бога ради, фонари“; онъ понялъ меня и бросился ихъ тушить. Въ столовой все было готово — бутылка вина стояла во льду, передъ мѣстомъ моей матери букетъ цвѣтовъ, передъ мѣстомъ Коли—новыя игрушки.

Страшная вѣсть быстро разнеслась по городу, и домъ нашъ сталъ наполняться близкими знакомыми, какъ Фогтъ, Тесье, Хоецкій, Орсини, и даже совсѣмъ посторонними: одни хотѣли узнать, что случилось, другіе показать участіе, третьи совѣтовать всякую всячину, большей частью вздоръ. Но не буду неблагодаренъ, участіе, которое мнѣ тогда оказали въ Ниццѣ, меня глубоко тронуло. Передъ такими безсмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуютъ свою связь.

Я рѣшился въ ту же ночь ѣхать въ Іеръ. Natalie хотѣла ѣхать со мной; я уговорилъ ее остаться; къ тому же погода круто перемѣнилась, подулъ мистраль, холодный какъ ледъ и съ сильнымъ дождемъ. Надобно было достать пропускъ во Францію, черезъ Варскій мостъ; я поѣхалъ къ Леону Пиле, французскому консулу; онъ былъ въ оперѣ; я отправился къ нему въ ложу съ Хоецкимъ; Пиле, уже прежде что-то слышавшій о случившемся, сказалъ мнѣ: „Я не имѣю права дать вамъ позволеніе, но есть обстоятельства, въ которыхъ отказъ былъ бы преступленіемъ. Я вамъ дамъ на свою

отвѣтственность билетъ для пропуска черезъ границу —приходите за нимъ черезъ полчаса въ консулатъ.“

У входа въ театръ меня ждали человѣкъ десять изъ тѣхъ, которые были у насъ. Я имъ сказалъ, что Леонъ Ипле даетъ билетъ.

— „Поѣзжайте домой и не хлопочите ни о чемъ,“ говорили мнѣ со всѣхъ сторонъ; „остальное будетъ сдѣлано—мы возьмемъ билетъ, визируемъ его въ интенданствѣ, закажемъ почтовыхъ лошадей.“ Хозяинъ моего дома, бывшій тутъ, побѣжалъ доставать карету; содержатель гостинницы предложилъ безденежно свою.

Въ 11 часовъ вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы вѣтра были иной разъ до того сильны, что лошади останавливались ; море, въ которомъ такъ недавно были похороны, едва видное въ темнотѣ, билось и ревѣло. Мы поднимались на Эстрель, дождь замѣнился снѣгомъ, лошади спотыкались и чуть не падали отъ гололедицы. Нѣсколько разъ почтальонъ, выбившись изъ силъ, принимался грѣться; я ему подавалъ мою фляжку съ коньякомъ и, обѣщая двойные прогоны, упрашивалъ торопиться.

Зачѣмъ? Вѣрилъ ли я въ возможность, что найду кого нибудь изъ нихъ, что кто нибудь спасся? Трудно было предполагать это, послѣ всего слышаннаго — но поискать, взглянуть на самое мѣсто, найти вещь, тряпку, увидѣть очевидца наконецъ... была потребность убѣдиться, что нѣтъ надежды, и потребность что нибудь дѣлать, не быть дома, придти въ себя.

Пока на Эстрелѣ мѣняли лошадей, я вышелъ изъ кареты, сердце мое сжалось и я чуть не зарыдалъ, осмотрѣвшись; это было возлѣ той самой таверны, въ которой мы провели ночь въ 1847 г. Я вспомнилъ огромныя деревья, осѣнявшія ее; тотъ же видъ стлался передъ

нею, только тогда онъ былъ освѣщенъ восходящимъ солнцемъ, а теперь скрывался за сѣрыми не итальянскими тучами и мѣстами бѣлѣлъ отъ снѣга.

Живо представилось мнѣ то время, со всѣми мельчайшими подробностями: я вспомнилъ, какъ хозяйка насъ подчивалъ зайцомъ, тухлость котораго была заморена страшнымъ количествомъ чеснока, какъ въ спальной летали летучія мыши, какъ я ихъ гонялъ съ нашей Лупзой полотенцомъ, и какъ на насъ вѣяло въ первый разъ теплымъ южнымъ воздухомъ...

Тогда я писалъ: — „Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится югъ. Для человѣка, вѣчно жившаго на сѣверѣ, первая встрѣча съ южной природой исполнена торжественной радости—юнѣешь, хочется пѣть, плясать, плакать; все такъ ярко, свѣтло, весело, роскошно. Послѣ Авиньона намъ надобно было переѣзжать приморскія Альпы. Въ лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цѣпи горъ вырѣзывались изъ за утренняго тумана, лучъ солнца орумянилъ ослѣпительныя снѣжныя вершины; кругомъ яркая зелень, цвѣты, рѣзкія тѣни, огромныя деревья, и мрачныя скалы, едва покрытыя бѣдной и жесткой растительностью; воздухъ былъ упоителенъ, необычайно прозраченъ, освѣжающъ и звонокъ, наши слова, пѣнье птицъ раздавались громче обыкновеннаго, и вдругъ на небольшомъ изгибѣ дороги блеснуло каймой около горъ и задрожало серебряннымъ огнемъ Средиземное море.“ *)

И вотъ черезъ четыре года я снова на томъ же мѣстѣ!...

Прежде ночи мы не могли пріѣхать въ Іеръ, я тотчасъ отправился къ комисару полиціи; съ нимъ и съ

*) „Письма изъ Франціи и Италіи.“

жандармскимъ бригадиромъ пошли мы сначала къ морскому комисару. У него были разныя спасенныя вещи; я ничего въ нихъ не нашелъ. Потомъ мы пошли въ больницу: одинъ изъ утопавшихъ отходилъ, другіе сообщили мнѣ, что они видѣли пожилую женщину, ребенка лѣтъ пяти и съ нимъ молодаго человѣка, съ бѣлокурой, окладистой бородой... что они видѣли ихъ въ самую послѣднюю минуту, и что, стало быть, они такъ же пошли ко дну, какъ и всѣ. Но тутъ-то снова и являлся вопросъ: вѣдь разсказывавшіе были же живы, хотя и они, какъ Луиза и горничная, порядкомъ не помнили, какъ спаслись.

Найденныя тѣла лежали въ криптѣ монастыря; мы пошли туда изъ больницы; сестры милосердія встрѣтили насъ и повели освѣщая намъ дорогу церковными свѣчами. Въ криптѣ стоялъ рядъ вновь сколоченныхъ ящиковъ, въ каждомъ ящикѣ было одно тѣло. Комисаръ велѣлъ ихъ раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадиръ послалъ жандарма за долотомъ и велѣлъ ему потомъ взламывать одну крышку за другой.

Этотъ осмотръ тѣлъ былъ не человѣчески тяжелъ. Комисаръ держалъ въ рукѣ книжку и какимъ-то офиціальнымъ тономъ спрашивалъ, при вскрытіи каждаго ящика: „Вы свидѣтельствуете, въ присутствіи нашемъ, что тѣло это вамъ незнакомо“; я кивалъ головой, комисаръ мѣтилъ карандашемъ и, обращаясь къ жандарму, приказывалъ снова закрыть. Мы переходили къ другому. Жандармъ приподнималъ крышу, я съ какимъ-то ужасомъ бросалъ взглядъ на покойника, и словно было легче, когда встрѣчалъ незнакомыя черты, а въ сущности еще страшнѣе было думать, что всѣ трое пропали такъ безслѣдно, такъ заброшенно лежатъ на днѣ моря, носятся волнами. Тѣло безъ гроба, безъ могилы стра-

шнѣе всякихъ похоронъ, а тутъ не было и самихъ покойниковъ.

Я никого не нашелъ. Одно тѣло поразило меня: женщина лѣтъ двадцати, красавица, въ нарядномъ провансальскомъ костюмѣ; ея грудь была обнажена, (съ нею былъ ребенокъ, разумѣется, унесенный волнами) и струя молока сочилась еще, скатываясь по груди. Лице ея нисколько не измѣнилось, смуглый загаръ придавалъ ей совершенно живой видъ.

Бригадиръ не вытерпѣлъ и замѣтилъ: „экая прелесть какая!“ Комисаръ ничего не прибавилъ, жандармъ, накрывши ее, замѣтилъ бригадиру: „я зналъ ее, она изъ здѣшнихъ подгородныхъ крестьянокъ, ѣхала къ мужу въ Грасъ. Пусть подождетъ!“

Моя мать, мой Коля и нашъ добрый Шпильманъ исчезли безслѣдно, ничего не осталось отъ нихъ; между спасенными вещами не было ни лоскутка имъ принадлежащаго, сомнѣніе въ ихъ гибели было невозможно. Всѣ спасшіеся были или въ Іерѣ, или на томъ же пароходѣ, который привезъ Луизу. Капитанъ выдумалъ для моего успокоенія какую-то сказку.

Въ Іерѣ мнѣ разсказывали еще о пожиломъ человѣкѣ, потерявшемъ всю семью, который не хотѣлъ оставаться въ больницѣ и ушелъ куда-то пѣшкомъ безъ денегъ, въ состояніи близкомъ къ помѣшательству, и о двухъ англичанкахъ, отправившихся къ англійскому консулу: онѣ лишились матери, отца и брата!

Дѣло шло къ разсвѣту, я велѣлъ привести лошадей. Передъ отъѣздомъ гарсонъ водилъ меня на часть берега, выдавшуюся въ морѣ, и оттута показывалъ мѣсто кораблекрушенія. Море еще кипѣло и волновалось, сѣдое и мутное отъ вчерашней бури; вдали, на одномъ мѣстѣ, качалось какое-то особенное пятно, словно болѣе

густая, прозрачная влага. „Пароходъ везъ грузъ масла, видите оно остоялось, вотъ тутъ и было несчастіе.“ Это всплывшее пятно было *все*.

— А глубоко тутъ?

— Метровъ сто восемьдесятъ будетъ. Я постоялъ, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, какъ вчера, дулъ, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!... Сто восемьдесятъ метровъ глубины и носящееся пятно масла!

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues,
Vous roulerez a travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts des écueils inconnus...

Съ страшной достовѣрностью пріѣхалъ я назадъ. Едва, едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. Со дня гибели моей матери и Коли, она не выздоравливала больше. Испугъ, боль остались, — вошли въ кровь. Иногда вечеромъ, ночью она говорила мнѣ, какъ бы прося моей помощи: „Коля, Коля не оставляетъ меня, бѣдный Коля, какъ онъ чай испугался, какъ ему было холодно, а тутъ рыбы, омары!“ Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцѣлѣла въ карманѣ у горничной — и наставало молчаніе, то молчаніе, въ которое жизнь утекаетъ, какъ въ поднятую плотину. При видѣ этихъ страданій, переходившихъ въ нервную болѣзнь, при видѣ ея блестящихъ глазъ и увеличивающейся худобы, я въ первый разъ усомнился, спасу ли я ее... въ мучительной неувѣренности тянулись дни, что-то въ родѣ существованія людей, между приговоромъ и казнію, когда человѣкъ разомъ надѣется и навѣрно знаетъ—что онъ отъ топора не уйдетъ!

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ

РУССКІЯ ТѢНИ

I

Н. И. САЗОНОВЪ

Сазоновъ, *Бакунинъ*, *Парижъ*. — Имена эти, люди эти, городъ этотъ такъ и тянутъ назадъ... назадъ — въ даль лѣтъ, въ даль пространствъ, во времена юношескихъ конспирацій — во времена философскаго культа и революціоннаго идолопоклонства *).

Мнѣ слишкомъ дороги наши *двѣ юности*, чтобъ опять не пріостановиться на нихъ... Съ Сазоновымъ я дѣлилъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ наши отроческія фантазіи о заговорѣ à la Ріензи — съ Бакунинымъ десять лѣтъ спустя, въ потѣ мозга завоевывалъ Гегеля.

О Бакунинѣ я говорилъ и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ — въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между комунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процесъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи — гдѣ онъ исчезъ за страшными стѣнами Алексѣевскаго равелина — дѣлаютъ изъ него

*) Этотъ очеркъ принадлежитъ къ XXXIV гл., Т. VIII, стр. 219.

одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Бакунинъ носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцемъ. Поставьте его куда хотите, только въ *крайній край*, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клотца, другомъ Гракха Бабёфа — и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ; —

Но здѣсь, подъ гнетомъ власти царской,

Колумбъ безъ Америки и корабля, онъ, послуживъ противъ воли года два въ артиллеріи, да года два въ московскомъ гегелизмѣ, торопился оставить край, въ которомъ мысль преслѣдовалась, какъ дурное намѣреніе и независимое слово, какъ оскорбленіе общественной нравственности.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвращался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгуновъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цѣлесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мретъ, глохнетъ, не видавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Примѣръ Сазонова еще рѣзче. Сазоновъ прошелъ безслѣдно и смерть его такъ же никто не замѣтилъ, какъ всю его жизнь. Онъ умеръ, не исполнивъ ни одной надежды изъ тѣхъ, которыя клали на него его друзья. Легко сказать, что онъ виноватъ въ своей судьбѣ; но

какъ оцѣнить и взвѣсить долю, падающую на человѣка, и ту, которая падаетъ на среду.

Николаевское время была временемъ нравственнаго душегубства, оно убивало не одними рудниками и бѣлыми ремнями, а своей удушающей, понижающей атмосферой, своими, такъ сказать, отрицательными ударами.

Хоронить затянувшіяся существованія того времени, выбившіяся изъ силъ, усиливаясь стащить съ мѣли глубоко врѣзавшуюся въ песокъ барку нашу — моя спеціальность. Я ихъ Домажировъ, теперь всѣми забытый, а нѣкогда всѣмъ въ Москвѣ извѣстный старикъ, отставной ординарецъ Прозоровскаго. Пудреный, въ свѣтло-зеленомъ павловскомъ мундирѣ, являлся онъ на всѣ выносы, на которыхъ бывалъ архіерей, становился впередъ процессіи и велъ ее, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

... На второй годъ университетскаго курса, то есть осенью 1831, мы встрѣтили въ числѣ новыхъ товарищей, въ физико-математической аудиторіи двоихъ, съ которыми особенно сблизились.

Наши сближенія, симпатіи и антипатіи шли изъ одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религіи: наука, искуство, связи, родительскій домъ, общественное положеніе. Тамъ, гдѣ открывалась возможность обращать, проповѣдывать, тамъ мы были со всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Мы вошли въ аудиторію съ твердой цѣлью въ ней основать зерно общества по образу и подобію Декабристовъ и потому искали прозелитовъ и послѣдователей. Первый товарищъ, ясно понявшій насъ, былъ Сазоновъ, мы нашли его совсѣмъ готовымъ, и тотчасъ подружились.

Онъ сознательно подалъ свою руку и на другой день привелъ намъ еще одного студента.

Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія и рѣзкое самолюбіе. Ему было лѣтъ восемнадцать, скорѣе меньше, но, не смотря на то, онъ много занимался и читалъ все на свѣтѣ. Надъ товарищами онъ старался брать верхъ и никого не ставилъ на одну доску съ собой. Оттого они его больше уважали, чѣмъ любили. Другъ его, красивый собой и нѣжный, какъ дѣвушка, совсѣмъ напротивъ, искалъ къ кому бы пріютиться; полный любви и преданности, едва вышедшій изъ подъ материнскаго крыла съ благородными стремленіями и полудѣтскими мечтами, ему хотѣлось теплоты, нѣжности, онъ жалля къ намъ и отдавался весь и намъ и нашей идеѣ — это была натура Владиміра Ленскаго, натура Веневитинова.

... День, въ который мы сѣли рядомъ на одной изъ лавокъ амфитеатра и взглянули другъ на друга, съ сознаніемъ нашего обрѣченія, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, нашей вѣры въ святость дѣла—и взглянули съ гордой любовью на это множество молодыхъ, прекрасныхъ головъ, окружавшихъ насъ, какъ на братственную паству,—былъ великимъ днемъ въ нашей жизни. Мы подали другу руку и à la lettre, пошли пропокѣдывать свободу и борьбу во всѣ четыре стороны нашей молодой „вселенной“ *) какъ четыре діакона, идушіе въ свѣтлый праздникъ съ четырьмя Евангеліями въ рукахъ.

Проповѣдывали мы вездѣ, всегда..... Что мы собственно проповѣдывали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповѣдывали Декабристовъ и французскую революцію, потомъ ироповѣдывали Сенъ-Симонизмъ и туже революцію, мы проповѣдывали конституцію и республи-

*) Universitas.

ку, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточеніе силъ въ одномъ обществѣ. Но пуще всего проповѣдывали ненависть къ всякому насилью, къ всякому правительственному произволу.

Общества въ сущности никогда не составлялось; но пропаганда наша пустила глубокіе корни во всѣ факультеты и далеко перешла университетскія стѣны.

Съ тѣхъ поръ, наша пропаганда не перемежалась черезъ всю жизнь нашу, отъ университетской аудиторіи до Лондонской типографіи. Вся наша жизнь была посильнымъ исполненіемъ отроческой программы. Прослѣдить нитку не трудно по затронутымъ вопросамъ, по возбужденнымъ интересамъ, въ журналахъ, на лекціяхъ, въ литературныхъ кругахъ... видоизмѣняясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась вѣрной себѣ и вносила свой *индивидуальный* характеръ во все окружающее. Казна подняла насъ и сдѣлала намъ на свой счетъ пьедесталъ *тюрьмой* и *ссылкой*. Мы возвратились въ Москву „авторитетами“ въ двадцать пять лѣтъ. Къ намъ примкнули Бѣлинскій, Грановскій и Бакунинъ, а статьями въ *Отечественныхъ Запискахъ*, мы сами примкнули къ Петербургскому движенію лицеистовъ и молодой литературы. Петрашевцы были нашими меньшими братьями, какъ Декабристы старшими.

Умалчивать о значеніи нашего круга—оттого, что я принадлежалъ къ нему, было бы лицемѣрно или глупо. Совсѣмъ напротивъ, встрѣчаясь въ моихъ разсказахъ съ тѣми временами, съ старыми друзьями тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, я нарочно останавливаюсь, и говорю, не боясь повтореній, лишь бы ближе познакомить съ ними молодое поколѣніе. Оно ихъ не знаетъ, забыло, не любитъ, отрекается отъ нихъ, какъ отъ людей менѣе практическихъ, дѣльныхъ, менѣе знавшихъ куда

идутъ; оно на нихъ сердится, и огуломъ отбрасываетъ ихъ, какъ отсталыхъ, какъ лишнихъ и праздныхъ людей, фантастовъ и мечтателей, забывая, что оцѣнка прошлыхъ *лицъ*, ихъ значеніе и „проба“ меньше зависятъ отъ сравненія *суммы* знанія и образа постановленія задачъ прежняго времени и новаго, чѣмъ отъ энергіи и силы, которую вносили они въ свои рѣшенія. Мнѣ ужасно хотѣлось бы спасти молодое поколѣніе отъ исторической неблагодарности и даже отъ исторической ошибки. Пора отцамъ Сатурнамъ не закусывать своими дѣтьми, но пора и дѣтямъ не брать примѣра съ тѣхъ камчадаловъ, которые убивали стариковъ.

Смѣло и съ полнымъ сознаніемъ скажу еще разъ про наше товарищество того времени: „что это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливыхъ, чистыхъ, развитыхъ, умныхъ и преданныхъ, я не встрѣчалъ,“ а скитался довольно по бѣлому и по *красному* свѣту. Я не только говорю о нашемъ, близкомъ кругѣ, но тоже и въ той же силѣ долженъ сказать о кругѣ Станкевича и о славянофилахъ. Молодые люди, испуганные ужасной дѣйствительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всѣмъ, до чего добиваются другіе — общественнымъ положеніемъ, богатствомъ, всѣмъ, что имъ предлагала традиціонная жизнь, къ чему влекла среда, примѣръ, къ чему нудила семья—изъ за своихъ убѣжденій и остались вѣрными имъ. Такихъ людей нельзя просто сдать въ архивъ—и забыть.

Ихъ преслѣдуютъ, отдаютъ подъ судъ, отдаютъ подъ надзоръ, ссылаютъ, таскаютъ, обижаютъ, унижаютъ, они остаются тѣже—проходитъ десять лѣтъ—они тѣже, проходитъ двадцать, тридцать—они тѣже.

Я требую признанія имъ и справевлпвости.

Противъ этого простаго требованія я слышалъ странное возраженіе и притомъ не одинъ разъ. „Вы и еще больше декабристы были дилетанты революціонныхъ идей; для васъ ваше участіе въ дѣлѣ была роскошь, поэзія; сами же вы говорите, что вы всѣ *жертвовали* общественнымъ положеніемъ, имѣли средства, для васъ стало быть, переворотъ не былъ вопросомъ куска хлѣба и человѣческаго существованія, вопросомъ на жизнь и смерть...“

— Я полагаю, отвѣчалъ я разъ, что для казненныхъ *да*.....

— По крайней мѣрѣ не были роковыми, неизбѣжными вопросами. Вамъ нравилось быть революціонерами, и это разумѣется лучше, чѣмъ, еслибъ вамъ нравилось быть сенаторами и губернаторами; для насъ же борьба съ существующимъ порядкомъ не выборъ, это *наше* общественное положеніе. Между нами и вами та разница, которая между человѣкомъ упавшимъ въ воду и купающимся: обоимъ надобно плыть, но одному по необходимости, а другому изъ удовольствія.

Не признавать людей, потому что они дѣлали изъ внутренняго влеченія то, что другіе *будутъ* дѣлать изъ нужды, сильно сбивается на монашескій аскетизмъ, который высоко цѣнитъ только тѣ обязанности, исполненіе которыхъ очень противно.

Такого рода крайніе взгляды легко даютъ корень у насъ—не то, чтобы глубокій, но трудно искореняемый, какъ хрѣнъ.

Мы большіе доктринеры и резонеры. Къ этой нѣмецкой способности у насъ присоединяется свой національный, такъ сказать *аракчеевскій* элементъ, безпощадный, страстно сухой и охотно палачествующій. Аракчеевъ засѣкалъ для своего идеала лейбъ-гвардейскаго

гренадера — живыхъ крестьянъ; мы засѣкаемъ идеи, искуства, гуманнность, прошедшихъ дѣятелей, все что угодно. Неустрашимымъ фронтомъ идемъ мы, шагъ въ шагъ, *до чура* и переходимъ его, не сбиваясь съ діалектической ноги, а только *съ истины;* не замѣчая, идемъ далѣе и далѣе, забывая, что реальный смыслъ и реальное пониманіе жизни именно и обнаруживается въ остановкѣ передъ крайностями. . . это halte мѣры, истины, красоты, это вѣчно уравновѣшиваемое колебаніе организма.

Олигархическое притязаніе неимущества на исключительность общественной боли и на монополь общественнаго страданія — также несправедливо, какъ всѣ исключительности и монополи. Ни съ евангельскимъ милосердіемъ, ни съ демократической завистью, дальше милостыни и насильственной споліяціи, дальше раздачи имѣнья и общаго нищенства не уйдешь. Въ церкви оно осталось риторической темой и сентиментальнымъ упражненіемъ въ состраданіи; въ ультра-демократизмѣ, какъ замѣтилъ Прудонъ, чувствомъ зависти и ненависти — не переходя ни тамъ, ни тутъ, ни къ какой построяющей мысли, ни къ какой практикѣ.

Чѣмъ же виноваты люди, понявшіе боль страждущихъ прежде ихъ самихъ, и указавшіе имъ не только ее, но и путь къ выходу. Потомокъ Карла Великаго — Сенъ-Симонъ, также какъ фабрикантъ Робертъ Оуэнъ, не отъ голодной смерти сдѣлались апостолами соціализма.

Взглядъ этотъ не продержится, въ немъ недостаетъ теплоты, доброты, шири. Я бы и не упомянулъ объ немъ, еслибъ въ его проскрипціонные листы, вмѣстѣ съ нами, не вошли и тѣ ранніе сѣятели всего, что вощло и всходитъ — декабристы, которыхъ мы такъ глубоко уважаемъ.

Отступленіе это здѣсь почти не кстати.

Сазоновъ былъ дѣйствительно праздный человѣкъ и сгубилъ въ себѣ бездну силъ; затертый разными разностями на чужбинѣ, онъ пропалъ, какъ солдатъ взятый въ плѣнъ на первомъ сраженіи и никогда не возвращавшійся домой.

Когда насъ арестовали въ 1834 году и посадили въ тюрьму, Сазоновъ и Кетчеръ уцѣлѣли какимъ-то чудомъ. Оба они жили въ Москвѣ почти безвыѣздно, говорили много, но писали мало, ихъ писемъ ни у кого изъ насъ не было. Насъ повезли въ ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспортъ въ Италію. Участь его, разрозненная съ нами, положила можетъ начало послѣдующей жизни его—жизни катой-то блуждающей и безслѣдно падающей звѣзды.

Черезъ годъ онъ возвратился въ Москву, это былъ одинъ изъ самыхъ удушливыхъ и тяжелыхъ періодовъ прошлаго царствованія. Въ Москвѣ его встрѣтилъ мертвый calme plat, нигдѣ ни тѣни сочувствія, ни живаго слова. Мы въ *резервахъ* ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились съ грубой реальностью провинціальнаго быта.

Въ Москвѣ все Сазонову напоминало наше отсутствіе. Изъ старыхъ друзей одинъ Кетчеръ былъ на лицо, человѣкъ, съ которымъ Сазоновъ, чопорный и аристократъ по манерамъ, всего меньше могъ идти рука въ руку. Кетчеръ, какъ мы говорили, былъ сознательный дикарь — *изъ образованныхъ*, куперовскій піонеръ, съ премедитаціей возвращавшійся въ первобытное состояніе людскаго рода, грубый по принципу, неряха по теоріи, студентъ лѣтъ тридцати пяти въ роли Шиллеровскаго юноши.

Сазоновъ побился, побился въ Москвѣ—скука одолѣла его, ничто не звало на трудъ, на дѣятельность. Онъ попробовалъ переѣхать въ Петербургъ—еще хуже; не выдержалъ онъ à la longue, и уѣхалъ въ Парижъ безъ опредѣленнаго плана. Это было еще то время, когда Парижъ и Франція имѣли на насъ всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ея шероховатой стороны, и были въ восторгѣ отъ всего—отъ либеральныхъ рѣчей, отъ пѣсней Беранже и каррикатуръ Филипона. Такъ было и съ Сазоновымъ. Но дѣла не нашелъ онъ и тутъ. Шумная, веселая праздность замѣняла нѣмую, подавленную жизнь. Въ Россіи онъ былъ связянъ по рукамъ и ногамъ, тутъ чужой всѣмъ и всему. Другой, длинный рядъ годовъ безцѣльно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него въ Парижѣ. Сосредоточиться въ себѣ, отдаться внутренней работѣ, не ожидая толчка извнѣ, онъ не могъ, это не лежало въ его натурѣ. Объективный интересъ науки не былъ въ немъ такъ силенъ. Онъ искалъ иной дѣятельности и былъ бы готовъ на всякій трудъ — но на виду, но въ быстромъ приложеніи его, въ практическомъ осуществленіи и притомъ при громкой обстановкѣ, при рукоплесканіяхъ и крикѣ враговъ; не находя такой работы, онъ бросился въ Парижскій разгулъ.

... А горѣли и его глаза и наполнялись слезой при памяти о нашихъ университетскихъ мечтахъ..... Внутри его глубоко-уязвленнаго самолюбія все еще хранилась вѣра въ *близкій* переворотъ Россіи и въ то, что онъ призванъ играть въ немъ большую роль. Казалось онъ и кутилъ только *покамѣсть*, въ скучномъ ожиданіи предстоящаго огромнаго дѣла, и былъ увѣренъ, что однимъ добрымъ вечеромъ его вызовутъ изъ за стола

café Anglais и повезутъ управлять Россіей... онъ пристально присматривался къ тому что дѣлается и съ нетерпѣніемъ ждалъ минуты, когда нужно будетъ принять серьезное участіе и сказать послѣднее, завершающее слово...

... Послѣ первыхъ, шумныхъ дней, въ Парижѣ, начались больше серьезные разговоры, при чемъ сейчасъ обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазоновъ и Бакунинъ были недовольны (такъ какъ впослѣдствіи Высоцкій и члены польской централизаціи), что новости мною привезенныя больше относились къ литературному и университетскому міру, чѣмъ къ политическимъ сферамъ. Они ждали разсказовъ о партіяхъ, обществахъ, о министерскихъ кризисахъ (при Николаѣ!), объ оппозиціи (въ 1847!), а я имъ говорилъ о каѳедрахъ, о публичныхъ лекціяхъ Грановскаго, о статьяхъ Бѣлинскаго, о настроеніи студентовъ и даже семинаристовъ. Они слишкомъ разобщились съ русской жизнью и слишкомъ вошли въ интересы „всемірной“ революціи и французскихъ вопросовъ, чтобы помнить, что у насъ появленіе „Мертвыхъ Душъ“ было важнѣе назначенія двухъ Паскевичей фельдмаршалами и двухъ Филаретовъ митрополитами. Безъ правильныхъ сообщеній, безъ русскихъ книгъ и журналовъ, они относились къ Россіи какъ-то теоретически и по памяти, придающей искуственное освѣщеніе всякой дали.

Разница нашихъ взглядовъ чуть не довела насъ до размолвки. Это случилось такъ: наканунѣ отъѣзда Бѣлинскаго изъ Парижа, мы проводили его вечеромъ домой и пошли гулять на Елисейскія поля. Страшно ясно видѣлъ я, что для Бѣлинскаго все кончено, что я ему въ послѣдній разъ жалъ руку. Сильный, страстный боецъ сжегъ себя, смерть уже вываяла крупными чер-

тами свою близость на изстрадавшемся лицѣ его. Онъ былъ въ злѣйшей чахоткѣ, а все еще полонъ святой энергіи и святого негодованія, все еще полонъ своей мучительной, „злой“ любви къ Россіи. Слезы стояли у меня въ горлѣ и я долго шелъ молча, когда возобновился несчастный споръ, разъ десять являвшійся sur le tapis.

— Жаль, замѣтилъ Сазоновъ, что Бѣлинскому не было другой дѣятельности. кромѣ журнальной работы, да еще работы подцензурной.

— Кажется трудно упрекать именно его, что онъ мало сдѣлалъ, отвѣчалъ я.

— Ну съ такими силами какъ у него, онъ при другихъ обстоятельствахъ и на другомъ поприщѣ побольше сдѣлалъ бы...

Мнѣ было досадно и больно. „Да скажите, пожалуйста, ну вы, живущіе безъ цензуры, вы полные вѣры въ себя, полные силъ и талантовъ, что же вы сдѣлали? Или что вы дѣлаете? Неужели вы воображаете, что ходить съ утра изъ одной части Парижа въ другую, чтобъ еще разъ переговорить съ Служальскимъ или Хоткевичемъ о границахъ Польши и Россіи — дѣло? Или что ваши бесѣды въ кафе и дома, гдѣ пять дураковъ слушаютъ васъ и ничего не понимаютъ, а другіе пять ничего не понимаютъ и говорятъ—дѣло?

— Постой, постой, говорилъ Сазоновъ, уже очень наравнодушно, ты забываешь наше положеніе.

— Какое положеніе? Вы живете здѣсь годы, на волѣ безъ гнетущей крайности, чего же вамъ еще? Положенія создаются, силы заставляютъ себя признать, втѣсняютъ себя. Полноте, господа, одна критическая статья Бѣлинскаго полезнѣе для новаго поколѣнія, чѣмъ игра въ конспираціи и въ государственныхъ людей. Вы

живете въ какомъ-то бреду и лунатизмѣ, въ вѣчномъ оптическомъ обманѣ, которымъ сами себѣ отводите глаза...

Меня особенно сердили тогда двѣ мѣры, которыя прилагали не только Сазоновъ, но и вообще русскіе къ оцѣнкѣ людей. Строгость обращенная на своихъ превращалась въ культъ и поклоненіе передъ французскими знаменитостями. Досадно было видѣть какъ наши *пасовали* передъ этими матадорами краснобайства, забрасывавшими ихъ словами, фразами и общими мѣстами, сказанными съ vitesse accelerée. И чѣмъ смиреннѣе держали себя русскіе, чѣмъ больше они краснѣли и старались скрывать *ихъ* невѣжество (какъ дѣлаютъ нѣжные родители и самолюбивые мужья), тѣмъ больше тѣ ломались и важничали передъ гиперборейскими Анахарсисами.

Сазоновъ, любившій еще въ Россіи студентомъ окружать себя *дворомъ* разныхъ посредственностей, слушавшихъ и слушавшихся его, былъ и здѣсь окруженъ всякими скудными умомъ и тѣломъ лаццарони литературной Кіаіи, поденщиками журнальной барщины, вѣтошниками фельетоновъ, въ родѣ тощаго Жюльвекура, полуповрежденнаго Тардифа де Мело, неизвѣстнаго, но великаго поэта Буэ, въ его хорѣ были и ограниченнѣйшіе поляки изъ товянщизны и тупоумнѣйшіе нѣмцы изъ атеизма. Какъ онъ не скучалъ съ ними — это его секретъ, онъ даже ко мнѣ ходилъ почти всегда съ однимъ или съ двумя понятыми изъ хора, не смотря на то, что я съ ними всегда скучалъ, и не скрывалъ этого. По этому-то особенно странно поражало, что онъ самъ становился въ положеніе Жюльвекура въ отношеніи къ Марастамъ, Риберолямъ и даже къ меньшимъ знаменитостямъ.

Все это не совсѣмъ понятно для современныхъ посѣтителей Парижа. Никакъ не надобно забывать, что настоящій Парижъ—*не настоящій, а новый.*

Сдѣлавшись какимъ-то *сводным*ъ городомъ всего свѣта, Парижъ пересталъ быть городомъ по преимуществу французскимъ. Прежде въ немъ была вся Франція и „ничего развѣ ея"; теперь въ немъ вся Европа, да еще двѣ Америки, но *его самаго* меньше; онъ расплылся въ своемъ званіи міроваго отеля, караванъ-сарая и потерялъ свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уваженіе безъ границъ и отвращеніе безъ предѣловъ.

Само самою разумѣется, что отношеніе иностранцевъ къ новому Парижу измѣнилось. Союзныя войска, ставшія на бивакахъ, на Place de la Révolution, знали, что они взяли *чужой* городъ. Кочующій туристъ считаетъ Парижъ своимъ, онъ его покупаетъ, жуируетъ имъ и очень хорошо знаетъ, что онъ нуженъ Парижу и что старый Вавилонъ обстроился, окрасился, побѣлился не для себя, а для него.

Въ 1847 г. я еще засталъ *прежній* Парижъ, къ тому же Парижъ съ поднятымъ пульсомъ, допѣвавшій Беранжеровы пѣсни — съ припѣвомъ: vive la réforme — невзначай перемѣнившимся въ vive la République! Русскіе продолжали тогда жить въ Парижѣ съ вѣчно присущимъ чувствомъ сознанія и благодарности провидѣнію (и исправному взысканію оброковъ), *что они живутъ въ немъ*, что они гуляютъ въ Palais Royal'ѣ и ходятъ aux Français. Они откровенно поклонялись львамъ и львицамъ всѣхъ родовъ—знаменитымъ докторамъ и танцовщицамъ, зубному лекарю Дезиработу, сумасшедшему Ма'Па и всѣмъ литературнымъ шарлатанамъ и политическимъ фокусникамъ.

Я ненавижу систему дерзости prémédiтée, которая у насъ въ модѣ. Я въ ней узнаю всѣ родовыя черты прежняго, офицерскаго, помѣщичьяго дантизма, ухарства, переложенныя на нравы Васильевскаго острова и линій его. Но не надобно забывать, что и кліентизмъ нашъ передъ западными авторитетами шелъ изъ той же казармы, изъ той же канцеляріи, изъ той же передней,— только въ другія двери, а именно обращенныя къ барину, начальнику и командиру. Въ нашей бѣдности поклоненія чему-бъ то ни было, кромѣ грубой силы и ея знаменій — звѣздъ и чиновъ — потребность имѣть нравственную *табель о рангахъ* очень понятна, — но за то передъ кѣмъ и кѣмъ не стояли въ умиленіи лучшіе изъ нашихъ соотечественниковъ? Даже передъ Вердеромъ и Руге, этими великими бездарностями гегелизма. Отъ *нѣмцевъ* можно сдѣлать заключеніе, что дѣлалось передъ французами, передъ людьми дѣйствительно замѣчательными, передъ Пьеромъ Леру, напр. или передъ *самой* Жоржъ-Сандъ...

Каюсь, что я сначала былъ увлеченъ и думалъ, что поговорить въ кафе съ историкомъ „десяти лѣтъ“ или у Бакунина съ Прудономъ, нѣкоторымъ образомъ чинъ, повышеніе; но у меня всѣ опыты идолопоклонства и кумировъ не держатся, и очень скоро уступаютъ мѣсто полнѣйшему отрицанію.

Мѣсяца черезъ три послѣ моего пріѣзда въ Парижъ, я началъ крѣпко нападать на это *чинопочитаніе* и именно въ пущій разгаръ моей оппозиціи случился споръ по поводу Бѣлинскаго. Бакунинъ, съ обыкновеннымъ добродушіемъ своимъ, самъ въ половину соглашался и хохоталъ; но Сазоновъ надулся и продолжалъ меня считать профаномъ въ практически-политическихъ вопросахъ. Вскорѣ я его убѣдилъ еще больше въ этомъ.

Февральская революція была для него полнѣйшимъ торжествомъ, знакомые фильетонисты заняли правительственныя мѣста, троны качались, ихъ поддерживали поэты и доктора. Нѣмецкіе князьки спрашивали совѣта и помощи у вчера гонимыхъ журналистовъ и професоровъ. Либералы учили ихъ, какъ крѣпче нахлобучить узенькія коронки, чтобъ ихъ не снесло поднявшейся вьюгой. Сазоновъ писалъ ко мнѣ въ Римъ письмо за письмомъ и звалъ *домой*, въ Парижъ, въ единую и нераздѣльную республику.

Возвращаясь изъ Италіи я засталъ Сазонова озабоченнымъ. Бакунина не было, онъ уже уѣхалъ *поднимать* западныхъ славянъ. „Неужели, сказалъ мнѣ Сазоновъ при первомъ свиданіи, ты не видишь, что наше *время пришло?*“

— То есть какъ?

— Русское правительство въ impass'ѣ.

— Что же случилось, не провозглашена-ли республика въ Петропавловской крѣпости?

— Entendons nous, я не думаю, чтобъ у насъ завтра было 24 Февраля. Нѣтъ, но общественное мнѣніе, но наплывъ либеральныхъ идей, разбитая на части Австрія, Пруссія съ конституціей, заставятъ подумать людей, окружающихъ Зимній дворецъ. Меньше нельзя сдѣлать, какъ *октроировать* какую-нибудь конституцію, un simulacre de charte, ну и при этомъ, прибавилъ онъ съ нѣкоторой торжественностью, при этомъ необходимо либеральное, образованное, умѣющее говорить современнымъ языкомъ министерство. — Думалъ ли ты объ этомъ?

— Нѣтъ.

— Чудакъ, гдѣ же они возьмутъ образованныхъ министровъ?

— Какъ не найти, еслибъ было нужно; но мнѣ кажется, они ихъ искать не будутъ.

— Теперь этотъ скептицизмъ неумѣстенъ, *исторія совершается* и притомъ очень быстро. Подумай—правительство по неволѣ обратится *къ намъ*.

Я посмотрѣлъ на него, желая знать, что онъ шутитъ или нѣтъ. У него лице было серьезно, нѣсколько поднято въ цвѣтѣ и нервно отъ волненія.

— Такъ таки просто *къ намъ*?

— Ну то есть *лично* ли къ намъ или къ нашему кругу все равно—да ты подумай еще разъ, къ кому же они сунутся?

— Ты какую берешь портфель?

— Напрасно смѣешься. Это наше несчастіе, что мы не умѣемъ ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir, ты все думаешь о статейкахъ, статейки хорошее дѣло, но теперь другое время, и одинъ день во власти важнѣе цѣлаго тома.

Сазоновъ съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на мою *непрактичность* и наконецъ нашелъ людей меньше скептическихъ, увѣровавшихъ въ близкое пришествіе его министерства. Въ концѣ 1848 г. два-три нѣмца-рефюжье очень постоянно посѣщали небольшіе вечера, устроенные Сазоновымъ у себя. Въ ихъ числѣ былъ австрійскій лейтенантъ, отличившійся какъ начальникъ штаба при Мессенгаузерѣ. Разъ, выходя часа въ два ночи по проливному дождю и вспомнивъ, что отъ rue Blanche до Qartier Latin не то, чтобъ было черезъ чуръ близко, офицеръ ропталъ на свою судьбу. Какая же вамъ неволя была въ такую погоду тащиться такую даль?

— Конечно не неволя, да знаете Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мнѣ кажется, что съ нимъ надобно намъ поддерживать хорошія отношенія.

Вы лучше меня знаете, что онъ съ своимъ талантомъ и умомъ... съ тѣмъ мѣстомъ, которое онъ занимаетъ въ своей партіи, что онъ далеко пойдетъ при предстоящемъ переворотѣ въ Россіи...

— Ну, Сазоновъ, сказалъ я ему на другой день: Архимедову точку ты нашелъ, есть человѣкъ, который вѣритъ въ твою будущую портфель и этотъ человѣкъ. лейтенантъ такой-то.

Время шло, переворота въ Россіи не было и пословъ за нами никто не присылалъ. Прошли и грозные іюньскіе дни; Сазоновъ принялся за „передовую статью“— не журнала, а *Эпохи*. Долго работалъ онъ за ней, читалъ небольшіе отрывки, поправлялъ, мѣнялъ и едва окончилъ къ зимѣ. Ему казалось необходимымъ „объяснить послѣднюю революцію Россіи.“ „Не ждите, говорилъ онъ въ началѣ, чтобъ я вамъ сталъ описывать событія, другіе это сдѣлаютъ лучше меня. Я вамъ передамъ мысль, идею совершившагося переворота.“ Простаго труда ему было мало, сведенный на перо, онъ всякій разъ, когда бралъ его, хотѣлъ сдѣлать что нибудь необыкновенное, громовое—письмо Чаадаева постоянно носилося въ его умѣ. Статья поѣхала въ Петербургъ, была прочтена въ дружескихъ кругахъ и не сдѣлала никакого впечатлѣнія.

Еще лѣтомъ 1848 завелъ Сазоновъ международный клубъ. Туда онъ привелъ всѣхъ своихъ Тардифовъ, нѣмцевъ и мессіанистовъ. Съ сіяющимъ лицомъ ходилъ онъ въ синемъ фракѣ по пустой залѣ. Онъ открылъ международный клубъ рѣчью, обращенной къ пяти, шести слушателямъ, въ числѣ которыхъ былъ я*) въ роли публики, остальная кучка была на платформѣ въ каче-

*) Я былъ тогда, какъ выражаются поляки, „паспортовый“ и не отрѣзалъ еще путей возвращенія въ Россію.

ствѣ бюро. Вслѣдъ за Сазоновымъ предсталъ растрепанный, съ видомъ заспаннаго человѣка, Тардифъ де Мело, и грянулъ стихотвореніе въ честь клуба.

Сазоновъ поморщился, но остановить поэта было поздно.

Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard

Et vous tous...

Кричалъ съ какимъ-то восторженнымъ остервенѣніемъ Тардифъ де Мело, не замѣчая смѣха.

На другой или третій день Сазоновъ мнѣ прислалъ экземпляровъ *тысячу* программы открытія клуба, тѣмъ клубъ и кончился. Только впослѣдствіи мы услышали, что одинъ изъ представителей человѣчества и именно представлявшій на этомъ конгрессѣ Испанію и говорившій рѣчь, въ которой называлъ исполнительную власть potence ehécoutive, воображая, что это по французски, чуть не попалъ въ Англіи на настоящую висѣлицу, и былъ приговоренъ къ каторжной работѣ за поддѣлку какого-то акта.

За неудавшимся министерствомъ и лопнувшимъ клубомъ слѣдовали больше скромныя, но и гораздо больше возможныя попытки сдѣлаться журналистомъ. Когда устроилась „La Tribune des peuples,“ подъ главнымъ завѣдываніемъ Мицкевича, Сазоновъ занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ редакціи, написалъ двѣ-три очень хорошія статьи... и замолкъ; а передъ паденіемъ „Трибуны,“ т. е. передъ 13 Іюнемъ 1849, былъ уже со всѣми въ ссорѣ. Все ему казалось мало, бѣдно, il se sentait derogé, досадывалъ за это, ничего не оканчивалъ, запускалъ начатое и бросалъ въ половину сдѣланное.

Въ 1849 году я предложилъ Прудону передать иностранную часть редакціи „Voix du peuple“ Сазонову. Съ его знаніемъ четырехъ языковъ, литературы, поли-

тики, исторіи всѣхъ европейскихъ народовъ, съ его знаніемъ партій, онъ могъ изъ этой части журнала сдѣлать чудо для французовъ. Во внутренній распорядокъ иностранныхъ новостей Прудонъ не входилъ, она была въ моихъ рукахъ, но я изъ Женевы ничего не могъ сдѣлать. Сазоновъ черезъ мѣсяцъ передалъ редакцію Хоецкому и разстался съ журналомъ. „Я Прудона глубоко уважаю — писалъ онъ мнѣ въ Женеву — но двумъ такимъ личностямъ, какъ его и моя, нѣтъ мѣста въ одномъ журналѣ.“

Черезъ годъ Сазоновъ пристроился къ воскрешенной тогда мацциністами „Реформѣ.“ Главной редакціей завѣдывалъ Ламене. И тутъ не было мѣста двумъ великимъ людямъ. Сазоновъ поработалъ мѣсяца три и бросилъ „Реформу.“ Съ Прудономъ онъ, по счастью, разстался мирно, съ Ламене—въ ссорѣ. Сазоновъ обвинялъ скупаго старика въ корыстномъ употребленіи редакціонныхъ денегъ. Ламене, вспомнивъ привычки клерикальной юности своей, прибѣгнулъ къ ultima ratio на Западѣ и пустилъ на счетъ Сазонова вопросъ: „Не агентъ ли онъ русскаго правительства?“

Въ послѣдній разъ я Сазонова видѣлъ въ Швейцаріи въ 1851. Онъ былъ высланъ изъ Франціи и жилъ въ Женевѣ. Это было самое сѣрое, подавляющее время, грубая реакція торжествовала вездѣ. Поколебалась вѣра Сазонова во Францію и въ близкую перемѣну министерства въ Петербургѣ. Праздная жизнь ему надоѣла, мучила его, работа не спорилась, онъ хватался за все, безъ выдержки, сердился и пилъ. Къ тому же жизнь мелкихъ тревогъ, вѣчной войны съ кредиторами, добываніе денегъ, талантъ ихъ бросать и неумѣнье распоряжаться вносили много раздраженія и печальной прозы въ ежедневное существованіе Сазонова, онъ и ку-

тилъ уже невесело, по привычкѣ, а кутить онъ нѣкогда былъ мастеръ.

Кстати нѣсколько словъ о его домашней жизни, и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутежъ и не была лишена колорита.

Въ первые годы своей парижской жизни Сазоновъ встрѣтился съ одной богатой вдовой, съ нею онъ еще больше втянулся въ пышную жизнь. Она уѣхала въ Россію, оставивъ ему на воспитаніе ихъ дочь и большія деньги. Вдова не успѣла доѣхать до Петрополя, какъ уже ее замѣнила дебѣлая итальянка, съ голосомъ, передъ которымъ еще разъ пали бы стѣны Іерихонскія.

Года черезъ два, три вдова вздумала совершенно неожиданно посѣтить друга и дочь. Итальянка поразила ее.—„Это что за особа?“—спросила она, оглядывая ее съ головы до ногъ.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну какъ она научитъ ее говорить по французски съ такимъ акцентомъ?.. Это бѣда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

— Mais, ma chère...

— Mais, mon cher... и вдова взяла дочь.

Это былъ не только чувствительный, но и финансовый кризисъ. Сазоновъ былъ далеко не бѣденъ. Сестры посылали ему тысячъ двадцать франковъ въ годъ дохода съ его имѣнья. Но тратя безумно, онъ и теперь не думалъ уменьшать свой train, а бросился на займы. Занималъ онъ на право и на лѣво, бралъ у сестеръ изъ Россіи что могъ, бралъ у друзей и враговъ, бралъ у ростовщиковъ, у дураковъ, у русскихъ и не русскихъ... Долго держался онъ и лавировалъ такимъ образомъ, но наконецъ все таки оборвался и попалъ въ Клиши, какъ я уже упомянулъ.

Въ продолженіе этого временн, старшая сестра его овдовѣла. Услышавъ, что онъ въ тюрьмѣ, обѣ сестры поѣхали его выручать. Какъ всегда бываетъ, онѣ ничего не знали о житьѣ бытьѣ Николиньки. Обѣ сестры были безъ ума отъ него, считали его за генія и ждали съ нетерпѣніемъ, когда онъ явится во всей силѣ и славѣ.

Ихъ встрѣтили разныя разочарованія, онѣ ихъ тѣмъ больше удивили, чѣмъ меньше онѣ ожидали. На другой день утромъ, онѣ, взявши съ собой графа Хоткевича, пріятеля Сазонова, поѣхали его выкупать сюрпризомъ. Хоткевичъ оставилъ ихъ въ каретѣ, и ушелъ, обѣщавши черезъ минуту явиться съ братомъ. Часъ шелъ за часомъ, Николинька не являлся... вѣрно такія длинныя формальности, думали дамы, скучая въ фіакрѣ... прибѣжалъ наконецъ Хоткевичъ одинъ съ краснымъ лицомъ и сильнымъ виннымъ запахомъ. Онъ возвѣстилъ, что Сазоновъ сейчасъ будетъ, что онъ на прощанье съ товарищами угощаетъ ихъ виномъ и закусываетъ съ ними, что это ужъ такъ заведено. Кольнуло это немножко нѣжное сердце путешественницъ.,. но... но вотъ и толстый, потный, плотный Николинька бросился въ ихъ объятія — и онѣ отправились довольныя и счастливыя домой.

Онѣ слышали что-то... объ какой то-итальянкѣ... Пламенная дочь Италіи, не устоявшая передъ сѣвернымъ геніемъ и гиперборей плѣненный южнымъ голосомъ, огнемъ очей... Онѣ краснѣя и стыдясь, изъявили робкое желаніе съ ней познакомиться. Онъ согласился на все, и отправился домой. Дня черезъ два сестры вздумали сдѣлать второй сюрпризъ брату, который еще меньше удался перваго.

Часовъ въ 11 утра, въ жаркій день, отправились

сестры взглянуть на Франческу да Рамини и ея житье бытье съ Николинькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась... въ небольшой гостинной покрытой коврами сидѣлъ на полу въ глубокомъ неглиже Сазоновъ и съ нимъ тостая Signora P., едва прикрытая легкой блузой. Signora хохотала во всю мочь итальянскихъ легкихъ..... разсказу Николиньки. Возлѣ нихъ стояло ведро со льдомъ и въ немъ склоняясь на бокъ бутылка шампанскаго.

Что было дальше и какъ, я не знаю, но эфектъ былъ сильный и продолжительный. Меньшая сестра пріѣзжала ко мнѣ совѣщаться объ этомъ событіи, о которомъ она говорила съ спазмами и слезами. Я ее утѣшалъ тѣмъ, что первые дни послѣ Клиши не составляютъ норму.

За всѣмъ этимъ слѣдовала проза переѣзда на меньшую квартиру... Камердинеръ, который мастерски подавалъ галстухъ изъ непрободаемой шелковой матеріи, въ которую изловчился вонзать булавку съ жемчужиной былъ отпущенъ, да и сама булавка, вслѣдъ за нимъ, явилась въ окнѣ какого-то магазина.

Такъ прошло еще лѣтъ пять. Сазоновъ возвратился въ Парижъ изъ Швейцаріи, потомъ опять уѣхалъ изъ Парижа въ Швейцарію. Чтобъ отдѣлаться отъ дебѣлой итальянки, онъ изобрѣлъ самое оригинальное средство — онъ женился на ней, потомъ разстался.

Между нами пробѣжала кошка, онъ неоткровенно поступилъ со мной въ одномъ дѣлѣ, очень дорогомъ мнѣ. Я не могъ перешагнуть черезъ это.

Между тѣмъ началась новая эпоха для Россіи, Сазоновъ рвался принять участіе въ ней, писалъ статьи

неудававшіяся, хотѣлъ возвратиться, и не возвращался*) и оставилъ наконецъ Парижъ. Долго объ немъ не было ничего слышно.

... Вдругъ какой-то русскій, пріѣхавшій недавно изъ Швейцаріи въ Лондонъ, сказалъ мнѣ: „Наканунѣ моего отѣзда изъ Женевы хоронили стараго знакомаго вашего.“

— Кого это?

— Сазонова, и представьте, ни одного русскаго не было на похоронахъ.

И стукнуло сердце — будто раскаяньемъ, что я его такъ на долго оставилъ...

(Писано въ 1863).

II

ЭНГЕЛЬСОНЫ.

Они оба умерли. Онъ не старше тридцати пяти лѣтъ — она моложе его.

Онъ умеръ лѣтъ около десяти тому назадъ въ Жерсеѣ; за его гробомъ шла вдова, ребенокъ и коренастый, растрепаный старикъ съ крупными, рѣзкими, запущенными чертами — въ его лицѣ были зря перемѣшаны геній и безуміе, фанатизмъ и иронія, озлобленіе ветхозавѣтнаго пророка и якобинца 1793 г. Старикъ этотъ былъ *Пьеръ Леру*.

Она умерла въ началѣ 1865 года въ Испаніи. О ея смерти я узналъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя.

Гдѣ ребенокъ, я не слыхалъ.

*) Его статья „О мѣстѣ Россіи на всемірной-выставкѣ“ напечатана въ II кн. „Полярной Звѣзды.“

Человѣкъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ мнѣ близокъ, былъ мнѣ дорогъ, онъ первый обтеръ глубокія раны, когда онѣ были свѣжи, онъ былъ моимъ братомъ, моей сестрой. *Она*, врядъ зная ли что дѣлаетъ, отдалила его отъ меня. Онъ сталъ моимъ врагомъ...

Вѣсть о ея смерти опять вызвала ихъ въ памяти...

Я взялъ тетрадь писанную мною объ нихъ въ 1859 году и, вмѣсто псалтыря, прочелъ ее надъ покойниками.

Долго думалъ я печатать ее или нѣтъ и недавно рѣшилъ, что *да*. Намѣреніе мое чисто, разсказъ истиненъ. Не упрекъ хочу я бросить въ ихъ могилу, а вмѣстѣ съ читателемъ еще и еще разъ прослѣдить по новымъ субъектамъ всю сложную, болѣзненную сломанность людей послѣдняго николаевскаго поколѣнія.

Chateau Boissière, 31 Декабря, 1865.

I

Въ концѣ 1850 года, въ Ниццу пріѣхалъ одинъ русскій съ женой. Мнѣ ихъ указали на прогулкѣ. Оба они принадлежали къ чающимъ движенія воды, онъ худой, блѣдный, чахоточный, рыжевато-бѣлокурый; она быстро увядшая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, жившій у одной русской дамы, сказалъ мнѣ, что бѣлокурый господинъ лицеистъ, что онъ читаетъ Vom andern Ufer, что онъ былъ замѣшанъ въ дѣлѣ Петрашевскаго, и по всему тому желаетъ со мной познакомиться. Я отвѣчалъ, что всегда радъ хорошему русскому, тѣмъ больше лицеисту, да еще участвовавшему въ дѣлѣ, мало мнѣ извѣстномъ, но которое для

меня было маслиной, принесенной голубемъ въ Ноевъ ковчегъ.

Прошло нѣсколько дней, я не видалъ ни лекаря, ни новаго русскаго. Вдругъ какъ-то часу въ десятомъ вечера мнѣ подали карточку—это былъ онъ. Мы сидѣли съ Карломъ Фогтомъ въ столовой, я велѣлъ гостя просить на верхъ въ гостинную, и прежде другихъ пошелъ туда. Тамъ я засталъ его, блѣднаго, дрожащаго, въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи. Онъ едва могъ сказать свою фамилью; успокоившись немного, онъ вскочилъ со стула, бросился ко мнѣ, разцаловалъ меня и прежде чѣмъ я въ свою очередь успѣлъ придти въ себя, онъ со словами: „Такъ наконецъ-то я въ самомъ дѣлѣ вижу васъ,“ поцаловалъ мою руку — „Что съ вами? Помилуйте!“ говорилъ я ему, но онъ уже плакалъ въ это время.

Я смотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ—что это нервная распущенность или просто помѣшательство?

Извиняясь и осыпая меня комплиментами, онъ съ необыкновенной быстротой и сильной мимикой разсказалъ мнѣ, что я ему спасъ жизнь и именно вотъ какимъ образомъ. Пропадая съ тоски въ Петербургѣ, выключенный изъ Лицея за какой-то вздоръ, гнушаясь службой, которую долженъ былъ принять и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, онъ рѣшился отравиться, и за нѣсколько часовъ до исполненія своего намѣренія, пошелъ бродить, безъ опредѣленной цѣли по улицамъ, зашелъ къ Излеру и взялъ книжку *Отечественныхъ Записокъ*. Въ ней была моя статья: „По поводу одной драмы.“ Чтеніе мало по малу захватило его вниманіе, ему стало легче, ему стало стыдно, что онъ такъ подчиняется горю и отчаянію, когда общіе интересы ростутъ со всѣхъ сторонъ и зо-

вутъ все молодое, все имѣющее силы, и Энгельсонъ вмѣсто яда спросилъ полбутылки мадеры, еще разъ перечиталъ статью и съ тѣхъ поръ сдѣлался горячимъ поклонникомъ моимъ.

Онъ просидѣлъ до поздней ночи, и ушелъ, прося позволенья скоро возвратиться. Сквозь его спутанную рѣчь, перерываемую отступленіями и эпизодами, можно было видѣть сильно устроенную голову, рѣзкую діалектическую способность и еще яснѣе сломанность бросавшую его изъ одной крайности въ другую, отъ негодованья, обиженнаго горемъ и удрученнаго печалью, до ироническаго гаерства, отъ слезъ до кривлянія.

Онъ оставилъ меня подъ страннымъ впечатлѣніемъ. Сначала я ему не довѣрялъ, потомъ уставалъ отъ него, онъ какъ-то слишкомъ дѣйствовалъ на нервы, но мало по малу я привыкъ къ его странностямъ и былъ радъ оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовымъ большинствомъ западныхъ людей.

Энгельсонъ бездну читалъ и бездну учился, былъ лингвистъ, филологъ и вносилъ во все знакомый намъ скептицизмъ, который такъ много беретъ за боль оставляемую имъ. Встарь объ немъ сказали бы, что онъ зачитался. Черезъ край возбужденная, умственная дѣятельность была не по силамъ хилаго организма. Вино, которымъ онъ побѣждалъ усталь и возбуждалъ себя, раздувало его фантазію и мысли въ длинныя и яркія пасмы огня, быстро сожигая его больное тѣло.

Безпорядокъ и вино, всегдашняя, раздражительная дѣятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная безплодность, полнѣйшая праздность, крайность страстей и крайность апатіи—не смотря на большую разницу съ нашимъ прежнимъ московскимъ

складомъ — живо напоминали мнѣ былое. Опять услышались звуки, не только роднаго языка, но родной мысли. Онъ былъ свидѣтелемъ петербурскаго террора послѣ 1848 и зналъ литературные круги. Совершенно отрѣзанный тогда отъ Россіи, я съ жадностью слушалъ его разсказы.

Мы стали видаться часто, потомъ всякій вечеръ.

Жена его тоже была странное существо. Ея лице отъ натуры прекрасное было искажено невралгіями и какимъ-то тревожнымъ безпокойствомъ. Она была обрусѣлая норвеженка и говорила по русски съ легкимъ акцентомъ, который ей шелъ. Вообще она была молчаливѣе и скрытнѣе его. Домашняя жизнь ихъ шла не свѣтло; у нихъ было какъ-то нервно unheimlich, натянуто, чего-то недоставало въ ихъ жизни, что-то было лишнее въ ней, и это постоянно чувствовалось, какъ невидимое, грозное, электрическое въ воздухѣ.

Часто заставалъ я ихъ въ большой комнатѣ, бывшей ихъ спальней и пріемной въ отелѣ, въ совершеннѣйшей прострацiи. Ее съ заплаканными глазами, обезсиленную въ одномъ углу; его блѣднаго, какъ мертвецъ, съ бѣлыми губами, растерянняго, молчащаго въ другомъ... Такъ сидѣли они иногда часы цѣлые, дни цѣлые, и это въ нѣсколькихъ шагахъ отъ синяго Средиземнаго моря, отъ померанцовыхъ рощей, куда звало все—и яхонтовое небо и яркое, шумное веселье южной жизни. Они собственно не ссорились, тутъ не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины... Онъ вдругъ вставалъ, подходилъ къ ней, становился на колѣни, и иногда съ рыданьемъ повторялъ: „Сгубилъ я тебя, мое дитя, сгубилъ!“ и она плакала и вѣрила, что онъ ее сгубилъ. „Когда же я наконецъ умру—и оставлю его на свободѣ“—говорила она мнѣ.

Все это было для меня ново, и мнѣ ихъ было до того жаль, что хотѣлось съ ними плакать и пуще всего сказать имъ: „да полноте, полноте,—вы вовсе не такъ несчастны и не такъ дурны, вы оба славные люди, возьмемъ-те лодку и размыкаемъ горе по синему морю“— я это и дѣлалъ иногда, и мнѣ удавалось ихъ увозить отъ самихъ себя. Но за ночь пароксизмъ возвращался... Они какъ-то надразнили другъ друга и стояли въ такомъ раздражительномъ имнасѣ, что пустѣйшее слово нарушало согласіе и снова вызывало какихъ-то фурій со дна ихъ сердца.

Иной разъ мнѣ казалось, что безпрерывно растравляя свои раны, они въ этой боли находятъ какое-то жгучее наслажденіе, что это взаимное разъѣданье сдѣлалось имъ необходимо, какъ водка или пикули. Но по несчастью организмъ у обоихъ началъ явно уставать, они быстро неслись въ домъ умалишенныхъ или въ могилу.

Натура ея, вовсе не бездарная, но невыработанная и въ тоже время испорченная, была гораздо сложнѣе и въ нѣкоторомъ смыслѣ гораздо выносливѣе и сильнѣе его. Къ тому же въ ней не было ни тѣни единства, послѣдовательности, той несчастной послѣдовательности, которая у него оставалась въ самыхъ вопіющихъ крайностяхъ и въ самыхъ крутыхъ противорѣчіяхъ. Въ ней рядомъ съ отчаяніемъ, съ желаніемъ умереть, съ привычкой ныть и изнывать, была и жажда свѣтскихъ наслажденій и затаенное кокетство, любовь къ нарядамъ и роскоши, отвергаемая какъ-то преднамѣренно, на зло себѣ. Она всегда была одѣта къ лицу и со вкусомъ.

Ей хотѣлось быть женщиной свободной по тогдашнимъ понятіямъ и огромнымъ, оригинальнымъ психиче-

скимъ несчастіемъ, въ смыслѣ героинь Ж. Сандъ... но ее, какъ гиря стягивала прежняя, привычная, традиціональная жизнь совсѣмъ въ иную сферу.

То, что составляло поэзію Энгельсона и много выкупало его недостатковъ, то, что ему самому служило выходомъ, того она не понимала. Она не могла слѣдовать за его скачущей мыслію, за его быстрыми переходами отъ отчаянія къ остротамъ и хохоту, отъ откровеннаго смѣха къ откровеннымъ слезамъ. Она отставала, теряла связь, терялась... для нея были непонятны каррикатурные профили печальныхъ мыслей его.

Когда Энгельсонъ, послѣ цѣлаго запаса каламбуровъ и шалостей, передразниваній, больше и больше монтируясь, дѣлалъ цѣлыя драматическія представленія, отъ которыхъ нельзя было не хохотать до упаду, она уходила съ озлобленіемъ изъ комнаты, ее оскорбляло, „неприличное поведеніе его при постороннихъ.“ Онъ обыкновенно примѣчалъ это, и такъ какъ его нельзя было ничѣмъ остановить, когда онъ закусывалъ удила, то онъ вдвое дурачился и потомъ вальсировалъ съ ней и спрашивалъ ее съ горящими щеками и покрытый потомъ: „Ach mein lieber Gott, Alexandra Christianovna, war es denn nicht respectabel?“ Она плакала вдвое, онъ вдругъ мѣнялся, дѣлался мраченъ и morose, пилъ рюмку за рюмкой коньякъ и уходилъ домой или просто засыпалъ на диванѣ.

На другой день мнѣ приходилось мирить, улаживать и онъ такъ отъ души цаловалъ ея руки я такъ смѣшно просилъ отпущеніе грѣха, что она сама иногда не могла удержаться и смѣялась вмѣстѣ съ нами.

Надобно объяснить въ чемъ состояли эти представленія, наносившія столько печали бѣдной Александрѣ

Христіановнѣ. Комическій талантъ Энгельсона былъ несомнѣненъ, огроменъ, до такой *ѣдкости* никогда не доходилъ Левассоръ, развѣ Грассо въ лучшихъ своихъ созданіяхъ, да Горбуновъ въ нѣкоторыхъ разсказахъ. Къ тому же половина была импровизирована, онъ добавлялъ, измѣнялъ, придерживаясь одной рамы. Еслибъ онъ хотѣлъ развить въ себѣ эту способность и привести ее въ порядокъ, онъ навѣрное занялъ бы одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду *злыхъ* комиковъ, но Энгельсонъ ничего не развилъ въ себѣ и ничего не привелъ въ порядокъ. Дикіе и полные силъ побѣги талантовъ росли и глохли въ неустоявшейся душѣ его — и отъ домашнихъ тревогъ, отнимавшихъ половину времени, и отъ хватанья за все на свѣтѣ, отъ филологіи и химіи до политической экономіи и философіи. Въ этомъ смыслѣ Энгельсонъ былъ чисто русскій человѣкъ, не смотря на то, что отецъ его былъ финляндскаго происхожденія.

Представлялъ онъ все на свѣтѣ—чиновниковъ и барынь, поповъ и квартальныхъ, но лучшія его представленія относились къ Николаю, котораго онъ глубоко, задушевно, дѣятельно ненавидѣлъ. Онъ бралъ стулъ à la Napoleon, садился на него верхомъ и сурово подъѣзжалъ къ выстроенному корпусу... кругомъ трясутся эполеты, шляпы, каски... это Николай на смотру; онъ сердится и поворачивая лошадь, говоритъ корпусному командиру „Скверно,“ корпусный съ благоговѣніемъ выслушиваетъ, глядитъ вслѣдъ Николаю и потомъ понижая голосъ и задыхаясь отъ бѣшенства, шепчетъ дивизіонному генералу: „Вы, ваше превосходительство, кажется заняты чѣмъ-то другимъ, а не службой, что за подлая дивизія, что за полковые командиры, я имъ покажу.“

Дивизіонный генералъ краснѣетъ, краснѣетъ и бро-

сается на перваго попавшаго полковника, такъ отъ одного чина до другаго, съ неуловимо вѣрными нюансами императорское „скверно“ доходитъ до вахмистра, котораго эскадронный командиръ ругаетъ по площадному и который, ничего не говоря, ефесомъ сабли тычетъ изъ всей силы въ бокъ фланговаго солдата, ничего не сдѣлавшаго.

Энгельсонъ представлялъ съ поразительной вѣрностью не только характеристику каждаго чина, но всѣ движенія всадника, дергающаго изъ бѣшенства свою лошадь и сердящагося на нее за то, что она не смирно стоитъ.

Другое представленіе было болѣе мирнаго рода. Императоръ Николай танцуетъ французскую кадриль. Vis à vis съ нимъ иностранный дипломатъ, по одну сторону фрунтовикъ генералъ, по другую сановникъ изъ штатскихъ. Это было своего рода оконченный chef d'œuvre. Для представленія Энгельсонъ бралъ кого нибудь изъ насъ за даму. Цвѣтъ всего былъ Николай — *самодержавно царствующій* кадриль, сознательная твердость каждаго шага, доблесть каждаго движенія, притомъ прощающій и милосердный взглядъ на даму, который тотчасъ превращается въ приказъ генералу и въ совѣтъ не забываться сановнику. Передать это словами невозможно. Генералъ, который, вытянувшись и немножко скругля локти, съ натянутымъ вниманіемъ идетъ по темпамъ на приступъ фигуры, подъ строгимъ наблюденіемъ государя императора, и растерянный сановникъ, съ подкашивающимися отъ страха ногами, съ улыбкой и почти со слезою на глазахъ,—все это было представлено такъ, что человѣкъ, никогда невидавшій Николая, могъ совершенно основательно узнать въ чемъ состояла пытка царской кадрили и опасность высочай-

шаго vis à vis. Я забылъ сказать, что дипломатъ одинъ танцовалъ съ изученной небрежностью и съ большимъ fini, скрывая то неловкое чувство безпокойства, которое ощущаетъ самый храбрый человѣкъ, съ зажженой сигарой, возлѣ бочки съ порохомъ.

Но изъ того, что это ломанье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не слѣдуетъ, чтобъ въ ней самой было больше спѣтости и гармоніи; совсѣмъ напротивъ, у нея въ головѣ былъ дѣйствительной безпорядокъ, разрушавшій всякій строй, всякую послѣдовательность и дѣлавшій ее неуловимой. Я на ней на первой изучилъ, какъ мало можно взять логикой въ спорѣ съ женщиной, особенно когда споръ въ практическихъ сферахъ. Въ Энгельсонѣ неустройство напоминало безбезпорядокъ послѣ пожара, послѣ похоронъ, пожалуй послѣ преступленія, а въ ней неприбранную комнату, въ которой все разбросано зря — дѣтскія куклы, вѣнчальное платье, молитвенникъ, романъ Ж. Сандъ, туфли, цвѣты, тарелки. Въ ея полусознанныхъ мысляхъ и полуподорванныхъ вѣрованіяхъ, въ притязаніяхъ на невозможную свободу и въ зависимости отъ привычныхъ, внѣшнихъ цѣпей, было что-то восьмилѣтнее, восьмнадцатилѣтнее, восьмидесятилѣтнее. Много разъ говорилъ я это ей самой; и странное дѣло, даже лице ея преждевременно завяло, казалось старымъ отъ отсутствія части зубовъ и въ тоже время сохраняло какое-то ребяческое выраженіе.

Во внутренномъ хаосѣ ея былъ кругомъ виноватъ Энгельсонъ.

Его жена была избалованнымъ ребенкомъ своей матери, которая не чаяла въ ней души; за нее посватался, когда ей было лѣтъ восьмнадцать, пожилой, флегматическій чиновникъ изъ шведовъ. Въ минуту досады и

ребяческаго каприза на мать, она согласилась выйдти за него. Ей хотѣлось сѣсть хозяйкой и быть своей госпожей.

Когда медовый мѣсяцъ воли, визитовъ, нарядовъ, прошелъ, новобрачной стало невыносимо скучно, мужъ, не смотря на то, что тщательно сохранялъ респектабельность, возилъ ее въ театръ и дѣлалъ *чайные* вечера—ей опротивѣлъ; она побилась съ нимъ года три, четыре, устала и уѣхала къ матери. Они развелись. Мать умерла и она осталась одна, съ здоровьемъ преждевременно разрушеннымъ въ борьбѣ съ нелѣпымъ бракомъ, съ пустотой, съ голодомъ въ сердцѣ, съ празднымъ умомъ, страдающая, печальная.

Въ это время Энгельсонъ былъ исключенъ изъ Лицея. Нервный, раздражительный, съ страстной потребностью любви, съ болѣзненнымъ недовѣріемъ къ себѣ, снѣдаемый самолюбіемъ... Онъ познакомился съ ней, еще при жизни матери, и сблизился послѣ ея смерти. Мудрено было бы, еслибъ онъ не влюбился въ нее. На долго ли или нѣтъ, но онъ долженъ былъ полюбить ее сильно. Къ этому вело все... и то, что она была женщина безъ мужа, вдова и не вдова, невѣста и не невѣста, и то, что она томилась чѣмъ-то, была влюблена въ другаго, и мучилась своей любовью. Этотъ другой былъ энергическій молодой человѣкъ, офицеръ и литераторъ, но отчаянный игрокъ. Они поссорились за эту неистовую страсть къ игрѣ—онъ въ послѣдствіи застрѣлился.

Энгельсонъ не отходилъ отъ нея, онъ утѣшалъ ее, смѣшилъ, занималъ. Это была первая и послѣдняя любовь его. Ей хотѣлось учиться или лучше знать не учась, онъ взялся быть ея ментором, — она просила книгъ.

Первую книгу, которую Энгельсонъ ей далъ была Das

Wesen des Christentum's, Фейербаха. Себя онъ сдѣлалъ комментаторомъ и ежедневно изъ подъ ногъ своей Елоизы, не умѣвшей ступить на землю отъ китайскихъ башмаковъ стараго христіанскаго воспитанія — выдергивалъ скамейку, на которой она кой-какъ могла не потерять равновѣсія...

Освобожденіе отъ традиціонной морали, сказалъ Гёте, никогда не ведетъ къ добру *безъ укрѣпившейся мысли*; дѣйствительно, *одинъ разумъ* достоенъ смѣнять *религію долга*.

Энгельсонъ попробовалъ женщину, спавшую непробуднымъ сномъ нравственной безпечности, убаюканную традиціями и грезившую все, что грезитъ слегка христіанская, слегка романтическая, слегка моральная, патріархальная душа, воспитать сразу, по методѣ англійскихъ нянекъ, которыя кричащему отъ боли въ животѣ ребенку наливаютъ въ ротъ рюмку водки. Въ ея незрѣлыя, дѣтскія понятія, онъ бросилъ разъѣдающій ферментъ, съ которымъ мужчины рѣдко умѣютъ справиться, съ которымъ онъ самъ *не справился*, а только понялъ его.

Ошеломленная ниспроверженіемъ всѣхъ нравственныхъ понятій, всѣхъ религіозныхъ вѣрованій и находя у самаго Энгельсона одно сомнѣніе, одно отрицанье прежняго и одну иронію, она потеряла послѣдній компасъ, послѣдній руль и пошла, какъ пущенная въ море лодка, безъ кормила, вертясь и блуждая. Балансъ выработанный самой жизнью, держащійся—какъ въ маятникѣ противуположными пластинками — нелѣпостями, исключающими другъ друга и держащими на этомъ — былъ нарушенъ.

Она бросилась на чтеніе съ яростью, понимала не понимая, и примѣшивая къ философіи нянюшекъ, фи-

лософію Гегеля, къ экономическимъ понятіямъ чопорнаго хозяйства — сентиментальный соціализмъ. При всемъ этомъ здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили, она чахла, томилась, смертельно хотѣла ѣхать за границу и боялась какихъ-то преслѣдованій и враговъ.

Послѣ долгой борьбы, собравши всѣ силы, Энгельсонъ сказалъ ей: „вы хотите путешествовать, какъ вы доѣдете однѣ?.. вамъ надѣлаютъ бездну непріятностей, вы потеряетесь, безъ друга, безъ защитника, который имѣлъ бы право васъ защищать. Вы знаете, что за васъ я отдамъ мою жизнь... отдайте мнѣ вашу руку— я васъ буду беречь, покоить, сторожить... я буду ваша мать, вашъ отецъ, ваша нянька и мужъ, только передъ закономъ. Я буду съ вами — близко васъ...

Такъ говорилъ человѣкъ моложе тридцати лѣтъ, страстно любившій. Она была тронута и приняла его мужемъ безусловно. Черезъ нѣкоторое время они уѣхали въ чужіе края.

Таково было прошедшее моихъ новыхъ знакомыхъ. Когда Энгельсонъ все это разсказалъ мнѣ, когда онъ горько жаловался, что бракъ этотъ загубилъ ихъ обоихъ и я самъ видѣлъ, какъ они изнывали въ какомъ-то нравственномъ угарѣ, который они преднамѣренно вздували, я убѣдился, что несчастье ихъ состоитъ въ томъ, что они слишкомъ мало знали другъ друга прежде, слишкомъ тѣсно придвинулись теперь, слишкомъ свели всю жизнь на личный лиризмъ, слишкомъ вѣрятъ, что они мужъ и жена. Еслибъ они могли разъѣхаться... каждый вздохнулъ бы на свободѣ, успокоился бы, а можетъ и вновь разцвѣлъ бы. Время показало бы—въ самомъ ли дѣлѣ они такъ нужны другъ для друга, во всякомъ случаѣ горячка была бы прервана безъ ката-

строфы. Я не скрывалъ моего мнѣнія отъ Энгельсона; онъ соглашался со мной, но все это былъ миражъ, въ сущности у него не было силы ее оставить, у нея — броситься въ море... они тайно *хотѣли* остаться при канунѣ этихъ рѣшеній, не приводя ихъ въ исполненіе.

Мнѣніе мое было слишкомъ просто и здорово, чтобъ быть вѣрнымъ въ отношеніи къ такимъ сложно патологическимъ субъектамъ и къ такимъ больнымъ нервамъ.

II

Типъ, къ которому принадлежалъ Энгельсонъ, былъ тогда для меня довольно новъ. Въ началѣ сороковыхъ годовъ я видѣлъ только его зачатки. Онъ развился въ Петербургѣ подъ конецъ карьеры Бѣлинскаго и сложился послѣ меня до появленія Чернышевскаго. Это типъ Петрашевцевъ и ихъ друзей. Кругъ этотъ составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болѣзненные и поломанные. Въ ихъ числѣ не было ни кричащихъ бездарностей, ни пишущихъ безграмотностей—это явленія совсѣмъ другаго времени — но въ нихъ было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смѣло на дѣятельность и удивили всю Россію „Словаремъ иностранныхъ словъ“. Наслѣдники сильно возбужденной умственной дѣятельности сороковыхъ годовъ, они прямо изъ нѣмецкой философіи шли въ фалангу Фурье, въ послѣдователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманіемъ полиціи и сознаніемъ своего превосходства,

при самомъ выходѣ изъ школы, они слишкомъ дорого оцѣнили свой отрицательный подвигъ, или лучше свой подвигъ въ возможности. Отсюда безмѣрное самолюбіе. Не то здоровое, молодое самолюбіе, идущее юношѣ — мечтающему о великой будущности, идущее мужу въ полной силѣ и въ полной дѣятельности, не то, которое въ былыя времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цѣпи и смерть, изъ желанія славы, но напротивъ, самолюбіе болѣзненное, мѣшающее всякому дѣлу огромностью притязаній, раздражительное, обидчивое, самонадѣянное до дерзости и въ тоже время неувѣренное въ себѣ.

Между ихъ *запросомъ* и оцѣнкой ближнихъ, несоразмѣрность была велика. Общество не принимаетъ векселей на будущее, а требуетъ готовую работу за свое наличное признаніе. Труда и выдержки у нихъ было мало, того и другаго хватило только для пониманья, для усвоенья — разработаннаго другими. Они хотѣли жатвы за намѣреніе сѣять и вѣнковъ за то, что у нихъ закормы были полны. „Обидное непризнаніе общества“ ихъ мучило и доводило до несправедливости къ другимъ, до отчаянія и Fratzenhaftigkeit.

На Энгельсонѣ я изучилъ разницу этого поколѣнія съ нашимъ. Впослѣдствіи я встрѣчалъ много людей — не столько талантливыхъ, не столько развитыхъ — но съ тѣмъ-же *видовымъ*, *болѣзненнымъ надломомъ* по всѣмъ суставамъ.

Страшный грѣхъ лежитъ на николаевскомъ царствованіи—въ этомъ нравственномъ умерщвленіи плода, въ этомъ душевредительствѣ дѣтей. Дивиться надобно, какъ здоровыя силы, сломавшись, все же уцѣлѣли. Кто не знаетъ знаменитую инструкцію учителямъ кадетскихъ корпусовъ? Въ Лицеѣ было лучше, но невависть

Николая въ послѣднее время налегла и на него. Вся система казеннаго воспитанія состояла въ внушеніи религіи слѣпаго повиновенія, ведущей къ власти, какъ къ своей наградѣ. Молодыя чувства, лучистыя по натурѣ, были грубо оттѣсняемы внутрь, замѣняемы честолюбіемъ и ревнивымъ, завистливымъ соревнованіемъ. Что не погибло, вышло больное, сумашедшее... Вмѣстѣ съ жгучимъ самолюбіемъ прививалась какая-то обезкураженность, сознаніе безсилія, усталь передъ работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имѣя двадцати лѣтъ отроду. Они всѣ были заражены страстью самонаблюденія, самоизслѣдованія, самообвиненія, они тщательно повѣряли свои психическія явленія и любили безконечныя исповѣди и разсказы о нервныхъ событіяхъ своей жизни. Мнѣ впослѣдствіи случалось часто имѣть на духу не только мужчинъ, но и женщинъ, принадлежавшихъ къ той же категоріи. Вглядываясь съ участіемъ въ ихъ покаянія, въ ихъ психическія себя-бичеванія, доходившія до клеветы на себя, я наконецъ убѣдился потомъ, что все это одна изъ формъ того же самолюбія. Стоило вмѣсто возраженья и состраданья согласиться съ кающимся, чтобъ увидѣть, какъ легко уязвляемы и какъ безпощадно мстительны эти магдалины — обоихъ половъ. Вы передъ ними, какъ христіанскій священникъ передъ сильными міра сего, имѣете только право торжественно отпускать грѣхи и молчать.

У этихъ нервныхъ людей, чрезвычайно обидчивыхъ, содрагавшихся, какъ мимоза, при всякомъ чуть неловкомъ прикосновеніи, была съ своей стороны непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дѣло шло объ отмѣсткѣ, выраженія не мѣрились, страшный эстетическій недостатокъ, выражающій глубокое презрѣніе къ

лицу и оскорбительную снисходительность къ себѣ. Необузданность эта идетъ у насъ изъ помѣщичьихъ домовъ, канцеляріи и казармъ, но какъ же она уцѣлѣла, развилась у новаго поколѣнія, перескакивая черезъ наше? Это психологическая задача.

Въ прежнихъ студентскихъ кружкахъ бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но въ самой пущей брани, *кой-что* оставалось внѣ битвы... Для нашихъ нервныхъ людей — энгельсоновскаго поколѣнія, этого завѣтнаго мѣста не существовало, они не считали нужнымъ себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержанія верха въ спорѣ не щадили ничего и я часто съ ужасомъ и удивленіемъ видѣлъ, какъ они, начиная съ самаго Энгельсона, бросали безъ малѣйшей жалости драгоцѣннѣйшія жемчужины въ ѣдкій растворъ *и плакали потомъ*. Съ перемѣной нервнаго тока начинаются раскаянія, вымаливаніе прощенья у поруганнаго кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты въ тотъ же сосудъ, изъ котораго пили.

Раскаянія ихъ бывали искренни, но не предупреждали повтореній. Какая-то пружина, умѣряющая дѣйствіе колесъ и направляющая ихъ, у нихъ сломана; колеса вертятся съ удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетаніе нарушено, эстетическая мѣра потеряна, съ ними жить нельзя, имъ самимъ съ этимъ жить нельзя.

Счастья для нихъ не существовало, они не умѣли его беречь. При малѣйшемъ поводѣ, они давали безчеловѣчный отпоръ и обращались грубо со всѣмъ близкимъ. Ироніей они не меньше губили и портили въ жизни, чѣмъ нѣмцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотятъ быть любимыми, ищутъ наслажденья и когда подносятъ ко рту чашу, какой-то злой

духъ толкаетъ ихъ подъ руку, вино льется на земь и запальчивостью отброшенная чаша валяется въ грязи.

III

Энгельсоны вскорѣ уѣхали въ Римъ и Неаполь, они хотѣли остаться тамъ мѣсяцевъ шесть и возвратились черезъ шесть недѣль. Ничего не видавши, они таскали свою скуку по Италіи, мыкали свое горе въ Римѣ, грустили въ Неаполѣ и наконецъ рѣшились ѣхать обратно въ Ниццу, „къ вамъ на леченье“—писалъ онъ мнѣ изъ Генуи.

Мрачное расположеніе ихъ выросло во время ихъ отсутствія. Къ нервному растройству прибавились размолвки, принимавшія все больше и больше озлобленный, желчевой характеръ. Энгельсонъ былъ виноватъ въ необузданности словъ, въ жесткихъ выраженіяхъ—но вызывала ихъ всегда она, вызывала преднамѣренно, съ затаенной колкостью и съ особеннымъ успѣхомъ въ самыя добродушныя минуты его, забыться онъ не могъ ни на минуту.

Молчать Энгельсонъ вовсе не умѣлъ, говорить со мною облегчало его и потому онъ мнѣ разсказывалъ все, даже больше чѣмъ нужно, мнѣ было не ловко; я чувствовалъ, что не могу быть съ ними такъ откровененъ, какъ они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокоивала высказанная жалоба — меня нѣтъ.

Разъ, сидя со мной въ небольшой тавернѣ, Энгельсонъ сказалъ, что онъ обезсилился въ ежедневной борьбѣ, что выхода изъ нея нѣтъ, что снова мысль о прекращеніи своего существованія ему представляется

послѣднимъ спасеніемъ... При его нервной необузданности, можно было ждать, что если наконецъ ему попадется пистолетъ или склянка яда, то онъ когда нибудь и попробуетъ, то или другое...

Мнѣ было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она за мужемъ за человѣкомъ свѣтлаго нрава, который умѣлъ бы ее тихо развивать, *весело веселиться*, и въ случаѣ нужды дѣйствовать не только убѣжденіемъ, но и авторитетомъ—авторитетомъ серьезнымъ, безъ ироніи. Есть несовершеннолѣтнія натуры, которыя не могутъ себя вести сами, такъ какъ ссть лимфатическія сложенія, которымъ необходимъ корсетъ, чтобъ позвоночный столбъ не гнулся.

Пока я думалъ объ этомъ, Энгельсонъ, продолжая свой разсказъ, самъ пришелъ къ тому же заключенію. „Женщина эта меня не любитъ, говорилъ онъ, да и не можетъ любить; то что она понимаетъ во мнѣ и ищетъ — скверно, а что во мнѣ есть хорошаго—для нея китайская грамота; она испорчена буржуазностью, съ своимъ внѣшнимъ respectabilität'омъ, съ мелкимъ фамилизмомъ, мы замучимъ другъ друга, это для меня ясно.“

Мнѣ казалось, что если мужчина можетъ такимъ образомъ говорить о близкой женщинѣ, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что давно съ глубокимъ участіемъ слѣдя за ихъ жизнію, часто задавалъ себѣ вопросъ, за чѣмъ они живутъ вмѣстѣ? „У вашей жены тоска по Петербургу, по братьямъ, по старой нянюшкѣ, отчего вы не устроите, чтобъ она ѣхала домой, а вы бы остались здѣсь?“

— Тысячу разъ, думалъ я объ этомъ, я только этого и хочу, но во-первыхъ, ей не съ кѣмъ ѣхать, а во-вторыхъ, она въ Петербургѣ пропадаетъ съ тоски.

— Да вѣдь она и здѣсь пропадетъ съ тоски. Что не съ кѣмъ послать — это воспоминанія нашихъ барскихъ затѣй, вы можете проводить вашу жену до парохода въ Штетинъ, а пароходъ самъ дорогу найдетъ. Если у васъ нѣтъ денегъ, я вамъ дамъ въ займы.

— Вы правы, и я это сдѣлаю непремѣнно. Мнѣ больно, мнѣ жаль ее, все что было во мнѣ любви положилъ я на ее голову — я въ ней искалъ не только жены, но существо, которое я хотѣлъ развивать, воспитывать по своей фантазіи, я думалъ, что она будетъ моимъ ребенкомъ — задача была не по силамъ — да и кто же зналъ, сколько противодѣйствій я найду, сколько упрямства? — Онъ помолчалъ и потомъ добавилъ: „Сказать вамъ всю мою мысль — ей надобно другаго мужа... еслибъ нашелся человѣкъ достойный ее, котораго бы она полюбила, я сдалъ бы ее съ рукъ на руки и мы оба выздоровѣли бы—это важнѣе Петербурга“.

Я все это принималъ au pied de la lettre. Что онъ былъ искрененъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія — тутъ-то и лежитъ загвоздка этихъ подвижныхъ, не владѣющихъ собой организацій, онѣ могутъ какъ хорошіе актеры въиграться въ разныя роли и до того съ ними сродниться, что картонный кинжалъ имъ кажется настоящимъ, и они льютъ истинныя слезы о „Гекубѣ“.

Мы тогда жили вмѣстѣ въ С.-Еленъ. Дни два спустя послѣ моего разговора съ Энгельсономъ, поздно вечеромъ вошла M^me^ Энгельсонъ въ гостинную, со свѣчой въ рукѣ и съ заплаканнымъ лицомъ; поставила свѣчу на столъ и сказала, что желаетъ поговорить со мной. Мы сѣли... послѣ небольшой и неясной прелюдіи о судьбѣ, которая ея преслѣдуетъ, о несчастномъ характерѣ Энгельсона и ея самой она объявила, что рѣшилась возвратиться въ Петербургъ и не знаетъ какъ это

сдѣлать: „вы одни имѣете на него вліяніе, уговорите его меня *въ самомъ дѣлѣ* отпустить; я знаю, что онъ въ минуты досады на словахъ готовъ меня сейчасъ посадить въ почтовую карету, но все это *на словахъ*. Уговорите его, спасите насъ обоихъ и дайте слово, первое время походить за нимъ, похолить его... ему будетъ тяжело, онъ больной, нервный человѣкъ", и она снова рыдая покрыла лицо платкомъ.

Въ глубину горести ея я не вѣрилъ, но очень хорошо понялъ, какого я далъ маху, говоря откровенно съ Энгельсономъ; для меня было ясно, что онъ передалъ ей нашъ разговоръ.

Выбора мнѣ не оставалось, я повторилъ свои слова, смягчивши ихъ въ формѣ. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поѣдетъ, то бросится въ море, что она вечеромъ сожгла многія бумаги и желаетъ мнѣ поручить какія-то другія въ запечатанномъ пакетѣ. Мнѣ стало ясно, что и она вовсе не такъ страстно хочетъ ѣхать, а хочетъ, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверхъ того я увидѣлъ, что если она колеблется безъ всякаго рѣшенія, то онъ и не колеблется, а вовсе не хочетъ, чтобъ она ѣхала. Она надъ нимъ имѣла большую власть, она знала это и, основываясь на ней, дозволяла ему бѣситься, покрывать пѣной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй онъ, какъ хочешь, дѣло пойдетъ *не по его волѣ, а по ея.*

Совѣта моего она мнѣ никогда не прощала, она боялась моего вліянія, хотя и имѣла явное доказательство моего безсилія.

Дней десять не было рѣчи объ отъѣздѣ. Потомъ пошли періодическія схватки. Въ недѣлю разъ или два она являлась съ заплаканными глазами, объявляла, что

теперь все кончено. что завтра она будетъ собираться въ Петербургъ или на дно морское. Энгельсонъ выходилъ изъ своей комнаты съ зеленымъ лицомъ, съ судорожнымъ подергиваніемъ и дрожащими руками, онъ исчезалъ часовъ на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпившій, носилъ визировать пасъ или брать пропускъ въ Геную, потомъ все утихало и приходило въ обыкновенное русло.

Наружно Mme Энгельсонъ со мною совершенно примирилась, но съ этого времени у ней началось слагаться что-то въ родѣ ненависти ко мнѣ. Прежде она спорила со мной, сердилась не скрывая... теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядѣлъ, что я не умилялся передъ ея трагической судьбой, не принималъ ее за несчастную жертву — а глядѣлъ на нее какъ на капризную больную, что я не только не сдѣлался платоническимъ соплакальщикомъ ея, а сомнѣвался, не наслажденіе ли вмѣсто горести доставляютъ ей слезы, душераздирательныя сцены, объясненія въ нѣсколько часовъ и пр., и пр.

Время шло и исподволь многое измѣнилось. Она съ быстротою, которая только встрѣчается у нервныхъ больныхъ, поздоровѣла, сдѣлалась веселѣе, стала еще внимательнѣе къ туалету и хотя самые вздорные поводы снова приводили къ прежнимъ сценамъ между нею и Энгельсономъ, къ прощанью Сократа передъ цикутой и къ готовности идти по слѣдамъ Сафо въ пучину морскую, но въ суммѣ дѣла шли лучше. Вѣчно полулежащая отъ слабости, вѣчно утомленная женщина, выпрямилась, какъ Сикстъ V, стала полнѣть и до того, что разъ бѣдный Коля, сидя за обѣдомъ и глядя на ея полную грудь, сказалъ, покачивая головой: „Sehr viel Milch!“

Видно было, что новый интересъ занялъ ея жизнь что что-то разбудило ее отъ болѣзненной летаргіи. Съ тѣхъ поръ, какъ мы объяснились съ ней, она начала упорную игру, обдумывая всякій ходъ, не хуже игроковъ du café Régent и терпѣливо поправляя ошибки. Иногда она измѣняла себѣ, дѣлала промахи, увлекалась въ ту или другую сторону, но съ постоянствомъ возвращалась къ прежнему плану. Планъ этотъ шелъ уже дальше закрѣпленія въ свою власть Энгельсона, дальше отмѣстки мнѣ; онъ состоялъ въ томъ, чтобъ завладѣть всѣми нами, всѣмъ домомъ и, пользуясь усиливающейся болѣзнью Natalie, взять въ свои руки воспитанье, всю жизнь — si non — non, т. е, въ противномъ случаѣ разорвать во чтобъ ни стало мою связь съ Энгельсономъ.

Но прежде чѣмъ она достигла послѣдняго результата, игра представляла много ходовъ очень трудныхъ, тяжелыхъ уступокъ, кошачьей тактики и большаго выжиданія — многое она сдѣлала, но не все. Безконечная болтовня Энгельсона мѣшала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергію, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замыселъ... но личности и самолюбія пьянятъ, и вступая въ темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что нибудь разглядѣть. Обыкновенно свѣтъ вносится въ комнату на шумъ уже совершившагося преступленія, т. е. когда съ одной стороны неисправимая бѣда, съ другой угрызеніе совѣсти.

IV.

... О несчастіяхъ, обрушившихся на меня въ 1851 и 1852 годахъ, я говорю въ другомъ мѣстѣ. Энгельсонъ много облегченія внесъ въ мою печальную жизнь. Мы съ нимъ долго прожили бы возлѣ кладбищъ, но безпокойное самолюбіе его жены не пощадило и траура.

Нѣсколько недѣль послѣ похоронъ, Энгельсонъ печальный, встревоженный, видимо нехотя и видимо не отъ себя, спросилъ меня, не думаю ли я поручить его женѣ воспитаніе моихъ дѣтей?

Я отвѣчалъ, что дѣти, кромѣ моего сына, поѣдутъ въ Парижъ съ Марьей Каспаровной, и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенья принять не могу.

Отвѣтъ мой огорчилъ его, огорчать его мнѣ было больно. — „Скажите мнѣ, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать дѣтей?“

— Нѣтъ, отвѣчалъ въ свою очередь Энгельсонъ, но... но можетъ это planche de salut *для нея*; она все таки страдаетъ какъ прежде, а тутъ ваше довѣріе, новый долгъ.

— Ну, а какъ опытъ не удастся?

— Вы правы, не будемъ говорить объ этомъ, а тяжело.

Энгельсонъ былъ дѣйствительно согласенъ со мной и замолчалъ. Но она не ожидала такого простаго отвѣта; уступить на этомъ вопросѣ я не могъ, она не хотѣла, и внѣ себя отъ досады, тотчасъ рѣшилась увезти Энгельсона изъ Ниццы. Дня черезъ три онъ объявилъ мнѣ, что ѣдетъ въ Геную.

— Что съ вами, спросилъ я, и *за что же* такъ скоро?

— Да что, вы видите сами, жена не ладитъ ни съ вами, ни съ вашими друзьями, я ужь рѣшился... да оно можетъ и лучше.

И черезъ день они уѣхали.

А потомъ уѣхалъ я изъ Ниццы. Въ Генуѣ, проѣздомъ, мы встрѣтились мирно. Окруженная нашими друзьями, въ числѣ которыхъ былъ Медичи, Пизакане, Козенцъ, Мордини, она казалась спокойнѣе и здоровѣе. Но тѣмъ не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтобъ не кольнуть меня самымъ злымъ образомъ. Я отходилъ, молчалъ, это не помогало. Даже когда я уѣхалъ въ Лугано, она продолжала свои отравленныя petits points, и это въ рѣдкихъ припискахъ къ письмамъ мужа, какъ будто съ его „визой.“

Наконецъ булавочные уколы, въ такое время, когда я весь былъ задавленъ болью и горемъ, вывели меня изъ терпѣнія. Я ихъ ничѣмъ не заслужилъ, ничѣмъ не вызвалъ. На одну изъ злыхъ приписокъ, въ которой говорилось о томъ, какъ дорого еще Энгельсонъ поплатится за то, что беззавѣтно отдается друзьямъ, не зная, что они для него ничего не сдѣлаютъ — я написалъ Энгельсону, что пора положить этому предѣлъ.

„Я не понимаю, писалъ я, за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдалъ ей моихъ дѣтей, то врядъ ли она права?“ Я напомнилъ ему нашъ послѣдній разговоръ и прибавилъ: „Мы знаемъ, что Сатурнъ ѣлъ своихъ дѣтей, но чтобъ кто нибудь *благодарилъ своихъ друзей за ихъ участіе* дѣтскимъ воспитаніемъ, это неслыханно.“

Этой выходки она мнѣ не простила, но, что гораздо удивительнѣе, и онъ не простилъ, хотя сначала не по-

казалъ вовсе вида... а попрекнулъ меня этими словами черезъ годы...

Я уѣхалъ въ Лондонъ, Энгельсонъ поселился на зиму въ Женевѣ, потомъ перебрался въ Парижъ.*)

V.

Пословицу: „кто на морѣ не бывалъ, тотъ богу не молился,“ можно такъ передѣлать: женщина, у которой дѣтей не бывало, не знаетъ безкорыстной преданности и это особенно относится къ замужнимъ женщинамъ; бездѣтность у нихъ развиваетъ почти всегда грубый эгоизмъ, разумѣется, если по дорогѣ не спасетъ какой нибудь общій интересъ. Старая дѣва имѣетъ какія-то посѣдѣвшія стремленія, мягчащія ее, она все еще ищетъ и все надѣется; но женщина безъ дѣтей и съ мужемъ въ гавани, она благополучно пріѣхала, сначала инстинктивно погрустила о томъ, что дѣтей нѣтъ, потомъ успокоилась и живетъ въ свое удовольствіе, а если и оно не удается, въ *свое горе*, или въ чье нибудь неудовольствіе, въ чье нибудь горе—хоть горничной. Рожденіе ребенка можетъ ее спасти. Ребенокъ пріучаетъ мать къ жертвѣ, къ подчиненію воли, къ страстной тратѣ времени *не на себя*, и отучаетъ отъ всякой внѣшней награды, признанія, спасиба. Мать съ ребенкомъ не считается, она ничего не требуетъ отъ него — кромѣ здоровья, апетита, сна—и—его улыбки. Ребенокъ, не выводя женщины изъ дому, превращаетъ ее въ гражданское лицо.

*) Къ этому времени относится рядъ очень замѣчательныхъ его писемъ, изъ которыхъ значительную часть я думаю когда нибудь напечатать.

Совсѣмъ не то, когда бездѣтной женщинѣ въ домъ попадается почему бы то ни было чужой ребенокъ, да еще по какой нибудь необходимости. Она будетъ, пожалуй, наряжать его, играть съ нимъ, но когда ей *хочется;* она будетъ баловать его, но по своему, во всѣхъ другихъ случаяхъ ребенокъ будетъ напрасно стучаться въ окоченѣлое или ожирѣвшее сердце. Словомъ, ребенокъ можетъ навѣрное расчитывать на всѣ льготы и холенья, которыя дѣлаютъ шпицу, канарейкѣ — но не больше.

У одного изъ нашихъ близкихъ знакомыхъ была дочь, родившаяся отъ одной молодой вдовы. Въ видахъ *замужества* матери, ребенка хотѣли увести и украли во время отсутствія отца. Послѣ долгихъ розысковъ дѣвочку нашли; но отецъ, изгнанный изъ Франціи, не могъ за ней пріѣхать въ Парижъ, да и къ тому же не имѣлъ денегъ. Не зная, куда дѣть ее, онъ попросилъ Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсонъ согласился, но очень скоро раскаялся. Дѣвочка шалила и, вѣроятно, очень много, взявъ въ расчетъ ея неправильное воспитаніе; но все же она шалила, какъ пятилѣтній ребенокъ, и не съ гуманнымъ пониманьемъ Энгельхона можно было опрокинуться на дѣвочку за шалости. Да и бѣда была не въ томъ, что она шалила: *она мѣшала* и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не дѣлавшей. Энгельсонъ съ какимъ-то ожесточеніемъ жаловался мнѣ письменно на ребенка!

Между прочимъ, на счетъ ея отца, Энгельсонъ писалъ мнѣ: „Не страно ли, что Х., соглашавшійся когда то съ вами, что жена моя *не способна воспитывать вашихъ дѣтей, поручилъ ей свою собственную дочь?*“

Энгельсонъ зналъ очень хорошо, что отецъ дѣвочки *не выбралъ* его жену воспитательницей, а былъ приве-

денъ матеріальной нуждой въ необходимость прибѣгнуть къ ея помощи. Въ этомъ замѣчаніи было столько жесткаго, невеликодушнаго, что у меня перевернулось сердце. Я не могъ привыкнуть къ этому недостатку пощады, къ этой *смѣлости* языка, не останавливающагося ни передъ чѣмъ! Глубоко язвящіе намеки, которые могутъ въ минуту раздраженія придти каждому въ голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятся людьми, къ которымъ принадлежалъ Энгельсонъ, съ легкостью и наслажденіемъ при малѣйшей размолвкѣ.

Давъ волю своему раздраженію, Энгельсонъ въ письмѣ своемъ, по дорогѣ, оборвалъ и Тесье, и другихъ пріятелей, даже самаго Прудона, котораго очень уважалъ. Вмѣстѣ съ письмомъ Энгельсона пришло изъ Парижа письмо Тесье; онъ дружески шутилъ о „гнѣвахъ и шалостяхъ“ Энгельсона, не подозрѣвая, что̀ онъ писалъ объ немъ. Мнѣ была противна роль какого-то отрицательнаго предательства, и я написалъ Энгельсону, что стыдно такъ бранить людей, съ которыми жизнь насъ свела, что, не смотря на ихъ недостатки, все же они люди хорошіе, какъ онъ самъ знаетъ. Въ заключеніе я говорилъ, что стыдно такъ пріувеличивать всякое дѣло и ахать, и охать, и приходить въ отчаяніе отъ шалостей пятилѣтняго ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, другъ, цаловавшій въ порывѣ энтузіазма мою руку, приходившій ко мнѣ дѣлить всякую печаль и предлагавшій мнѣ кровь свою и свою жизнь, не на словахъ, *а въ самомъ дѣлѣ*... этотъ человѣкъ, связанный со мной своею исповѣдью и моими несчастіями, которыхъ былъ свидѣтелемъ, гробомъ, за которымъ мы шли вмѣстѣ—все забылъ. Его самолюбіе было затронуто..... ему надобно

было отомстить—онъ и отомстилъ. Черезъ *четыре дня* я получилъ отъ него слѣдующій отвѣтъ:

2 Февраля, 1853.

„Слухи носятся, что вы рѣшились ѣхать сюда; — здоровіе Маріи Каспаровны, кажется, возстанавливается (по крайней мѣрѣ, на прошедшей недѣлѣ она стала пободрѣе духомъ, встаетъ съ постели минутъ на пять, имѣетъ апетитъ);—о порученіи, данномъ вами мнѣ къ Т., имѣю только то сказать, что вещи, которыя генералъ проситъ его приготовить, не у Т., а оставлены имъ у Фогта въ Женевѣ, что мадамъ Т. находитъ „peu gracieux„ ваше молчаніе и прибавляетъ, что переписка съ вами не могла бы причинить имъ непріятностей.

„Словомъ, до вашего пріѣзда я могъ бы и не писать вамъ, еслибъ мнѣ не пришло на умъ, что молчаніе часто можетъ быть принято за знакъ согласія. Я не хочу вводить или продержать васъ въ заблужденіи на счетъ меня: я не согласенъ съ тѣмъ, что сказано въ послѣднемъ вашемъ письмѣ ко мнѣ (отъ 28 Января).

„Вотъ ваши слова: „ну скажите, стоило ли такъ расходится—и биби—и младенецъ — и ужъ ай, ай, ай, и ужъ Боже мой. Ну подумайте, достойно ли это васъ И что новаго! Вы людей знали и видѣли. Я становлюсь съ каждымъ днемъ снисходительнѣе и дальше отъ людей.“

„На это отвѣчаю, не вдаваясь нынѣшній разъ въ диссертацію о респектабельности вообще, и даже не поздравляя васъ съ вашимъ довольствомъ самимъ собою, —что, разумѣется, смѣшонъ человѣкъ, который, облепленный комарами или клопами, впадаетъ въ ярость и бѣшенство, но что еще смѣшнѣе тотъ, который, страдая отъ нападеній такихъ насѣкомыхъ, усиливается придать себѣ видъ равнодушія стоическаго.

„Вы, можетъ быть, съ этимъ не согласны, потому что *вы ставите роль выше всего.* Не сердитесь! Погодите! дайте договорить. Въ первой главѣ вашего „Vom andern Ufer," въ русскомъ и нѣмецкомъ текстахъ, слѣдующія ваши слова: „Человѣкъ любитъ эффектъ, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагаетъ несчастіе; страданіе отвлекаетъ, утѣшаетъ... да, да, утѣшаетъ."—Какъ я уже въ Ниццѣ вамъ говорилъ, я сначала принялъ было это ваше изрѣченіе за обмолвку, хотя и не хорошую. Тогда вы мнѣ возразили, что вы не помните этихъ словъ.

„Нисколько не относя исключительно къ вамъ эти слова, то есть, не полагая, чтобъ вы о людяхъ вообще судили въ этомъ случаѣ по самому себѣ, я до сихъ поръ думалъ, что это ваше изрѣченіе, какъ большая часть des Réflexions de la Rochefoucault, на которыя оно очень похоже, какъ мастерски однажды сдѣланная Бѣлинскимъ характеристика талантливыхъ людей нашего времени, — „ипербола, шутка." И потому, когда я узналъ, что Х. въ Швейцаріи вознегодавалъ на генерала за его образъ дѣйствія въ вашемъ дѣлѣ, я принялъ это его негодованіе не за роль, а за чувство, и написалъ вамъ: „Да, я вижу, Х. мнѣ братъ." — Когда Т. (при свидѣтелѣ) объявлялъ, что онъ осужденъ „на вѣчность + два года," я также вѣрилъ этому и даже пересказалъ это нѣкоторымъ людямъ. Вчера мнѣ Г-жа Т. сказала, что ея мужъ никогда не былъ осужденъ. Ergo, я въ глазахъ тѣхъ, кому я пересказалъ его ложь, такой же благёръ, какъ онъ. Это мнѣ непріятно. Кто виноватъ? Разумѣется, я, потому что я былъ „молодъ, легковѣренъ;" но и они виноваты, потому что они лгали. Нѣтъ, такихъ благёровъ, какъ я увидѣлъ въ Ниццѣ, я ни на Руси, ни индѣ, еще не видалъ. Въ

письмѣ моемъ къ вамъ отъ 19 Января, я сказалъ вамъ, что я хочу, безъ эскландра, удалиться отъ этихъ людей, они бо мнѣ антипатичны. Написалъ же я вамъ это, потому что съ вами я хотѣлъ играть въ открытую. *Но, погруженный въ себя*, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вѣроятно, не дали бы мнѣ и самаго пустаго порученія къ Т. — Вы тоже говорили, что вы удаляетесь отъ людей, но вмѣстѣ съ тѣмъ просите ихъ вамъ писать. Я не умѣю такимъ образомъ удаляться.

„Полагая, что въ серьезныхъ дѣлахъ откровенность есть необходимое условіе честности, я имѣю еще слѣдующее сказать вамъ, не теряя времени: Вы пишете мнѣ, что, отправивъ генерала въ Австралію и давъ безсрочный отпускъ всѣмъ, вы останетесь при мнѣ и при врагахъ,—и что еслибъ къ тому же я поустоялся и меньше зависѣлъ отъ своихъ и не своихъ нервныхъ тревогъ и капризцовъ, то вы со мною сдѣлали бы un bout de chemin. Я долженъ на это вамъ отвѣтить, что, не чувствуя въ себѣ ни охоты, ни таланта къ ролямъ, и особенно трагическимъ, я готовъ, если вамъ угодно, служитъ вамъ моимъ совѣтомъ, но не дѣломъ“...

Конечно, я не предполагалъ, чтобъ человѣкъ, который слезами, рыданіемъ вызвалъ меня на трудно-произносимыя довѣрія, человѣкъ такъ близко подошедшій ко мнѣ и на котораго я опирался, какъ на брата, въ минуты слабости и безсилья, когда боль переходила человѣческую емкость, — что очевидецъ, свидѣтель всего что было, приметъ мои несчастія за котурны и декораціи, которыми я воспользуюсь, чтобъ играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, онъ заискивалъ въ ней камни и откладывалъ ихъ за пазуху, чтобъ при случаѣ пустить въ меня. Ему мало было оборвать на-

стоящее, онъ грязнилъ, опошлялъ прошедшее: разрываясь со мной, онъ не почтилъ его унылымъ чувствомъ молчаніи, а покрылъ его безжалостной бранью и ироническимъ шпыняньемъ.

Больно мнѣ было это письмо, очень больно.

Я отвѣчалъ ему грустно, сквозь затаенныя слезы, я прощался съ нимъ и просилъ его прекратить переписку.

За тѣмъ наступило между нами совершеннѣйшее молчаніе...

Съ Энгельсономъ еще разъ что-то оторвалось внутри, я становился еще бѣднѣе, еще разобщеннѣе, холодъ кругомъ, ничего близкаго... иногда будто теплѣе протягивалась рука, какой нибудь фанатикъ безъ пониманья, не разобравшій сначала, что мы не одной религіи, быстро подходилъ и также быстро отворачивался. Впрочемъ, я и самъ не искалъ большой близости съ людьми; я привыкалъ къ встрѣчнымъ и проходящимъ, къ разнымъ анонимамъ, отъ которыхъ ничего не требовалъ и которымъ ничего не давалъ, кромѣ сигаръ, вина и иногда денегъ. Одно спасеніе было въ работѣ, я писалъ „Былое и Думы“ и устроивалъ русскую типографію въ Лондонѣ.

VI.

Прошелъ годъ. Типографія была въ полномъ ходу, ее замѣтили въ Лондонѣ и боялись въ Россіи. Весною 1854 г. я получилъ отъ Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писалъ Энгельсонъ. Я тотчасъ напечаталъ ее.

Потомъ пришло отъ него письмо, въ которомъ онъ просилъ окончить несчастную размолвку и соединиться

на общее дѣло. Разумѣется я ему протянулъ обѣ руки. Вмѣсто отвѣта онъ явился самъ въ Лондонъ на нѣсколько дней и остановился у меня. Рыдая и смѣясь, просилъ онъ забвенія прошлаго... осыпалъ меня словами дружбы и снова схватилъ мою руку и прижалъ ее къ своимъ губамъ. Я обнялъ его, глубоко тронутый и въ твердой увѣренности, что ссора не возобновится.

Но уже черезъ нѣсколько дней показались облака, мало предвѣщавшіе хорошаго. Оттѣнокъ фатализма, бонапартизма, который проглядывалъ въ его письмахъ изъ Женевы — выросъ. Изъ ненависти къ Николаю и хористамъ французской революціи 1848 года, онъ переходилъ arme et bagage въ враждебный станъ. Мы поспорили, онъ былъ упоренъ. Зная, какъ онъ бросается въ крайности и какъ быстро возвращается, я ждалъ отлива, но его не было.

По несчастью, Энгельсонъ возился тогда съ удивительнымъ проэктомъ, въ который былъ страстно влюбленъ.

Онъ выдумалъ воздушную батарею, т. е. шаръ, начиненный горючими веществами и вмѣстѣ съ тѣмъ печатными воззваніями. Дѣло было при началѣ Крымской кампаніи. Энгельсонъ предлагалъ пускать такіе шары съ кораблей на балтійскіе берега. Проэктъ этотъ мнѣ очень не нравился; что за пропаганда съ прожектилями, что за смыслъ, намъ русскимъ, жечь финскія деревни, помогать Наполеону и Англіи? Къ тому же Энгельсонъ не открылъ никакого новаго средства направлять воздушные шары. Я мало возражалъ на его планъ, воображая, что онъ самъ броситъ эти бредни.

Не тутъ то было. Онъ отправился съ своимъ проэктомъ къ Мацціни, къ Ворцелю. Мацціни сказалъ, что онъ такого рода дѣлами не занимается, а готовъ пере-

слать черезъ своихъ друзей его проэктъ военному министру. Изъ министерства отвѣтили уклончиво и безъ отказа проэктъ оставили въ сторонѣ. Онъ просилъ меня собрать двухъ-трехъ военныхъ изъ рефюжье и предложилъ имъ вопросъ о шарѣ. Всѣ были противъ, и я еще и еще разъ говорилъ ему, что и я противъ, что наше *дѣло*, наша *сила* — пропаганда и пропаганда, что мы падемъ нравственно, становясь на одну сторону съ Наполеономъ, и погубимъ себя въ глазахъ Россіи faisant cause commune съ врагами ея. Энгельсонъ сердился, выходилъ изъ себя. Онъ ѣхалъ въ Лондонъ на вѣрное торжество, и встрѣтивши оппозицію даже во мнѣ, незамѣтно возвращался къ непріязни.

Вскорѣ онъ отправился за женой и привезъ ее въ Маѣ мѣсяцѣ въ Лондонъ. Въ ихъ отношеніяхъ сдѣлалась совершенння перемѣна, она была беременна, онъ въ восторгѣ отъ будущаго ребенка. Ссоры, размолвки, объясненія, все прошло. Она съ какимъ-то лунатическимъ мистицизмомъ и полупомѣшательстяомъ вертѣла столы и занималась спиритизмомъ. Духи ей предсказывали многое и между прочимъ скорую смерть мою. Онъ читалъ Шопенауера и улыбаясь говорилъ мнѣ, что всѣми силами мирволитъ мистическому направленію ея, что эта вѣра и экзальтація вноситъ миръ и покой въ ея душу.

Со мной она обошлась дружески, можетъ въ ожиданіи близкой смерти, приходила ко мнѣ съ работой и заставляла меня читать главы изъ „Былаго и Думы“ и новыя статьи. Когда черезъ мѣсяцъ начались опять размолвки изъ за бонапартизма и воздушныхъ шаровъ, *она являлась примирительницей* — приходила ко мнѣ, прося пощады *больному* и увѣряя, что всегда весной на Энгельсона находитъ ипохондрическое расположеніе, въ которомъ онъ самъ не знаетъ что дѣлаетъ.

Ея покойная кротость была кротость побѣдителя, милосердіе полнаго торжества. Энгельсонъ, воображавшій, что онъ ее держитъ въ рукахъ вертящимися столами, упустилъ одно изъ виду, что она вертѣла не только столами, но и имъ — и что онъ больше чѣмъ столы всегда отвѣчалъ то, что она хотѣла.

Однимъ вечеромъ, Энгельсонъ снова заспорилъ о своихъ шарахъ съ однимъ французомъ, наговорилъ ему разныхъ колкостей, тотъ отдѣлался ироніей и разумѣется взбѣсилъ Энгельсона еще больше. Онъ схватилъ шляпу и убѣжалъ. По утру я пошелъ къ нему, чтобъ объясниться по этому поводу.

Я его засталъ за письменнымъ столомъ, съ лицомъ совершенно искаженнымъ вчерашней злобой, съ безумнымъ выраженіемъ глазъ. Онъ сказалъ мнѣ, что французъ (рефюжье, котораго я зналъ давно, и знаю теперь) *шпіонъ*, что онъ его разоблачитъ, убьетъ и подалъ мнѣ письмо только что написанное и адресованное какому-то доктору медицины въ Парижѣ; въ письмѣ онъ припуталъ людей живущихъ въ Парижѣ и клеветалъ на выходцевъ въ Лондонѣ. Я остолбенѣлъ.

— И вы это письмо намѣрены послать?

— Сейчасъ.

— По почтѣ?

— По почтѣ.

— Это *донос*ъ, сказалъ я, и бросилъ на столъ его маранье. Если вы пошлете это письмо...

— Такъ что? закричалъ онъ, перерывая меня голосомъ сиплымъ, дикимъ, вы хотите грозить мнѣ, чѣмъ? не боюсь я ни васъ, ни подлыхъ друзей вашихъ — при этомъ онъ вскочилъ, раскрылъ большой ножъ, и махая имъ, кричалъ задыхаясь: „Ну—ну, покажите-ка прыть...

покажу я и вамъ, неугодно ли попробовать. . . милости просимъ!"

Я обернулся къ его женѣ и сказавши: „Что это онъ у васъ совсѣмъ съума сошелъ? Вы бы убрали его куда нибудь..."— вышелъ вонъ.

И на этотъ разъ M^me^ Энгельсонъ явилась примирительницей. Она пришла ко мнѣ утромъ, прося забыть, что было вчера. Письмо онъ изодралъ — былъ боленъ, печаленъ. Она принимала все это за несчастіе, за физическое разстройство, боялась, что онъ сильно занеможетъ, плакала. Я уступилъ ей.

За тѣмъ мы переѣхали въ Ричмондъ и Энгельсонъ тоже. Рожденіе сына и первые мѣсяцы хлопотъ объ немъ оживили Энгельсона; онъ потерялъ голову отъ радости, въ минуту рожденія малютки онъ обнялъ и разцаловалъ сначала горничную, потомъ старуху хозяйку дома... Страхъ о здоровьѣ маленькаго, новость отцовскаго чувства, новость самаго младенца заняли Энгельсона на нѣсколько мѣсяцевъ и все шло опять ладно.

Вдругъ получаю отъ него большой пакетъ при записочкѣ, чтобъ я прочелъ вложенную бумагу и сказалъ откровенно мое мнѣніе. Это было письмо къ французскому министру военныхъ дѣлъ. Въ немъ онъ снова предлагалъ шары, бомбы и статьи. Я нашелъ все дурнымъ, отъ пути, къ которому онъ обращался, до слога, мало сохранившаго достоинство, и высказалъ это.

Энгельсонъ отвѣчалъ дерзкой запиской и началъ дуться.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ мнѣ далъ другую рукопись для напечатанія. Я не скрылъ отъ него, что дѣйствіе ея на русскихъ будетъ прескверное и что я не совѣтую печатать. Энгельсонъ упрекнулъ меня въ желаніи завести ценсуру и говорилъ, что я вѣроятно устроилъ

типографію исключительно для печати моихъ „безсмертныхъ твореній“. Я напечаталъ рукопись, но чутье мое оправдалось, она возбудила къ Россіи общее негодованіе.

Все это показывало, что новый разрывъ не далекъ. Признаюсь, на этотъ разъ я не много объ этомъ жалѣлъ. Перемежающаяся лихорадка съ пароксизмами дружбы и ненависти, цалованья рукъ и нравственныхъ заушеній мнѣ надоѣли. Энгельсонъ перешелъ за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминанія, ни благодарность. Я его меньше и меньше любилъ и хладнокровнѣе ждалъ что будетъ.

Тутъ случилось событіе, которое своей важностью покрыло на время всѣ споры и раздоры, однимъ чувствомъ радости и ожиданья.

Утромъ 4 Марта я вхожу по обыкновенію часовъ въ восемь въ свой кабинетъ, развертываю „Теймсъ“, читаю, десять разъ и не понимаю, не смѣю понять грамматическій смыслъ словъ, поставленныхъ въ заглавіе телеграфической новости: The death of the Emperor of Russia.

Не помня себя, бросился я съ „Теймсомъ“ въ рукѣ въ столовую, я искалъ дѣтей, домашнихъ, чтобъ сообщить имъ великую новость и со слезами искренной радости на глазахъ, подалъ имъ газету. . . Нѣсколько лѣтъ свалилось у меня съ плечъ долой, я это чувствовалъ. Остаться дома было невозможно. Тогда въ Ричмондѣ жилъ Энгельсонъ, я на скоро одѣлся и хотѣлъ идти къ нему, но онъ предупредилъ меня и былъ уже въ передней, мы бросились другъ другу на шею и не могли ничего сказать кромѣ словъ: „Ну наконецъ-то онъ умеръ!“ Энгельсонъ по своему обыкновенію прыгалъ, перецаловалъ всѣхъ въ домѣ, пѣлъ, плясалъ, и мы еще не успѣли придти въ себя, какъ вдругъ карета

остановилась у моего подъѣзда и кто-то неистово дернулъ колокольчикъ, трое поляковъ прискакали изъ Лондона въ Твикнемъ, не дожидаясь поѣзда желѣзной дороги, меня поздравить.

Я велѣлъ подать шампанскаго, никто не думалъ о томъ, что все это было часовъ въ одинадцать утра или ранѣе. Потомъ безъ всякой нужды мы поѣхали всѣ въ Лондонъ. На улицахъ, на биржѣ, въ трактирахъ только и рѣчи было о смерти Николая, я не видалъ ни одного человѣка, который бы не легче дышалъ, узнавши, что это бѣльмо снято съ глазъ человѣчества и не радовался бы, что этотъ тяжелый тиранъ въ ботфортахъ наконецъ зачисленъ по химіи.

Въ воскресенье домъ мой былъ полонъ съ утра; французскіе, польскіе рефюжье, нѣмцы, итальянцы, даже англійскіе знакомые приходили, уходили съ сіяющимъ лицомъ; день былъ ясный, теплый, послѣ обѣда мы вышли въ садъ.

На берегу Темзы играли мальчишки, я подозвалъ ихъ къ рѣшеткѣ и сказалъ имъ, что мы празднуемъ смерть ихъ и нашего врага, бросилъ имъ на пиво и конфекты цѣлую горсть мелкаго серебра. Уре! Уре! кричали мальчишки, Impernikel is dead! Impernikel is dead! гости стали имъ тоже бросать сикспенсы и трипенсы, мальчишки принесли элю, пироговъ,ековъ, привели шарманку и принялись плясать. Послѣ этого пока я жилъ въ Твикнемѣ мальчишки всякій разъ, когда встрѣчали меня на улицѣ, снимали шапку и кричали: Impernikel is dead! — Уре!

Смерть Никокая удесятерила надежды и силы. Я тотчасъ написалъ напечатанное потомъ письмо къ императору Александру и рѣшился издавать „Полярную Звѣзду“.

„Да здравствуетъ разумъ!“ невольно сорвалось съ языка въ началѣ программы—*Полярная Звѣзда* скрылась за тучами николаевскаго царствованія; Николай прошелъ и „Полярная Звѣзда“ явится снова въ день нашей великой пятницы, въ тотъ день, въ который пять висѣлицъ сдѣлались для насъ пятью распятіями.

... Толчекъ былъ силенъ, живителенъ, работа закипѣла вдвое. Я объявилъ, что издаю „Полярную Звѣзду“. Энгельсонъ принялся наконецъ за свою статью о Соціализмѣ, о которой еще говорилъ въ Италіи. Можно было думать, что мы проработаемъ года два, или больше... но раздражительное самолюбіе его дѣлало всякую работу съ нимъ невыносимой. Жена его поддерживала въ немъ его опьянѣніе собой. „Статья моего мужа, говорила она, будетъ считаться *новой эпохой* въ исторіи русской мысли. Если онъ ничего больше не напишетъ, то мѣсто его въ исторіи упрочено“. Статья: „Что такое государство?“*) была хороша, но успѣхъ ея не оправдалъ семейныхъ ожиданій. Къ тому же она попалась не во время. Проснувшаяся Россія требовала, именно тогда, практическихъ совѣтовъ, а не философскихъ трактатовъ по Прудону и Шопенауеру.

Статья еще не была до конца напечатана, какъ новая ссора, иного характера, чѣмъ всѣ предидушія, почти окончательно прервала всѣ сношенія между нами.

Разъ сидя у него, я шутилъ надъ тѣмъ, что они послали въ третій разъ за докторомъ, для маленькаго, у котораго былъ насморкъ и легкая простуда. „Неужели оттого, что мы бѣдны, сказала M^me^ Энгельсонъ и вся прежняя ненависть, удесятеренная, злая вспыхнула на ея лицѣ — нашъ малютка долженъ умереть безъ меди-

*) „Полярная Звѣзда“ книжка 1.

цинской помощи? И это говорите вы, соціалистъ, другъ моего мужа, *отказавшій ему въ пятидесяти фунтахъ и эксплуатирующій его уроками.*"

Я слушалъ съ удивленіемъ и спросилъ Энгельсона: „Дѣлитъ онъ это мнѣніе или нѣтъ?" Онъ былъ сконфуженъ, пятны выступили у него на лицѣ, онъ умолялъ ее замолчать... Она продолжала. Я всталъ и перерывая ее, сказалъ: „Вы больны, и сами кормите, я отвѣчать вамъ не стану, но не стану и слушать... Вѣроятно вамъ не покажется страннымъ, что нога моя не будетъ больше въ вашемъ домѣ".

Энгельсонъ печальный и растерянный, схватилъ шляпу и вышелъ со мной на улицу: „Не принимайте необузданныя слова женщины съ разстроенными нервами au pied de la lettre"... Онъ путался въ объясненіяхъ. „Завтра я приду давать урокъ", сказалъ онъ, я пожалъ ему руку и молча пошелъ домой.

... Все это требуетъ объясненій, и притомъ самыхъ тяжелыхъ, касающихся не мнѣній и общихъ сферъ, а кухни и приходорасходныхъ книгъ. Тѣмъ не меньше я сдѣлаю опытъ раскрыть и эту сторону. Для патологическихъ изслѣдованій—брезгливость, этотъ *романтизмъ чистоплотности*, не идетъ.

Энгельсоны врядъ имѣли ли право себя включать въ категорію бѣдныхъ людей. Они получали изъ Россіи десять тысячъ франковъ въ годъ, и пять онъ легко могъ выработать—переводами, обозрѣніями, учебными книгами; Энгельсонъ занимался лингвистикой. Книгопродавецъ Трюбнеръ требовалъ отъ него лексиконъ русскаго корнесловія и грамматику; онъ могъ давать уроки, какъ Пьеръ Леру, какъ Кинкель, какъ Эскиросъ. Но въ качествѣ русскаго, онъ брался за все, и за корнесловіе, и за переводы, и за уроки—ничего не кончалъ,

ничѣмъ не стѣснялся и не выработывалъ ни одной копѣйки.

Ни мужъ, ни жена не были расчетливы и не умѣли устроить своихъ дѣлъ. Постоянная лихорадка, въ которой они жили, не позволяла имъ думать о хозяйствѣ. Онъ изъ Россіи уѣхалъ безъ опредѣленнаго плана и остался въ Европѣ безъ всякой цѣли. Онъ не взялъ никакихъ мѣръ, чтобъ спасти свое имѣнье, и un beau jour испугавшись, сдѣлалъ наскоро какое-то распоряженіе, въ силу котораго ограничилъ свой доходъ на 10,000 фр., которые получалъ не совсѣмъ акуратно, но получалъ.

Что Энгельсонъ не вывернется съ своими десятью тысячами, было очевидно, что онъ не съумѣетъ съ другой стороны ограничить себя и это было ясно, ему оставалось работать или занимать. Сначала, послѣ пріѣзда въ Лондонъ, онъ взялъ у меня около сорока фунтовъ... черезъ нѣкоторое время попроситъ опять... я имѣлъ съ нимъ серьезный, дружескій разговоръ объ этомъ и сказалъ ему, что готовъ ссужать его, но рѣшительно больше десяти фунтовъ въ мѣсяцъ ему взаймы не дамъ. Нахмурился Энгельсонъ, однако раза два взялъ по десятифунтовой бумажкѣ и вдругъ написалъ мнѣ, что ему нужны пятьдесятъ фунтовъ, и если я не хочу ему ихъ дать, или не вѣрю, то проситъ меня занять ихъ подъ закладъ какихъ-то брильянтовъ. Все это очень походило на шутку; если онъ въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ заложить брильянты, то ихъ слѣдовало бы снести къ какому нибудь pawnbroker'у, а не ко мнѣ... зная его и жалѣя, я написалъ ему, что брильянты заложу въ 50 фунтовъ, если дадутъ, и деньги пришлю. На другой день, я послалъ ему чекъ а бритьянты, которые онъ непремѣнно бы продалъ или заложилъ, спря-

талъ, чтобъ ихъ сохранить ему. Онъ не обратилъ вниманія на то, что пятьдесятъ фунтовъ были безъ процентовъ и повѣрилъ, что я брильянты заложилъ.

Второй пунктъ, относящійся къ урокамъ, еще проще. Въ Лондонѣ С. давалъ у меня уроки русскаго языка и бралъ 4 шил. за часъ. Въ Ричмондѣ Энгельсонъ предложилъ замѣнить С. Я спросилъ его о цѣнѣ, онъ отвѣтилъ, что ему со мной считаться мудрено, но такъ, какъ у него нѣтъ денегъ, то онъ возьметъ тоже что бралъ С.

Пришедши домой, я написалъ Энгельсону письмо, напомнилъ ему, что цѣну за уроки онъ назначилъ самъ, но что я прошу его принять за всѣ прошлые уроки вдвое. За тѣмъ я написалъ ему, что заставило меня удержать его брильянты и отослалъ ему ихъ.

Онъ отвѣчалъ конфузно, благодарилъ, досадовалъ, а вечеромъ пришелъ самъ и сталъ ходить по прежнему. Съ ней я не видался больше.

VII.

Съ мѣсяцъ спустя, обѣдалъ у меня Зено Свентославскій и съ нимъ Линтонъ, англійскій республиканецъ. Къ концу обѣда пришелъ Энгельсонъ. Свентославскій, чистѣйшій и добрѣйшій человѣкъ, фанатикъ, сохранившій за 50 лѣтъ безразсудный, польскій пылъ и запальчивость мальчика пятнадцати лѣтъ, проповѣдывалъ о необходимости возвращаться въ Россію, и начать тамъ живую и печатную пропаганду. Онъ бралъ на себя перевести буквы и пр.

Слушая его, я полу-шутя сказалъ Энгельсону: „А что, вѣдь насъ примутъ за трусовъ, если онъ пойдетъ

одинъ (on nous accusera de lachetè)". Энгельсонъ сдѣлалъ гримасу и ушелъ.

На другой день я ѣздилъ въ Лондонъ и возвратился вечеромъ; мой сынъ, лежавшій въ лихорадкѣ, разсказалъ мнѣ, и притомъ въ большомъ волненіи, что безъ меня приходилъ Энгельсонъ, что онъ меня страшно бранилъ, говорилъ, что онъ мнѣ отомститъ, что онъ больше не хочетъ выносить моего авторитета и что я ему теперь ненуженъ, *послѣ напечатанія его статьи.* Я не зналъ, что думать, Саша ли бредилъ отъ лихорадки, или Энгельсонъ приходилъ мертвецки пьяный.

Отъ Мальвиды М. я узналъ еще больше. Она съ ужасомъ разсказывала о его неистовствахъ. „Герценъ, кричалъ онъ нервнымъ, задыхающимся голосомъ, меня назвалъ вчера lâche, въ присутствіи двухъ посторонникъ." М. его перебила, говоря, что рѣчь шла совсѣмъ не о немъ, что я сказалъ on nous taxera de lachetè, говоря объ насъ вообще. „Если Г. чувствуетъ, что онъ дѣлаетъ подлости, пусть говоритъ о самомъ себѣ, но я ему не позволю говорить такъ обо мнѣ, да еще при двухъ мерзавцахъ..."

На его крикъ прибѣжала моя старшая дочь, которой тогда было десять лѣтъ. Энгельсонъ продолжалъ: „Нѣтъ, кончено, довольно, я не привыкъ къ этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я—и онъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и продолжалъ кричать—заряженъ, заряженъ—я дождусь его..."

М. встала и сказала ему, что она требуетъ, чтобъ онъ ее оставилъ, что она не обязана слушать его дикой бредъ, что она только объясняетъ болѣзнію его поведеніе. „Я уйду, сказалъ онъ, не хлопочите, но прежде хочу попросить васъ отдать Герцену это письмо."

Онъ развернулъ его и началъ читать, письмо было ругательное.

М. отказалась отъ порученія, спрашивая его, почему онъ думаетъ, что она должна служить посредницей въ доставленіи такого письма?

— Найду путь и безъ васъ, замѣтилъ Энгельсонъ, и ушелъ; письма не присылалъ, а черезъ день написалъ мнѣ записку; *въ ней, не упоминая* ни однимъ словомъ о прошедшемъ, онъ писалъ, что у него открылся геморой, что онъ ходить ко мнѣ не можетъ, а проситъ посылать дѣтей къ нему.

Я сказалъ, что отвѣта не будетъ, и снова всѣ дипломатическія сношенія были прерваны... оставались военныя. Энгельсонъ и не преминулъ ихъ употребить въ дѣло.

Изъ Ричмонда я осенью 1855 переѣхалъ въ St. John's Wood. Энгельсонъ былъ забытъ на нѣсколько мѣсяцевъ.

Вдругъ получаю я весной 1856 отъ Орсини, котораго видѣлъ дня два тому назадъ, записку, пахнущую картелью...

Холодно и учтиво просилъ онъ меня разъяснить ему, правда ли, что я и *Саффи* распространяемъ слухъ, что онъ австрійскій шпіонъ? Онъ просилъ меня или дать полный dementi, или указать, отъ кого я слышалъ такую гнусную клевету.

Орсини былъ правъ, я поступилъ бы такъ же. Можетъ, онъ долженъ былъ бы имѣть побольше довѣрія къ Саффи и ко мнѣ—но обида была велика.

Тотъ, кто сколько нибудь зналъ характеръ Орсини, могъ понять, что такой человѣкъ, задѣтый въ самой святѣйшей святынѣ своей чести, не могъ остановиться на полдорогѣ. Дѣло могло только разрѣшиться *совершенной* чистотой нашей или чьей нибудь смертью.

Съ первой минуты мнѣ было ясно, что ударъ шелъ отъ Энгельсона. Онъ *вѣрно* считалъ на одну сторону Орсиніевскаго характера, но, по счастію, забылъ другую: Орсини соединялъ съ неукротимыми страстями страшное самообузданіе, онъ середь опасностей былъ расчетливъ, обдумывалъ каждый шагъ и не рѣшался съ брызгу, потому что, однажды рѣшившись, онъ не тратилъ время на критику, на перерѣшенія, на сомнѣнія, а исполнялъ. Мы видѣли это въ улицѣ Лепелетье. Такъ онъ поступилъ и теперь, онъ, не торопясь, хотѣлъ изслѣдовать дѣло, узнать виновнаго и потомъ, если удастся, убить его.

Вторая ошибка Энгельсона состояла въ томъ, что онъ, безъ всякой нужды, замѣшалъ Саффи.

Дѣло было вотъ въ чемъ: *мѣсяцевъ шесть* до нашего разрыва съ Энгельсономъ, я былъ какъ-то утромъ у M^me^ Мильнеръ-Гибсонъ (жены министра), тамъ я засталъ Саффи и Пьянчани, они что-то говорили съ ней объ Орсини. Выходя, я спросилъ Саффи, о чемъ была рѣчь. „Представьте, отвѣчалъ онъ, что Г-жѣ Мильнеръ-Гибсонъ разсказывали въ Женевѣ, что Орсини подкупленъ Австріей.....

Возвратившись въ Ричмондъ, я передалъ это Энгельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини. „Чортъ съ нимъ со всѣмъ!“ замѣтилъ Энгельсонъ, и больше объ этомъ рѣчи не было. Когда Орсини удивительнымъ образомъ спасся изъ Мантуи, мы вспомнили въ своемъ тѣсномъ кругу объ обвиненіи, слышанномъ Мильнеръ-Гибсонъ. Появленіе самого Орсини, его разсказъ, его раненая нога, безслѣдно стерли нелѣпое подозрѣніе.

Я попросилъ у Орсини назначить свиданье. Онъ звалъ вечеромъ на другой день. Утромъ я пошелъ къ Саффи и показалъ ему записку Орсини. Онъ тотчасъ,

какъ я и ждалъ, предложилъ мнѣ идти вмѣстѣ со мною къ нему. Огаревъ, только что пріѣхавшій въ Лондонъ, былъ свидѣтелемъ этого свиданья.

Саффи разсказалъ разговоръ у Мильнеръ - Гибсонъ, съ той простотой и чистотой, которая составляетъ особенность его характера. Я дополнилъ остальное. Орсини подумалъ и потомъ сказалъ: „что̀, у Мильнеръ-Гибсонъ могу я спросить объ этомъ?

— Безъ сомнѣнія, отвѣчалъ Саффи.

— Да, кажется, я погорячился, но — спросилъ онъ меня, скажите, зачѣмъ же вы говорили съ постороннимми, а меня не предупредили?

— Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что *посторонній*, съ которымъ я говорилъ, былъ тогда не посторонній; вы лучше многихъ знаете, что̀ онъ былъ для меня.

— Я никого не называлъ...

— Дайте кончить. Что же вы думаете, легко человѣку передавать такія вещи? Еслибъ эти слухи распространились, можетъ васъ и слѣдовало бы предупредить —но кто же теперь объ этомъ говоритъ? Что же касается до того, что вы никого не называли, вы очень дурно дѣлаете, сведите меня лицемъ къ лицу съ обвинителемъ, тогда еще яснѣе будетъ, кто какую роль игралъ въ этихъ сплетняхъ.

Орсини улыбнулся, всталъ, подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, обнялъ Саффи, и сказалъ: „Amici, кончимъ это дѣло, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другомъ.“

— Все это хорошо, и требовать отъ меня объясненіе вы были въ правѣ, но зачѣмъ же вы не называете обвинителя? Во первыхъ скрыть его нельзя... Вамъ сказалъ Энгельсонъ.

— Даете вы слово, что оставите дѣло?

— Даю, при двухъ свидѣтеляхъ.

— Ну, отгадали.

— Это ожидаемое подтвержденіе все же сдѣлало какую-то боль, точно я еще сомнѣвался.

— Помните обѣщанное, прибавилъ, помолчавши, Орсини.

— Объ этомъ не безпокойтесь. А вы вотъ утѣшьте меня, да и Саффи, разскажите, какъ было дѣло, вѣдь главное мы знаемъ.

Орсини засмѣялся. — „Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на дняхъ пришелъ онъ ко мнѣ, я былъ въ столовой (Орсини жилъ въ boarding house), и обѣдалъ одинъ. Онъ ужъ обѣдалъ, я велѣлъ подать графинчикъ хересу, онъ выпилъ его и тутъ сталъ жаловаться на васъ, что вы его обидѣли, что вы перервали съ нимъ всѣ сношенія, и послѣ всякой болтовни спросилъ меня, какъ вы меня приняли послѣ возвращенья? Я отвѣчалъ, что вы меня приняли очень дружески, что я обѣдалъ у васъ и былъ вечеромъ..... Энгельсонъ вдругъ закричалъ: „Вотъ они... знаю я этихъ молодцевъ, давно ли онъ и его другъ и почитатель Саффи говорили, что вы австрійскій агентъ. А вотъ теперь, вы опять въ славѣ, въ модѣ, и онъ вашъ другъ!“ — Энгельсонъ, замѣтилъ я ему, вполнѣ ли вы понимаете важность того, что вы сказали? — „Вполнѣ, вполнѣ,“ повторялъ онъ. — Вы готовы будете во всѣхъ случаяхъ подтвердить ваши слова? — „Во всѣхъ!“

Когда онъ ушелъ, я взялъ бумагу и написалъ вамъ письмо. Вотъ и все.

Мы вышли всѣ на улицу. Орсини, будто догадываясь, что происходило во мнѣ, сказалъ, какъ бы въ утѣшеніе: „Онъ поврежденный.“

Орсини вскорѣ уѣхалъ въ Парижъ и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помостѣ гильотины.

Первая вѣсть объ Энгельсонѣ была вѣсть о его смерти въ Жерсеѣ.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетѣло до меня..

(1858)

... P. S. Въ 1864 я получилъ изъ Неаполя странное письмо. Въ немъ говорилось о появленіи духа моей жены, о томъ, что она звала меня къ обращенію, къ очищенію себя религіей, къ тому, чтобы я оставилъ свѣтскія заботы...

Писавшая говорила, что все писано подъ диктантъ духа, тонъ письма былъ дружескій, теплый, восторженный.

Письмо было безъ подписи, я узналъ почеркъ, оно было отъ M^me^ Энгельсонъ.

Здѣсь кончается та часть „Былаго и Думъ," которая была обработана авторомъ въ окончательномъ видѣ и напечатана въ четырехъ томахъ. Слѣдующія главы были напечатаны частью въ „Полярной Звѣздѣ," частью въ „Колоколѣ;" онѣ отрывочны, не слѣдуютъ другъ за другомъ и не представляютъ цѣлости. Эти главы должны были, по мысли автора, войти въ V часть „Былаго и Думъ," для которой, какъ онъ не разъ говорилъ, „онъ писалъ все остальное."

Кромѣ печатаемыхъ здѣсь отрывковъ изъ V части имѣется еще нѣсколько главъ въ рукописи. Эти главы наслѣдники автора не считаютъ въ настоящее время удобнымъ печатать.

Изд.

АНГЛІЯ *)

(1852 — 1855)

ГЛАВА I.

ЛОНДОНСКІЕ ТУМАНЫ.

Когда на разсвѣтѣ 25 Августа 1852 я переходилъ по мокрой доскѣ на англійскій берегъ и смотрѣлъ на его замарано-бѣлые выступы, я былъ очень далекъ отъ мысли, что пройдутъ годы прежде чѣмъ я покину мѣловые утесы его.

Весь подъ вліяніемъ мыслей, съ которыми я оставилъ Италію, болѣзненно ошеломленный, сбитый съ толку рядомъ ударовъ, такъ скоро и такъ грубо слѣдовавшихъ другъ за другомъ, я не могъ ясно взглянуть на то, что дѣлалъ. Мнѣ будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомыхъ истинъ, для того, чтобъ снова повѣрить тому, что я давно зналъ или долженъ былъ знать.

Я измѣнилъ своей логикѣ и забылъ, какъ розенъ современный человѣкъ въ мнѣніяхъ и дѣлахъ, какъ громко начинаетъ онъ и какъ скромно выполняетъ свои программы, какъ добры его желанія и какъ слабы мышцы.

Мѣсяца два продолжались не нужныя встрѣчи, безплодное исканіе, разговоры тяжелые и совершенно без-

*) *Пол. Зв.* Т. V. (1859).

полезные, и я все чего-то ожидалъ... чего-то ожидалъ. Но моя реальная натура не могла остаться долго въ этомъ призрачномъ мірѣ, я сталъ мало по малу разглядывать, что зданіе, которое я выводилъ, не имѣетъ грунта, что оно непремѣнно рухнетъ.

Я былъ униженъ, мое самолюбіе было оскорблено, я сердился на самого себя. Совѣсть угрызала за святотатственную порчу горести, за годъ суеты и я чувствовалъ страшную, невыразимую усталь... Какъ мнѣ была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы безъ суда и осужденія мою исповѣдь, была бы несчастна — моимъ несчастіемъ; но кругомъ стлалась больше и больше пустыня, никого близкаго... ни одного человѣка... А можетъ это было и къ лучшему.

Я не думалъ прожить въ Лондонѣ дольше мѣсяца, но мало по малу я сталъ разглядывать, что мнѣ рѣшительно не куда ѣхать и не зачѣмъ. Такого отшельничества я нигдѣ не могъ найти какъ въ Лондонѣ.

Рѣшившись остаться, я началъ съ того, что нашелъ себѣ домъ въ одной изъ самыхъ дальнихъ частей города, за Режентъ паркомъ, близъ Примрозъ Гиля.

Дѣти оставались въ Парижѣ, одинъ Саша былъ со мною. Домъ на здѣшній манеръ былъ раздѣленъ на три этажа. Весь средній этажъ состоялъ изъ огромнаго, неудобнаго, холоднаго drawing room. Я его превратилъ въ кабинетъ. Хозяинъ дома былъ скульпторъ и загромоздилъ всю эту комнату разными статуетками и моделями... бюстъ Лола Монтесъ стоялъ у меня предъ глазами, вмѣстѣ съ Викторіей.

Когда на второй или третій день послѣ нашего переѣзда, разобравшись и устроившись, я взошелъ утромъ въ эту комнату, сѣлъ на большія кресла и просидѣлъ часа два въ совершеннѣйшей тишинѣ, никѣмъ не тор-

мошимый, я почувствовалъ себя какъ-то свободнымъ,— въ первый разъ послѣ долгаго, долгаго времени. Мнѣ было не легко отъ этой свободы, но все же я съ привѣтомъ смотрѣлъ изъ окна на мрачныя деревья парка, едва сквозившія изъ за дымчатаго тумана, благодаря ихъ за покой.

По цѣлымъ утрамъ сиживалъ я теперь одинъ одинохонекъ, часто ничего не дѣлая, даже не читая, иногда прибѣгалъ Саша, но не мѣшалъ одиночеству. Г., жившій со мной, безъ крайности никогда не входилъ до обѣда, обѣдали мы въ седьмомъ часу. Въ этомъ досугѣ разбиралъ я фактъ за фактомъ все бывшее, слова и письма людей, и себя. Ошибки на право, ошибки на лѣво, слабость, шаткость, раздумье мѣшающее дѣлу, увлеченье другими, И въ продолженіи этого разбора внутри исподволь совершался переворотъ... были тяжелыя минуты и не разъ слеза скатывалась по щекѣ; но были и другія не радостныя, но мужественныя: я чувствовалъ въ себѣ силу, я не надѣялся ни на кого больше, но надежда на себя крѣпчала, я становился независимѣе отъ всѣхъ.

Пустота кругомъ окрѣпила меня, дала время собраться, я отвыкалъ отъ людей, т. е. не искалъ съ ними истиннаго сближенія; я и не избѣгалъ никого, но лица мнѣ сдѣлались равнодушны. Я увидѣлъ, что серьезно глубокихъ связей у меня нѣтъ. Я былъ чужой между посторонними, сочувствовалъ больше однимъ чѣмъ другимъ, но не былъ ни съ кѣмъ тѣсно соединенъ. Оно и прежде такъ было, но я не замѣчалъ этого постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарадъ кончился, домино были сняты, вѣнки попадали съ головъ, маски съ лицъ и я увидѣлъ другія черты, не тѣ, которыя я предполагалъ. Что же мнѣ было дѣлать? Я

могъ не показывать, что я многихъ меньше люблю, т. е. больше знаю, но не чувствовать этого я не могъ и, какъ я сказалъ, эти открытія не отняли у меня мужества, но скорѣе укрѣпили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нѣтъ города въ мірѣ, который бы больше отучалъ отъ людей и больше пріучалъ бы къ одиночеству, какъ Лондонъ. Его образъ жизни, разстоянія, климатъ, самыя массы народонаселенія, въ которыхъ личность пропадаетъ, все это способствовало къ тому, вмѣстѣ съ отсутствіемъ континентальныхъ развлеченій. Кто умѣетъ *жить одинъ*, тому нечего бояться лондонской скуки. Здѣшняя жизнь, точно также какъ здѣшній воздухъ, вредна слабому, хилому, ищущему опоры внѣ себя, ищущему привѣтъ, участіе, вниманіе; нравственныя легкія должны быть здѣсь также крѣпки, какъ и тѣ, которымъ назначено отдѣлять изъ продымленнаго тумана кислородъ. Масса спасается завоевываніемъ себѣ насущнаго хлѣба, купцы недосугомъ стяжанія, всѣ суетой дѣлъ; но нервныя романтическія натуры, любящія жить на людяхъ, умственно тянуться и праздно млѣть, пропадаютъ здѣсь со скуки, впадаютъ въ отчаяніе.

Одиноко бродя по Лондону, по его каменнымъ просѣкамъ, по его угарнымъ коридорамъ, не видя иной разъ ни на шагъ впередъ отъ сплошнаго опаловаго тумана и толкаясь съ какими-то бѣгущими тѣнями — я много прожилъ.

Обыкновенно вечеромъ, когда мой сынъ ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни къ кому не заходилъ; — читалъ газеты, всматривался въ тавернахъ въ незнакомое племя, останавливался на мостахъ черезъ Темзу.

Съ одной стороны прорѣзываются и готовы исчезнуть

сталактиты парламента, съ другой, опрокинутая миска С. Павла... и фонари... фонари безъ конца въ обѣ стороны. Одинъ городъ, сытый, заснулъ, — другой, голодный, еще не проснулся — пусто, только слышна мѣрная поступь полисмена съ своимъ фонарикомъ. Посидишь бывало, посмотришь, и на душѣ сдѣлается тише и мирнѣе. И вотъ за все за это я полюбилъ этотъ страшный муравейникъ, гдѣ сто тысячъ человѣкъ всякую ночь не знаютъ гдѣ прислонить голову, и полиція не рѣдко находитъ дѣтей и женщинъ умершихъ съ голода, возлѣ отелей, въ которыхъ нельзя обѣдать, не истративши двухъ фунтовъ.

Но такого рода переломы, какъ бы быстро ни приходили, не дѣлаются разомъ, особенно въ сорокъ лѣтъ. Много времени прошло, пока я сладилъ съ новыми мыслями. Рѣшившись на трудъ, я долго ничего не дѣлалъ или дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Мысль, съ которой я пріѣхалъ въ Лондонъ, искать *суда своихъ*, была вѣрна и справедлива. Я это и теперь повторяю съ полнымъ и обдуманнымъ сознаніемъ. Къ кому же въ самомъ дѣлѣ намъ обращаться за судомъ, за возстановленіемъ истины? за обличеніемъ лжи?

Не идти же намъ тягаться передъ судомъ нашихъ враговъ, судящихъ по другимъ началамъ, по законамъ, которыхъ мы не признаемъ.

Можно развѣдаться самому, можно безъ сомнѣнія. Самоуправство вырываетъ силой взятое силой, и тѣмъ самымъ приводитъ къ равновѣсію; месть такое же простое и вѣрное человѣческое чувство какъ благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняютъ. Можетъ же случиться, что человѣку въ объясненіи главное дѣло, можетъ быть ему *возстановленіе правды* дороже мести.

Ошибка была не въ *главномъ положеніи* — она была въ прилагательномъ, для того, чтобъ былъ судъ своихъ, надобно было прежде всего имѣть *своихъ*. Гдѣ же они были у меня?...

Свои у меня были когда-то въ Россіи. Но я такъ вполнѣ былъ отрѣзанъ на чужбинѣ, надобно было, во чтобъ ни стало, снова завести рѣчь съ своими—хотѣлось имъ разсказать, что тяжело лежало на сердцѣ. Писемъ не пропускаютъ—книги сами пройдутъ; писать нельзя—буду печатать и я принялся мало по малу за *Былое* и *Думы* и за *устройство русской типографіи*.

ГЛАВА II.*)

Горныя вершины—Центральный Европейскій Комитетъ—Маццини—Ледрю-Ролленъ—Кошутъ.

Въ Лондонѣ я спѣшилъ увидѣть Маццини, не только потому, что онъ принялъ самое теплое и дѣятельное участіе въ несчастіяхъ, которыя пали на мою семью, но еще и потому, что я имѣлъ къ нему особое порученіе отъ его друзей. Медичи, Пизакане, Мецціокапы, Козенцъ, Бертани и другіе были недовольны направленіемъ, которое давалось изъ Лондона; они говорили, что Маццини плохо знаетъ новое положеніе, жаловались на революціонныхъ царедворцевъ, которые, чтобъ подслужиться, поддерживали въ немъ мысль, что все готово для возстанія и ждетъ только сигнала. Они хотѣли внутреннихъ преобразованій, имъ казалось необходимымъ ввести гораздо больше военнаго элемента и

*) *Начало этой главы было напечатано въ IV Т. „Былаго и Думъ“ (Т. IX, стр. 1 настоящаго изданія). Остальное здѣсь печатаемое появилось въ Пол. Зв. Т. VI, стр. 241.* Изд.

имѣть во главѣ стратеговъ, вмѣсто адвокатовъ и журналистовъ. Для этого они желали, чтобъ Мацини сблизился съ талантливыми генералами въ родѣ Уллоа стоявшаго возлѣ старика Пепе, въ какомъ-то недовольномъ отдаленіи.

Они поручили мнѣ разсказать все это Мацини долею потому, что они знали, что онъ имѣлъ ко мнѣ довѣріе, а долею и потому, что мое положеніе независимое отъ итальянскихъ партій, развязывало мнѣ руки.

Мацини меня принялъ какъ стараго пріятеля. Наконецъ рѣчь дошла до порученнаго мнѣ отъ его друзей. Онъ меня сначала слушалъ очень внимательно, хотя и не скрывалъ, что ему не совсѣмъ нравится оппозиція; но когда изъ общихъ мѣстъ я дошелъ до частностей и личныхъ вопросовъ, тогда онъ вдругъ прервалъ мою рѣчь.

— Это совершенно не такъ, тутъ нѣтъ ни слова дѣльнаго!

— Однако, замѣтилъ я, нѣтъ полутора мѣсяца, какъ я оставилъ Геную, и въ Италіи былъ два года безъ выѣзда, и могу самъ подтвердить многое изъ того, что говорилъ ему отъ имени друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были въ Генуѣ. Что такое Генуя? что вы могли тамъ слышать? мнѣніе одной части эмиграціи. Я знаю, что она такъ думаетъ, я и то знаю, что она ошибается. Генуя очень важный центръ, но это одна точка, а я знаю всю Италію; я знаю потребность каждаго мѣстечка отъ Абруццъ до Форалберга. Друзья наши въ Генуѣ разобщены со всѣмъ полуостровомъ, они не могутъ судить объ его потребностяхъ, объ общественномъ настроеніи.

Я сдѣлалъ еще два, три опыта, но онъ уже былъ en garde, начиналъ сердиться, нетерпѣливо отвѣчалъ..... Я

замолчалъ съ чувствомъ грусти; такой нетерпимости я прежде въ немъ не замѣчалъ.

— Я вамъ очень благодаренъ, сказалъ онъ, подумавъ. Я долженъ знать мнѣніе нашихъ друзей; я готовъ взвѣсить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нѣтъ, это другое дѣло; на мнѣ лежитъ большая отвѣтственность не только передъ совѣстью и богомъ, но передъ народомъ итальянскимъ.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывалъ свое 3 Февраля 1853 года; дѣло для него было рѣшеное, а друзья его не были съ нимъ согласны.

— Знакомы вы съ Ледрю-Ролленомъ и Кошутомъ?—

— Нѣтъ.

— Хотите познакомиться?

— Очень.

— Вамъ надобно съ ними повидаться, я вамъ напишу къ обоимъ нѣсколько словъ. Разскажите имъ, что вы видѣли, какъ оставили нашихъ. Ледрю-Ролленъ, продолжалъ онъ, взявъ перо и начавъ записку, самый милый человѣкъ въ свѣтѣ, но французъ jusqu'au bout des ongles; онъ твердо вѣруетъ, что безъ революціи во Франціи—Европа не двинется, le peuple initiateur!... А гдѣ французская инціатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшія Францію, шли изъ Италіи или изъ Англіи. Вы увидите, что новую эру революціи начнетъ Италія! Какъ вы думаете?

— Признаюсь вамъ, что я этого не думаю.

— Что же, сказалъ онъ, улыбаясь, славянскій міръ?

— Я этого не говорилъ; не знаю, на чемъ Ледрю-Ролленъ основываетъ свои вѣрованія, но весьма вѣроятно, что ни одна революція не удастся въ Европѣ, пока

Франція въ томъ состояніи пространи, въ которой мы ее видимъ.

— Такъ и вы еще находитесь подъ prerlig'емъ Франціи?

— Подъ престижемъ ея географическаго положенія, ея страшнаго войска и ея естественной опоры на Россію, Австрію и Пруссію.*)

— Франція спитъ мы ее разбудимъ.

Мнѣ оставалось сказать: „Дай богъ, вашими устами медъ пить!“

Кто изъ насъ былъ правъ, на ту минуту — доказалъ Гарибальди. Въ другомъ мѣстѣ я говорилъ о моей встрѣчѣ съ нимъ, въ Вест-Индскихъ докахъ, на его Американскомъ кораблѣ Common-wealth.

Тамъ за завтракомъ у него, въ присутствіи Орсини, Гаука и меня, Гарибальди говоря съ большой дружбой о Мацціни, высказывалъ открыто свое мнѣніе о 3 Февралѣ 1853 (это было весной 1854), и тутъ же говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ партій въ одну военную.

Въ тотъ же день вечеромъ, мы встрѣтились въ одномъ домѣ; Гарибальди былъ не веселъ, Мацціни вынулъ изъ кармана листъ Italia del popolo, и показалъ ему какую-то статью. Гарибальди прочиталъ ее и сказалъ: „Да, написано бойко, а статья превредная, я скажу откровенно, за такую статью стоитъ журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всѣми силами раздоръ между нами и Піэмонтомъ, въ то время, когда мы только имѣемъ одно войско — войско Сардинскаго короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступленія“.

*) Этотъ разговоръ былъ осенью 1852.

Мацціни отстаивалъ журналъ: Гарибальди сдѣлался еще скучнѣе.

Когда онъ собирался ѣхать съ корабля, онъ говорилъ, что ночью будетъ поздно возвращаться въ доки и что онъ поѣдетъ спать въ отель, я предложилъ, вмѣсто отеля, ѣхать спать ко мнѣ. Гарибальди согласился.

Послѣ этого разговора, осажденный со всѣхъ сторонъ неустрашимымъ легіономъ дамъ, Гарибальди ловкими маршами и контрмаршами выпутался изъ хоровода и подойдя ко мнѣ шепнулъ мнѣ на ухо, „Вы до котораго часа останетесь?“

— Поѣдемте хоть сейчасъ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Мы поѣхали; на дорогѣ онъ сказалъ мнѣ. „Какъ мнѣ жаль, какъ мнѣ безконечно жаль, что Перро*) такъ увлекается и съ благороднѣйшимъ, чистѣйшимъ намѣреніемъ дѣлаетъ ошибки. Я не могъ вытерпѣть давича: тѣшится тѣмъ, что выучилъ своихъ учениковъ дразнить Піэмонтъ. Ну что же если король бросится совсѣмъ въ реакцію, свободное слово итальянское смолкнетъ въ Италіи, и послѣдняя опора пропадетъ. Республика, республика! я всегда былъ республиканецъ, всю жизнь, да дѣло теперь не въ республикѣ. Массы италіянскія я знаю лучше Мацціни, я жилъ съ ними, ихъ жизнію. Мацціни знаетъ Италію образованную и владѣетъ ея умами; но войска, чтобъ выгнать австрійцевъ и папу изъ нихъ не составишь; для массы, для народа итальянскаго одно знамя и есть — *единство и изгнаніе иноземцевъ!* А какъ же достигнуть до этого, опрокидывая на себя, единственное сильное королевство въ Италіи, которое изъ какихъ бы причинъ ни было

*) Уменьшительное отъ Джузеппе.

хочетъ стать за Италію и боится; вмѣсто того чтобъ его звать къ себѣ, его толкаютъ прочь и обижаютъ. Въ тотъ день, въ который *молодой человѣкъ* повѣритъ, что онъ ближе къ эрцгерцогамъ, чѣмъ къ намъ, судьбы Италіи затормозятся на поколѣніе или на два".

На другой день было воскресенье, онъ ушелъ гулять съ моимъ сыномъ, сдѣлалъ у Калдези его дагеротипъ, и принесъ мнѣ его въ подарокъ, а потомъ остался обѣдать.

Середь обѣда меня вызываетъ одинъ итальянецъ посланный отъ Маццини, онъ съ утра отыскивалъ Гарибальди; я просилъ его сѣсть съ нами за столъ.

Итальянецъ кажется хотѣлъ говорить съ нимъ на единѣ, я предложилъ имъ идти ко мнѣ въ кабинетъ.

— У меня никакихъ секретовъ нѣтъ, да и чужихъ здѣсь нѣтъ, говорите, замѣтилъ Гарибальди.

Въ продолженіи разговора, Гарибальди еще разъ повторилъ, и притомъ раза два, тоже, что мнѣ говорилъ, когда мы ѣхали домой.

Онъ внутренно былъ совершенно согласенъ съ Маццини, но расходился съ нимъ въ исполненіи, въ средствахъ. Что Гарибальди лучше зналъ массы, въ этомъ я совершенно убѣжденъ. Маццини какъ средневѣковой монахъ глубоко зналъ одну сторону жизни, но другія, *создавалъ*; онъ много жилъ мыслью и страстью, но не на дневномъ свѣтѣ; онъ съ молодыхъ лѣтъ до сѣдыхъ волосъ жилъ въ карбонарскихъ юнтахъ, въ кругу гонимыхъ республиканцевъ, либеральныхъ писателей; онъ былъ въ сношеніяхъ съ греческими гетеріями и съ испанскими exaltados, онъ конспирировалъ съ настоящимъ Каваньякомъ и поддѣльнымъ Ромарино, съ швейцарцомъ Джемсомъ Фази, съ польской демократіей, съ молдованалахами... изъ его кабинета вышелъ благословленный имъ

восторженный Конарскій, пошелъ въ Россію и погибнулъ. Все это такъ, но съ народомъ, но съ этимъ solo interprete della legge divina, но съ этой густой толщей идушей до грунта, т. е. до полей и плуга, до дикихъ калабрійскихъ пастуховъ, до факиновъ и лодочниковъ, онъ никогда не былъ въ сношеніяхъ; а Гарибальди не только въ Италіи, но вездѣ жилъ съ ними, зналъ ихъ силу и слабость, горе и радость: онъ ихъ зналъ на полѣ битвы и середь бурнаго океана и умѣлъ какъ Бемъ сдѣлаться легендой, въ него вѣрили больше чѣмъ въ его патрона Санъ-Джузеппе.

Одинъ Маццини не вѣрилъ ему.

И Гарибальди уѣзжая сказалъ: „Я ѣду съ тяжелымъ сердцемъ, я на него не имѣю вліянія, и онъ опять предприметъ что нибудь до срока!“

Гарибальди угадалъ, не прошло года и снова двѣ, три неудачныя вспышки; Орсини былъ схвачеиъ піэмонтскими жандармами, на піэмонтской землѣ, чуть не съ оружіемъ въ рукахъ, въ Римѣ открыли одинъ изъ центровъ движенія, и та удивительная организація, о которой я говорилъ, разрушилась. Испуганныя правительства усилили полицію; свирѣпый трусъ король неаполитанскій снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпѣлъ и напечаталъ свое извѣстное письмо, „въ этихъ несчастныхъ возстаніяхъ могутъ участвовать или сумашедшіе или враги итальянскаго дѣла“.

Можетъ письма этого и не слѣдовало печатать. Маццини былъ побитъ и несчастенъ, Гарибальди наносилъ ему ударъ... но что его письмо совершенно послѣдовательно съ тѣмъ, что онъ мнѣ говорилъ и при мнѣ—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

Я засталъ Кошута работающаго за большимъ столомъ; онъ былъ въ черной бархатной венгеркѣ и въ черной шапочкѣ; Кошутъ гораздо лучше всѣхъ своихъ портретовъ и бюстовъ; въ первую молодость онъ былъ вѣроятно красавцемъ и долженъ былъ имѣть страшное вліяніе на женщинъ, особеннымъ романически-задумчивымъ характеромъ лица. Черты его не имѣютъ античной строгости какъ у Мацини, Саффи, Орсини; но (и можетъ именно по этому онъ былъ роднѣе намъ жителямъ сѣвера) въ печально кроткомъ взглядѣ его сквозилъ не только сильный умъ, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и нѣсколько восторженная рѣчь окончательно располагали въ его пользу. Говоритъ онъ чрезвычайно хорошо, хотя и съ рѣзкимъ акцентомъ, равно остающимся въ его французскомъ языкѣ, нѣмецкомъ и англійскомъ. Онъ не отдѣлывается фразами, не опирается на битые мѣста; онъ думаетъ съ вами, выслушиваетъ и развиваетъ свою мысль, почти всегда оригинально, потому что онъ свободнѣе другихъ отъ доктрины и отъ духа партіи. Можетъ въ его манерѣ доводовъ и возраженій видѣнъ адвокатъ, но то что онъ говоритъ серьезно и обдуманно.

Кошутъ много занимался до 1848 года практическими дѣлами своего края; это дало ему своего рода вѣрность взгляда. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ мірѣ событій и приложеній не всегда можно прямо летать какъ воронъ, что факты развиваются рѣдко по простой логической линіи, а идутъ лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательнымъ. И вотъ причина между прочимъ, почему Кошутъ уступаетъ Мацини въ огненной дѣятельности и почему съ другой стороны Мацини дѣлаетъ безпрерывные опыты, натягиваетъ попытки, а Кошутъ ихъ не дѣлаетъ вовсе.

Мацини глядитъ на итальянскую революцію — какъ фанатикъ; онъ вѣруетъ въ свою мысль объ ней; онъ ее не подвергаетъ критикѣ и стремится ога e sempre, какъ стрѣла пущенная изъ лука. Чѣмъ меньше обстоятельствъ онъ беретъ въ расчетъ, тѣмъ прочнѣе и проще его дѣйствіе, тѣмъ чище его идея.

Революціонный идеализмъ Ледрю-Роллена тоже не сложенъ, его можно весь прочесть въ рѣчахъ конвента и въ мѣрахъ комитета общественнаго спасенія. Кошутъ принесъ съ собою изъ Венгріи не общее достояніе революціонной традиціи, не апокалиптическія формулы соціальнаго доктринаризма, а протестъ своего края, который онъ глубоко изучилъ, края новаго, неизвѣстнаго, ни въ отношеніи къ его потребностямъ, ни въ отношеніи къ его дико-свободнымъ учрежденіямъ, ни въ отношеніи къ его средневѣковымъ формамъ. Въ сравненіи съ своими товарищами, Кошутъ былъ спеціалистъ.

Французскіе рефюжье, съ своей несчастной привычкой рубить съ плеча и все мѣрить на свою мѣрку, сильно упрекали Кошута за то, что онъ въ Марселѣ выразилъ свое сочувствіе къ соціальнымъ идеямъ, а въ рѣчи, которую произнесъ въ Лондонѣ съ балкона Mansion House, съ глубокимъ уваженіемъ говорилъ о парламентаризмѣ.

Кошутъ былъ совершенно правъ. Это было во время его путешествія изъ Константинополя, т. е. во время самаго торжественно эпическаго эпизода темныхъ лѣтъ, шедшихъ за 1848 годомъ. Сѣверо-американскій корабль, вырвавшій его изъ занесенныхъ когтей Австріи и Россіи, съ гордостью плылъ съ изгнанникомъ въ республику и остановился у береговъ другой. Въ этой республикѣ ждалъ уже приказъ полицейскаго диктатора

Франціи, чтобъ изгнанникъ не смѣлъ ступить на землю будущей имперіи. Теперь это прошло бы такъ; но тогда еще не всѣ были окончательно надломлены, толпы работниковъ бросились на лодкахъ къ кораблю привѣтствовать Кошута, и Кошутъ говорилъ съ ними очень натурально о соціализмѣ. Картина мѣняется. По дорогѣ одна свободная страна выпросила у другой изгнанника къ себѣ въ гости. Кошутъ всенародно благодаря англичанъ за пріемъ, не скрылъ своего уваженія къ государственному быту, который его сдѣлалъ возможнымъ. Онъ былъ въ обоихъ случаяхъ совершенно искренъ, онъ не представлялъ вовсе такой-то партіи; онъ могъ, сочувствуя съ французскимъ работникомъ, сочувствовать съ англійской конституціей, не сдѣлавшись Орлеанистомъ и не предавъ Республики. Кошутъ это зналъ и отрицательно превосходно понялъ свое положеніе въ Англіи относительно революціонныхъ партій; онъ не сдѣлался ни Глюкистомъ, ни Пиччинистомъ; онъ держалъ себя равно вдалекѣ отъ Ледрю-Роллена и отъ Луи Блана. Съ Маццини и Ворцелемъ у него былъ общій terrain, смежность границъ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; съ ними онъ и сошелся съ первыми.

Но Маццини и Ворцель давнымъ давно были по испанскому выражанію afrancisados. Кошутъ, упираясь, туго поддавался имъ, и очень замѣчательно, что онъ уступалъ по той мѣрѣ, по которой надежды на возстаніе въ Венгріи становились блѣднѣе и блѣднѣе.

Изъ моего разговора съ Маццини и Ледрю-Ролленомъ видно, что Маццини ждалъ революціонный толчекъ изъ Италіи и вообще былъ недоволенъ Франціей, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я былъ неправъ, назвавъ и его afrancisado. Тутъ съ одной стороны въ немъ го-

ворилъ патріотизмъ, не совсѣмъ согласный съ идеей братства народовъ и всеобщей республики; съ другой личное негодованіе на Францію за то, что въ 1848 она ничего не сдѣлала для Италіи, а въ 1849 все, чтобъ погубить ее. Но быть раздраженнымъ противъ современной Франціи не значитъ быть *внѣ ея духа;* французскій революціонаризмъ имѣетъ свой общій мундиръ, свой ритуалъ, свой символъ вѣры, въ ихъ предѣлахъ можно быть спеціально политическимъ либераломъ, или отчаяннымъ демократомъ, можно, не любя Франціи, любить свою родину на французскій манеръ; все это будутъ варьяціи, частные случаи, но алгебраическое уравненіе останется тоже.

Разговоръ Кошута тотчасъ со мной принялъ серьезный оборотъ, въ его взглядѣ и въ его словахъ было больше грустнаго, нежели свѣтлаго; навѣрное онъ не ждалъ революціи завтра. Свѣдѣнія его объ юго-востокѣ Европы были огромны, онъ удивлялъ меня, цитируя пункты екатерининскихъ трактатовъ съ Портой. „Какой страшный вредъ вы сдѣлали намъ во время нашего возстанія," сказалъ онъ „и какой страшный вредъ вы сдѣлали самимъ себѣ. Какая узкая и *противуславянская* политика поддерживать Австрію. Разумѣется Австрія и спасибо не скажетъ за спасеніе, развѣ вы думаете, что она не понимаетъ, что Николай не ей помогалъ, а вообще деспотической власти".

Соціальное состояніе Россіи ему было гораздо меньше извѣстно, чѣмъ политическое и военное. Оно и не удивительно, многіе ли изъ нашихъ государственныхъ людей знаютъ что нибудь о немъ, кромѣ общихъ мѣстъ и частныхъ, случайныхъ, ни съ чѣмъ не связанныхъ замѣчаній. Онъ думалъ, что казенные крестьяне отправляютъ барщиной свою подать, распрашивалъ о сель-

ской общинѣ, о помѣщичьей власти; я разсказалъ ему, что зналъ.

Оставивъ Кошута я спрашивалъ себя, да что же общаго у него, кромѣ любви къ независимости своего народа, съ его товарищами. Маццини мечталъ Италіей освободить человѣчество. Ледрю-Ролленъ хотѣлъ его освободить въ Парижѣ и потомъ строжайше предписать свободу всему міру. Кошутъ врядъ заботился ли обо всемъ человѣчествѣ и былъ, казалось, довольно равнодушенъ къ тому скоро ли провозгласятъ республику въ Лисабонѣ или Дей Триполи будетъ называться простымъ гражданиномъ одного и нераздѣльнаго Триполійскаго Братства.

Различіе это, бросившееся мнѣ въ глаза съ перваго взгляда, обличилось потомъ рядомъ дѣйствій. Маццини и Ледрю-Ролленъ, какъ люди независимые отъ практическихъ условій, каждые два-три мѣсяца усиливались дѣлать революціонные опыты: Маццини возстаніями, Ледрю-Ролленъ посылкою агентовъ. Мацциньевскіе друзья гибли въ австрійскихъ и папскихъ тюрьмахъ, Ледрю-Ролленовскіе посланцы гибли въ Ламбессѣ или Каенѣ, но они съ фанатизмомъ слѣповѣрующихъ продолжали отправлять своихъ Исааковъ на закланіе. Кошутъ не дѣлалъ опытовъ; Лебени, ткнувшій ножемъ австрійскаго императора, не имѣлъ никакихъ сношеній съ нимъ.

Безъ сомнѣнія, Кошутъ пріѣхалъ въ Лондонъ съ болѣе сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было отчего закружиться въ головѣ. Вспомните опять эту постоянную овацію, это царственное шествіе черезъ моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему на встрѣчу и вести въ свои стѣны. Двумилліонный, гордый Лондонъ ждалъ его на ногахъ у желѣзной дороги, карета Лорд-

Мера стояла приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его моремъ волнующагося народа, привѣтствовавшаго его криками и бросаньемъ шляпъ вверхъ. И когда онъ вышелъ съ лордомъ-меромъ на балконъ Меншенъ-Гоуза, его привѣтствовало то громогласное „ура!“ котораго Николай не могъ въ Лондонѣ добиться, ни протекціей Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизанствомъ какимъ - то лошадямъ на скачкахъ.

Надменная англійская аристократія, уѣзжавшая въ свои помѣстья, когда Бонапартъ пировалъ съ королевой въ Виндзорѣ и бражничалъ съ мѣщанами въ Сити, толпилась, забывъ свое достоинство, въ коляскахъ и каретахъ, чтобъ увидѣть знаменитаго агитатора; высшіе чины представлялись ему — изгнаннику. Теймсъ нахмурилъ было брови, но до того испугался передъ крикомъ общественнаго мнѣнія, что сталъ ругать Наполеона, чтобъ загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошутъ воротился изъ Америки полный упованій. Но, проживши въ Лондонѣ годъ, другой, и видя, куда и какъ идетъ исторія на материкѣ и какъ въ самой Англіи, остывалъ энтузіазмъ. Кошутъ понялъ, что возстаніе невозможно и что Англія плохая союзница революціи.

Разъ, еще одинъ разъ, онъ исполнился надеждами и снова сталъ адвокатомъ за прежнее дѣло передъ народомъ англійскимъ, это было въ началѣ крымской войны.

Онъ оставилъ свое уединеніе и явился рука объ руку съ Ворцелемъ, т. е. съ демократической Польшей, которая просила у союзниковъ одного *воззванія*, одного согласія, чтобъ рискнуть возстаніе. Безъ сомнѣнія, это было для Польши великое мгновеніе — oggi or mai.

Еслибъ возстановленіе Польши было признано, чего же было бы ждать Венгріи? Вотъ почему Кошутъ является на польскомъ митингѣ 29-го Ноября 1854 года и требуетъ слова. Вотъ почему онъ вслѣдъ за тѣмъ отправляется съ Ворцелемъ въ главнѣйшіе города Англіи, проповѣдуя агитацію въ пользу Польши. Рѣчи Кошута, произнесенныя тогда, чрезвычайно замѣчательны, и по содержанію, и по формѣ. Но Англіи на этотъ разъ онъ не увлекъ; народъ толпами собирался на митинги, рукоплескалъ великому дару слова, готовъ былъ дѣлать складчины; но вдаль движеніе не шло, но рѣчи не вызывали тотъ отзвукъ, въ другихъ кругахъ, въ массахъ, который бы могъ имѣть вліяніе на парламентъ или заставить правительство измѣнить свой путь. Прошелъ 1854 годъ, насталъ 1855, умеръ Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегомъ Крыма; о возстановленіи польской національности нечего было и думать; Австрія стояла костью въ горлѣ союзниковъ; всѣ хотѣли къ тому же мира, главное было достигнуто—*статскій* Наполеонъ покрылся военной славой.

Кошутъ снова сошелъ со сцены. Его статьи въ „Атласѣ“ и лекціи о конкордатѣ, которыя онъ читалъ въ Эдинбургѣ, Манчестрѣ, скорѣе должно считать частнымъ дѣломъ. Кошутъ не спасъ ни своего достоянія, ни достоянія своей жены. Привыкнувшій къ широкой роскоши венгерскихъ магнатовъ, ему на чужбинѣ пришлось выработывать себѣ средства; онъ это дѣлаетъ, нисколько не скрывая.

Во всей семьѣ его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тутъ прошли великія событія и что они подняли діапазонъ всѣхъ. Кошутъ еще до сихъ поръ окруженъ нѣсколькими вѣрными сподвижниками;

сперва они составляли его дворъ, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему событія; онъ сильно состарѣлся въ послѣднее время и тяжко становится на сердцѣ отъ его покоя.

Первые два года мы рѣдко видались; потомъ случай насъ свелъ, на одной изъ изящнѣйшихъ точекъ, не только Англіи, но и Европы, на Isle of Wight. Мы жили въ одно время съ нимъ мѣсяцъ времени въ Вентнорѣ, это было въ 1855 году.

Передъ его отъѣздомъ мы были на дѣтскомъ праздникѣ, оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцовали вмѣстѣ съ моими дѣтьми... Кошутъ стоялъ у дверей и какъ-то печально смотрѣлъ на нихъ, потомъ, указывая съ улыбкой на моего сына, сказалъ мнѣ: Вотъ уже и юное поколѣніе совсѣмъ готово намъ на смѣну.

— Увидятъ ли они?

— Я именно объ этомъ и думалъ. А пока пусть попляшутъ — прибавилъ онъ и еще грустнѣе сталъ смотрѣть.

Кажется, что и на этотъ разъ мы думали одно и тоже.

А увидятъ ли отцы? И что увидятъ? Та революціонная эра, къ которой стремились мы, освѣщенные догарающимъ заревомъ девяностыхъ годовъ, къ которой стремилась либеральная Франція, юная Италія, Маццини, Ледрю-Ролленъ, не принадлежитъ ли уже прошедшему, эти люди не дѣлаются ли печальными представителями былаго, около которыхъ закипаютъ иные вопросы, другая жизнь? Ихъ религія, ихъ языкъ, ихъ движеніе, ихъ цѣль, все это и родственно намъ и съ тѣмъ вмѣстѣ чужое..... звуки церковнаго колокола тихимъ

утромъ праздничнаго дня, литургическое пѣніе и теперь потрясаютъ душу, но вѣры все же въ ней нѣтъ!

Есть печальныя истины, трудно, тяжко смотрѣть на многое, трудно и высказывать иногда, что видишь. Да врядъ и нужно ли? Вѣдь это тоже своего рода страсть или болѣзнь. „Истина, голая истина, одна истина!“ Все это такъ; да сообразно ли вѣденіе ее съ нашей жизнью? не разъѣдаетъ ли она ее, какъ слишкомъ крѣпкая кислота разъѣдаетъ стѣнки сосуда? Не есть ли страсть къ ней страшный недугъ, горько казнящій того, кто воспитываетъ ее въ груди своей?

Разъ, годъ тому назадъ, въ день памятный для меня, мысль эта особенно поразила меня.

Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульптора, въ бѣдной комнаткѣ, гдѣ домучился этотъ страдалецъ. Старая служанка стояла съ оплывшимъ, желтымъ огаркомъ въ рукѣ, освѣщая исхудалый трупъ, прикрытый одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ съ улыбкой на губахъ, вѣра замерла въ его потухающихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ же фанатикомъ какъ онъ—Маццини.

Я этого старика грустно любилъ, и ни разу не сказалъ ему *всей правды*, бывшей у меня на умѣ. Я не хотѣлъ тревожить потухающій духъ его, онъ и безъ того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то онъ былъ такъ радъ, когда Маццини его умирающему уху шепталъ обѣты и слова вѣры!

ИЗЪ IV и V ЧАСТИ*)

Издавая прошлую *Полярную Звѣзду*, я долго думалъ — что̀ слѣдуетъ печатать изъ лондонскихъ воспоминаній и что̀ лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложилъ, теперь я печатаю изъ нея нѣсколько отрывковъ.

Что же измѣнилось? — 59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партіи уяснились, однѣ окрѣпли, другія улетучились. Съ напряженнымъ вниманіемъ, останавливая не только всякое сужденіе, но самое біеніе сердца, слѣдили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками пороховаго дыма, то вырѣзывались изъ него съ такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымомъ. *На сію минуту* онъ разсѣялся и на сердцѣ легче, всѣ дорогія головы цѣлы!

А еще дальше за этимъ дымомъ, въ тѣни, безъ шума битвъ, безъ ликованій торжества, безъ лавровыхъ вѣнковъ, одна личность достигла колоссальныхъ размѣровъ.

Осыпаемый проклятіями всѣхъ партій: обманутымъ плебеемъ, дикимъ попомъ, трусомъ буржуа и піэмонтской дрянью; оклеветанный всѣми органами всѣхъ реакцій отъ папскаго и императорскаго *Монитера* до

*) *Пол. Зв.* Томъ VI (1861).

либеральныхъ кастратовъ Кавура и великаго Евнуха лондонскихъ мѣнялъ *Теймса* (который не можетъ назвать имени Маццини, не прибавивъ площадной брани). — Онъ остался не только... „неколебимъ предъ общимъ заблужденьемъ“... но благословляющимъ съ радостью и восторгомъ враговъ и друзей, исполнявшихъ *его* мысль, *его* планъ. Указывая на него, какъ на какого-то Аббадонну —

Народъ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался надъ твоей священной сѣдиною...

... Но возлѣ него стоялъ не Кутузовъ, а Гарибальди. Въ лицѣ своего героя, своего освободителя Италія не разрывалась съ Маццини. Какъ же Гарибальди не отдалъ ему полвѣнка своего? зачѣмъ не признался, что идетъ съ нимъ рука въ руку? зачѣмъ оставленный тріумвиръ римскій не предъявилъ своихъ правъ? зачѣмъ онъ самъ просилъ не поминать его, и зачѣмъ народный вождь, чистый, какъ отрокъ, молчалъ и лгалъ разрывъ?

Обоимъ было что-то дороже ихъ личностей, ихъ имени, ихъ славы—*Италія!*

И пошлая современность ихъ не поняла. У ней не хватало емкости, на столько величія; бухгалтерской книги ихъ не достало до того, чтобъ подвести итогъ такихъ credit и debit!

Гарибальди сдѣлался еще больше „лицомъ изъ Корнелія Непота“; онъ такъ антично великъ въ своемъ хуторѣ, такъ простодушно, такъ чисто великъ, какъ описаніе Гомера, какъ греческая статуя. Нигдѣ ни риторики, ни декорацій, ни дипломацій — въ эпопеѣ онѣ были ненужны; когда она кончилась и началось продолженіе календаря, тогда король отпустилъ его, какъ отпускаютъ довезшаго ямщика, и сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголялъ Ав-

стрію колосальной неблагодарностью; а Гарибальди и не разсердился, онъ, улыбаясь, съ пятидесятью скудами въ карманѣ, вышелъ изъ дворцовъ странъ покоренныхъ имъ, предоставляя дворовымъ усчитывать его расходы и разсуждать о томъ, что онъ испортилъ шкуру медвѣдя. Пускай себѣ тѣшатся, половина великаго дѣла сдѣлана—лишь бы Италію сколотить въ одно и прогнать бѣлыхъ кретиновъ.

Были минуты тяжелыя для Гарибальди. Онъ увлекается людьми; какъ онъ увлекся А. Дюма, такъ увлекается Викторомъ Емануиломъ; неделикатность короля огорчаетъ его; король это знаетъ и, чтобъ задобрить его, посылаетъ фазановъ собственноручно убитыхъ, цвѣты изъ своего сада и любовныя записки, подписанныя: sempre il tuo amico Vittorio.

Для Маццини люди не существуютъ, для него существуетъ *дѣло*, и притомъ *одно дѣло;* онъ самъ существуетъ, „живетъ и движется“ только въ немъ. Сколько ни посылай ему король фазановъ и цвѣтовъ, онъ его не тронетъ. Но онъ сейчасъ соединится не только съ нимъ, котораго онъ считаетъ за добраго, но пустаго человѣка, но съ его маленькимъ Талейраномъ, котораго онъ вовсе не считаетъ ни за добраго, ни за порядочнаго человѣка. Маццини аскетъ, Кальвинъ, Прочида итальянскаго освобожденія. Односторонній, вѣчно занятый одной идеей, вѣчно на стражѣ и готовый, Маццини съ тѣмъ упорствомъ и терпѣніемъ, съ которымъ онъ создалъ, изъ разбросанныхъ людей и неясныхъ стремленій, плотную партію, и послѣ десяти неудачъ, вызвалъ Гарибальди и его войско полсвободной Италіи и живую, непреложную надежду на ея единство—Маццини не спитъ. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видятъ худую, печаль-

ную руку Маццини, указывающую на Римъ, и они еще пойдутъ туда!

Я дурно сдѣлалъ, что выпустилъ, въ напечатанномъ отрывкѣ, нѣсколько страницъ объ Маццини; его усѣченная фигура вышла не такъ ясно, я остановился именно на его размолвкѣ съ Гарибальди въ 1854, и на моемъ разномыслiи съ нимъ. Сдѣлано было это мною изъ деликатности, но эта деликатность *мелка* для Маццини. О такихъ людяхъ нечего умалчивать, *ихъ щадить нечего!*

Послѣ своего возвращенiя изъ Неаполя, онъ написалъ мнѣ записку; я поспѣшилъ къ нему, сердце щемило, когда я его увидѣлъ, я все же ждалъ найти его грустнымъ, оскорбленнымъ въ своей любви, положенiе его было въ высшей степени трагическое; я дѣйствительно его нашелъ тѣлесно состарившимся и помолодѣлымъ душей; онъ бросился ко мнѣ, по обыкновенiю протягивая обѣ руки, съ словами: „и такъ, наконецъ-то сбывается!“... въ его глазахъ былъ восторгъ и голосъ дрожалъ.

Онъ весь вечеръ разсказывалъ мнѣ о времени, предшествовавшемъ экспедицiи въ Сицилiю, о своихъ сношенiяхъ съ Викторомъ Емануиломъ, потомъ о Неаполѣ. Въ увлеченiи, въ любви, со которыми онъ говорилъ о побѣдахъ, о подвигахъ Гарибальди, было столько же дружбы къ нему, какъ въ его брани за довѣрчивость и за неумѣнье распознавать людей.

Слушая его, я хотѣлъ поймать одну ноту, одинъ звукъ обиженнаго самолюбiя, и не поймалъ; ему грустно, но грустно, какъ матери, оставленной на время возлюбленнымъ сыномъ, она знаетъ, что сынъ воротится, и знаетъ больше этого, что сынъ счастливъ: это покрываетъ все для нея!

Маццини исполненъ надеждъ, съ Гарибальди онъ ближе, чѣмъ когда нибудь. Онъ съ улыбкой разсказывалъ, какъ толпы Неаполитанцевъ, подбитыя агентами Кавура, окружили его домъ съ криками: „Смерть Маццини!“ Ихъ, между прочимъ, увѣрили, что Маццини „бурбонскій республиканецъ.“ „У меня въ это время было нѣсколько человѣкъ нашихъ и одинъ молодой русскій, онъ удивлялся, что мы продолжали прежній разговоръ: Вы не опасайтесь, сказалъ я ему въ успокоеніе, *они меня не убьютъ, они только кричатъ!*“

Нѣтъ, такихъ людей нечего щадить!

31 Января 1861.

ГЛАВА III.

Эмиграціи въ Лондонѣ—Нѣмцы, Французы—Партіи—В. Гюго — Феликсъ Пья — Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ.

Сидѣхомъ и плакахомъ на берегахъ вавилонскихъ...
Псалтырь.

Еслибъ кто нибудь вздумалъ написать, со стороны, внутреннюю исторію политическихъ выходцевъ и изгнанниковъ съ 1848 года въ Лондонѣ, какую печальную страницу прибавилъ бы онъ къ сказаніямъ о современномъ человѣкѣ. Сколько страданій, сколько лишеній, слезъ... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бѣдность умственныхъ силъ, запасовъ, пониманія, какое упорство въ раздорѣ и мелкость въ самолюбіи...

Съ одной стороны люди простые, инстинктомъ и сердцемъ понявшіе дѣло революціи и приносящіе ему наи-

большую жертву, которую человѣкъ можетъ принести —добровольную нищету, составляютъ небольшую кучку праведниковъ. Съ другой, эти худо прикрытыя, затаенныя самолюбія, для которыхъ революція была служба, posiiion sociale, и которые сорвались въ эмиграцію, не достигнувъ мѣста; потомъ всякіе фанатики, мономаны всѣхъ мономаній, сумашедшіе всѣхъ сумашествій; въ силу этого нервнаго, нанянутаго, раздраженнаго состоянія — верченіе столовъ надѣлало въ эмиграціи страшное количество жертвъ; кто не вертѣлъ столовъ —отъ Виктора Гюго и Ледрю Роллена до Квирика Филопанти, который пошелъ дальше... и узнавалъ все, что человѣкъ дѣлалъ лѣтъ тысячу тому назадъ?...

Притомъ ни шагу впередъ. Они, какъ придворные версальскіе часы, показываютъ одинъ часъ, часъ, въ который умеръ король... и ихъ, какъ версальскіе часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показываютъ одно событіе, одну кончину какого нибудь событія. Объ немъ говорятъ, объ немъ думаютъ, къ нему возвращаются. Встрѣчая тѣхъ же людей, тѣ же группы,—мѣсяцевъ черезъ пять-шесть, года черезъ два-три, становится страшно—тѣ же споры продолжаются, тѣ же личности и упреки, только морщинъ, нарѣзанныхъ нищетою, лишеніями — больше; сертуки, пальто—вытерлись; больше сѣдыхъ волосъ, и все вмѣстѣ старѣе, костлявѣе, сумрачнѣе... а рѣчи все тѣ же и тѣ же !

Революція у нихъ остается, какъ въ девяностыхъ годахъ, метафизикой общественнаго быта, но тогдашней наивной страсти къ борьбѣ, которая давала рѣзкій колоритъ самымъ тощимъ всеобщностямъ и тѣло сухимъ линіямъ, ихъ политическаго сруба—у нихъ нѣтъ и не можетъ быть; всеобщности и отвлеченныя понятія то-

гда были радостной новостью, откровеніемъ. Въ концѣ XVIII столѣтія люди въ первый разъ, не въ книгѣ, а на самомъ дѣлѣ начали освобождаться отъ роковаго, таинственно-тяготѣвшаго міра теологической исторіи и пытались весь гражданскій бытъ, выросшій помимо сознанія и воли, основать на сознательномъ пониманіи. Въ попыткѣ *разумнаго* государства, какъ въ попыткѣ религіи *разума*, была въ 1793 могучая, титаническая поэзія, которая принесла свое, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, вывѣтрилась и оскудѣла въ послѣдніе шестдесятъ лѣтъ. Наши наслѣдники титановъ этого не замѣчаютъ. Они, какъ монахи аѳонской горы, которые занимаются своимъ, ведутъ тѣ же рѣчи, которыя вели во время Златоуста и продолжаютъ жизнь, давно задвинутую турецкимъ владычествомъ, которое само ужъ приходитъ къ концу... собираясь въ извѣстные дни поминать извѣстныя событія, въ томъ же порядкѣ, съ тѣми же молитвами.

Другой тормазъ, останавливающій эмиграціи, состоитъ въ отстаиваніи себя другъ противъ друга; это страшно убиваетъ внутреннюю работу и всякій добросовѣстный трудъ. Объективной цѣли у нихъ нѣтъ, всѣ партіи упрямо консервативны, движеніе впередъ имъ кажется слабостью, чуть не бѣгствомъ; сталъ подъ знамя, такъ стой подъ нимъ, хотя бы со временемъ и разглядѣлъ, что цвѣта не совсѣмъ такіе, какъ казались.

Такъ идутъ годы — исподволь все мѣняется около нихъ. Тамъ, гдѣ были сугробы снѣга — ростетъ трава, вмѣсто кустарника — лѣсъ, вмѣсто лѣса — одни пни..... они ничего не замѣчаютъ. Нѣкоторые выходы совсѣмъ обвалились и засыпались, они въ нихъ - то и стучатъ; новыя щели открылись; свѣтъ изъ нихъ такъ и врывается полосами, но онн смотрятъ въ другую сторону.

Отношенія, сложившіяся между разными эмиграціями и англичанами, могли бы сами по себѣ дать удивительные факты о химическомъ сродствѣ разныхъ народностей.

Англійская жизнь сначала ослѣпляетъ нѣмцевъ, подавляетъ ихъ, потомъ поглощаетъ, или, лучше сказать, распускаетъ ихъ въ плохихъ англичанъ. Нѣмецъ, по большей части, если предпринимаетъ какое нибудь дѣло, тотчасъ брѣется, поднимаетъ воротнички рубашки до ушей, говоритъ yes, вмѣсто ja и well тамъ, гдѣ ничего не надобно говорить. Года черезъ два онъ пишетъ по англ:йски письма и записки и живетъ совершенно въ англійскомъ кругу. Съ англичанами нѣмцы никогда не обходятся, какъ съ равными, а какъ наши мѣщане съ чиновниками и наши чиновники съ столбовыми дворянами.

Входя въ англійскую жизнь, нѣмцы не въ самомъ дѣлѣ дѣлаются англичанами, но притворяются ими и долею перестаютъ быть нѣмцами. Англичане въ своихъ сношеніяхъ съ иностранцами такіе же капризники, какъ во всемъ другомъ; они бросаются на пріѣзжаго, какъ на комедіанта или акробата, не даютъ ему покоя, но едва скрываютъ чувство своего превосходства и даже нѣкотораго отвращенія къ нему. Если пріѣзжій удерживаетъ свой костюмъ, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанинъ шпыняетъ надъ нимъ, но мало по малу привыкаетъ въ немъ видѣть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранецъ начинаетъ подлаживаться подъ его манеры, онъ не уважаетъ его и снисходительно трактуетъ его съ высоты своей британской надменности. Тутъ и съ большимъ тактомъ трудно найтиться иной разъ, чтобъ не согрѣшить по минусу или по плюсу; можно же себѣ пред-

ставить, что дѣлаютъ нѣмцы, лишенные всякаго такта, фамильярные и подобострастные, слишкомъ вычурные и слишкомъ простые, сентиментальные безъ причины и грубые безъ вызова.

Но если нѣмцы смотрятъ на англичанъ, какъ на высшее племя того же рода и чувствуютъ себя ниже ихъ, то изъ этого не слѣдуетъ никакъ, чтобы отношеніе французовъ и преимущественно французскихъ рефюжье было умнѣе. Такъ какъ нѣмецъ все безъ разбору уважаетъ въ Англіи, французъ протестуетъ противъ всего и ненавидитъ все англійское. Это доходитъ, само собой разумѣется, до уродливости самой комической.

Французъ, во первыхъ, не можетъ простить англичанамъ, что они не говорятъ по французски; во вторыхъ, что они не понимаютъ, когда онъ Чарингъ-Кросъ называетъ *Шаранъ'кро* или Лестеръ-скверъ—*Лесестеръ-скуаръ*. Далѣе его желудокъ не можетъ переварить, что въ Англіи обѣдъ состоитъ изъ двухъ огромныхъ кусковъ мяса и рыбы, а не изъ пяти маленькихъ порцій всякихъ рагу, фритюръ, салми и пр. Затѣмъ онъ не можетъ примириться съ „рабствомъ,“ по которому трактиры заперты въ воскресенье и весь народъ *скучаетъ богу*, хотя вся Франція семь дней въ недѣлю *скучаетъ Бонапарту*. Затѣмъ весь habitus, все хорошее и дурное въ англичанинѣ ненавистно французу. Англичанинъ платитъ ему той же монетой, но съ завистію смотритъ на покрой его одежды и карикатурно старается подражать ему.

Все это очень замѣчательно для изученія сравнительной физіологіи, и я совсѣмъ не для смѣха разсказываю это. Нѣмецъ, какъ мы замѣтили, сознаетъ себя, по крайней мѣрѣ, въ гражданскомъ отношеніи нисшимъ видомъ той же породы, къ которой принадлежитъ англичанинъ,

и подчиняется ему. Французъ, принадлежащій къ другой породѣ не настолько различной, чтобы быть равнодушнымъ, какъ турокъ къ китайцу, ненавидитъ англичанина, особенно потому, что оба народа слѣпо убѣждены каждый о себѣ, что они представляютъ первый народъ въ мірѣ. И нѣмецъ внутри себя въ этомъ увѣренъ, особенно auf dem theoretischen Gebite, но стыдится признаться.

Французъ дѣйствительно во всемъ противуположенъ англичанину; англичанинъ существо берложное, любящее жить особнякомъ, упрямое и непокорное, французъ — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно паралельныя развитія, между которыми Ла-Маншъ. Французъ постоянно предупреждаетъ, во все мѣшается, всѣхъ воспитываетъ, всему поучаетъ; англичанинъ выжидаетъ, вовсе не мѣшается въ чужія дѣла и былъ бы готовъ скорѣе поучиться, нежели учить, но времени нѣтъ, въ лавку надо.

Два краеугольныхъ камня всего англійскаго быта: личная независимость и родовая традиція, для француза почти не существуютъ. Грубость англійскихъ нравовъ выводитъ француза изъ себя, и она дѣйствительно противна и отравляетъ лондонскую жизнь, но за ней онъ не видитъ той суровой мощи, которою народъ этотъ отстоялъ свои права; того упрямства, вслѣдствіе котораго изъ англичанина можно все сдѣлать, льстя его страстямъ — но не раба, веселящагося галунами своей ливреи, восхищающагося своими цѣпями, обвитыми лаврами.

Французу такъ дикъ, такъ непонятенъ міръ самоуправленія, децентрализаціи, своебычно, капризно разросшійся, что онъ, какъ долго ни живетъ въ Англіи, ея политической и гражданской жизни, ея правъ и судо-

производства не знаетъ. Онъ теряется въ неспѣтомъ разноначаліи англійскихъ законовъ, какъ въ темномъ бору, и совсѣмъ не замѣчаетъ, какіе огромные и величавые дубы составляютъ его и сколько прелести, поэзіи, смысла въ самомъ разнообразіи. То ли дѣло маленькой кодексъ съ посыпанными дорожками, съ подстриженными деревцами и съ полицейскими садовниками на каждой аллеѣ.

Опять Шекспиръ и Расинъ.

Видитъ ли французъ пьяныхъ, дерущихся у кабака и полисмена, смотрящаго съ спокойствіемъ посторонняго и любопытствомъ человѣка слѣдящаго за пѣтушинымъ боемъ, онъ приходитъ въ неистовство, за чѣмъ полисменъ не выходитъ изъ себя, за чѣмъ не ведетъ кого нибудь au violon. Онъ и не думаетъ о томъ, что личная свобода только и возможна, когда полицейскій не имѣетъ власти отца и матери и когда его вмѣшательство сводится на страдательную готовность — до тѣхъ поръ, пока его позовутъ. Увѣренность, которую чувствуетъ каждый бѣднякъ, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, измѣняетъ взглядъ человѣка. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами, иногда прячется преступникъ, — пускай себѣ. Гораздо лучше, чтобъ ловкій воръ остался безъ наказанія, нежели чтобъ каждый честный человѣкъ дрожалъ какъ воръ у себя въ комнатѣ. До моего пріѣзда въ Англію всякое появленіе полицейскаго въ домѣ, въ которомъ я жилъ, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился en garde противъ врага. Въ Англіи полицейскій у дверей и въ дверяхъ только прибавляетъ какое-то чувство безопасности.

Въ 1855, когда Жерсейскій губернаторъ, пользуясь

особымъ *безправіемъ* своего острова, поднялъ гоненіе на журналъ — „L'homme“ за письмо Ф. Пья къ королевѣ, и не смѣя вести дѣло судебнымъ порядкомъ, велѣлъ В. Гюго и другимъ рефюжье протестовавшимъ въ пользу журнала, оставить Жерсей, — здравый смыслъ и всѣ оппозиціонные журналы говорили имъ, что губернаторъ перешелъ власти, что имъ слѣдуетъ остаться и сдѣлать процессъ ему. „Daily News“ обѣщалъ съ другими журналами взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и какъ „будто возможно выиграть процессъ противъ правительства“. Они напечатали новый грозный протестъ, грозили губернатору судомъ исторіи — и гордо отступили въ Гернсей.

Разскажу одинъ примѣръ французскаго пониманія англійскихъ нравовъ. Однажды вечеромъ прибѣгаетъ ко мнѣ одинъ рефюжье и послѣ цѣлаго ряда ругательствъ противъ Англіи и англичанъ разсказываетъ мнѣ слѣдующую „чудовищную“ исторію.

Французская эмиграція въ то утро хоронила одного изъ своихъ собратьевъ. Надо сказать, что въ томной и скучной жизни изгнанія, похороны товарища почти принимаются за праздникъ,—случай сказать рѣчь, пронести свои знамена, собраться вмѣстѣ, пройтись по улицамъ, отмѣтить кто былъ и кто не былъ, а потому демократическая эмиграція отправилась au grand complet. На кладбищѣ явился англійскій пасторъ съ молитвенникомъ. Пріятель мой замѣтилъ ему, что покойникъ не былъ христіанинъ, и что въ силу этого ему не нужна его молитва. Пасторъ педантъ и лицемѣръ, какъ всѣ англійскіе пасторы, съ притворнымъ смиреніемъ и національной флегмой, отвѣчалъ: „Что можетъ покойнику и не нужна его молитва, но что ему по долгу необходимо сопровождать каждаго умершаго молитвой на по-

слѣднее жилище его.“ Завязался споръ, и такъ какъ французы стали горячиться и кричать, упрямый пасторъ позвалъ полицейскихъ.

— Allonc donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée liberté! — прибавилъ главный актеръ этой сцены, послѣ покойника и пастора.

— Ну что же сдѣлала, спросилъ я, la force brutale au service du noir fanatisme?

— Пришли четыре полицейскихъ, et le chef de la bande спрашиваетъ: Кто говорилъ съ пасторомъ?

— Я прямо вышелъ впередъ —и, разсказывая, мой пріятель, обѣдавшій со мною, смотрѣлъ такъ, какъ нѣкогда смотрѣлъ Леонидъ отправляясь ужинать съ богами, — c'est moi «Monsieur», car je me garde bien de dire «citoyen»*) à ces gueux-là. — Тогда le chef des sbirres съ величайшей дерзостью сказалъ мнѣ: „Переведите другимъ, чтобъ они не шумѣли, хороните вашего товарища и ступайте по домамъ. А если вы будете

*) Въ поясненіе того, что мой красный пріятель употреблялъ въ разговорѣ съ полисменомъ слово „Monsieur“, чтобы не употреблять во зло слово „Citoyen“ — надо вотъ что разсказать. Въ одной изъ темныхъ, бѣдныхъ и нечистыхъ улицъ, лежащихъ между Сого и Лестеръ Скверомъ, гдѣ обыкновенно кочуетъ недостаточная часть эмиграціи, завелъ какой-то красный ликвористъ небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашелъ къ нему взять седативной воды. За прилавкомъ сидѣлъ онъ самъ; высокій, съ грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большимъ носомъ и ртомъ нѣсколько на сторону. Настоящій уѣздный террористъ 94 года, къ тому же и бритый. — „Распалевой воды на 6 пенсовъ. Monsieur“, сказалъ я. Онъ отвѣшивалъ какую-то траву, за которой пришла дѣвочка, не обращая никакого вниманія на мой вопросъ; я могъ досыта налюбоваться этимъ Collot d'Herbois, пока онъ наконецъ припечаталъ сургучемъ уголки бумажнаго пакета, надписалъ и потомъ довольно строго обратился ко мнѣ съ plait-il? — Распалевой воды на 6 пенсовъ, повторилъ я, Monsieur. Онъ посмотрѣлъ на меня съ какимъ-то свирѣпымъ выраженіемъ и, оглядѣвъ съ головы до ногъ, важнымъ и густымъ голосомъ сказалъ мнѣ: „Citoyen, s'il vous plait!“

шумѣть, я васъ всѣхъ велю отсюда вывести.“ — Я посмотрѣлъ на него, снявъ съ себя шляпу и громко что есть силы прокричалъ: Vive la République démocratique et sociale!

Едва удерживая смѣхъ, я спросилъ его: Что же сдѣлалъ „начальникъ сбировъ“?

— Ничего — съ самодовольной гордостью замѣтилъ французъ. — Онъ переглянулся съ товарищами, прибавилъ: „Ну дѣлайте, дѣлайте ваше дѣло!“ и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имѣютъ дѣло не съ англійской чернью... у нихъ тонкій носъ!

Что то происходило въ душѣ серьезнаго, плотнаго и вѣроятно выпившаго констабля во время этой выходки? Пріятель и не подумалъ о томъ, что онъ могъ себѣ доставить удовольствіе прокричать то же самое передъ окнами королевы у рѣшетки Букингамскаго дворца, безъ малѣйшаго неудобства. Но еще замѣчательнѣе, что ни мой пріятель, ни всѣ прочіе французы, при такомъ происшествіи и не думаютъ, что за подобную продѣлку во Франціи они бы пошли въ Каену или Ламбессу. Если же имъ это напомнишь, то отвѣтъ ихъ готовъ: A bas! C'est une halte dans la boue... ce n'est pas normal!

А когда же у нихъ свобода была нормальна?

Антагонизмъ нѣкогда выражавшійся *возможнымъ* Мартиномъ Лютеромъ и *послѣдовательнымъ* Томасомъ Мюнцеромъ, лежитъ какъ семенныя доли при каждомъ зернѣ; логическое развитіе, расчлененіе всякой партіи непремѣнно дойдетъ до обнаруженія его. Мы его равно находимъ въ *трехъ* невозможныхъ Гракхахъ, т. е. счи-

тая тутъ же и Гракха Бабефа, и въ слишкомъ возможныхъ Суллахъ и Сулукахъ всѣхъ цвѣтовъ. Возможна одна діагональ, возможенъ компромисъ, стертое, среднее и потому соотвѣтствующее всему среднему: сословію, богатству, пониманью. Изъ Лиги и Гугенотовъ—дѣлается Генрихъ IV, изъ Стуартовъ и Кромвеля — Вильгельмъ Оранскій, изъ революціи и легитимизма — Людовикъ Филиппъ. Послѣ него антагонизмъ сталъ между возможной республикой и послѣдовательной; возможную назвали *демократической*, послѣдовательную *соціальной* — изъ ихъ столкновенія вышла имперія, но партіи остались.

Несговорчивыя крайности очутились въ Каенѣ, Ламбесѣ, Бель-Илѣ, и долею за французской границей, преимущественно въ Англіи.

Какъ только они въ Лондонѣ перевели духъ и глазъ ихъ привыкъ различать предметы въ туманѣ, старый споръ возобновился съ особенной нетерпимостью эмиграціи, съ мрачнымъ характеромъ Лондонскаго климата.

Предсѣдатель Люксамбургской коммиссіи былъ, de jure, главное лице между соціалистами въ Лондонской эмиграціи. Представитель организаціи работъ и эгалитарныхъ работничьихъ обществъ, онъ былъ любимъ работниками; строгій по жизни, неукоризненной чистоты въ мнѣніяхъ, вѣчно работающій самъ, sobre, мастеръ говорить, популярный безъ фамильярности, смѣлый и вмѣстѣ осторожный, онъ имѣлъ всѣ средства, чтобъ дѣйствовать на массу.

Съ другой стороны, Ледрю-Ролленъ представлялъ религіозную традицію 93 года, для него слова *республика* и *демократія* обнимали все: насыщеніе голодныхъ, право на работу, освобожденіе Польши, сокрушеніе Николая, братство народовъ, паденіе папы. Работниковъ бы-

ло меньше около него, его хоръ состоялъ изъ capacités — то есть изъ адвокатовъ, журналистовъ, учителей, клубистовъ и пр.

Двойство этихъ партій ясно, и именно по этому я никогда не умѣлъ понять, какъ Мацини и Луи Бланъ объясняли свое окончательное распаденіе, частными столкновеніями. Разрывъ лежалъ въ самой глубинѣ ихъ воззрѣнія, въ задачѣ ихъ. Имъ вмѣстѣ нельзя было идти, но можетъ ненужно было и ссориться публично.

Дѣло соціализма и итальянское дѣло различались такъ сказать чередомъ или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономическаго устройства въ Италіи. Тоже мы видѣли въ Польшѣ 1831, въ Венгріи 1848. Но тутъ нѣтъ мѣста полемики, это скорѣе вопросъ о хронологическомъ раздѣленіи труда, чѣмъ о взаимномъ уничтоженіи. Соціальныя теоріи мѣшали прямому, сосредоточенному дѣйствію Маццини, мѣшали военной организаціи, которая для Италіи была необходима; за это онъ сердился не соображая, что для французовъ такая организація только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью, и итальянской кровью, онъ напалъ на соціалистовъ и въ особенности на Луи Блана, въ небольшой брошюркѣ оскорбительной и ненужной. По дорогѣ зацѣпилъ онъ и другихъ, такъ напримѣръ называетъ Прудона „демономъ“... Прудонъ хотѣлъ ему отвѣчать, но ограничился только тѣмъ, что въ слѣдующей брошюркѣ назвалъ Маццини „архангеломъ“. Я раза два говорилъ шутя Маццини: Ne reveillez pas le chat qui dort, а то съ такими бойцами трудно выйти безъ сильныхъ рубцовъ. Лондонскіе соціалисты отвѣчали ему тоже желчно, съ ненужными личностями и дерзкими выраженіями.

Другаго рода вражда и вражда больше основатель-

ная была между французами двухъ революціонныхъ толковъ. Всѣ опыты соглашенія формальнаго республиканизма съ соціализмомъ были неудачны, и дѣлали только очевиднѣе неоткровенность уступокъ и непримиримый раздоръ; черезъ ровъ ихъ раздѣлявшій ловкій акробатъ бросилъ свою доску и провозгласилъ себя на ней императоромъ.

Провозглашеніе имперіи было гальваническимъ ударомъ, судорожно вздрогнули сердца эмигрантовъ и ослабли.

Это былъ печальный, тоскливый взглядъ больнаго, убѣдившагося, что ему не встать безъ костылей. Усталь, скрытная безнадежность стала овладѣвать тѣми и другими. Серьезная полемика начинала блѣднѣть, сводиться на личности, на упреки, обвиненія.

Еще года два оба французскіе стана продержались въ агресивной готовности, одинъ празднуя 24 Февраля, другой Іюльскіе дни. Но къ началу крымской войны, и къ торжественной прогулкѣ Наполеона съ королевой Викторіей по Лондону — безсиліе эмиграціи стало очевидно. Самъ начальникъ лондонской Metropolitan-Police Робертъ Менъ засвидѣтельствовалъ это. Когда консерваторы благодарили его послѣ посѣщенія Наполеона, за ловкія мѣры, которыми онъ предупредилъ всякую демонстрацію со стороны эмигрантовъ, онъ отвѣчалъ: *„Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Ледрю-Роллена и Луи Блана“*.

Признакъ еще больше намекавшій на близкую кончину обнаружился около того же времени въ подраздѣленіяхъ партій во ими лицъ или личностей, безъ серьезныхъ причинъ.

Партіи эти составлялись такъ, какъ у насъ выдумываютъ министерства или главныя управленія, для по-

мѣщенія какого нибудь лишняго сановника; такъ какъ иногда компонисты придумываютъ въ операхъ партіи для Гризи и Лаблаша не потому, чтобъ эти партіи были необходимы, а потому что Гризи или Лаблаша надобно было употребить...

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

... *Они* просидѣли до поздней ночи, вспоминая о 1848 годѣ; когда я проводилъ ихъ на улицу и возвратился одинъ въ мою комнату, мною овладѣла безконечная грусть, я сѣлъ за свой письменный столъ и готовъ былъ плакать...

Я чувствовалъ то, что долженъ ощущать сынъ, возвращаясь послѣ долгой разлуки въ родительскій домъ; онъ видитъ, какъ въ немъ все почернѣло, покривилось, отецъ его постарѣлъ, не замѣчая того, сынъ очень замѣчаетъ и ему тѣсно, онъ чувствуетъ близость гроба, скрываетъ это, но свиданье не оживляетъ его, не радуетъ, а утомляетъ.

Барбесъ, *Луи Бланъ!* вѣдь это все старые друзья, почетные друзья кипучей юности. Histoire de dix ans. процессъ Барбеса передъ камерой перовъ, все это такъ давно обжилось въ головѣ, въ сердцѣ, совсѣмъ съ этимъ мы такъ сроднились — и вотъ они на лицо.

Самые злые враги ихъ никогда не осмѣливались заподозрѣть неподкупную честность Луи Блана или набросить тѣнь на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоихъ всѣ видѣли, знали во всѣхъ положеніяхъ, у нихъ не было частной жизни, не было закрытыхъ дверей. Одного изъ нихъ мы видѣли членомъ правительства, другаго за полчаса до гильотины. Въ ночь передъ казнію Барбесъ не спалъ, а спросилъ бумаги и сталъ писать;

строки эти сохранились, я ихъ читалъ. Въ нихъ есть французскій идеализмъ, религіозныя мечты, но ни тѣни слабости; его духъ не смутился, не унылъ; съ яснымъ сознаніемъ приготовлялся онъ положить голову на плаху и покойно писалъ, когда рука тюремщика сильно стукнула въ дверь, „это было на разсвѣтѣ, я (и это онъ мнѣ разсказалъ самъ) ждалъ исполнителей," но вмѣсто палачей, взошла его сестра, и бросилась къ нему на шею. Она выпросила безъ его вѣдома у Людовика Филиппа перемѣну наказанія, и скакала на почтовыхъ всю ночь, чтобъ успѣть.

Колодникъ Людвика Филиппа, черезъ нѣсколько лѣтъ является на верху цивическаго торжества, цѣпи сняты ликующимъ народомъ, его везутъ въ тріумфѣ по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось, онъ явился первымъ обвинителемъ временнаго правительства за руанскія убійства. Реакція росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой и Барбесъ 15 Мая сдѣлалъ то, чего не дѣлали, ни Ледрю Ролленъ, ни Луи Бланъ, чего испугался Косидьеръ! Coup d'état не удался, и Барбесъ, колодникъ республики, снова передъ судомъ. Онъ въ Буржѣ также какъ въ камерѣ перовъ говоритъ законникамъ мѣщанскаго міра, какъ говорилъ грѣшному старцу Пакье: „Я васъ не признаю за судей, вы враги мои, я вашъ военноплѣнный, дѣлайте со мною что хотите, но судьями я васъ не признаю". И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за нимъ.

Случайно, противъ своей воли, вышелъ онъ изъ тюрьмы; Наполеонъ его вытолкнулъ изъ нея почти въ насмѣшку, прочитавъ во время крымской войны письмо Барбеса, въ которомъ онъ, въ припадкѣ гальскаго шовинизма, говоритъ о военной славѣ Франціи. Барбесъ

удалился было въ Испанію, перепуганное и тупое правительство выслало его. Онъ уѣхалъ въ Голландію, и тамъ нашелъ покойное, глухое убѣжище.

И вотъ этотъ-то герой и мученикъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ главныхъ дѣятелей Февральской республики, съ первымъ государственнымъ человѣкомъ соціализма, вспоминали и обсуживали прошедшіе дни славы и невзгодья!

А меня давила тяжелая тоска, я съ несчастной ясностью видѣлъ, что они тоже принадлежатъ исторіи *другаго десятилѣтія*, которая окончена до послѣдняго листа, до переплета!

Окончена не для нихъ лично, а для всей эмиграціи, и для всѣхъ теперешнихъ политическихъ партій. Живыя и шумныя десять, даже пять лѣтъ тому назадъ, онѣ вышли и русла изъ теряются въ пескѣ, воображая, что все текутъ въ океанъ. У нихъ нѣтъ больше ни тѣхъ словъ, которыя какъ слово: республика, пробуждали цѣлые народы. ни тѣхъ пѣсенъ, какъ Марсельеза, которыя заставляли содрогаться каждое сердце. У нихъ и враги не той же величины, и не той же пробы: нѣтъ ни сѣдыхъ феодальныхъ привиллегій короны, съ которыми бы было трудно сражаться, ни королевской головы, которая бы, скатываясь съ эшафота, уносила съ собой цѣлую государственную организацію. Казните Наполеона, изъ этого не будетъ 21 Января; разберите по камнямъ Мазасъ, изъ этого не выйдетъ взятія Бастиліи! *Тогда*, въ этихъ громахъ и молніяхъ, раскрывалось новое откровеніе, откровеніе государства, основаннаго на разумѣ, новое искупленіе изъ средневѣковаго мрачнаго рабства. Съ тѣхъ поръ искупленіе революціей обличилось несостоятельнымъ, на разумѣ государство не устроилось. Политическая реформація выродилась,

какъ и религіозная, въ риторическое пустословіе, охраняемое слабостью однихъ и лицемѣріемъ другихъ. Марсельеза остается святымъ гимномъ, но гимномъ прошедшаго, какъ Gottes feste Burg, звуки той и другой пѣсни вызываютъ и теперь рядъ величественныхъ образовъ, какъ въ Макбетовскомъ процессѣ тѣней — все цари, но все мертвые.

Послѣдній едва еще виденъ въ спину, а объ новомъ только слухи. Мы въ *междуцарствіи*; пока до наслѣдника, полиція все захватила, во имя наружнаго порядка. Тутъ не можетъ быть и рѣчи о правахъ, это временныя необходимости, это lynch law въ исторіи, экзекуція, оцѣпленіе, карантинная мѣра. Новый порядокъ, совмѣстившій все тяжкое монархіи, и все свирѣпое якобинизма, огражденъ не идеями, не предразсудками, а страхами и неизвѣстностями. Пока одни боялись, другіе ставили штыки и занимали мѣста. Первый кто прорветъ ихъ цѣпь, пожалуй и займетъ главное мѣсто, занятое полиціей, только онъ и самъ сдѣлается сейчасъ квартальнымъ.

Это напоминаетъ намъ, какъ Косидьеръ вечеромъ 24 Февраля пришелъ въ префектуру съ ружьемъ въ рукѣ, сѣлъ въ кресла, только что бѣжавшаго Делесера, позвалъ секретаря, сказалъ ему, что онъ назначенъ префектомъ и велѣлъ подать бумаги. Секретарь также почтительно улыбнулся какъ Делесеру, также почтительно поклонился и пошелъ за бумагами, и бумаги пошли своимъ чередомъ, ничего не перемѣнилось, только ужинъ Делесера съѣлъ Косидьеръ.

Многіе узнали пароль префектуры, но лозунга исторіи не знаютъ. Они, когда было время, поступили точно такъ какъ Александръ I. Они хотѣли чтобъ старому

порядку былъ нанесенъ ударъ, но не смертельный; а Бенингсгена или Зубова у нихъ не было.

И вотъ почему, если они снова сойдутъ на арену, они ужаснутся *людской неблагодарности*, и пусть остануться при этой мысли, пусть думаютъ, что это *одна* неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многихъ другихъ.

А еще лучше имъ вовсе не ходить туда, пусть они намъ и нашимъ дѣтямъ повѣствуютъ о своихъ великихъ дѣлахъ. Сердиться за этотъ совѣтъ нечего, живое мѣняется, неизмѣнное становится памятникомъ. Они оставили свою бразду, такъ какъ свою оставятъ за ними идущіе, и ихъ обгонитъ въ свою очередь свѣжая волна, а потомъ все бразды... живое и памятники, все покроется всеобщей амнистіей вѣчнаго забвенія!

На меня сердятся многіе за то, что я высказываю эти вещи. „Въ вашихъ словахъ, говорилъ мнѣ очень почтенный человѣкъ, такъ и слышится *посторонній зритель*“.

А вѣдь я не постороннимъ пришелъ въ Европу. Посторонним я сдѣлался. Я очень выносливъ, но выбился наконецъ изъ силъ.

Я пять лѣтъ не видалъ свѣтлаго лица, не слыхалъ простаго смѣха, понимающаго взгляда. Все фельдшеры были возлѣ, да прозекторы. Фельдшеры все пробовали лечить, прозекторы все указывали имъ по трупу, что они ошиблись — ну и я наконецъ схватилъ скалпель; можетъ рѣзнулъ слишкомъ глубоко съ непривычки.

Говорилъ я не какъ посторонній, не для упрека, говорилъ оттого, что сердце было полно, оттого что общее непониманье выводило изъ терпѣнія. Что я раньше отрезвѣлъ, это мнѣ ничего не облегчило. Это и изъ фельдшеровъ только самые плохіе самодовольно улыба-

ются глядя на умирающаго. „Вотъ молъ я сказалъ, что онъ къ вечеру протянетъ ноги, онъ и протянулъ“.

Такъ зачѣмъ же я вынесъ?

Въ 1856 году, лучшій изъ всей нѣмецкой эмиграціи человѣкъ, *Карлъ Шурцъ*, пріѣзжалъ изъ Висконсина въ Европу. Возвращаясь изъ Германіи, онъ говорилъ мнѣ, что его поразило нравственное запустѣніе материка. Я перевелъ ему, читая, мои *Западные Арабески*, онъ оборонялся отъ моихъ заключеній какъ отъ привидѣнія, въ которое человѣкъ не хочетъ вѣрить, но котораго боится. „Человѣкъ, сказалъ онъ мнѣ, который такъ понимаетъ современную Европу какъ вы, долженъ бросить ее.“

— Вы такъ и поступили, замѣтилъ я.

— Отчего же вы этого не дѣлаете?

— Очень просто: я могу вамъ сказать, такъ какъ одинъ честный нѣмецъ прежде меня отвѣчалъ въ гордомъ припадкѣ самобытности, „у меня въ Швабіи есть свой король,“—*у меня въ Россіи есть свой народъ!*

. . . . . .

Сходя съ вершинъ въ средніе слои эмиграціи, мы увидимъ, что большая часть была увлечена въ изгнаніе благороднымъ порывомъ и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, т. е. за ихъ музыку, не давая себѣ никогда яснаго отчета въ смыслѣ ихъ. Они ихъ любили горячо и вѣрили въ нихъ, какъ католики любили и вѣрили въ латинскія молитвы, не зная по латыни. La fraternité universelle comme base de la république universelle — это кончено и принято! Point de salariés, et la solidarité des peuples!—и, покраснѣйте, этого иному достаточно чтобъ идти на баррикаду, а ужъ коли французъ пойдетъ, онъ съ нея не побѣжитъ.

Pour moi, voyez vous, la répnblique n'est pas une forme

gouvernementale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera, говорилъ мнѣ одинъ участникъ всѣхъ возстаній со времени Ламарковскихъ похоронъ. Et lorsque la religion sera une république, — добавилъ я. Précisement! отвѣчалъ онъ, очень довольный тѣмъ, что я вывернулъ на изнанку его фразу.

Массы эмиграціи представляютъ своего рода вѣчно открытое угрызеніе совѣсти, передъ глазами вождей. Въ нихъ всѣ ихъ недостатки являются въ томъ преувеличенномъ и смѣшномъ видѣ, въ которомъ парижскіе моды являются гдѣ нибудь въ русскомъ уѣздномъ городѣ.

И во всемъ этомъ есть бездна наивнаго. За декламаціей на первомъ планѣ, la mise en scene.

Античные драпри и торжественная постановка Конвента такъ поразила французскій умъ своей грозной поэзіей, что напр. съ именемъ республики ея энтузіасты представляютъ не внутренную перемѣну, а праздникъ федерализаціи, барабанный бой и заунывные звуки tocsin. Отечество возвѣщается въ опасности, народъ встаетъ массой на его защиту, въ то время какъ около деревьевъ свободы празднуется торжество цивизма; дѣвушки въ бѣлыхъ платьяхъ пляшутъ подъ напѣвъ патріотическихъ гимновъ и Франція въ фригійской шапкѣ посылаетъ громадныя арміи для освобожденія народовъ и низверженія царей.

Главный баластъ всѣхъ эмиграцій, особенно французской, принадлежитъ буржуазіи; этимъ характеръ ихъ уже обозначенъ. Марка или штемпель мѣщанства также трудно стирается какъ печать дара духа святаго, которую прикладываютъ наши семинаріи своимъ ученикамъ. Собственно купцовъ, лавочниковъ, хозяевъ въ эмиграціи мало и тѣ попали въ нее какъ-то невзначай,

вытолкнутые большей частью изъ Франціи послѣ 2 Декабря, за то, что не догадались, что на нихъ лежитъ священная обязанность измѣнить конституцію. Ихъ тѣмъ больше жаль, что положеніе ихъ совершенно комическое, они потеряны въ красной обстановкѣ, которой дома не знали, а только боялись; въ силу національной слабости имъ хочется себя выдавать за гораздо большихъ радикаловъ чѣмъ они въ самомъ дѣлѣ; но не привыкнувъ къ революціонному jargon, они, къ ужасу новыхъ товарищей, безпрестанно впадаютъ въ Орлеанизмъ. Разумѣется они были бы всѣ рады возвратиться, еслибъ point d'honneur, единственная крѣпкая, нравственная сила современнаго француза, не воспрещалъ просить дозволенія.

Надъ ними стоящій слой составляетъ лейбъ-компанейскую роту эмиграціи: адвокаты, журналисты, литераторы и нѣсколько военныхъ.

Большая часть изъ нихъ искали въ революціи общественнаго положенія, но при быстромъ отливѣ, они очутились на англійской отмели. Другіе — безкорыстно увлеклись клубной жизнію и агитаціями, риторика довела ихъ до Лондона, сколько волею а вдвое того неволею. Въ ихъ числѣ много чистыхъ и благородныхъ людей, но мало способныхъ; они попали въ революцію по темпераменту, по отвагѣ человѣка, который бросается, слыша крикъ, въ рѣку, забывая объ ея глубинѣ и о своемъ неумѣніи плавать.

За этими дѣтьми, у которыхъ, по несчастію, посѣдѣли узкія бородки и нѣсколько очистился отъ волосъ остроконечный гальскій черепъ, стояли разныя кучки работниковъ, гораздо болѣе серьезныхъ, не столько связанные въ одно наружностію, сколько духомъ и общимъ интересомъ.

Ихъ революціонерами поставила сама судьба; нужда и развитіе сдѣлали ихъ практическими соціалистами; оттого-то ихъ дума реальнѣе, рѣшимость тверже. Эти люди вынесли много лишеній, много униженій, и притомъ молча, это даетъ большую крѣпость; они переплыли Ламаншъ не съ фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положеніе спасло ихъ отъ буржуазной suffisance, они знаютъ, что имъ нѣкогда было образоваться, они хотятъ учиться; въ то время, какъ буржуа не больше ихъ учился, но совершенно доволенъ знаніемъ.

Оскорбленные съ дѣтства, они ненавидятъ общественную неправду, которая ихъ столько давила. Тлѣтворное вліяніе городской жизни и всеобщей страсти стяжанія превратила у многихъ эту ненависть въ зависть; они, не давая себѣ отчета, тянутся въ буржуазію и терпѣть ее не могутъ, такъ какъ мы не можемъ терпѣть счастливаго соперника, страстно желая занять его мѣсто или отомстить ему его наслажденія.

Но ненависть ли или зависть, желаніе ли у однихъ блага, у другихъ мести, и тѣ и другіе будутъ страшны въ будущемъ западномъ движеніи. Они будутъ на первомъ планѣ. Передъ ихъ рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипѣвшимъ желаніемъ мести — что сдѣлаютъ консерваторы и риторы? Да что сдѣлаютъ и прочіе горожане, когда на зовъ работника поднимется саранча полей и деревень. Крестьянскія войны забыты; послѣдніе эмигранты изъ земледѣльцевъ относятся ко временамъ ревокаціи нантскаго эдикта; Вандея исчезла за пороховымъ дымомъ. Но мы обязаны 2 Декабрю тѣмъ, что своими глазами вновь увидѣли эмигрантовъ въ деревянныхъ башмакахъ.

Сельское населеніе на югѣ Франціи, отъ Пиреней до

Альпъ, приподняло голову послѣ coup d'état, какъ бы спрашивая: „не пришла ли наша пора?“ Возстаніе было задавлено въ самомъ началѣ массами солдатъ; за ними явились военно-судныя коммиссіи, стая гончихъ жандармовъ и полицейскихъ ищеекъ разсыпались по проселочнымъ дорогамъ и деревушкамъ. Очагъ крестьянина, его семья—эти святыни его, были обезчещены полиціею; она требовала показанія жены на мужа, сына на отца, и по двусмысленному слову родственника, по одному доносу garde champêtre вели въ тюрьму отцовъ семейства, сѣдыхъ какъ лунь стариковъ, юношей, женщинъ; судили ихъ кой-какъ, гуртомъ, и потомъ случайно кого выпустили, кого послали въ Ламбессу, въ Каену, другіе сами бѣжали въ Испанію, въ Савойю, за Варскій мостъ.*)

Крестьянъ я мало знаю. Видѣлъ я въ Лондонѣ нѣсколько человѣкъ, спасшихся *на лодкѣ* изъ Каены; одна дерзость, безуміе этого предпріятія лучше цѣлаго тома характеризуютъ ихъ. Они были почти всѣ съ Пиринеевъ. Совсѣмъ другая порода, широкоплечая, рослая съ крупными чертами, вовсе не шифонированными какъ у поджарыхъ французскихъ горожанъ, съ ихъ скудной кровью и бѣдной бородкой. Раззореніе ихъ домовъ и Каена воспитали ихъ. „Мы воротимся еще когда нибудь,“ говорилъ мнѣ сороколѣтній геркулесъ, большей

*) Я былъ въ Ниццѣ во время варскаго и драгиньянскаго возстанія. Двое крестьянъ, замѣшанныхъ въ дѣло, пробрались до рѣки Вара, составляющую границу. Тутъ они были настигнуты жандармомъ. Жандармъ выстрѣлилъ въ одного изъ нихъ и ранилъ въ ногу — тотъ свалился, въ это время другой пустился бѣжать. Жандармъ хотѣлъ раненаго привязать къ лошади — но боясь упустить того, онъ выстрѣлилъ въ голову a bout portant раненому; увѣренный, что убилъ его, онъ поскакалъ за другимъ. Изуродованный крестьянинъ остался живъ.

частью молчавшій (всѣ они были не очень разговорчивы)—„и посчитаемся!“ На другихъ эмигрантовъ, на ихъ сходки и рѣчи, они что-то смотрѣли чужими..... и недѣли черезъ три они пришли ко мнѣ проститься. „Не хотимъ даромъ жить, да и здѣсь скучно — ѣдемъ въ Испанію, въ Сантандръ, тамъ обѣщаютъ помѣстить насъ дровосѣками“. Взглянулъ я еще разъ на суровомужественный видъ и на мускулярную руку будущихъ дровосѣковъ — и подумалъ, хорошо если топоръ ихъ только будетъ рубить каштановые деревья и дубы.

Дикую, разъѣдающую силу, накипѣвшую въ груди городскаго работника я видѣлъ ближе.

ГЛАВА IV*)

ПОЛЬСКІЕ ВЫХОДЦЫ

Алоизій Бернацкій.—Станиславъ Ворцель.—Агитація 1854-56 года. Смерть Ворцеля.

Nuovi tormenti e nuovi tormentati!
Inferno.

Другія несчастія, другіе страдальцы ждутъ насъ. Мы живемъ на полѣ вчерашней битвы: кругомъ лазареты, раненые, плѣнные, умирающіе. Польская эмиграція, старшая всѣмъ, истощилась больше другихъ, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки, вопреки Дантону, взяли съ собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свѣту. Европа разступилась съ уваженіемъ передъ торжественнымъ шествіемъ отважныхъ бойцовъ. Народы выходили къ нимъ на по-

*) *Напечатано было въ Колоколѣ 1 Октября и 7 Ноября 1865 г. стр. 1681 и 1693.*

клонъ; цари сторонились и отворачивались, чтобы дать имъ пройти, не замѣчая ихъ. Европа проснулась на минуту отъ ихъ шаговъ, нашла слезы и участіе, нашла деньги и силу ихъ дать*). Печальный образъ польскаго выходца, этого рыцаря народной независимости, остался въ памяти народной. Двадцать лѣтъ на чужбинѣ вѣра его не ослабла, и на всякой роковой перекличкѣ, въ дни опасности и борьбы за волю, поляки первые отвѣчали: *здѣсь!* какъ сказалъ Ворцель или старшій Дарашъ временному правительству въ 1848 году.

Но правительство, въ которомъ сидѣлъ Ламартинъ, въ нихъ не нуждалось и вовсе объ нихъ не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтобы ее употребить неоткровеннымъ крикомъ возстанія и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазія (у которой Польша была капризомъ, какъ у англійской Италія) стала съ тѣхъ поръ дуться. Въ Парижѣ не говорили больше съ прежъ

*) Д-ръ П. Дарашъ разсказывалъ мнѣ случай, бывшій съ нимъ самимъ. Онъ студентомъ медицины участвовалъ въ возстаніи 1831. Послѣ взятія Варшавы отрядъ, въ которомъ онъ былъ, перешелъ границу и небольшими кучками сталъ пробираться во Францію. Вездѣ по городамъ и деревнямъ мущины и женщины выходили на дорогу звать изгнанниковъ къ себѣ, предлагая свои комнаты, часто свои кровати. Въ одномъ небольшомъ городкѣ хозяйка замѣтила, что у него изорванъ, помнится, кисетъ, и взяла его починить. На другой день на пути Дарашъ, ощупавъ въ кисетѣ что-то постороннее, нашелъ въ немъ тщательно зашитыми два золотыхъ. Дарашъ, у котораго не было ни гроша, бросился назадъ, чтобъ отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знаетъ, потомъ принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тутъ надобно вспомнить, что въ маленькомъ нѣмецкомъ городкѣ для небогатой женщины значатъ *два золотыхъ*; они составляли, вѣроятно, плодъ откладыванія въ Sparbücksе разныхъ крейцеровъ, пфенниговъ, *хорошихъ* и *дурныхъ* грошей въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ..... Прощай всѣ мечты объ шелковомъ платьи, о цвѣтной мантиліи, о яркой шали. Передъ такими подвигами я на колѣняхъ!

ней риторикой о Varsovie echevelée, и только въ народѣ оставалась, рядомъ со всякими бонапартовскими воспоминаніями, легенда о *Понятуски*, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовскій тонетъ, верхомъ въ своей chapska.

Съ 1849 начинается для польской эмиграціи самое удручительное время. Томно длится оно до крымской войны и смерти Николая. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провидѣнное Красинскимъ, казалось, наступало. Отрѣзанная отъ страны, эмиграція осталась на другомъ берегу и, какъ дерево безъ новыхъ соковъ, вяла, сохла, дѣлалась чужой для родины, не переставая быть чужой для странъ, въ которыхъ жила. Онѣ до нѣкоторой степени ей сочувствовали, но ихъ несчастіе продолжалось слишкомъ долго, а въ душѣ человѣка нѣтъ добраго чувства, которое бы не изнашивалось. Къ тому же вопросъ польскій прежде всего былъ вопросъ національный и только формально революціонный, т. е. по отношенію къ чужеземному игу.

Эмиграція смотрѣла столько же назадъ, сколько впередъ, она стремилась возстановлять — какъ будто въ прошедшемъ что-нибудь достойно возстановленія, кромѣ независимости—а одна независимость ничего не говоритъ: это понятіе отрицательное. Развѣ можно быть независимѣе Россіи? Въ сложную, туго выработывающуюся формулу будущаго общественнаго устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогатъ другимъ, въ справедливой надеждѣ на взаимность. Борьба за независимость всегда вызываетъ горячее сочувствіе, но она не можетъ стать *своимъ* дѣломъ для чужихъ. Только тѣ интересы принадлежатъ всѣмъ, которые по сущности своей *ненаціо-*

нальны, какъ, напр., интересы католицизма и протестантизма, революціи и реакціи, экономизма и соціализма.

. . . . . .

... Въ 1847 году познакомился я съ польской демократической централизаціей. Тогда она жила въ Версалѣ и, сколько мнѣ казалось, самый дѣятельный членъ ея былъ Высоцкій. Особеннаго сближенія не могло быть. Эмигрантамъ хотѣлось слышать отъ меня подтвержденіе своимъ желаніямъ, своимъ предположеніямъ, а не то, что я зналъ. Они желали имѣть свѣдѣнія о какомъ-то заговорѣ, подкапывающемъ все государственное зданіе въ Россіи, и спрашивали, участвуетъ ли въ немъ Ермоловъ... а я имъ могъ разсказывать о радикальномъ направленіи тогдашней молодежи, о пропагандѣ Грановскаго, объ огромномъ вліяніи Бѣлинскаго, о соціальномъ оттѣнкѣ въ обѣихъ партіяхъ, бившихся тогда въ литературѣ и въ обществѣ, у западниковъ и славянофиловъ. Имъ казалось это не важнымъ.

У нихъ было богатое прошедшее, у насъ большая надежда; у нихъ грудь была покрыта рубцами, у насъ только крѣпли для нихъ мышцы. Мы казались ополченцами передъ ними, ветеранами. Поляки—мистики, мы—реалисты. Ихъ влечетъ въ таинственный полусвѣтъ, въ которомъ стираются очертанія, носятся образы, въ которомъ можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могутъ жить въ этомъ полуснѣ, безъ анализа, безъ *холоднаго* изслѣдованія, безъ сосущаго сомнѣнія. Въ глубинѣ ихъ души, какъ человѣкъ въ военномъ станѣ, есть чуждый намъ отблескъ среднихъ вѣковъ и распятіе, передъ которымъ въ минуты тяжести и устали они могутъ молиться. Въ поэзіи Красинскаго Stabat Mater заглушаетъ

народные гимны и влечетъ васъ не къ торжеству жизни, а къ торжеству смерти, ко дню великаго суда... Мы или *глупѣе* вѣримъ, или *умнѣе* сомнѣваемся.

Мистическое направленіе развернулось во всей силѣ послѣ наполеоновской эпохи. Мицкевичъ, Товянскій, даже математикъ Вронскій –всѣ способствовали мессіанизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиковъ. Старики, получившіе образованіе еще въ XVIII вѣкѣ, были свободны отъ теософическихъ фантазій. Классическій закалъ, который давалъ людямъ великій вѣкъ, какъ дамаскъ, не стирался. Мнѣ еще удалось видѣть два-три типа старыхъ пановъ энциклопедистовъ.

Въ Парижѣ и притомъ въ Rue de la Chaussée d'Antin жилъ съ 1831 года графъ Алоизій Бернацкій, нунцій польской діэты, министръ финансовъ во время революціи, маршалъ дворянства какой-то губерніи, представлявшій свое сословіе императору Александру I, когда онъ либеральничалъ въ 1814 г.

Совершенно раззоренный конфискаціей, онъ поселился съ 1831 года въ Парижѣ и, притомъ, на той маленькой квартирѣ въ Chaussée d'Antin, которую я упомянулъ; оттуда-то онъ выходилъ всякое утро въ темно-коричневомъ сертукѣ на прогулку и чтеніе журналовъ и всякій вечеръ, въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами, къ кому нибудь провести вечеръ; тамъ, въ 1847 году, я познакомился съ нимъ. Домъ состарѣлся, хозяйка хотѣла его перестроить. Бернацкій написалъ къ ней письмо, которое до того тронуло француженку (что̀ очень не легкая вещь, когда замѣшаны финансы!), что она пустилась съ нимъ въ переговоры и просила его только на время переѣхать. Отдѣлавъ квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цѣну. Съ горестью уви-

дѣлъ онъ новую красивую лѣстницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбѣ.

Во всемъ умѣренный, безусловно чистый и благородный старикъ былъ поклонникъ Вашингтона и пріятель О'Конеля. Настоящій энциклопедистъ, онъ проповѣдывалъ эгоизмъ bien entendu и провелъ всю жизнь въ самоотверженіи и пожертвовалъ всѣмъ, отъ семьи и богатства до родины и общественнаго положенія, никогда не показывая особеннаго сожалѣнія и никогда не падая до ропота.

Французская полиція оставлялa его въ покоѣ и даже уважала его, зная, что онъ былъ министръ и *нунцій*; префектура пресерьезно думала, что нунцій польской діэты былъ что-то въ родѣ папскаго нунція. Въ эмиграціи это знали и потому товарищи и соотечественники безпрестанно посылали его объ нихъ хлопотать. Бернацкій шелъ безпрекословно и до тѣхъ поръ говорилъ правильные комплименты и надоѣдалъ, что префектура часто дѣлала уступки, чтобъ отвязаться отъ него. Послѣ совершеннаго покоренія февральской революціи тонъ перемѣнился; ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни сѣдой головой ничего нельзя было взять, а тутъ, какъ на зло, пріѣхала въ Парижъ жена польскаго генерала, участвовавшаго въ венгерской войнѣ, въ большой крайности. Бернацкій просилъ помощи для нея у префектуры; префектура, не смотря на громкій адресъ à son Excellence monsieur le Nonce, отказала на отрѣзъ. Старикъ отправился самъ къ Карлье; Карлье, чтобъ отвязаться отъ него и съ тѣмъ вмѣстѣ унизить, замѣтилъ ему, что пособія только даютъ выходцамъ 1831 года. „Вотъ, прибавилъ онъ, если вы принимаете такое участіе въ этой дамѣ, подайте просьбу, чтобъ вамъ по бѣдности назначили пособіе; мы вамъ поло-

жимъ франковъ двадцать въ мѣсяцъ, а вы ихъ отдавайте кому хотите.“

Карлье былъ пойманъ. Бернацкій самымъ простодушнымъ образомъ принялъ предложеніе префекта и тотчасъ согласился, разсыпаясь въ благодарности. Съ тѣхъ поръ всякій мѣсяцъ старикъ являлся въ префектуру, ждалъ въ передней часъ-другой, получалъ двадцать франковъ и относилъ ихъ къ вдовѣ.

Бернацкому было далеко за семдесятъ лѣтъ, но онъ удивительно сохранился, любилъ обѣдать съ друзьями, посидѣть вечеромъ часовъ до двухъ, иногда выпить бокалъ-другой вина. Разъ какъ-то поздно, часа въ три, возвращались мы съ нимъ домой; дорога наша шла по улицѣ Лепелетье. Опера горѣла въ огнѣ; пьеро и дебардеры, едва прикрытые шалями, драгуны и полицейскіе толпились въ сѣняхъ. Шутя и увѣренный, что онъ откажется, я сказалъ Бернацкому: Quelle chance, не зайти ли?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ онъ, я лѣтъ пятнадцать не видалъ маскарада.

— Бернацкій, сказалъ я ему, шутя и входя въ сѣни, когда же вы начнете старѣть?

— Un homme comme il faut, отвѣчалъ онъ, смѣясь, acquiert des années, mais ne vieillit jamais!

Онъ выдержалъ характеръ до конца и, какъ благовоспитанный человѣкъ, разстался съ жизнью тихо и въ хорошихъ отношеніяхъ; утромъ ему нездоровилось, къ вечеру онъ умеръ.

Во время смерти Бернацкаго я былъ уже въ Лондонѣ. Тамъ вскорѣ послѣ моего пріѣзда сблизился я съ человѣкомъ, котораго память мнѣ дорога и котораго гробъ я помогъ снести на Гайгетское кладбище—я говорю о Ворцелѣ. Изъ всѣхъ поляковъ, съ которыми я

сблизился тогда, онъ былъ наиболѣе симпатичный и можетъ наименѣе исключительный въ своей нелюбви къ намъ. Онъ не то чтобъ любилъ русскихъ, но онъ понималъ вещи гуманно, и потому далекъ былъ отъ гуловыхъ проклятій и ограниченной ненависти. Съ нимъ, съ первымъ говорилъ я объ устройствѣ русской типографіи. Выслушавъ меня, больной встрепенулся, схватилъ бумагу и карандашъ, началъ дѣлать расчеты, вычислять сколько нужно буквъ и пр. Онъ сдѣлалъ главные заказы, онъ познакомилъ меня съ Чернецкимъ, съ которымъ мы столько работали потомъ. — „Боже мой, боже мой, говорилъ онъ, держа въ рукѣ первый корректурный листъ, Вольная Русская Типографія въ Лондонѣ... сколько дурныхъ воспоминаній стираетъ съ моей души этотъ клочекъ бумаги замаранный голландской сажей!“

— Намъ надобно идти вмѣстѣ, повторялъ онъ часто потомъ, намъ одна дорога и одно дѣло... и онъ клалъ исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщинѣ 29 Ноября 1853 года я сказалъ рѣчь въ Гановеръ-Румѣ, Ворцель предсѣдательствовалъ. Когда я кончилъ, Ворцель, при громѣ рукоплесканій, обнялъ меня и со слезами на глазахъ поцаловалъ. „Ворцель и вы, замѣтилъ мнѣ выходя одинъ итальянецъ (графъ Нани), вы меня поразили давича на платформѣ, мнѣ казалось, что этотъ увядающій, благородный, покрытый сѣдинами старецъ, обнимающій вашу здоровую плотную фигуру — представляли типически Польшу и Россію“.

— Добавьте только, прибавилъ я ему, Ворцель, подавая мнѣ руку и заключая въ свои объятія, *именемъ Польши прощалъ Россію.*

Дѣйствительно мы могли идти вмѣстѣ—это не удалось.

Ворцель былъ *не одинъ*..... Но прежде объ немъ одномъ.

Когда родился Ворцель, его отецъ, одинъ изъ богатыхъ польскихъ аристократовъ въ Литвѣ, родственникъ Эстергази, Потоцкимъ и не знаю кому, выписалъ изъ пяти помѣстій старостъ и съ ними молодыхъ женщинъ чтобъ они присутствовали при крещеніи графа Станислава, и помнили бы до конца жизни объ панскомъ угощеньи по поводу такой радости. Это было въ 1800 году. Графъ далъ своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитаніе; Ворцель былъ математикъ, лингвистъ, знакомый съ пятью, шестью литературами, съ раннихъ лѣтъ пріобрѣлъ онъ огромную ерудицію и притомъ былъ свѣтскимъ человѣкомъ и принадлежалъ къ высшему польскому обществу, въ одну изъ самыхъ блестяшихъ эпохъ его заката, между 1815 1830 годами; Ворцель рано женился и только что началъ „практическую“ жизнь, какъ вспыхнуло возстаніе 1831 года. Ворцель бросилъ все и присталъ — душей и тѣломъ къ движенію. Возстаніе было подавлено, Варшава взята. Графъ Станиславъ перешелъ какъ и другіе границу, оставляя за собой семью и состояніе.

Жена его не только не поѣхала за нимъ, но прервала съ нимъ всѣ сношенія и за то получила обратно какую-то часть имѣнія. У нихъ были двое дѣтей, сынъ и дочь, какъ она ихъ воспитала, мы увидимъ, на первый случай она ихъ выучила забыть отца.

Ворцель между тѣмъ пробрался черезъ Австрію въ Парижъ, и тутъ сразу очутился въ вѣчной ссылкѣ и безъ малѣйшихъ средствъ. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Онъ, какъ Бернацкій, свелъ свою жизнь на какой-то монашескій постъ и ревностно началъ свое апостольство, которое прекратилось черезъ

двадцать пять лѣтъ съ его послѣднимъ дыханіемъ, въ сыромъ углу нижняго этажа убогой квартиры, въ темной Hunter Street.

Реорганизовать польскую партію движенія, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграціонныя силы, приготовить новое возстаніе и для этого проповѣдывать съ утра до ночи, для этого жить—такова была тема всей жизни Ворцеля, отъ которой онъ не отступалъ ни на шагъ, и которой подчинилъ все. Съ этой цѣлью онъ сблизился со всѣми людьми движенія во Франціи, отъ Годефруа Кавеньяка до Ледрю Роллена, съ этой цѣлью былъ массономъ, былъ въ близкихъ сношеніяхъ съ сторонниками Мацини и съ самимъ Мацини впослѣдствіи. Ворцель твердо и открыто поставилъ революціонное знамя Польши противъ партіи Чарторижскихъ. Онъ былъ увѣренъ, что аристократія погубила возстаніе, онъ въ старыхъ панахъ видѣлъ враговъ своему дѣлу и собиралъ новую Польшу, чисто демократическую.

Ворцель былъ правъ.

Аристократическая Польша искренно преданная своему дѣлу шла во многомъ въ разрѣзъ съ стремленіями нашего времени; передъ ея глазами постоянно носился образъ прежней Польши, не новой, а возстановленной, ея идеалъ былъ столько же въ воспоминаніи, сколько въ упованіяхъ. Польшѣ достаточно было и одного католическаго ядра на ногахъ, чтобъ отставать — рыцарскіе доспѣхи совсѣмъ остановили бы ее. Соединяясь съ Мацинп, Ворцель хотѣлъ привѣнчать польское дѣло къ обще-европейскому, республиканскому и демократическому движенію. Ясно, что онъ долженъ былъ искать почвы въ незнатной шляхтѣ, въ городскихъ жителяхъ и въ работникахъ. Начаться возстаніе могло только въ этой средѣ. Аристократія пристала бы къ движенію,

крестьянъ можно было бы увлечь, иниціативы они никогда бы сами не взяли.

Можно обвинять Ворцеля за то, что онъ вступилъ въ ту же колею, въ которой уже вязла и грузла западная революція, что онъ въ этомъ пути видѣлъ единственный путь спасенія; но однажды принявъ его, онъ былъ послѣдователенъ. Обстоятельства его вполнѣ оправдали. Гдѣ же въ Польшѣ была дѣйствительно революціонная среда, какъ не въ томъ слоѣ, къ которому постоянно обращался Ворцель, и который сложился выросъ и окрѣпъ между 1831 годомъ и шестидесятыми годами?

Какъ бы мы розно ни смотрѣли на революцію и ея средства, но нельзя отвергнуть, что все пріобрѣтенное революціей—пріобрѣтено среднимъ слоемъ общества и городскими работниками. Что сдѣлалъ бы Маццини, что Гарибальди безъ *городскаго* патріотизма, а вѣдь польскій вопросъ былъ вопросъ чисто патріотическій, у самаго Ворцеля интересъ національной независимости все же былъ ближе къ сердцу, чѣмъ соціальный переворотъ.

Года за полтора до Февральской революціи по дремавшей Европѣ пробѣжала какая-то дрожь пробужденія. Краковское дѣло, процесъ Мирославскаго, потомъ война Зондербунда и Итальянское risorgimento. Австрія отвѣчала возстанію имперской пугачевщиной, Николай подарилъ ей непринадлежавшій ему Краковъ — но тишина не возвратилась. Людвигъ Филиппъ палъ въ Февралѣ 1848 года, полякъ возилъ его тронъ на сожженіе. Ворцель во главѣ польской демократіи явился напомнить временному правительству о Польшѣ. Ламартинъ принялъ его холодной риторикой. Республика была больше миръ чѣмъ имперія.

Былъ мигъ, въ который можно было надѣяться, этотъ мигъ пропустила Польша, пропустила вся западная Европа и Паскевичъ донесъ Николаю, *что Венгрія у его ногъ.*

Съ паденіемъ Венгріи ждать было нечего и Ворцель, вынужденный оставить Парижъ, переселился въ Лондонъ.

Въ Лондонѣ я его засталъ въ концѣ 1852 членомъ Европейскаго комитета.*) Онъ стучался во всѣ двери, писалъ письма, статьи въ журналахъ, онъ работалъ и надѣялся, убѣждалъ и просилъ—а такъ какъ при всемъ остальномъ надо было ѣсть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черченія и даже французскаго языка; кашляя и задыхаясь отъ астма, ходилъ онъ съ конца Лондона на другой, чтобъ заработать два шиллинга, много полкроны. И тутъ онъ еще долю выработаннаго отдавалъ своимъ товарищамъ.

Духъ его не унывалъ, но тѣло отстало. Лондонскій воздухъ сырой, копченый, не согрѣтый солнцемъ, былъ не по слабой груди. Ворцель таялъ, но держался. Такъ онъ дожилъ до крымской войны, ее онъ не могъ, я готовъ сказать не долженъ былъ пережить. „Если Польша *теперь* ничего не сдѣлаетъ, все пропало, на долго, очень на долго, если не на всегда и мнѣ лучше закрыть глаза,“ говорилъ Ворцель мнѣ, отправляясь по Англіи съ Кошутомъ. Во всѣхъ главныхъ городахъ собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встрѣчали громомъ рукоплесканій, дѣлали небольшіе денежные сборы *и только.* Парламентъ и правительство очень хорошо знаютъ, когда народная волна просто шумитъ и когда она въ самомъ дѣлѣ напираетъ. Твердо стоявъ-

*) Маццини, Кошутъ. Ледрю-Ролленъ, Арнольдъ Руге. Братіано и Ворцель.

шее министерство, предложившее conspiracy bill, пало *въ ожиданіи* народнаго схода въ Гайдъ-паркѣ. Въ митингахъ собираемыхъ Кошутомъ и Ворцелемъ для того, чтобъ вызвать со стороны парламента и правительства признаніе польскихъ правъ, заявленіе симпатіи къ польскому дѣлу, ничего не было опредѣленнаго, не было силы. Страшный отвѣтъ консерваторовъ былъ неотразимъ: „въ Польшѣ все покойно". Правительству приходилось не признать совершившійся фактъ, а вызвать его, взять революціонную иниціативу, разбудить Польшу. Такъ далеко въ Англіи общественное мнѣніе не идетъ. Къ тому же in petto всѣ желали окончанія войны только что начавшейся, дорогой и въ сущности безполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался въ Лондонъ. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ не понять неудачу, онъ старился наглазно, былъ угрюмъ и раздражителенъ и съ той лихорадочной дѣятельностью, съ которой умирающіе принимаются тревожно за всякое леченіе, съ зловѣщей боязнію въ груди и съ упорной надеждой, ѣздилъ онъ опять, въ Бирмингамъ или Ливерпуль, съ трибуны поднимать свой плачъ о Польшѣ. Я смотрѣлъ на него съ глубокой горестью. Но какъ же онъ могъ думать, что Англія подниметъ Польшу, что Франція Наполеона вызоветъ революцію? Какъ онъ могъ надѣяться на ту Европу, которая допустила Россію въ Венгрію, французовъ въ Римъ, развѣ самое присутствіе Маццини и Кошута въ Лондонѣ не громко ему напоминало о ея паденіи?

... Около того-же времени давно накипавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части эмиграціи, подняло голосъ. Ворцель обомлѣлъ—этого уда-

ра онъ не ждалъ, а онъ пришелъ совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это, но привыкнувъ къ своему хору, былъ подъ его вліяніемъ. Онъ воображалъ, что онъ ведетъ, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направлялъ его куда хотѣлъ. Только Ворцель подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно — хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрязгъ и мелочныхъ расчетовъ. Преждевременный старикъ задыхался въ этой средѣ отъ духовнаго астма, столько же какъ и отъ физическаго.

Люди эти не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ. . . . . .

. . . . . .

— Вы вѣрно слышали, спросилъ меня Ворцель, что противъ насъ готовится обвинительный актъ?

— Слышалъ.

— Вотъ что я заслужилъ подъ старость... вотъ до чего дожилъ. . . и онъ грустно качалъ сѣдой головой своей.

— Врядъ правы-ли вы, Ворцель? Васъ такъ привыкли любить и уважать, что если этому дѣлу не давали хода, то это только изъ боязни васъ огорчить. Вы знаете, зубъ не на васъ, пусть ваши товарищи идутъ своей дорогой.

— Никогда, никогда, мы все дѣлали вмѣстѣ, на насъ лежитъ общая отвѣтственность.

— Вы ихъ не спасете...

— А что вы говорили полчаса тому назадъ по поводу того, что Россель предалъ своихъ товарищей?

Это было вечеромъ. Я стоялъ поодаль отъ камина, Ворцель сидѣлъ у самаго огня, обернувшись лицемъ къ камину; его болѣзненное лицо, на которомъ дрожалъ красный отсвѣтъ, показалось мнѣ еще больше истомленнымъ и страдальческимъ — слеза, старая слеза, скатывалась по исхудалой щекѣ его... Прошли нѣсколько минутъ невыносимо тяжелаго молчанія... Онъ всталъ, я проводилъ его въ его спальню, большія деревья шумѣли въ саду, Ворцель отворилъ окно и сказалъ: „Я здѣсь съ моей несчастной грудью прожилъ бы вдвое.“

Я схватилъ его за обѣ руки.—„Ворцель, говорилъ я ему, останьтесь у меня, я вамъ дамъ еще комнату, вамъ никто мѣшать не будетъ, дѣлайте что хотите, завтракайте одни, обѣдайте одни, если хотите, вы отдохнете мѣсяца два... васъ не будутъ безпрерывно тормошить, вы освѣжитесь, я васъ прошу какъ друга, какъ вашъ меньшой братъ!“

— Благодарю, благодарю васъ отъ всего сердца, я сейчасъ бы принялъ ваше предложеніе, но при теперешнихъ обстоятельствахъ это просто невозможно... Съ одной стороны война, съ другой наши это примутъ за то, что я ихъ оставилъ. Нѣтъ, каждый долженъ нести крестъ свой до конца.

— Ну такъ усните по крайней мѣрѣ спокойно, сказалъ я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

... Война оканчивалась, умеръ Николай, началась новая Россія, дожили мы до Парижскаго мира и до того, что *Полярная Звѣзда* и все напечатанное нами въ Лондонѣ покупалось *на корню*. Мы стали издавать *Колоколъ*, и онъ пошелъ... Мы съ Ворцелемъ видались рѣдко, онъ радовался нашимъ успѣхамъ, съ той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, съ которой мать,

потерявшая сына, слѣдитъ за развитіемъ чужаго отрока... Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелемъ въ его oggi o mai, наступало и онъ гаснулъ...

За три дня до его кончины Чернецкій прислалъ за мною. Ворцель меня спрашивалъ — онъ былъ очень плохъ, ждали его кончины. Когда я пріѣхалъ къ нему, онъ былъ въ забытьи близкомъ къ обморку, блѣдный, восковой, лежалъ онъ на диванѣ... щеки его совершенно ввалились, такіе припадки съ нимъ повторялись въ послѣдніе дни, онъ привыкалъ быть мертвымъ. Черезъ четверть часа Ворцель сталъ приходить въ себя, слабо говорить, потомъ узналъ меня, привсталъ и легъ полусидя на диванѣ. Читали вы газеты? спросилъ онъ меня. — Читалъ. — Разскажите какъ идетъ Невшательскій вопросъ, я не могу ничего читать. Я ему разсказалъ, онъ все слышалъ и все понялъ.

— Ахъ какъ спать хочется, оставьте меня теперь, я не усну при васъ, а мнѣ отъ сна будетъ легче.

На другой день ему было получше. Ему хотѣлось мнѣ что-то сказать... онъ раза два начиналъ и останавливался.. и только оставшись со мной наединѣ, умирающій подозвалъ меня къ себѣ и слабо взявъ меня за руку, сказалъ: „какъ вы были правы... вы не знаете, какъ вы были правы... у меня лежало это на душѣ вамъ сказать.

— Не будемъ больше говорить объ нихъ.

— Идите вашей дорогой... онъ поднялъ на меня свой умирающій, но свѣтлый, лучезарный взглядъ. Больше онъ говорить не могъ. Я поцѣловалъ его въ губы — и хорошо сдѣлалъ, мы простились на долго. Вечеромъ онъ всталъ, вышелъ въ другую комнату, хлебнулъ теплой воды съ джиномъ у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религіозно уважавшей въ Ворцелѣ

какое-то высшее явленіе, взошелъ опять къ себѣ и уснулъ. На другой день, утромъ, Жабицкій и хозяйка спросили не надобно ли ему чего больше. — Онъ просилъ сдѣлать огонь, и дать ему еще уснуть. Огонь сдѣлали. Ворцель не просыпался.

Я уже не засталъ его. Худое, худое лице его и тѣло было покрыто бѣлой простыней, я посмотрѣлъ на него, простился и пошелъ за работникомъ скульптора, чтобъ снять маску.

Его послѣднее свиданіе, его величественную агонію я разсказалъ въ другомъ мѣстѣ.*) Прибавлю къ ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорилъ о своей семьѣ. Разъ какъ-то онъ искалъ для меня какое-то письмо, порывшись на столѣ, онъ открылъ ящикъ. Тамъ лежала фотографія какого-то сытаго, молодаго человѣка съ офицерскими усами. „Навѣрное полякъ и патріотъ?“ сказалъ я больше шутя, чѣмъ спрашивая.

— Это—сказалъ Ворцель глядя въ сторону и поспѣшно взявъ у меня изъ рукъ портретъ—это... мой сынъ.

Я узналъ впослѣдствіи, что онъ былъ русскимъ чиновникомъ въ Варшавѣ.

Дочь его вышла за мужъ за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины онъ диктовалъ Мацціни свое завѣщаніе — совѣтъ Польшѣ, поклонъ ей, привѣтъ друзьямъ... „Теперь все,“ сказалъ умирающій. Мацціни не покидалъ пера. „Подумайте, говорилъ онъ, не хотите ли вы въ эту минуту“. Ворцель молчалъ. „Нѣтъ ли еще лицъ, которымъ бы вы имѣли что нибудь сказать?“ Ворцель понялъ, лице его подернулось тучей и онъ отвѣтилъ:

*) Сборникъ Типогр. Стр. 163, 164.

— *Мнѣ имъ нечего сказать.*

Я не знаю проклятія, которое ужаснѣе звучало бы и тяжелѣй бы ложилось этихъ простыхъ словъ.

ON LIBERTY

Много я принялъ горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, безъ страха и сожалѣнія, высказываю это. Съ того времени, какъ я печаталъ въ *Современникѣ* мои *письма изъ* Avenue Marigny, часть друзей и недруговъ показывали знаки нетерпѣнія, негодованія, возражали... а тутъ какъ на зло, съ каждымъ событіемъ становилось на Западѣ темнѣе, угарнѣе, и ни умныя статьи Парадоля, ни клерикально - либеральныя книженки Монталамбера, ни замѣна прусскаго короля прусскимъ принцемъ, не могли отвести глазъ искавшихъ истины. У насъ не хотятъ этого знать, и натурально, сердятся на нескромнаго обличителя.

Европа намъ нужна какъ идеалъ, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ, если она не такая, ее надобно выдумать. Развѣ наивные вольнодумы XVIII вѣка, и въ ихъ числѣ Вольтеръ и Робеспьеръ не говорили, что если и нѣтъ безсмертія души, то его надобно проповѣдывать для того, чтобъ держать людей въ страхѣ и добродѣли. Или развѣ мы не видимъ въ исторіи, какъ иногда вельможи скрывали тяжкую болѣзнь или скоропостижную смерть царя и управляли именемъ трупа, или сумашедшаго, какъ это недавно было въ Пруссіи.

Ложь ко спасенію дѣло можетъ хорошее, но не всѣ способны къ ней.

Я не унылъ, впрочемъ, отъ порицаній и утѣшалъ се-

бя тѣмъ, что и здѣсь мною высказанныя мысли принимались не лучше, да еще тѣмъ, что онѣ объективно истинны, т. е. независимы отъ личныхъ мнѣній и даже добрыхъ цѣлей воспитанія, исправленія нравовъ и т. д. Все само по себѣ истинное рано или поздно взойдетъ и обличится, „Kommt an die Sonnen," какъ говоритъ Гёте.

Одна изъ причинъ неудовольствія, собственно противъ *моихъ* мнѣній, антропологически понятна, сверхъ докучнаго безпокойства, приносимаго разрушеніемъ оконченныхъ мнѣній и окаменѣлыхъ идеаловъ, на меня досадовали за то, что я *свой человѣкъ*, съ чего же въ самомъ дѣлѣ вдругъ вздумалъ судить и рядить, да еще старшихъ, и какихъ?

Въ нашемъ новомъ поколѣніи есть странный кряжъ, въ немъ спаяны, какъ въ маятникахъ, самые противоположные элементы, съ одной стороны, оно толкается какимъ-то жестянымъ, костлявымъ, неукладчивымъ самолюбіемъ, заносчивой самонадѣянностью, щепетильной обидчивостью; съ другой, въ немъ поражаетъ обезкураженная подавленность, недовѣріе къ Россіи, преждевременное старчество. Это естественный разультатъ тридцатилѣтняго рабства; въ немъ въ иной формѣ сохранилась наглость начальника, дерзость барина, съ подавленностью подчиненнаго, съ отчаяніемъ ревизской души, отпускаемой въ услуженіе.

Пока меня побранивали наши начальники литературныхъ отдѣленій, время шло себѣ да шло, и наконецъ прошло цѣлыхъ десять лѣтъ. Многое изъ того, что было ново въ 1849, стало въ 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасброднымъ парадоксомъ, перешло въ общественное мнѣніе и много *вѣчныхъ и незыблемыхъ* истинъ прошли съ тогдашнимъ покроемъ платья.

Серьезные умы въ Европѣ стали смотрѣть серьезно. Ихъ очень не много, это только подтверждаетъ мое мнѣніе о Западѣ, но они далеко идутъ, и я очень помню, какъ Т. Карлейль и добродушный Олсопъ (тотъ, который былъ замѣшанъ въ дѣло Орсини) улыбались надъ остатками моей вѣры въ англійскія формы. Но вотъ является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. Pereant qui ante nos nostra dixerunt и спасибо тѣмъ, которые послѣ насъ своимъ авторитетомъ утверждаютъ сказанное нами и своимъ талантомъ ясно и мощно передаютъ слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудономъ, ни даже Пьеромъ Леру или другимъ соціалистомъ-изгнанникомъ, раздраженнымъ,—совсѣмъ нѣтъ, она писана однимъ изъ извѣстнѣйшихъ политическихъ экономовъ, однимъ изъ недавнихъ членовъ индійскаго борда, которому три мѣсяца тому назадъ лордъ Стенли предлагалъ мѣсто въ правительствѣ. Человѣкъ этотъ пользуется огромнымъ, заслуженнымъ авторитетомъ, въ Англіи его нехотя читаютъ тори и со злобой виги, его читаютъ на материкѣ тѣ нѣсколько человѣкъ (кромѣ спеціалистовъ), которые вообще читаютъ что нибудь, кромѣ газетъ и памфлетовъ.

Человѣкъ этотъ Джонъ Стюартъ Милль.

Мѣсяцъ тому назадъ онъ издалъ странную книгу въ защиту *свободы мысли, рѣчи и лица*, я говорю странную, потому что неужели не странно, что тамъ, гдѣ за два вѣка Мильтонъ писалъ о томъ же, явилась необходимость снова поднять рѣчь on Liberty. А вѣдь такіе люди, какъ С. Милль, не могутъ писать изъ удовольствія; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитов-

ской. Онъ потому заговорилъ, что зло стало хуже. Мильтонъ защищалъ свободу рѣчи противъ нападеній власти, противъ насилія, и все энергическое и благородное было съ нимъ. У Стюарта Милля врагъ совсѣмъ иной, онъ отстаиваетъ свободу не противъ образованнаго правительства, а противъ *общества,* противъ *нравовъ*, противъ мертвящей силы равнодушія, противъ мелкой нетерпимости, противъ „посредственности.“

Это не негодующій старикъ царедворецъ Екатерины, который брюзжитъ, обойденной кавалеріей, надъ юнымъ поколѣніемъ и колетъ глаза зимнему дворцу грановитой палатой. Нѣтъ, это человѣкъ полный силъ, давно живущій въ государственныхъ дѣлахъ и глубоко продуманныхъ теоріяхъ, привыкнувшій спокойно смотрѣть на міръ, и какъ англичанинъ, и какъ мыслитель, и онъ-то наконецъ не вытерпѣлъ и, подвергаясь гнѣву невскихъ регистраторовъ цивилизаціи и москворѣцкихъ крыжниковъ западнаго образованія, закричалъ: „Мы тонемъ!“

Постоянное пониженіе личностей, вкуса, тона, пустота интересовъ, отсутствіе энергіи ужаснули его, онъ присматривается и видитъ какъ ясно все мельчаетъ, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй „добропорядочнѣе,“ но пошлѣе. Онъ видитъ въ Англіи (то, что Токвиль замѣтилъ во Франціи), что вырабатываются общіе стадные типы и, серьезно качая головой, говоритъ своимъ современникамъ: Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете, посмотрите — *душа убываетъ.*

Но зачѣмъ же будитъ онъ спящихъ, какой путь, какой выходъ онъ придумалъ для нихъ? Онъ, какъ нѣкогда Іоаннъ Предтеча, грозитъ будущимъ и зоветъ на покаяніе; врядъ второй разъ подвинешь ли этимъ от-

рицательнымъ рычагомъ людей. Стюартъ Милль стыдитъ своихъ современниковъ, какъ стыдилъ своихъ Тацитъ, онъ ихъ этимъ не остановитъ, какъ не остановилъ своихъ Тацитъ. Не только нѣсколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу*, но, можетъ, никакой плотиной въ мірѣ.

„Люди инаго закала, говоритъ онъ, сдѣлали изъ Англіи то, что *она была*, и только люди другаго закала могутъ ее предупредить отъ *паденія*.“

Но это пониженіе личностей, этотъ недостатокъ закала, только патологическій фактъ и признать его очень важный шагъ для выхода, но не выходъ. Стюартъ Милль коритъ больнаго, указывая ему на здоровыхъ праотцевъ; странное леченіе и едва ли великодушное.

Ну, что же начать теперь корить ящерицу допотопнымъ ихтіосавромъ, виновата ли она, что она маленькая, а тотъ большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности, окружающей его среды, закричалъ со страстей и съ горя, какъ богатыри въ нашихъ сказкахъ: „Есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?“

Зачѣмъ же онъ его звалъ? Затѣмъ, чтобъ сказать ему, что онъ выродившійся потомокъ сильныхъ праотцевъ и слѣдственно долженъ сдѣлаться такимъ же, какъ они.

Для чего? — Молчаніе.

И Робертъ Оуенъ звалъ людей лѣтъ семдесять сряду и тоже безъ всякой пользы; но онъ звалъ ихъ *на что нибудь*. Это *что нибудь* была ли утопія, фантазія или истина, намъ теперь до этого дѣла нѣтъ; намъ важно то, что онъ звалъ съ цѣлью; а С. Милль, подавляя современниковъ суровыми, рембрантовскими тѣ-

нями временъ Кромвеля и пуританъ, хочетъ, чтобъ вѣчно обвѣшивающіе, вѣчно обмѣривающіе лавочники сдѣлались изъ какой-то поэтической потребности, изъ какой-то душевной гимнастики, героями.

Мы можемъ также вызвать монументальныя, грозныя личности французскаго Конвента и поставить ихъ рядомъ съ бывшими, будущими и настоящими французскими шпіонами и épiciers, и начать рѣчь въ родѣ Гамлета:

Look here, upon this picture and on this...
Hyperion's curls, the front of Love himself;
An eye like Mars...
Look you now, what follows,
Here is your husband...

Это будетъ очень справедливо и еще больше обидно, но неужели отъ этого кто нибудь оставитъ свой пошлый, но удобный бытъ, и все это для того, чтобъ величаво скучать, какъ Кромвель, или стоически нести голову на плаху, какъ Дантонъ.

Тѣмъ было легко такъ поступать, потому что они были подъ господствомъ страстнаго убѣжденія, d'une idée fixe.

Такая idée fixe былъ католицизмъ въ свое время, потомъ протестантизмъ; наука въ эпоху возрожденія, революція въ XVIII столѣтіи.

Гдѣ же эта святая мономанія, этотъ magnum ignotum, этотъ сфинксовской вопросъ нашей цивилизаціи, гдѣ та могущая мысль, та страстная вѣра, то горячее упованіе, которое можетъ закалить тѣло, какъ сталь, довести душу до того судорожнаго ожесточенія, которое не чувствуетъ ни боли, ни лишеній, и твердымъ шагомъ идетъ на плаху, на костеръ?

Посмотрите кругомъ, что въ состояніи одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религія ли

папы съ его незапятнаннымъ рожденіемъ богородицы, или религія безъ папы, съ ея догматомъ воздержанія отъ пива въ субботній день? ариѳметическій ли пантеизмъ всеобщей подачи голосовъ или идолопоклонство монархіи, суевѣріе ли въ республику или суевѣріе въ парламентскія реформы?... Нѣтъ и нѣтъ; все это блѣднѣетъ, старѣетъ и укладывается, какъ нѣкогда боги Олимпа укладывались, когда они съѣзжали съ неба, вытѣсняемые новыми соперниками, подымавшимися съ Голгоѳы.

Только на бѣду ихъ нѣтъ у нашихъ почернѣвшихъ кумировъ, по крайней мѣрѣ С. Милль не указываетъ ихъ.

Знаетъ онъ ихъ или нѣтъ, это сказать трудно.

Съ одной стороны англійскому генію противно отвлеченное обобщеніе и смѣлая логическая послѣдовательность, онъ своимъ скептицизмомъ чуетъ, что логическая крайность, какъ законы чистой математики, неприлагаемы безъ ввода жизненныхъ условій. Съ другой стороны, онъ привыкъ физически и нравственно застегивать пальто на всѣ пуговицы и поднимать воротникъ, это его предостерегаетъ отъ сыраго вѣтра и отъ суровой нетерпимости. Въ той же книгѣ С. Милля мы видимъ примѣръ этому. Двумя - тремя ударами необычайной ловкости онъ опрокинулъ немного падшую на ногу христіанскую мораль, и во во всей книгѣ ничего не сказалъ о христіанствѣ*)

*) „Христіанская нравственность имѣетъ весь характеръ реакціи, это большей частью одинъ протестъ противъ язычества. Ея идеалъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный, страдательный, чѣмъ дѣятельный. Она больше проповѣдуетъ воздержаніе отъ зла, чѣмъ дѣланіе добра. Ужасъ отъ чувственности доведенъ до аскетизма. Награды на небѣ и наказанія въ аду придаютъ самымъ лучшимъ поступкамъ чисто эгоистическій характеръ, и въ этомъ отно-

С. Милль, вмѣсто всякаго выхода, вдругъ замѣчаетъ: „Въ развитіи народовъ, кажется, есть предѣлъ, послѣ котораго онъ останавливается и *дѣлается Китаемъ.*“

Когда же это бываетъ?

Тогда, отвѣчаетъ онъ, когда личности начинаютъ стираться, пропадать въ массахъ, когда все подчиняется принятымъ обычаямъ, когда понятіе добра и зла смѣшиваетъ съ понятіемъ сообразности или несообразности съ принятымъ. Гнетъ обычая останавливаетъ развитіе, развитіе собственно и состоитъ изъ стремленія къ *лучшему* отъ обычнаго. Вся исторія состоитъ изъ этой борьбы, и если большая часть человѣчества не имѣетъ исторіи, то это потому, что жизнь ихъ совершенно подчинена обычаю.

Теперь слѣдуетъ взглянуть, какъ нашъ авторъ разсматриваетъ современное состояніе образованнаго міра. Онъ говоритъ, что, не смотря на умственное превосходство нашего времени, все идетъ къ *посредственности*, лица теряются въ толпѣ. Эта collective mediocrity ненавидитъ все рѣзкое, самобытное, выступающее; она проводитъ надъ всѣмъ общій уровень. А такъ какъ въ среднемъ разрѣзѣ у людей не много ума и не много желаній, то сборная посредственность, какъ топкое болото, понимаетъ, съ одной стороны, все желающее вынырнуть, а съ другой, предупреждая безпорядокъ эксцентричныхъ личностей, воспитаніемъ новыхъ поколѣній въ такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведенія состоитъ преимущественно въ томъ,

шеніи христіанское воззрѣніе гораздо ниже античнаго. Лучшая часть въ нашихъ смутныхъ понятіяхъ объ общественныхъ обязанностяхъ взята изъ греческихъ и римскихъ источниковъ. Все доблестное, благородное, самое понятіе чести передано намъ свѣтскимъ воспитаніемъ нашимъ, а не духовнымъ, проповѣдующимъ слѣпое повиновеніе, какъ высшую добродѣтель.“ J. S. Mill.

чтобъ жить, какъ другіе. „Горе мущинѣ, а особливо женщинѣ, которые вздумаютъ дѣлать то, *чего никто не дѣлаетъ*; но горе и тѣмъ, которые не дѣлаютъ *того, что дѣлаютъ всѣ*.“ Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими *дѣлами*, и иной разъ для рязвлеченія шалятъ въ филантропію (philantrophic hobby) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой - то средѣ принадлежитъ сила и власть, самое правительство по той мѣрѣ мощно, по какой оно служитъ органомъ господствущей среды и понимаетъ его инстинктъ.

Какая же это державная среда? „Въ Америкѣ къ ней принадлежатъ всѣ бѣлые, въ Англіи господствующій слой составляетъ *среднее состояніе*.“ *)

С. Милль находитъ одно различіе между мертвой неподвижностью восточныхъ народовъ и современнымъ мѣщанскимъ государствомъ. И въ немъ-то, мнѣ кажется, находится самая горькая капля изъ всего кубка полыни, поданнаго имъ. Вмѣсто азіатскаго, коснаго покоя, современные европейцы живутъ, говоритъ онъ, въ пустомъ безпокойствѣ, въ безсмысленныхъ перемѣнахъ: „отвергая особенности, мы не отвергаемъ перемѣнъ, лишь бы онѣ были всякій разъ сдѣланы *всѣми*. Мы бросили своеобычную одежду нашихъ отцовъ и готовы мѣнять два - три раза въ годъ покрой нашего платья, но съ тѣмъ, чтобъ всѣ мѣняли его, и это дѣлается не изъ видовъ красоты или удобства, а для самой перемѣны!“

Если личности не высвободятся отъ этого утягивающаго омута, отъ замаривающей топи, то „Европа, не

*) Пусть читатель вспомитъ, что было сказано объ этомъ въ „Западныхъ Арабескахъ.“

смотря на свои благородные антецеденты и свое христіанство, *сдѣлается Китаемъ.*"

Вотъ мы и возвратились и стоимъ передъ тѣмъ же вопросомъ. На какомъ основаніи будить спящаго; во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая въ мелочь вдохновится, сдѣлается недовольна своей тепершней жизнью, съ желѣзными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изданіями?

Личности не выступаютъ оттого, что нѣтъ достаточнаго повода. За кого, за что или противъ кого имъ выступать? Отсутствіе сильныхъ дѣятелей не причина, а послѣдствіе.

Точка, линія, послѣ которой борьба между желаніемъ *лучшаго* и сохраненіемъ *существующаго* оканчивается въ пользу сохраненія, наступаетъ (кажется намъ) тогда, когда господствующая, дѣятельная, *историческая* часть народа близко подходитъ къ такой формѣ жизни, которая соотвѣтствуетъ ему, это своего рода насыщеніе, сатурація, все приходитъ въ равновѣсіе, успокоивается, продолжаетъ вѣчное одно и то же, до катаклизма, обновленія, разрушенія. Semper idem не требуетъ ни огромныхъ усилій, ни грозныхъ бойцевъ; въ какомъ бы родѣ они ни были, они будутъ лишніе, середь мира не нужно полководцевъ.

Чтобъ не ходить такъ далеко, какъ Китай, взгляните возлѣ на ту страну на Западѣ, которая наибольше отстоялась—на страну, которой Европа начинаетъ сѣдѣть—на Голландію: гдѣ ея великіе государственные люди, гдѣ ея великіе живописцы, гдѣ тонкіе богословы, гдѣ смѣлые мореплаватели? Да на что ихъ? Развѣ она несчастна оттого, что не мятется, не бушуетъ, оттого, что ихъ нѣтъ? Она вамъ покажетъ свои смѣющіяся деревни на обсушенныхъ болотахъ, свои высти-

ранные города, свои выглаженные сады, свой комфортъ, свою свободу, и скажетъ: мои великіе люди пріобрѣли мнѣ эту свободу, мои мореплаватели завѣщали мнѣ это богатство, мои великіе художники украсили мои стѣны и церкви, мнѣ хорошо,—чего же вы отъ меня хотите? Рѣзкой борьбы съ правительствомъ? да развѣ оно тѣснитъ? у насъ и теперь свободы больше, нежели во Франціи когда либо бывало.

Да что же изъ этой жизни?

Что выйдетъ? Да вообще что изъ жизни выходитъ. А потомъ—развѣ въ Голландіи нѣтъ частныхъ романовъ, коллизій, сплетней; развѣ въ Голландіи люди не любятся, не плачутъ, не хохочутъ, не поютъ пѣсень, не пьютъ скидама, не пляшутъ въ каждой деревнѣ до утра? Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что съ одной стороны они пользуются всѣми плодами образованія, наукъ и художествъ, а съ другой—имъ бездна дѣла: гран-пасіансъ торговли, меледа хозяйства, воспитаніе дѣтей по образу и подобію своему; не успѣетъ голландецъ оглянуться, обдосужиться, а ужъ его несутъ на „божью ниву“ въ щегольски отлакированномъ гробѣ, въ то время какъ сынъ запряженъ въ торговое колесо, которое необходимо слѣдуетъ безпрестанно вертѣть, а то дѣла остановятся.

Такъ можно прожить тысячу лѣтъ, если не помѣшаетъ какое нибудь второе пришествіе Бонапартова брата.

Отъ старшихъ братій я прошу позволеніе отступить къ меньшимъ.

Мы не имѣемъ достаточно фактовъ, но можемъ предположить, что животныя породы, такъ какъ они установились, представляютъ послѣдній результатъ долгаго колебанія разныхъ видоизмѣній, ряда совершенствованій

и достиженій. Эта исторія дѣлалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нервъ.

Допотопные животные представляютъ какую-то героическую эпоху этой *книги бытія*, это титаны и богатыри, они мельчаютъ, уравновѣшиваются съ новой средой и какъ только достигаютъ довольно ловкаго и прочнаго типа, начинаютъ типически повторяться и до такой степени, что Улисова собака въ Одисеѣ похожа какъ двѣ капли воды на всѣхъ нашихъ собакъ. И это не все: кто сказалъ, что животные политическіе или общественные, живущіе не только стадомъ, но и съ нѣкоторой организаціей, какъ муравьи и пчелы, что они такъ съ разу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Милліоны поколѣній легли и погибли прежде, чѣмъ они устроились и упрочили свои *китайскіе* муравейники.

Я желалъ бы уяснить этимъ, что если какой нибудь народъ дойдетъ до этого состоянія, соотвѣтственности внѣшняго общественнаго устройства съ своими потребностями, то ему нѣтъ никакой внутренней необходимости, до перемѣны потребностей, идти впередъ, воевать, бунтовать, производить эксцентрическія личности.

Покойное поглощеніе въ стадѣ, въ ульѣ—одно изъ первыхъ условій сохраненія достигнутаго.

До этого иолнаго покоя міръ, о которомъ говоритъ С. Милль, не дошелъ. Онъ послѣ всѣхъ своихъ революцій и потрясеній не можетъ ни устояться, ни отстояться, бездна дряни на верху, все мутно, нѣтъ ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной бѣлизны. Въ немъ множество неспѣтаго, уродливаго, даже болѣзненнаго, и въ этомъ отношеніи ему предстоитъ дѣйствительно на его собственномъ пути еще шагъ впередъ. Ему надобно пріобрѣсти не энерги-

ческія личности, не эксцентрическія страсти, а честную мораль своего положенія. Англичанинъ перестанетъ обвѣшивать, французъ—помогать всякой полиціи, этого требуетъ не только raspectability, но и прочность быта.

Тогда Англія можетъ, по словамъ С. Милля, превратиться въ Китай (и конечно въ усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е. облегчая его по мѣрѣ возрастанія обязательнаго обычая, который лучше всѣхъ судовъ и наказаній заморитъ волю. А Франція можетъ въ это время взойти въ красивое, военное русло персидской жизни, расширенное всѣмъ, что образованная централизація даетъ въ руки власти, вознаграждая себя за потерю всѣхъ человѣческихъ правъ, блестящими набѣгами на сосѣдей и приковывая другіе народы къ судьбамъ централизованной деспотіи.... черты зуавовъ уже теперь больше принадлежатъ азіатскому типу, чѣмъ европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятія, я тороплюсь сказать, что здѣсь рѣчь идетъ не о моихъ желаніяхъ, ни даже о моихъ мнѣніяхъ. Трудъ мой чисто логическій, я хотѣлъ *развернуть скобки* формулы, въ которой выраженъ результатъ С. Милля, я хотѣлъ отъ его личностей-дифференціаловъ взять историческій интегралъ.

Стало быть, вопросъ не можетъ быть въ томъ, учтиво ли пророчить Англіи судьбы Китая (это же сдѣлалъ не я, а онъ самъ), и деликатно ли предсказывать Франціи, что она будетъ Персіей? Хотя по справедливости я и не знаю, отчего же Китай и Персію можно безнаказанно оскорблять. Вопросъ дѣйствительно важный, до котораго С. Милль не коснулся, вотъ въ чемъ: существуютъ ли всходы новой силы, которые могли бы обно-

вить старую кровь, есть ли подсѣды и здоровые ростки, чтобъ прорости измельчавшуюся траву? А тотъ вопросъ сводится на то, потерпитъ ли народъ, чтобъ его окончательно употребили для удобренія почвы новому Китаю и новой Персіи, на безвыходную, черную работу, на невѣжество и проголодь; позволяя въ замѣнъ, какъ въ лотерейной игрѣ, одному на десять тысячъ, въ примѣръ, ободреніе и усмиреніе прочимъ, разбогатѣть и сдѣлаться изъ снѣдающаго—обѣдающимъ.

Вопросъ этотъ разрѣшатъ событія,—теоретически его не разрѣшишь.

Если народъ сломится, новый Китай и новая Персія неминуемы.

Но если народъ сломитъ, неминуемъ *соціальный переворотъ!*

Не это ли и есть *идея*, которая можетъ быть произведена въ idée fixe, не смотря на пожиманіе плечъ аристократіи, ни на скрежетъ зубовъ мѣщанъ?

Народъ это чуетъ и очень, прежней дѣтской вѣры въ законность, или по крайней мѣрѣ въ справеливость того, что дѣлается,—нѣтъ; есть страхъ передъ силой и неумѣнье возвести въ общее правило частную боль,—но слѣпаго довѣрія нѣтъ. Во Франціи народъ грозно заявилъ свой протестъ въ то самое время, когда среднее состояніе въ упоеніи отъ власти и силы вѣнчало себя на царство подъ именемъ республики и развалясь съ Марастомъ на креслахъ Людовика XV въ Версалѣ, диктовало законы; народъ возсталъ съ отчаянія, видя, что онъ опять остался за дверями и безъ куска хлѣба; онъ возсталъ варварски, неимѣя никакого рѣшенія, безъ плана, безъ вождей, безъ средствъ, но въ энергическихъ личностяхъ у него недостатка не было и еще больше—

онъ съ другой стороны вызвалъ этихъ хищныхъ, кровожадныхъ коршуновъ, въ родѣ Кавеньяка.

Народъ побили на голову. Вѣроятности Персіи *поднялись*, и съ тѣхъ поръ все идутъ въ гору.

Какъ англійскій работникъ поставитъ свой соціальный вопросъ, мы не знаемъ, но воловья упорность его велика. Съ его стороны числовое большинство, но сила не съ его стороны. Число ничего не доказываетъ. Три-четыре линейныхъ казака, да два-три гарнизонныхъ солдата водятъ изъ Москвы въ Сибирь по пятисотъ колондиковъ.

Если народъ и въ Англіи будетъ побитъ, какъ въ Германіи во время крестьянскихъ войнъ, какъ во Франціи въ іюньскіе дни,—тогда Китай, пророчимый Стюартомъ Миллемъ, не далекъ. Переходъ въ него сдѣлается незамѣтно, не утратится, какъ мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкіе, люди чувствительные говорятъ, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, какъ согласиться съ ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоитъ именно въ томъ, что та идея, которая можетъ спасти народъ и устремить Европу къ новымъ судьбамъ—*невыгодна* господствующему классу, что ему, еслибъ онъ былъ послѣдователенъ и смѣлъ, *выгодно* только государство съ американскимъ невольничествомъ!

Но кто же изъ нихъ правъ? Праваго между голоднылъ и сытымъ найти не мудрено, но это ни къ чему не ведетъ, — Іисусъ Христотъ развѣ не былъ правъ противъ Синагоги,— однако же его распяли.

За то черезъ четыре вѣка римская имперія сдѣлалась *христіанской.*

А христіанство *языческимъ!* (*)

*) Прибавленіе о книгѣ С. Милля писано въ 1859 году.

PATER V. PETSCHERINE

— Вчера я видѣлъ Печерина.

Я вздрогнулъ при этомъ имени. „Какъ спросилъ я, *того* Печерина, онъ здѣсь?“

— Кто, reverend Petscherine? да, онъ здѣсь.

— Гдѣ же онъ?

— Въ іезуитскомъ монастырѣ С. Мери Чапель въ Клапамѣ.

Reverend Petscherine!... И этотъ грѣхъ лежитъ на Николаѣ. Я Печерина лично не зналъ, но слышалъ объ немъ очень много отъ Рѣдкина, Крюкова, Грановскаго. Молодымъ доцентомъ возвратился онъ изъ за границы, на каѳедру греческаго языка въ московскомъ университетѣ; это было въ одну изъ самыхъ томныхъ эпохъ николаевскаго гоненія между 1835 и 1840. Мы были въ ссылкѣ, молодые профессора еще не пріѣзжали, *Телеграфъ* былъ запрещенъ, *Европеецъ* былъ запрещенъ, *Телескопъ* запрещенъ, Чаадаевъ объявленъ сумашедшимъ.

Только послѣ 1848 года, терроръ въ Россіи пошелъ еще дальше.

Но угорѣлое самовластіе послѣднихъ лѣтъ николаевскаго царствованія явнымъ образомъ было *пятымъ дѣйствіемъ.* Тутъ уже становилось замѣтно, что не только что-то ломитъ и губитъ, но что-то само ломится и

гибнетъ, слышно было какъ полъ трещитъ — но подъ разсѣдающимся сводомъ.

Въ тридцатыхъ годахъ, совсѣмъ напротивъ, опьяненіе власти, шло обычнымъ порядкомъ, будничнымъ шагомъ; кругомъ глушь, молчаніе, — все было безотвѣтно, безчеловѣчно, безнадежно, и притомъ чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взоръ, искавшій сочувствія, встрѣчалъ лакейскую угрозу или испугъ, отъ него отворачивались или оскорбляли его. Печеринъ задыхался въ этомъ неаполитанскомъ гротѣ рабства, имъ овладѣлъ ужасъ, тоска, надобно было бѣжать, бѣжать во что бы ни стало, изъ этой проклятой страны. Для того, чтобъ уѣхать, надобны деньги. Печеринъ сталъ давать уроки, свелъ свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходилъ, миновалъ товарищескія сходки и накопивши немного денегъ уѣхалъ.

Черезъ нѣкоторое время онъ написалъ гр. С. Строгонову письмо; онъ увѣдомлялъ его о томъ, что онъ не воротится больше. Благодаря его, прощаясь съ нимъ, Печеринъ говорилъ о невыносимой духотѣ, отъ которой онъ бѣжалъ, и заклиналъ его *беречь* несчастныхъ молодыхъ профессоровъ, обреченныхъ своимъ развитіемъ на тѣ же страданія, быть ихъ щитомъ отъ ударовъ грубой силы.

Строгоновъ показывалъ это письмо многимъ изъ профессоровъ.

Москва на нѣкоторое время замолкла объ немъ, и вдругъ мы услышали, съ какимъ-то безконечно тяжелымъ чувствомъ, что Печеринъ сдѣлался іезуитомъ, что онъ на искусѣ въ монастырѣ. Бѣдность, безучастіе, одиночество сломили его: я перечитывалъ его „Торжество Смерти!“ и спрашивалъ себя—неужели этотъ человѣкъ можетъ быть католикомъ, іезуитомъ? Вѣдь онъ

уже ушелъ изъ царства, въ которомъ *исторія дѣлается* подъ палкой квартальнаго и подъ надзоромъ жандарма. Зачѣмъ же ему такъ скоро занадобилась другая власть, другое указаніе?

Разобщеннымъ показался себѣ, сирымъ русскій человѣкъ въ сортированномъ и по горло занятомъ Западѣ, ему было слишкомъ безродно. Когда веревка, на которой онъ былъ привязанъ, порвалась, и судьба его, вдругъ отрѣшенная отъ всякаго внѣшняго направленія, попала въ его собственныя руки, онъ не зналъ что дѣлать, не умѣлъ съ ней управляться, и сорвавшись съ орбиты, безъ цѣли и границъ, упалъ въ іезуитскій монастырь!

На другой день, часа въ два, я отправился въ S. Mary Chapel. Тяжелая, дубовая дверь заперта, — я стукнулъ три раза кольцемъ, дверь отворилась и явился тощій, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати, въ монашескомъ подрясникѣ, въ рукахъ у него былъ молитвенникъ.

— Кого вамъ? спросилъ братъ привратникъ по англійски.

— Reverend Father Petcherine.

— Позвольте ваше имя.

— Вотъ карточка и письмо. Въ письмѣ я вложилъ объявленіе о русской типографіи.

— Взойдите, сказалъ молодой человѣкъ, запирая снова за мною дверь. Подождите здѣсь, и онъ указалъ въ обширныхъ сѣняхъ на два, три большихъ стула со старинной рѣзьбой.

Минутъ черезъ пять, братъ привратникъ возвратился и сказалъ мнѣ съ небольшимъ акцентомъ по французски, что le père Petcherine sera enchanté de me recevoir dans un instant.

Послѣ этого онъ повелъ меня черезъ какой-то рефекторій, въ высокую, небольшую комнату, слабо освѣщенную, и снова просилъ сѣсть. На стѣнѣ было высѣченное изъ камня распятіе и, если не ошибаюсь, съ другой стороны также богородица. Кругомъ тяжелаго массивнаго стола стояли большія деревянныя кресла и стулья. Противоположная дверь вела сѣнями въ обширный садъ, его свѣтская зелень и шумъ листьевъ были какъ-то не на мѣстѣ.

Братъ привратникъ показалъ мнѣ на стѣнѣ надпись, въ ней было сказано, что reverend Fathers принимаютъ, имѣющихъ въ нихъ нужду, отъ 4 до 6 часовъ. Еще не было четырехъ.

— Вы кажется не англичанинъ и не французъ? спросилъ я его, вслушиваясь въ его акценты.

— Нѣтъ.

— Sind sie ein Deutscher?

— O nein, mein Herr, отвѣчалъ онъ улыбаясь, ich bin beinah Ihr Landsmann, ich bin ein Pole.

Ну — брата привратника выбрали не дурно, онъ говорилъ на четырехъ языкахъ. Я сѣлъ, онъ ушелъ; странно мнѣ было видѣть себя въ этой обстановкѣ. Черныя фигуры прохаживались въ саду, человѣка два въ полумонашескомъ платьѣ прошли мимо меня; они серьезно, но учтиво, кланялись, глядя въ землю, я всякой разъ привставалъ, и также серьезно откланивался имъ. Наконецъ вышелъ, небольшой ростомъ, очень пожилой священникъ въ граненой шапкѣ, и во всемъ одѣяніи, въ которомъ священники ходятъ въ монастыряхъ. Онъ шелъ прямо ко мнѣ, шурстя своей сутаной, и спросилъ меня чистѣйшимъ французскимъ языкомъ: „Вы желали видѣть Печерина?“

Я отвѣчалъ, что — я.

— Чрезвычайно радъ вашему посѣщенію — сказалъ онъ, протягивая руку, сдѣлайте одолженіе, присядьте.

— Извините—сказалъ я, нѣсколько смѣшавшись, что не узналъ его, мнѣ въ голову но приходило, что встрѣчу его костюмированнаго—ваше платье...

Онъ слегка улыбнулся, и тотчасъ продолжалъ: „Давно не слыхалъ я никакой вѣсти о родномъ краѣ, объ нашихъ, объ университетѣ, вы вѣроятно знали Рѣдкина и Крюкова.“

Я смотрѣлъ на него, лице его было старо, старше лѣтъ; видно было, что подъ этими морщинами много прошло и прошло tout de bon, т. е. умерло, оставивъ только свои надгробные слѣды въ чертахъ. Искуственный, клерикальный покой, которымъ особенно монахи какъ сулемой заморяютъ цѣлыя стороны сердца и ума, былъ уже и въ его рѣчи и во всѣхъ движеніяхъ. Католическій священникъ всегда сбивается на вдову, онъ также въ траурѣ и въ одиночествѣ, онъ также вѣренъ чему-то, чего нѣтъ, и утоляетъ настоящія страсти раздраженіемъ фантазіи.

Когда я ему разсказалъ объ общихъ знакомыхъ, и о кончинѣ Крюкова, при которой я былъ, о томъ, какъ его студенты несли черезъ весь городъ на кладбище, потомъ объ успѣхахъ Грановскаго, объ его публичныхъ лекціяхъ — мы оба какъ-то призадумались; что происходило въ черепѣ подъ граненой шапкой—не знаю; но Печеринъ снялъ ее, какъ будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставилъ на столъ. Разговоръ не шелъ. Sortons un peu au jardin, сказалъ Печеринъ, le temps est si beau, et c'est si rare à Londres.

— Avec le plus grand plaisir. Да скажите пожалуста, для чего же мы съ вами говоримъ по французски?

— И то! будемте говорить по русски, я думаю, что уже совсѣмъ разучился.

Мы вышли въ садъ. Разговоръ снова перешелъ къ университету и Москвѣ. „О, сказалъ Печеринъ, что это было за время, когда я оставилъ Россію, безъ содроганія не могу вспомнить!

— Подумайте же, что теперь дѣлается, нашъ Саулъ совсѣмъ сошелъ съ ума послѣ 1848.—И я ему передалъ нѣсколько гнуснѣйшихъ фактовъ.

— Бѣдная страна, особенно для меньшинства, получившаго несчастный даръ образованія. А вѣдь какой добрый народъ, я часто вспоминаю нашихъ мужиковъ, когда бываю въ Ирландіи, они чрезвычайно похожи; Келтійскій землепашецъ такой же ребенокъ какъ нашъ. Побывайте въ Ирландіи, вы сами убѣдитесь въ этомъ.

Такъ длился разговоръ съ полчаса, наконецъ собираясь оставить его, я сказалъ ему:

— У меня есть просьба къ вамъ.

— Что такое, сдѣлайте одолженіе?

— У меня были въ рукахъ въ Петербургѣ нѣсколько вашихъ стихотвореній—въ числѣ ихъ есть трилогія — *Поликратъ Самосскій*, *Торжество смерти*, и еще что то, нѣтъ ли у васъ ихъ, или не можете ли вы мнѣ ихъ дать?

— Какъ это вы вспомнили такой вздоръ. Это незрѣлыя, ребяческія произведенія иного времени и иного настроенія.

— Можетъ, замѣтилъ я, улыбаясь, *поэтому-то* они мнѣ и нравятся. Да есть они у васъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, гдѣ же!...

— И продиктовать не можете?

— Нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ.

— А если я ихъ найду гдѣ нибудь въ Россіи, — печатать позволите.

— Я, право, на эти ничтожныя произведенія, смотрю точно будто другой писалъ; мнѣ до нихъ дѣла нѣтъ, какъ больному до бреда послѣ выздоровленія.

— Коли вамъ дѣла нѣтъ, стало я могу печатать ихъ, положимъ безъ имени.

— Неужели эти стихи вамъ нравятся до сихъ поръ?

— Это мое дѣло, вы мнѣ скажите, позволяете мнѣ ихъ печатать или нѣтъ?

Прямаго отвѣта онъ и тутъ не далъ, я пересталъ приставать.

— А что же, спросилъ Печеринъ, когда я прощался, вы мнѣ не привезли ничего изъ вашихъ публикацій, я помню въ журналахъ говорили, года три тому назадъ, объ одной книгѣ изданной вами, кажется на нѣмецкомъ языкѣ?

— Ваше платье, отвѣчалъ я, скажетъ вамъ, по какимъ соображеніямъ я не долженъ былъ привести ее, примите это съ моей стороны за знакъ уваженія и деликатности.

— Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь, мы можемъ скорбѣть о заблужденіи, молиться объ исправленіи, желать его, и во всякомъ случаѣ любить человѣка.

— Мы разстались.

Онъ не забылъ ни книги, ни моего отвѣта, и дня черезъ три написалъ ко мнѣ слѣдующее письмо по французски.

J. M. J. A. St Mary's Clapham, 11 апрѣля, 1853 г.

Я не могу скрыть отъ васъ той симпатіи, которую возбуждаетъ въ моемъ сердцѣ слово свободы,— свободы

для моей несчастной родины! Не сомнѣвайтесь ни на минуту, въ искренности моего желанія — возрожденія Россіи. При всемъ этомъ, я далеко не во всемъ согласенъ съ вашей программой. Но это ничего не значитъ. Любовь католическаго священника обнимаетъ всѣ мнѣнія и всѣ партіи. Когда ваши драгоцѣннѣйшія упованія обманутъ васъ, когда силы міра сего поднимутся на васъ, вамъ еще останется вѣрное убѣжище въ сердцѣ католическаго священника: въ немъ вы найдете дружбу безъ притворства, сладкія слезы и миръ, который свѣтъ не можетъ вамъ дать. Пріѣзжайте ко мнѣ, любезный соотечественникъ. Я былъ бы очень радъ васъ видѣть еще разъ, до моего отъѣзда въ Гернсей. Не забудьте, пожалуста, привести вашу брошюру мнѣ.

В. Печеринъ.

Я свезъ ему книги, и черезъ четыре дня получилъ слѣдующее письмо.

S-t Pierre, Jsland of Guernsey.
J. M. J. A. Chapelle Catholique, 15 апрѣля, 1853 г.

Я прочелъ обѣ ваши книги, съ большимъ вниманіемъ. Одна вещь особенно поразила меня, мнѣ кажется, что вы и ваши друзья, вы опираетесь исключительно на философію, и на изящную словесность (belle littérature). Неужели вы думаете, что онѣ призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидѣтельство исторіи совершенно противъ васъ. Нѣтъ примѣра, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философіей и словесностью. Скажу просто, (tranchons le mot) одна религія служила всегда основой государствъ, философія и словесность—это увы! уже послѣдній цвѣтокъ общественнаго древа. Когда философія и литература достигаютъ своей апогеи, когда философы, орато-

ры и поэты господствуютъ и разрѣшаютъ всѣ общественные вопросы, тогда конецъ, паденіе, тогда смерть общества. Это доказываетъ Грецiя и Римъ, это доказываетъ такъ называемая александринская эпоха; никогда философiя не была больше изощрена, никогда литература цвѣтущѣе, а между тѣмъ, это была эпоха глубокаго общественнаго паденія. Когда философiя бралась за пересозданіе общественнаго порядка, она постоянно доходила до жестокаго деспотизма, напримѣръ въ Фридрихѣ II, Екатеринѣ II, Іосифѣ II и во всѣхъ неудавшихся революціяхъ. У васъ вырвалась фраза, счастливая или несчастная, какъ хотите: вы говорите, „что фаланстеръ ничто иное, какъ преобразованная казарма и коммунистъ можетъ быть только видопзмѣненіе николаевскаго самовластья.“ Я вообще вижу какой-то меланхолическій отблескъ на васъ и на вашихъ московскихъ друзьяхъ. Вы даже сами сознаетесь, что вы всѣ Онѣгины, т. е. что вы и ваши — въ отрицаніи, въ сомнѣніи, въ отчаяніи. Можно ли перерождать общество на такихъ основаніяхъ?

Можетъ я высказалъ вещь избитую, и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобъ начать контроверзу, но я считалъ себя обязаннымъ сдѣлать это замѣчаніе, потому что иногда лучшіе умы и благороднѣйшія сердца ошибаются въ основѣ, сами не замѣчая того. Для того я это пишу вамъ, чтобъ доказать, какъ внимательно читалъ я вашу книгу, и дать новый знакъ того уваженія и любви, съ которыми...

В. Печеринъ.

На это я отвѣчалъ ему по русски.

25, Euston Square, 21 апрѣля, 1853 г.

Почтеннѣйшій соотечественникъ,

Душевно благодарю васъ, за ваше письмо, и прошу позволеніе сказать нѣсколько словъ à la hate о главныхъ пунктахъ.

Я совершенно согласенъ съ вами, что литература, какъ осенніе цвѣты, является во всемъ блескѣ передъ смертью государствъ. Древній Римъ не могъ быть спасенъ щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтеріанизмомъ Лукіяна, ни нѣмецкой философіей Прокла. Но замѣтьте, что онъ равно не могъ быть спасенъ ни елевзинскими таинствами, ни Аполлономъ Тіанскимъ, ни всѣми опытами продолжить и воскресить язычество.

Это было не только невозможно, но и ненужно. Древній міръ вовсе не надобно было спасать, онъ дожилъ свой вѣкъ, и новый міръ шелъ ему на смѣну. Европа совершенно въ томъ же положеніи; литература и философія не сохранятъ дряхлыхъ формъ, а толкнутъ ихъ въ могилу, разобьютъ ихъ, освободятъ отъ нихъ.

Новый міръ—точно также приближается, какъ тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвавъ фаланстеръ—казармой, нѣтъ, всѣ доселѣ явившіяся ученія и школы соціалистовъ, отъ С. Симона до Прудона, который представляетъ одно отрицаніе— бѣдны, это первый лепетъ, это чтеніе по складамъ, это Терапевты и Ессеніане древняго Востока. Но кто же не видитъ, не чуетъ сердцемъ огромнаго содержанія, просвѣчивающаго черезъ односторонніе попытки, или кто же казнитъ дѣтей за то, что у нихъ трудно рѣжутся зубы или выходятъ вкось?

Тоска современной жизни—тоска сумерокъ, тоска пе-

рехода, предчувствія. Звѣри безпокоятся передъ землетрясеніемъ.

Къ тому же все остановилось. Одни хотятъ насильственно раскрыть дверь будущему, другіе насильственно не выпускаютъ прошедшаго; у однихъ впереди пророчества, у другихъ—воспоминанія. Ихъ *работа* состоитъ въ томъ, чтобъ мѣшать другъ другу, и вотъ тѣ и другіе стоятъ въ болотѣ.

Рядомъ другой міръ—Русь. Въ основѣ его — коммунистическій народъ, еще дремлющій, покрытый поверхностной пленкой образованныхъ людей, дошедшихъ до состоянія Онѣгина, до отчаянія, до эмиграціи, до вашей, до моей судьбы. Для насъ это горько. Мы жертвы того, что не во время родились; для *дѣла* это безразлично, по крайней мѣрѣ не имѣетъ того смысла.

Говоря о революціонномъ движеніи въ новой Россіи, я впередъ сказалъ, что съ Петра I русская исторія — исторія дворянства и правительства. Въ дворянствѣ находится революціонный ферментъ; онъ не имѣлъ въ Россіи другаго поприща—яркаго, кроваваго, на площади—кромѣ поприща литературнаго, тамъ я его и прослѣдилъ.

Я имѣлъ смѣлость сказать (въ письмѣ къ Мишле), что образованные русскіе *самые свободные* люди; мы несравненно дальше пошли въ отрицаніи, чѣмъ напр. французы. Въ отрицаніи чего? Разумѣется, стараго міра.

Онѣгинъ рядомъ съ праздным отчаяніемъ доходитъ теперь до положительныхъ надеждъ. Вы ихъ, кажется, не замѣтили. Отвергая Европу въ ея изжитой формѣ, отвергая Петербургъ, т. е. опять таки Европу, но переложенную на наши нравы; слабые и оторванные отъ народа—мы гибли. Но мало по малу развивалось нѣчто

новое, уродливо у Гоголя, преувеличенно у Панславистовъ. Этотъ новый элементъ, элементъ вѣры въ силу народа, элементъ проникнутый любовью. Мы съ нимъ только начали понимать народъ. Но мы далеки отъ него. Я и не говорю, чтобъ *намъ* досталась участь пересоздать Россію, и то хорошо, что мы привѣтствовали русскій народъ и догадались, что онъ принадлежитъ къ грядущему міру.

Еще одно слово. Я не смѣшиваю науки съ литературно-философскимъ развитіемъ. Наука, если и не пересоздаетъ государства, то и не падаетъ въ самомъ дѣлѣ съ нимъ. Она средство, память рода человѣческаго, она побѣда надъ природой, освобожденіе. Невѣжество, *одно невѣжество*—причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* въ животномъ состояніи. Наука, одна наука можетъ теперь поправить это, и дать имъ кусокъ хлѣба и кровъ. Не пропагандой, а химіей, а механикой, технологіей, желѣзными дорогами она можетъ поправить мозгъ, который вѣками сжимали физически и нравственно.

Я буду сердечно радъ...

Черезъ двѣ недѣли я получилъ отъ о. Печерина слѣдующее письмо.

J. M. J. A.

St. Mary's, Clapham 3 Мая 1853.

Я вамъ отвѣчаю по французски по причинамъ, которыя вы знаете. Не могъ писать я къ вамъ прежде, потому что былъ обремененъ занятіями въ Гернсеѣ. Мало остается времени на философскія теоріи, когда живешь въ самой серединѣ животрепещущей дѣйствительности; нѣтъ досуга разрѣшать спекулятивные вопросы о будущихъ судьбахъ человѣчества, когда человѣчество съ

костями и плотью приходитъ изливать въ вашу грудь свои скорби и требуетъ совѣта и помощи.

Признаюсь вамъ откровенно, ваше послѣднее письмо навело на меня ужасъ, и ужасъ очень эгоистическій, признаюсь и въ этомъ.

Что будетъ съ нами, когда *ваше* образованіе (votre civilisation à vous) одержитъ побѣду. Для васъ *наука* все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимаетъ всѣ способности человѣка, видимое и невидимое, наука—такъ какъ ее понималъ міръ до сихъ поръ; но наука ограниченная, узкая, наука матеріальная, которая разбираетъ и разсѣкаетъ вещество, и ничего не знаетъ кромѣ его. Химія, механика, технологія, паръ, электричество, великая наука пить и ѣсть, поклоненіе личности (le culte de la personne) какъ бы сказалъ Мишель Шевалье. Если *эта* наука восторжествуетъ, горе намъ! Во времена гоненій римскихъ императоровъ христіане имѣли по крайней мѣрѣ возможность бѣгства въ степи Египта, мечъ тирановъ останавливался у этого непереходимаго для нихъ предѣла. А куда бѣжать отъ тиранства вашей матеріальной цивилизаціи? Она сглаживаетъ горы, вырываетъ каналы, прокладываетъ желѣзныя дороги, посылаетъ пароходы, журналы ея проникаютъ до каленыхъ пустынь Африки, до непроходимыхъ лѣсовъ Америки. Какъ нѣкогда христіанъ влекли на амфитеатры, чтобъ ихъ отдать на посмѣяніе толпы, жадной до зрѣлищъ, такъ повлекутъ теперь насъ, людей молчанія и молитвы, на публичныя торжища, и тамъ спросятъ: „Зачѣмъ вы бѣжите отъ нашего общества? Вы должны участвовать въ нашей матеріальной жизни, въ нашей торговлѣ, въ нашей удивительной индустріи. Идите витійствовать на площади, идите проповѣдѣвать политическую экономію, обсуживать паденіе и возвыше-

ніе курса, идите работать на наши фабрики, направлять паръ и электричество. Идите предсѣдательствовать на нашихъ пирахъ, рай здѣсь на землѣ,—будемъ ѣсть и пить, вѣдь мы завтра умремъ!" Вотъ что меня приводитъ въ ужасъ, ибо гдѣ же найти убѣжище отъ тиранства матеріи, которая больше и больше овладѣваетъ всѣмъ.

Простите, если я сколько нибудь преувеличилъ темныя краски. Мнѣ кажется, что я только довелъ до законныхъ послѣдствій основанія, положенныя вами.

Стоило ли покидать Россію изъ за умственнаго каприза (caprice de spiritualité). Россія именно начала съ науки, такъ какъ вы ее понимаете, она продолжаетъ наукой. Она въ рукахъ своихъ держитъ гигантскій рычагъ матеріальной мощи, она призываетъ всѣ таланты на служеніе себѣ и на пиръ своего матеріальнаго благосостоянія, она сдѣлается самая образованная страна въ мірѣ, провидѣніе ей дало въ удѣлъ матеріальный міръ, она сдѣлаетъ рай изъ него для своихъ избранныхъ. Она понимаетъ цивилизацію именно такъ, какъ вы ее понимаете. Матеріальная наука составляла всегда ея силу. Но мы, вѣрующіе въ безсмертную душу и въ будущій міръ, какое намъ дѣло въ этой цивилизаціи настоящей минуты? Россія никогда не будетъ меня имѣть своимъ подданнымъ.

Я изложилъ мои идеи съ простотою для того, чтобы уяснить намъ другъ друга. Извините, если я внесъ въ слова мои излишнюю горячность. Такъ какъ я ѣду снова въ Ирландію въ пятницу утромъ, мнѣ будетъ невозможно зайти къ вамъ. Но я буду очень радъ, если вамъ будетъ удобно посѣтить меня въ середу или въ четвергъ послѣ обѣда.

Примите и проч. В. Печеринъ.

Я ему отвѣчалъ на другой день.

25, Eustou Square, 4 мая 1853.

Почтеннѣйшій соотечественникъ,

Я былъ у васъ для того, чтобы пожать руку русскому, котораго имя мнѣ было знакомо, котораго положеніе такъ сходно съ моимъ... Не смотря на то, что судьба и убѣжденія васъ поставили въ торжествующіе ряды побѣдителей, меня — въ печальный станъ побѣжденныхъ, я не думалъ коснуться разницы нашихъ мнѣній. Мнѣ хотѣлось видѣть русскаго, мнѣ хотѣлось принесть вамъ живую вѣсть о родинѣ. Изъ чувства глубокой деликатности я не предложилъ вамъ моихъ брошюръ, вы сами желали ихъ видѣть. Отсюда ваше письмо, мой отвѣтъ и второе письмо ваше отъ 3 марта. Вы нападаете на меня, на мои мнѣнія (преувеличенныя и не вполнѣ раздѣляемыя мною), нельзя же мнѣ не защищаться. Я не давалъ того значенія слову *наука*, которое вы предполагаете. Я вамъ только писалъ, что я совокупность всѣхъ побѣдъ надъ природой и всего развитія, разумѣется, ставлю внѣ беллетристики и отвлеченной философіи.

Но это предметъ длинный и, безъ особаго вызова, не хочется повторять все, такъ много разъ сказанное объ немъ. Позвольте мнѣ лучше успокоить васъ на счетъ вашего страха о будущности людей, любящихъ созерцательную жизнь. Наука не есть ученіе или доктрина и потому она не можетъ сдѣлаться ни правительствомъ, ни указомъ, ни гоненіемъ. Вы вѣрно хотѣли сказать о торжествѣ соціальныхъ идей, свободы. Въ такомъ случаѣ возьмите страну самую „матерьяльную“ и самую свободную, Англію. Люди созерцательные, такъ какъ

утописты, находятъ въ ней уголъ для тихой думы и трибуну для проповѣди. А еще Англія, монархическая и протестантская, далека отъ полной терпимости.

И чего же бояться? Неужели шума колесъ, подвозящихъ хлѣбъ насущный толпѣ голодной и полуодѣтой? Не запрещаютъ же у насъ, для того, чтобы не безпокоить лирическую нѣгу, молотить хлѣбъ.

Созерцательныя натуры будутъ всегда, вездѣ; имъ будетъ привольнѣе въ думахъ и тиши, пусть ищутъ онѣ себѣ тогда тихаго мѣста; кто ихъ будетъ безпокоить, кто звать, кто преслѣдовать; ихъ ни гнать, ни *поддерживать* никто не будетъ. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшенія жизни массъ, потому что производство этого улучшенія *можетъ* обезпокоить слухъ лицъ, не хотящихъ слышать ничего внѣшняго. Тутъ даже самоотверженія никто не проситъ, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торгъ перенесть слѣдуетъ, а отойти отъ него. Но журналы всюду идутъ слѣдомъ,—кто же изъ *созерцательныхъ* натуръ зависитъ отъ premier Paris или premier Londres?

Вотъ видите, если вмѣсто свободы восторжествуютъ антиматеріальное начало и монархическій принципъ, тогда укажите *намъ* мѣсто, гдѣ насъ, не то что не будутъ безпокоить, а гдѣ насъ не будутъ вѣшать, жечь, сажать на колъ, какъ это теперь отчасти дѣлается въ Римѣ и Миланѣ, во Франціи и Россіи.

Кому же слѣдуетъ бояться? Оно конечно—смерть не важна, sub specie eternitatis, да вѣдь съ этой точки зрѣнія и все остальное не важно.

Простите мнѣ, П. С., откровенное противорѣчіе вашимъ словамъ и подумайте, что мнѣ было невозможно иначе отвѣчать.

Душевно желаю, чтобы вы хорошо совершили ваше путешествіе въ Ирландію.

Этимъ и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Сѣрая мгла европейскаго горизонта зардѣлась заревомъ крымской войны, мгла отъ него стала еще чернѣй и, вдругъ, середь кровавыхъ вѣстей походовъ и осадъ, читаю я въ газетахъ, что тамъ-то въ Ирландіи отданъ подъ судъ rever. father Vladimir Petcherin, native a Russian, за публичное сожженіе на площади протестантской библіи. Гордый британскій судья, взявъ въ разсчетъ безумный поступокъ и то, что виноватый—русскій, а Англія съ Россіей въ войнѣ, ограничился отеческимъ наставленіемъ вести себя впредь на улицахъ благопристойно...

Неужели ему легки эти вериги... или онъ часто снимаетъ граненую шапку и ставитъ ее устало на столъ?

РОВЕРТЪ ОУЭНЪ.

ПОСВЯЩЕНО К—У.

Ты все поймешь, ты все оцѣнишь!

Shut up the world at large, let Bedlam out
And you will be perhaps surprised to find
All things pursue exactly the same route,
As now with those of « soi-disant » sound mind,
This I could prove beyond a single doubt.
Were there a jot of sense among mankind;
But till that point d'appui is found, alas!
Like Archimedes, I leave earth as 't was.

Byron. Don-Juan, C. XIV—84.

I.

... Вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ, въ 1852 году, я получилъ приглашеніе отъ одной дамы; она звала меня на нѣсколько дней къ себѣ на дачу въ Seven Oaks. Я съ ней познакомился въ Ниццѣ, въ 50 году, черезъ Маццини. Она еще застала домъ мой свѣтлымъ и такъ оставила его. Мнѣ захотѣлось ее видѣть; я поѣхалъ.

Встрѣча наша была неловка. Слишкомъ много чернаго было со мною съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались. Если человѣкъ не хвастаетъ своими бѣдствіями, то онъ ихъ стыдится, и это чувство стыда всплываетъ при всякой встрѣчѣ съ прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мнѣ руку и повела меня въ паркъ. Это былъ первый старинный англійскій

паркъ, который я видѣлъ, и одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ. До него со временъ Елисаветы не дотрогивалась рука человѣческая; тѣнистый, мрачный, онъ росъ безъ помѣхи и разростался въ своемъ аристократически-монастырскомъ удаленіи отъ міра. Старинный и чисто елисаветинской архитектуры дворецъ былъ пустъ; не смотря на то, что въ немъ жила одинокая старуха, барыня, никого не было видно; только сѣдой привратникъ, сидѣвшій у воротъ, съ нѣкоторой важностью замѣчалъ входящимъ въ паркъ, чтобъ въ обѣденное время не ходить мимо замка. Въ паркѣ было такъ тихо, что лани гурьбой перебѣгали большія аллеи, спокойно пріостанавливались и безпечно нюхали воздухъ, приподнявши морду. Нигдѣ не раздавался никакой посторонній звукъ и вороны каркали, точно какъ въ старомъ саду у насъ, въ Васильевскомъ. Такъ бы, кажется, легъ гдѣ-нибудь подъ дерево и представилъ бы себѣ тринадцатилѣтній возрастъ... мы вчера только-что изъ Москвы, тутъ гдѣ-нибудь неподалеку старикъ садовникъ троитъ мятную воду... На насъ, дубравныхъ жителей, лѣса и деревья роднѣе дѣйствуютъ моря и горъ.

Мы говорили объ Италіи, о поѣздкѣ въ Ментоне; говорили о Медичи, съ которымъ она была коротко знакома, объ Орсини и не говорили о томъ, что тогда меня и ее, вѣроятно, занимало больше всего.

Ея искреннее участіе я видѣлъ въ ея глазахъ и, молча, благодарилъ ее... Что я могъ ей сказать новаго?

Сталъ перепадать дождь; онъ могъ сдѣлаться сильнымъ и продолжительнымъ, мы воротились домой.

Въ гостинной былъ маленькій, щедушный старичекъ, сѣдой какъ лунь, съ необычайно добродушнымъ лицемъ, съ чистымъ, свѣтлымъ, кроткимъ взглядомъ, съ тѣмъ голубымъ дѣтскимъ взглядомъ, который остается у лю-

дей до глубокой старости, какъ отсвѣтъ великой доброты.*)

Дочери хозяйки дома бросились къ сѣдому дѣдушкѣ; видно было, что они пріятели.

Я остановился въ дверяхъ сада.

— Вотъ кстати, какъ нельзя больше, сказала ихъ мать, протягивая старику руку, сегодня у меня есть чѣмъ васъ угостить. Позвольте вамъ представить нашего русскаго друга. Я думаю, прибавила она, обращаясь ко мнѣ, вамъ пріятно будетъ познакомиться съ однимъ изъ *вашихъ патріарховъ*.

— Robert Owen, сказалъ добродушно улыбаясь старикъ, очень, очень радъ.

Я сжалъ его руку съ чувствомъ сыновняго уваженія, еслибъ я былъ моложе, я бы сталъ можетъ на колѣни и просилъ бы старика возложить на меня руки.

Такъ вотъ отчего у него добрый, свѣтлый взглядъ, вотъ отчего его любятъ дѣти.... Это тотъ, *одинъ* трезвый и мужественный присяжный „между пьяными“ (какъ нѣкогда выразился Аристотель объ Анаксагорѣ), который осмѣлился произнести not guilty человѣчеству, not guilty преступнику. Это тотъ второй чудакъ, который скорбѣлъ о мытарѣ и жалѣлъ о падшемъ, и который, не потонувши, прошелъ если не по морю, то по мѣщанскимъ болотамъ англійской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

... Обращеніе Оуэна было очень просто; но и въ немъ, какъ въ Гарибальди, середь добродушія просвѣчивала сила и сознаніе, что онъ власть имущій. Въ его снисходительности было чувство собственнаго превосходства; оно можетъ было слѣдствіемъ постоянныхъ

*) При этомъ не могу не вспомнить тотъ же голубой взглядъ дѣтства подъ сѣдыми бровями Лелевеля.

сношеній съ жалкой средой; вообще онъ скорѣе походилъ на раззорившагося аристократа, на меньшаго брата большой фамиліи, чѣмъ на плебея и соціалиста.

Я тогда совсѣмъ не говорилъ по англійски; Оуэнъ не зналъ по французски и былъ замѣтно глухъ. Старшая дочь хозяйки предложила намъ себя въ драгоманы: Оуэнъ привыкъ такъ говорить съ иностранцами.

— Я жду великаго отъ вашей родины—сказалъ мнѣ Оуэнъ—у васъ поле чище, у васъ попы не такъ сильны, предразсудки не такъ закоснѣли..... а силъ то..... а силъ то! Еслибъ императоръ хотѣлъ вникнуть, понять новыя требованія возникающаго гармоническаго міра, какъ ему легко было бы сдѣлаться однимъ изъ величайшихъ людей.

Улыбаясь, просилъ я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имѣю надеждъ, чтобъ Николай сдѣлался его послѣдователемъ.

— А вѣдь онъ былъ у меня въ Лѳнаркѣ.

— И вѣрно ничего не понялъ?

— Онъ былъ тогда молодъ, и — Оуэнъ засмѣялся — очень жалѣлъ, что мой старшій сынъ такого *высокаго роста и не идетъ въ военную службу*. А впрочемъ онъ меня приглашалъ въ Россію.

— Теперь онъ старъ, но также ничего не понимаетъ, и навѣрное еще больше жалѣетъ, что не всѣ люди большаго роста идутъ въ солдаты. Я видѣлъ письмо, которое вы адресовали къ нему и, скажу откровенно, не понимаю, зачѣмъ вы его писали. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ надѣетесь?

— Пока человѣкъ живъ, не надобно въ немъ отчаяваться. Мало ли какое событіе можетъ раскрыть душу! Ну, а письмо мое не подѣйствуетъ, и онъ броситъ его, чтожъ за бѣда, я сдѣлалъ свое. Онъ не виноватъ, что

его воспитаніе и среда, въ которой живетъ, сдѣлали его неспособнымъ понимать истину. Тутъ надобно не сердиться, а жалѣть.

И такъ этотъ старецъ свое всеотпущеніе грѣховъ распространялъ не только на воровъ и преступниковъ, а даже на Николая! Мнѣ, на минуту, сдѣлалось стыдно.

Не потому ли люди ничего не простили Оуэну, ни даже предсмертное забытье его и полуболѣзненный бредъ о духахъ?

Когда я встрѣтилъ Оуэна, ему былъ восемдесятъ второй годъ (род. 1771). Онъ *шестдесятъ лѣтъ* не сходилъ съ арены.

Года три спустя послѣ Seven Oaks'а, я еще разъ мелькомъ видѣлъ Оуэна. Тѣло отжило, умъ тускъ и иногда бродилъ разнуздавшись по мистическимъ областямъ призраковъ и тѣней. А энергія была та же и тотъ же голубой взглядъ дѣтской доброты и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, онъ старые счеты забылъ, онъ былъ тотъ же молодой энтузіастъ, учредитель New Lanark'а; худо слышавшій, сѣдой, слабый, но также проповѣдывавшій уничтоженіе казней и стройную жизнь общаго труда. Нельзя было безъ глубокаго благоговѣнія видѣть этого старца, идущаго медленно и невѣрной стопой на трибуну, на которой *нѣкогда* его встрѣчали горячія рукоплесканія блестящей аудиторіи и на которой пожелтѣлыя сѣдины его вызывали теперь шопотъ равнодушія и ироническій смѣхъ. Безумный старикъ, съ печатью смерти на лицѣ, стоялъ не сердясь, и просилъ кротко, съ любовью, часъ времени. Казалось можно бы было дать ему этотъ часъ за шестидесяти-пяти лѣтнюю безпорочную службу; но ему въ немъ отказывали, онъ надоѣлъ, онъ повторялъ одно и тоже, а главное онъ глубоко обидѣлъ толпу, онъ хо-

тѣлъ отнять у нея право болтаться на висѣлицѣ и смотрѣть, какъ другіе на ней болтаются; онъ хотѣлъ у нихъ отнять подлое колесо, которое сзади подгоняетъ и отворить селюллярную клѣтку, эту безчеловѣчную mater dolorosa для духа, которой свѣтская инквизиція замѣнила монашескіе ящики съ ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна каменьями, но и она сдѣлалась *человѣколюбивѣе*: кампи вышли изъ моды; имъ предпочитаютъ грязь, свистъ и журнальныя статейки.

Другой старикъ, такой же фанатикъ, былъ счастливѣе Оуэна, когда слабыми, столѣтними руками благословлялъ малаго и большаго на Патмосѣ и только лепеталъ: „Дѣти! любите другъ друга!“ Простые люди и нищіе не хохотали надъ нимъ, не говорили, что его заповѣдь нелѣпость; между этими плебеями не было золотой посредственности мѣщанскаго міра — больше лицемѣрнаго чѣмъ невѣжественнаго, больше *ограниченнаго* чѣмъ глупаго. Принужденный оставить свой New Lanark въ Англіи, Оуенъ десять разъ переплывалъ океанъ, думая, что сѣмена его ученія лучше взойдутъ на *новомъ грунтѣ*, забывая, что его расчистили квэкеры и пуритане и навѣрно не предвидя, что пять лѣтъ послѣ его смерти, джефферсоновская республика, первая провозгласившая права человѣка, распадется во имя права сѣчь негровъ. Не успѣвъ и тамъ, Оуэнъ снова является на старой почвѣ, стучится ста руками во всѣ двери, у дворцовъ и хижинъ, заводитъ базары, которые послужатъ типомъ рочдельскаго общества и ко-оперативныхъ ассоціацій, издаетъ книги, издаетъ журналы, пишетъ посланія, собираетъ митинги, произноситъ рѣчи, пользуется всякимъ случаемъ. Правительства посылаютъ со всего міра делегатовъ на „всемірную выставку“ —

Оуэнъ уже между ними, проситъ ихъ взять съ собой оливовую вѣтку, вѣсть призыва къ разумной жизни и согласію—а тѣ не слушаютъ его, думаютъ о будущихъ крестахъ и табакеркахъ. Оуэнъ не унываетъ.

Однимъ туманнымъ октябрскимъ днемъ 1858 лордъ Брумъ — очень хорошо знающій, что въ вѣтхой общественной баркѣ течь все сильнѣе, но чающій еще, что ее можно такъ проконопатить, что на нашъ вѣкъ хватитъ — совѣщался о *пакли и смолѣ* въ Ливерпулѣ, на второмъ сходѣ Social science association.

Вдругъ дѣлается какое-то движеніе, тихо несутъ на носилкахъ блѣднаго, больнаго Оуэна на платформу. Онъ черезъ силу, нарочно пріѣхалъ изъ Лондона, чтобъ повторить свою благую вѣсть, о возможности — сытаго и одѣтаго общества, о возможности общества безъ палача. Съ уваженіемъ принялъ лордъ Брумъ старца—они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэнъ и слабымъ голосомъ сказалъ о приближеніи другаго времени... новаго согласія, new harmony, и рѣчь его остановилась, силы оставили... Брумъ докончилъ фразу и подалъ знакъ, тѣло старца склонилось—онъ былъ безъ чувствъ, тихо положили его на носилки и въ мертвой тишинѣ пронесли толпой, пораженной на этотъ разъ какимъ-то благоговѣніемъ, она будто чувствовала, что тутъ начинаются какія-то не совсѣмъ обыкновенные похороны, и тухнетъ что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло нѣсколько дней, Оуэнъ немного оправился и однимъ утромъ сказалъ своему другу и помощнику Ригби, чтобъ онъ укладывался, что онъ хочетъ ѣхать.

— Опять въ Лондонъ? Спросилъ Ригби.

— Нѣтъ, свезите меня теперь на мѣсто моего рожденія, я тамъ сложу мои кости.

И Ригби повезъ старца въ Монгомери-Ширъ, въ

Ньютоунъ, гдѣ за восемдесятъ восемь лѣтъ тому назадъ родился этотъ странный человѣкъ, апостолъ между фабрикантами...

„Дыханье его прекратилось такъ тихо, пишетъ его старшій сынъ, одинъ успѣвшій еще пріѣхать въ Ньютоунъ до кончины Оуэна, что я, державшій его руку, едва замѣтилъ — не было ни малѣйшей борьбы, ни одного судорожнаго движенія.“ Ни Англія, ни весь міръ точно также не замѣтили, какъ этотъ свидѣтель à decharge, въ уголовномъ процессѣ человѣчества, пересталъ дышать.

Англійскій попъ втѣснилъ его праху отпѣваніе вопреки желанію небольшой кучки друзей, пріѣхавшихъ похоронить его, друзья разошлись, Томасъ Ольсопъ*) протестовалъ смѣло, благородно—and all was over.

Хотѣлось мнѣ сказать нѣсколько словъ объ немъ, но унесенный общимъ wirlewind'омъ, я ничего не сдѣлалъ, трагическая тѣнь его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за рѣзкими событіями и ежедневной пылью—вдругъ на дняхъ я вспомнилъ Оуэна и мое намѣреніе написать о немъ что нибудь.

Перелистывая книжку Westminster Review, я нашелъ статью о немъ и прочиталъ ее всю внимательно. Статью эту писалъ не врагъ Оуэна, человѣкъ солидный, разсудительный, умѣющій отдавать должное заслугамъ и заслуженное недостаткамъ — а между тѣмъ я положилъ книгу съ страннымъ чувствомъ боли, оскорбленія, чего-то душнаго; съ чувствомъ близкимъ къ ненависти за вынесенное.

Можетъ я былъ боленъ, въ дурномъ расположеніи, не понялъ?... я взялъ опять книжку, перечиталъ тамъ сямъ—все тоже дѣйствіе.

*) Извѣстный по дѣлу Орсини.

„Больше чѣмъ двадцать послѣднихъ лѣтъ жизни Оуэна не имѣютъ никакого интереса для публики.

Ein unnütz leben ist ein fruher Tod

„Онъ сзывалъ митинги, но почти никто не шелъ на нихъ, потому что онъ повторялъ свои старыя начала давно всѣми забытыя. Тѣ, которые хотѣли узнать отъ него что *нибудь полезное для себя*, должны были опять слушать о томъ, что весь общественный бытъ зиждется на ложныхъ основаніяхъ. . . вскорѣ къ этому помѣшательству (dotage) присовокупилась вѣра въ постукивающіе духи... старикъ толковалъ о своихъ бесѣдахъ съ герцогомъ Кентомъ, Байрономъ, Шелли и проч.....

„Нѣтъ ни малѣйшей опасности, чтобъ ученіе Оуэна было практически принято. Это такія *слабыя* цѣпи, которыя не могутъ *держать* цѣлаго народа. Задолго до его смерти начала его уже были *опровергнуты*, забыты, а онъ все еще воображалъ себя благодѣтелемъ рода человѣческаго, какимъ-то *атеистическимъ Мессіей*.

„Его обращеніе къ постукивающимъ духамъ нисколько не удивительно. Люди, *не получившіе воспитанія*, постоянно переходятъ, съ чрезвычайной легкостью отъ крайняго скептицизма къ крайнему суевѣрію. Они хотятъ опредѣлить каждый вопросъ однимъ *природнымъ* свѣтомъ. Изученіе, разсужденіе и осторожность въ сужденіяхъ имъ неизвѣстны.

„Мы въ предшествующихъ страницахъ," прибавляетъ авторъ въ концѣ статьи, „больше занимались жизнью Оуэна, чѣмъ его ученіями; мы хотѣли *выразить наше сочувствіе* къ практическому добру, сдѣланному имъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ, заявить наше совершенное несогласіе съ его теоріями. Его біографія интереснѣе его сочиненій. Въ то время какъ первая можетъ быть полезна и занимательна (amuse). вторыя могутъ только сбить съ

толку и надоѣсть читателю. Но и тутъ мы чувствуемъ, что онъ *слишкомъ долго жилъ:* слишкомъ долго для себя, слишкомъ долго для своихъ друзей, и еще дольше для своихъ біографовъ!“

Тѣнь кроткаго старца носилась передо мной; на глазахъ его были горькія слезы и онъ грустно качая своей старой, старой головой, какъ будто хотѣлъ сказать: „неужели я заслужилъ это?“ и не могъ, а рыдая упалъ на колѣни, и будто Лордъ Брумъ торопился опять покрыть его и дѣлалъ знакъ Ригби, чтобъ его снесли, какъ можно скорѣе назадъ на кладбище, пока испуганная толпа не успѣетъ образумиться и упрекнуть его за все, за все что ему было такъ дорого и свято, и даже за то, что онъ такъ долго жилъ, заѣхалъ чужую жизнь, занималъ лишнее мѣсто у очага. Въ самомъ дѣлѣ Оуэнъ чай былъ ровесникомъ Веллингтона, этой величественнѣйшей *неспособности* во время мира.

„Не смотря на его ошибки, его гордость, его паденіе, Оуэнъ *заслуживаетъ наше признаніе.*“ — Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого нибудь Оксфордскаго, Винчестерскаго, или Чичестерскаго архіерея, проклинающаго Оуэна легче для насъ, чѣмъ это воздаяніе по заслугамъ? Оттого, что тамъ страсть, обиженная вѣра, а тутъ узенькое *безпристрастіе*, безпристрастіе не просто человѣка, а судьи низшей инстанціи. Въ управѣ благочинія очень хорошо могутъ обсудить поступки какого нибудь гуляки вообще, но не такого какъ Мирабо или Фоксъ. Складнымъ футомъ легко мѣрить съ большой точностью холстъ, но очень неудобно прикидывать на него сидеральныя пространства.

Можетъ для вѣрности сужденія о дѣлахъ, неподлежащихъ ни полицейскому суду, ни ариѳметической повѣр-

кѣ, *пристрастіе* нужнѣе справедливости. Страсть можетъ не только ослѣплять, но и проникать глубже въ предметъ, обхватывать его своимъ огнемъ.

Дайте школьному педанту, если онъ только не надѣленъ отъ природы эстетическимъ пониманьемъ — дайте ему на разборъ что хотите, Фауста, Гамлета, и вы увидите, какъ исхудаетъ „жирный датскій принцъ“, помятый какимъ нибудь гимназистомъ-доктринеромъ. Съ цинизмомъ Ноева сына покажетъ онъ наготу и недостатки драмъ, которыми восхищается поколѣніе за поколѣніемъ.

Въ мірѣ ничего нѣтъ великаго, поэтическаго, чтобы могло выдержать *не глупый, да и не умный* взглядъ, взглядъ обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили такъ мѣтко пословицей, что „для камердинера нѣтъ великаго человѣка“.

„Попадись нищему лошадь“, какъ говоритъ народъ и повторяетъ критикъ Вестминстерскаго Обозрѣнія, „онъ на ней и ускачетъ къ черту... An ex linen-draper, (это выраженіе употреблено нѣсколько разъ*) который вдругъ сдѣлался (замѣтьте послѣ двадцати лѣтъ неусыпнаго труда и колосальныхъ успѣховъ) важнымъ лицомъ, на дружеской ногѣ съ герцогами и министрами—натурально долженъ былъ зазнаться и сдѣлаться *смѣшнымъ, не имѣя ни большой умѣренности, ни большаго благоразумія*“. Ex linen draper зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотѣлось перестроить свѣтъ; съ этими притязаніями, онъ раззорился, ни въ чемъ не успѣлъ и покрылъ себя *смѣхомъ*.

*) Фурье началъ съ того, что былъ сидѣльцемъ въ суконной лавкѣ своего отца; Прудонъ—сынъ безансонскаго крестьянина. Какое *подлое* начало соціализма! Отъ такихъ ли полубоговъ и полуразбойниковъ ведутъ начало династіи?

И это не все. Еслибъ Оуэнъ только проповѣдывалъ свой экономическій переворотъ, это безуміе простили бы ему, на первый случай, въ *классической* странѣ сумашествія. Доказательствомъ этому служитъ то, что министры и архіереи, парламентскіе комитеты и съѣзды фабрикантовъ совѣщались съ нимъ. Успѣхъ New Lenark'a увлекъ всѣхъ: ни одинъ государственный человѣкъ, ни одинъ ученый, не уѣзжалъ изъ Англіи, не сдѣлавши поѣздки къ Оуэну; даже (какъ мы видѣли) самъ Николай Павловичъ былъ у него и хотѣлъ сманить его въ Россію, а сына его въ военную службу. Толпы народа наполняли корридоры и сѣни залъ, гдѣ Оуэнъ читалъ свои рѣчи. Но Оуэнъ своей дерзостью, разомъ, въ четверть часа уничтожилъ эту колосальную популярность, основанную на колосальномъ непониманіи того, что онъ говорилъ, видя это, онъ поставилъ точку на і, и притомъ на самое опасное і.

Это случилось 21-го Августа 1817 года. Протестантскіе святоши, самые неотвязчивые и клейко-скучные давно надоѣдали ему. Оуэнъ, сколько могъ, откланялъ пренія съ ними; но они не давали ему покоя. Какой-то инквизиторъ и бумажныхъ дѣлъ фабрикантъ, Филипсъ, дошелъ въ своемъ церквобѣсіи до того, что въ комитетѣ парламента, вдругъ, ни къ селу, ни къ городу, середь дѣльныхъ преній, присталъ къ Оуэну съ допросомъ, во что онъ вѣритъ и во что не вѣритъ?

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать бумажныхъ дѣлъ фабриканту какими нибудь тонкостями, какъ Фаустъ отвѣчаетъ Гретхенъ, ex linen draper Оуэнъ предпочелъ отвѣчать съ высоты трибуны, передъ огромнѣйшимъ стеченіемъ народа, на публичномъ митингѣ *въ Англіи, въ Лондонѣ, въ Сити, въ* London Tavern! Онъ, по сю сторону Темпль-бара, возлѣ каѳедральнаго зонтика, подъ

которымъ лѣпится старый городъ, въ сосѣдствѣ Гога и Магога, въ виду Уайтъ-Голль и свѣтской каѳедральной синагоги Банка, — объявилъ прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствіе къ гармоническому развитію новаго общежитія людей—*Религія*. „Нелѣпости изувѣрства сдѣлали изъ человѣка слабаго, одурѣлаго звѣря, безумнаго фанатика, ханжу или лицемѣра. Съ существующими религіозными понятіями, заключилъ Оуэнъ, не только не устроишь предполагаемыхъ имъ общинныхъ деревень, но съ ними рай не долго устоялъ бы раемъ."

Оуэнъ былъ до того увѣренъ, что этотъ актъ „безумія" былъ актомъ *честности и апостольства*, необходимымъ послѣдствіемъ его ученія, что обнародовать свое мнѣніе заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что черезъ *тридцать пять лѣтъ* онъ писалъ: „это величайшій день въ моей жизни, я исполнилъ свой долгъ!"

Нераскаянный грѣшникъ былъ этотъ Оуэнъ! За то ему и досталось!

„Оуэна, говоритъ Westminster Review, не разорвали на части за это: время физической мести въ дѣлахъ религіи прошло. Но никто, даже и нынѣ, *не можетъ безнаказанно оскорблять дорогіе намъ предразсудки!*"

Англійскіе попы, въ самомъ дѣлѣ, не употребляютъ больше хирургическихъ средствъ, хотя другими, болѣе духовными, не брезгаютъ. „Съ этой минуты, говоритъ авторъ статьи, Оуэнъ опрокинулъ на себя страшную ненависть духовенста, и съ этого митинга начинается *длинная перечень его неудачъ, сдѣлавшая смѣшными сорокъ послѣднихъ лѣтъ его жизни*, He wat not a martyr, but he was an outlaw!

Я думаю, довольно. Westminstr Review можно поло-

жить на мѣсто; я ему очень благодаренъ, онъ мнѣ такъ живо напомнилъ не только святаго старца, но и среду, въ которой онъ жилъ. Обратимся къ дѣлу, т. е. къ самому Оуэну и его ученію.

Одно прибавлю я, прощаясь съ неумытнымъ критикомъ и съ другимъ біографомъ Оуэна, тоже неумытнымъ, менѣе строгимъ, но не менѣе солиднымъ, что, не будучи вовсе завистливымъ человѣкомъ, я завидую имъ отъ всей души. Я далъ бы дорого за ихъ невозмущаемое сознаніе своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своимъ пониманіемъ, за ихъ иногда уступчивую, всегда справедливую, а подъ часъ слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная увѣренность и въ своемъ знаніи, и въ томъ, что они и умнѣе, и практичнѣе Оуэна, что будь у нихъ его энергія и его деньги, они бы не надѣлали такихъ глупостей, а были бы богаты, какъ Ротшильдъ, и министры, какъ Пальмерстонъ!

II.

Р. Оуэнъ назвалъ одну изъ статей, въ которыхъ онъ излагалъ свою систему an attempt to change this lunatic asylum into a rational world. *)

Одинъ изъ біографовъ Оуэна по этому случаю разсказываетъ, какъ какой-то безумный, содержавшійся въ больницѣ, говорилъ: „Весь свѣтъ меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свѣтъ считаю такимъ же; бѣда моя въ томъ, что *большинство* со стороны всего свѣта.“

Это пополняетъ заглавіе Оуэна и бросаетъ яркій

*) Опытъ измѣнить сумашедшій домъ общественнаго устройства въ раціональный.

свѣтъ на все. Мы увѣрены, что біографъ не разсудилъ, *на сколько беретъ и какъ далеко бьетъ* его сравненіе. Онъ только хотѣлъ намекнуть на то, что Оуэнъ былъ сумашедшій, и мы спорить объ этомъ не станемъ... но съ чего же онъ *весь свѣтъ-то считаетъ умнымъ*—этого мы не понимаемъ.

Оуэнъ, если былъ сумашедшимъ, то вовсе не потому, что его свѣтъ считалъ такимъ и онъ ему платилъ той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живетъ въ домѣ умалишенныхъ и окруженъ больными, онъ *шестдесятъ лѣтъ* говорилъ съ ними, какъ съ здоровыми.

Число больныхъ тутъ ничего не значитъ, умъ имѣетъ свое оправданіе, не въ большинствѣ голосовъ, а въ своей логической самозаконности. И если вся Англія будетъ убѣждена, что такой-то medium призываетъ духи умершихъ, а одинъ Фаредей скажетъ, что это вздоръ, то истина и умъ будутъ съ его стороны, а не со стороны всего англійскаго населенія. Еще больше, если и Фаредей не будетъ этого говоритъ, тогда истина объ этомъ предметѣ совсѣмъ существовать не будетъ, какъ сознанная, но, тѣмъ не меньше, единогласно принятая цѣлымъ народомъ нелѣпость — все же будетъ нелѣпость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, въ лжи или въ истинѣ, а потому, что оно сильно, и потому что ключи отъ Бедлама у него въ рукахъ.

Сила не заключаетъ въ своемъ понятіи сознательности, какъ необходимаго условія, напротивъ, она тѣмъ непреодолимѣе—чѣмъ безумнѣе, тѣмъ страшнѣе—чѣмъ безсознательнѣе. Отъ поврежденнаго человѣка можно спастись, отъ стада бѣшеныхъ волковъ труднѣе, а пе-

редъ безсмысленной стихіей человѣку остается сложить руки и погибнуть.

Поступокъ Оуэна, поразившій ужасомъ Англію 1817 года, не удивилъ бы въ 1617 родину Ванини и Джордана Бруно, не скандализировалъ бы въ 1717 ни Германію, ни Францію, а Англія не можетъ черезъ полвѣка вспомнить объ немъ безъ раздраженія. Можетъ быть, гдѣ нибудь въ Испаніи, монахи взбунтовали бы противъ него дикую чернь, или инквизиціонные алгвазилы посадили бы его въ тюрьму, сожгли бы на кострѣ; но очеловѣченная часть общества была бы за него...

Развѣ Гёте и Фихте, Кантъ и Шиллеръ, наконецъ Гумбольдъ въ наше время, и Лессингъ сто лѣтъ тому назадъ, скрывали свой образъ мыслей или имѣли безсовѣстность проповѣдывать шесть дней въ недѣлю въ академіяхъ и книгахъ свою философію, а на седьмой фарисейски слушать предику и морочить толпу, la plèbe, своимъ благочестивымъ христіанствомъ?

Во Франціи то же самое, ни Вольтеръ, ни Руссо, ни Дидро, ни всѣ энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лапласъ, ни Контъ, не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговейно передъ „дорогими предразсудками,“ и это ни на одну іоту не унизило, не умалило ихъ значенія.

Политически порабощенный материкъ нравственно свободнѣе Англіи; масса идей и сомнѣній, находящихся въ оборотѣ, гораздо обширнѣе; къ ней привыкли, общество не трепещетъ ни страхомъ, ни негодованіемъ передъ свободнымъ человѣкомъ —

Wenn er die Kette bricht.

Люди материка безпомощны передъ властью, выносятъ цѣпи, но не уважаютъ ихъ. Свобода англичанина больше въ учрежденіяхъ, чѣмъ въ немъ, чѣмъ въ его

совѣсти; его свобода въ common law, въ habeas corpus, а не въ нравахъ, не въ образѣ мыслей. Передъ общественнымъ предразсудкомъ гордый Бритъ склоняется безъ ропота, съ видомъ уваженія. Само собою разумѣется, что вездѣ, гдѣ есть люди, тамъ лгутъ и притворяются; но не считаютъ откровенности порокомъ, не смѣшиваютъ смѣло высказанное убѣжденіе мыслителя съ неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своимъ паденіемъ; но не подымаютъ лицемѣрія на степень общественной и притомъ обязательной добродѣтели.*)

Конечно, ни Давидъ Юмъ, ни Гиббонъ не лгали на себя мистическихъ вѣрованій. Но Англія, слушавшая Оуэна въ 1817 г., была не та, во времени и *въ глубинѣ*. Ценсъ пониманья расширился и не былъ больше ограниченъ отборнымъ вѣнкомъ образованныхъ аристократовъ и литераторовъ. Съ другой стороны, она лѣтъ пятнадцать просидѣла въ селюлярной тюрьмѣ, запертая въ нее Наполеономъ, и съ одной стороны выдвинулась изъ потока идей, а съ другой, жизнь вдвинула впередъ огромное большинство мѣщанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. Въ новой Англіи люди, какъ Байронъ и Шеллей, бродятъ иностранцами, одинъ проситъ у вѣтра нести его куда нибудь, только не на родину, у другаго судьи, съ помощью обезумѣв-

*) Въ нынѣшнемъ году мирный судья Темпль не принялъ показанія одной женщины изъ Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной формѣ, говоря, что не вѣритъ въ наказанія на томъ свѣтѣ. Трелоне (сынъ извѣстнаго пріятеля Байрона и Шеллея) спрашивалъ 12 Февраля въ парламентѣ министра внутреннихъ дѣлъ, какія мѣры онъ предполагаетъ взять, въ отстраненіи такихъ отводовъ? Министръ отвѣчалъ, *что никакихъ*. Подобные случаи повторялись много разъ, напр., съ извѣстнымъ публицистомъ Голіокомъ. Лгать присягой дѣлается необходимостью.

шей отъ изувѣрства семьи, обираютъ дѣтей, потому что онъ не вѣритъ въ бога.

И такъ, нетерпимость противъ Оуэна не даетъ никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его ученія; она только даетъ мѣру безумія, т. е. нравственной несвободы Англіи и въ особенности того слоя, который ходитъ по митингамъ и пишетъ журнальныя статейки.

Умъ количественно всегда долженъ будетъ уступить, онъ *на вѣсъ* всегда окажется слабѣйшимъ, онъ, какъ сѣверное сіяніе, свѣтитъ далеко, но едва существуетъ. Умъ послѣднее усиліе, вершина, до которой развитіе не часто доходитъ, оттого-то онъ мощенъ, но не устоитъ противъ кулака. Умъ, какъ сознаніе, можетъ вовсе не быть на земномъ шарѣ; онъ едва родился въ сравненіи съ маститыми Альпійскими старцами, свидѣтелями и участниками геологическихъ революцій. Въ до-человѣческой, въ около-человѣческой природѣ нѣтъ ни ума, ни глупости, а необходимость условій, отношеній и послѣдствій. Умъ мутно глядитъ въ первый разъ молочнымъ взглядомъ животнаго, онъ медленно мужаетъ, выростаетъ изъ своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнью рода человѣческаго. Стремленіе пробиться къ уму, изъ инстинкта, постоянно является вслѣдъ за сытостью и безопасностью; такъ что въ какую бы минуту мы ни остановили людское сожитіе, мы поймаемъ его на этихъ усиліяхъ, достигнуть ума изъ подвласти безумія. Пути впередъ не назначено, его надобно прокладывать; исторія, какъ поэма Аріоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, съ тѣмъ тревожнымъ безпокойствомъ, которое уже безцѣльно волнуетъ обезъяну и котораго почти совсѣмъ нѣтъ у нпзшихъ звѣрей, этихъ довольныхъ животнаго царства.

Слово Iunatic asylum, Оуэнъ, само собою разумѣется, употребилъ comme une manière de dire. Государства не домы сошедшихъ съ ума, а домы не *взошедшихъ въ умъ*. Практически, впрочемъ, онъ могъ употребить это выраженіе... не дѣлая ошибки. Ядъ или огонь въ рукахъ трехлѣтняго ребенка также страшенъ, какъ въ рукахъ тридцатилѣтнаго сумашедшаго. Разница въ томъ, что безуміе одного — состояніе патологическое, другого— степень развитія, состояніе эмбріогеническое. Устрица представляетъ ту степень развитія организма, на которой животное *еще не имѣетъ* ногъ, она фактически *безногая*, но вовсе не такъ, какъ звѣрь, у котораго ноги отняты. Мы знаемъ (но устрица этого не знаетъ), что при хорошихъ обстоятельствахъ органическія попытки дойдутъ до ногъ и до крыльевъ, и смотримъ на неразвитыя формы молюска, какъ на одну изъ растущихъ прибывающихъ волнъ прилива, въ то время, какъ форма искаженная возвращается съ отливомъ въ стихійный океанъ, и составляетъ частный случай смерти или агоніи.

Оуэнъ, убѣдившись, что организму въ тысячу разъ удобнѣе имѣть ноги, руки, крылья, чѣмъ постоянно дремать въ раковинѣ; понимая, что изъ тѣхъ же самыхъ бѣдныхъ, но уже *существующихъ* частей организма, есть возможность развить эти оконечности, — до того увлекся, что вдругъ сталъ проповѣдывать устрицамъ, чтобъ они взяли свои раковины и пошли за нимъ. Устрицы обидѣлись и сочли его *анти-молюскомъ*, т. е. безнравственнымъ въ смыслѣ раковинной жизни и прокляли его.

... „Характеръ человѣка существенно опредѣляется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество можетъ легко* такъ устроить, чтобъ

онѣ способствовали наилучшему развитію умственныхъ и практическихъ способностей, сохраняя притомъ все безконечное разнообразіе личностей и соображаясь съ многоразличіемъ физической и умственной натуры."

Все это понятно и надобно имѣть рѣдкую степень тупоумія, чтобъ возражать на этотъ тезисъ Оуэна. Да на него, замѣтьте, никто и не возражаетъ. Возраженіе, большинствомъ, не отвѣтъ, а насиліе; возраженіе, что это безнравственно или не согласно съ такой-то традиціонной религіей или съ иной, тоже не опроверженіе. Въ худшемъ случаѣ, такіе отвѣты могутъ только доказать *двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вредъ правды.* Истина не подлежитъ этому суду, ея критеріумъ не тутъ.

Ахиллова пята Оуэна не въ ясныхъ и простыхъ основаніяхъ его ученія, а въ томъ, что онъ думалъ, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая такъ, онъ впалъ въ святую ошибку любви и нетерпѣнія, въ которую впадали всѣ преобразователи и предтечи переворотовъ отъ Іисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сенъ Симона и Фурье.

Хроническое *недоуміе* въ томъ и состоитъ, что люди, подъ вліяніемъ историческаго преломленія лучей и разныхъ нравственныхъ паралаксовъ, всего меньше понимаютъ *простое*, а готовы вѣрить и еще больше *вѣрить, что понимаютъ* вещи очень сложныя и совершенно непонятныя, но традиціонныя, привычныя и соотвѣтствующія дѣтской фантазіи... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухомъ положительно проще дышать чѣмъ водой, но для этого надобно имѣть легкія; а гдѣ же имъ развиться у рыбъ, которымъ нуженъ сложный дыхательный снарядъ, чтобъ достать немного кислорода изъ воды. Среда имъ не позволяетъ, ихъ не вызываетъ

на развитіе легкихъ, она слишкомъ густа и иначе составлена, чѣмъ воздухъ. Нравственная густота и составъ, въ которомъ выросли слушатели Оуэна, обусловила у нихъ свои *духовныя* жабры, дышать болѣе чистой и рѣдкой средой должно было произвести боль и отвращеніе.

Не думайте, что тутъ только внѣшнее сравненіе, тутъ истинная аналогія одинакихъ явленій, въ разныхъ возрастахъ и разныхъ слояхъ.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте — кому? Той толпѣ, которая наполняетъ до давки колосальный трансцептъ кристальнаго дворца, слушая съ жадностью и рукоплесканіемъ проповѣди какого-то плоскаго средневѣковаго бакалавра, попавшаго, не знаю какъ, въ нашъ вѣкъ и обѣщающаго толпѣ кары небесныя и бѣдствія земныя на вульгарномъ языкѣ шиллеровскаго капуцина въ Wallenstein's Lager?

Для нихъ не легко!

Люди отдаютъ долю своего достоянія и своей воли, подчиняются всякаго рода властямъ и требованіямъ, вооружаютъ цѣлыя толпы тунеядцевъ, строятъ суды, тюрьмы и стращаютъ висѣлицей, строютъ церкви и стращаютъ адомъ. Словомъ, дѣлаютъ все такъ, чтобъ куда человѣкъ ни обернулся, передъ его глазами былъ бы или палачъ земной, или палачъ небесный, одинъ съ веревкой, готовый все кончить, другой съ огнемъ, готовый жечь всю вѣчность. Цѣль всего этого сохранить общественную безопасность отъ дикихъ страстей и преступныхъ покушеній, какъ нибудь удержать въ руслѣ общественной жизни необузданныя покушенія вырваться изъ него.

А тутъ является чудакъ, который прямо и просто говоритъ, да еще съ какой-то обидной наивностью, *что*

все это вздоръ, что человѣкъ вовсе не преступникъ par le droit de naissance, что онъ такъ же мало отвѣчаетъ за себя, какъ и другіе звѣри и, какъ они, суду не подлежитъ, *а воспитанію очень*. И это не все, онъ передъ лицомъ судей и поповъ, имѣющихъ единственнымъ основаніемъ, единственной достаточной причиной своего существованія, грѣхопаденіе, наказаніе и отпущеніе, всенародно объявляетъ: что человѣкъ не самъ творитъ свой характеръ, что стоитъ его поставить со дня рожденія въ такія обстоятельства, чтобъ онъ могъ быть не мошенникомъ, такъ онъ и будетъ, такъ себѣ, хорошій человѣкъ. А теперь общество рядомъ нелѣпостей наводитъ его на преступленіе, а люди наказываютъ не общественное устройство, *а лицо*.

И Оуэнъ воображалъ, что это *легко* понять?

Развѣ онъ не зналъ, что намъ легче себѣ вообразить кошку, повѣшенную за мышегубство, и собаку награжденную почетнымъ ошейникомъ, за оказанное усердіе, при поимкѣ укрывшагося зайца, чѣмъ ребенка не наказаннаго за дѣтскую шалость, не говоря уже о преступникѣ. Примириться съ тѣмъ, что мстить всѣмъ обществомъ преступнику мерзко и глупо, что цѣлымъ соборомъ дѣлать безопасно и хладнокровно столько же злодѣйства надъ преступникомъ, сколько онъ сдѣлалъ. подвергаясь опасности и подъ вліяніемъ страсти, отвратительно и безполезно, ужасно трудно, не но нашимъ жабрамъ! Рѣзко!

Въ боязливомъ упорствѣ массъ, въ тупомъ отстаиваніи стараго, въ консервативной цѣпкости ея, есть своего рода темное воспоминаніе, что висѣлица и покаяніе, смертная казнь и безсмертіе души, страхъ божій и страхъ власти, уголовная палата и страшный судъ, царь и жрецъ, что все это были нѣкогда огромные ша-

ги впередъ, огромныя ступени вверхъ, виликіе Errungenschaften, подмостки, по которымъ люди, выбиваясь изъ силъ, взбирались къ покойной жизни, комяги на которыхъ подплывали, сами не зная дороги къ гавани, гдѣ бы можно было отдохнуть отъ тяжелой борьбы со стихіями, отъ земляной и кровавой работы, можно было бы найти безтревожный досугъ и святую праздность, этихъ первыхъ условій прогресса, свободы, искуства и сознанія!

Чтобъ сберечь, этотъ дорого доставшійся покой, люди обставили свои гавани всякаго рода пугалами и дали своему царю въ руки палку, чтобъ погонять и защищать, а жрецу власть проклинать и благословлять.

Одолѣвшее племя естественно кабалило себѣ племя покоренное, и на его рабствѣ основывало свой досугъ, т. е. свое развитіе. Рабствомъ собственно началось государство, образованіе, человѣческая свобода. Инстинктъ самосохраненія навелъ на свирѣпые законы, необузданная фантазія додѣлала остальное. Преданія, переходя изъ рода въ родъ, покрывали больше и больше цвѣтными туманами начала, и подавляющій владыка, также какъ подавленный рабъ, склонялся съ ужасомъ передъ заповѣдями и вѣрилъ, что при блескѣ молніи и трескѣ грома ихъ диктовалъ Іегова на Синаѣ, или что они были внушены человѣку избранному, какимъ нибудь паразитнымъ духомъ, живущимъ въ его мозгу.

Если свести всѣ разнообразныя основы этихъ краеугольныхъ камней, на которыхъ выводились государства, на главныя начала, освобождая ихъ отъ фантастическаго, дѣтскаго, принадлежащаго къ возрасту, то мы увидимъ, что они постоянно одни и тѣ же, соприсносущи всякой церкви и всякому государству, декораціи и формы мѣняются, но начала тѣ же.

Дикая расправа царя звѣролова въ Африкѣ, который собственноручно прирѣзываетъ преступника, совсѣмъ не такъ далека отъ расправы судьи, довѣряющаго другому убійство. Дѣло въ томъ, что ни судья въ шубѣ, въ бѣломъ парикѣ, съ церомъ за ухомъ, ни голый африканскій царь, съ перомъ въ носу, и совершенно черный, не сомнѣваются, что они это дѣлаютъ для спасенія общества, и не только имѣютъ право въ иныхъ случаяхъ убивать, но и священный долгъ.

Нескладная безсмыслица, произносимая какимъ нибудь лѣснымъ заклинателемъ, и складный вздоръ, произносимый какимъ нибудь архіереемъ или первосвященникомъ, также похожи другъ на друга. Существенное не въ томъ, какъ кто ворожитъ и какихъ духовъ призываетъ, а въ томъ, допускаютъ ли они или нѣтъ, какой-то заграничный міръ котораго никто не видѣлъ, міръ, дѣйствующій безъ тѣла, разсуждающій безъ мозга, чувствующій безъ нервъ и имѣющій вліяніе на насъ, не только послѣ нашего перехода въ эѳирное состояніе, но и при теперешнемъ податномъ состояніи? Если допускаютъ — остальное оттѣнки и подробности: египетскіе боги съ собачьей мордой, и греческіе съ очень красивымъ лицемъ, богъ Авраама, богъ Іакова, богъ Іосифа Маццини, богъ Пьера Леру, это все тотъ же богъ, такъ ясно опредѣленный въ алкоранѣ: „богъ есть богъ.“

Чѣмъ развитѣе народъ, тѣмъ развитѣе его религія, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, чѣмъ религія дальше отъ фетишизма, тѣмъ она глубже и тоньше проникаетъ въ душу людей. Грубый католицизмъ и позолоченный византизмъ не такъ съуживаютъ умъ, какъ тощій протестантизмъ; а религія безъ откровенія, безъ церкви и съ притязаніемъ на логику, почти неискоренима изъ голо-

вы поверхностныхъ умовъ, равно не имѣющихъ ни довольно сердца, чтобъ вѣрить, ни довольно мозга, чтобъ разсуждать.*)

То же самое и въ юридической церкви. Царь звѣролововъ, исполняющій бердышемъ или топоромъ свой приговоръ, близокъ къ тому, что виновный или подсудимый, если у него бердышъ длиннѣе, предупредитъ его. Сверхъ того, юристъ съ перомъ въ носу, вѣроятно будетъ казнить зря, по пристрастію, толпа будетъ роптать и наконецъ взбунтуется открыто или подчинится суду страдательно и безъ вѣры, какъ подчиняется человѣкъ

*) Нѣтъ той логической абстракціи, нѣтъ того собирательнаго имени, нѣтъ того неизвѣстнаго начала или неизслѣдованной причины, которая не побывала бы, хоть на короткое время, божествомъ или святыней. Иконоборцы раціонализма, сильно ратующіе противъ кумировъ, съ удивленіемъ видятъ, что по мѣрѣ того, какъ они сбрасываютъ однихъ съ пьедесталей, на нихъ являются другіе. А по большей части они и не удивляются, потому ли, что вовсе не замѣчаютъ. или сами ихъ принимаютъ за истинныхъ боговъ.

Естествоиспытатели, хвастающіеся своимъ матеріализмомъ, толкуютъ о какихъ-то впередъ задуманныхъ планахъ природы, о ея цѣляхъ и ловкомъ избраніи средствъ; ничего не поймешь, какъ будто natura sic voluit яснѣе fiat lux? Это фатализмъ въ *третьей* степени, въ кубѣ, на первой кипитъ кровь Януарія, на второй — орошаются поля дождемъ по молитвѣ, на третьей — открываются тайные замыслы химическаго процесса, хвалятся экономическія способности жизненной силы, заготовляющей желтки для зародышей и т. п. Какъ ни смѣшны *протестанскія* статьи, издѣвающіяся надъ кипѣніемъ крови св. Януарія, помѣшаемыя рядомъ съ молитвами архіереевъ о снабженіи такой-то страны дождемъ или засухой, какъ будто кипятить кровь въ католической склянкѣ труднѣе для Бога, чѣмъ мочить и сушить по надобности протестантскія поля,— но тутъ иной разъ проглядываетъ наивная глупость, и потому онѣ ничего не значатъ въ сравненіи съ благочестивой риторикой, которую мы безпрестанно находимъ въ физіологическихъ или геологическихъ лекціяхъ и трактатахъ, въ которыхъ естествоиспытатель съ умиленіемъ толкуетъ о благости провидѣнія, снабдившаго птицъ крыльями, безъ которыхъ бѣдняжки бы попадали и расшиблись въ прахъ и проч.

чумѣ или наводненію. Но тамъ, гдѣ нѣтъ лицепріятія, гдѣ судъ честенъ, т. е. вѣренъ своимъ началамъ, что вовсе не мѣшаетъ началамъ быть невѣрными, тамъ онъ становится вдвое незыблемѣе, и никто не сомнѣвается въ немъ, не исключая самаго паціента, который печально отправляется на висѣлицу, увѣренный, что такъ и надобно, что они дѣло дѣлаютъ, вѣшая его.

Сверхъ страха воли, того страха, который дѣти чувствуютъ, начиная ходить безъ помочей, сверхъ привычки къ этимъ поручнямъ, облитымъ пòтомъ и кровью, къ этимъ ладьямъ, сдѣлавшимся ковчегами спасенія, въ которыхъ народы пережили не одинъ черный день, есть еще сильные контрфорсы, поддерживающіе ветхое зданіе. Неразвитость массъ, неумѣющихъ понимать, съ одной стороны, и корыстный страхъ, съ другой, мѣшающій понимать меньшинству, долго продержутъ на ногахъ старый порядокъ. Образованныя сословія, противно своимъ убѣжденіямъ, готовы сами ходить на веревкѣ, лишь бы не спускали съ нея толпу.

Оно и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ безопасно.

Внизу и вверху разные календари. На верху XIX вѣкъ, а внизу развѣ XV, да и то не въ самомъ внизу, тамъ уже Готентоты и Кафры различныхъ цвѣтовъ, породъ и климатовъ.

Если въ самомъ дѣлѣ подумать объ этой цивилизаціи, которая осѣдаетъ лаццаронами и лондонской чернью, людьми свернувшими съ пол-дороги и возвращающимися къ состоянію лемуровъ и обезъянъ, въ то время, какъ на вершинахъ ея цвѣтутъ бездарные Меровинги всѣхъ династій, и щедушные астеки всѣхъ аристократій—дѣйствительно голова закружится. Вообразите себѣ этотъ звѣринецъ на волѣ, безъ церкви, безъ инквизиціи и суда, безъ попа, царя и палача?

Оуэнъ считалъ ложью, т. е. отжившей правдой, вѣковыя твердыни теологіи и юриспруденціи, и это понятно; но когда онъ подъ этимъ предлогомъ требовалъ, чтобъ они сдались, онъ забылъ храбрый гарнизонъ, защищающій крѣпость. Ничего въ мірѣ нѣтъ упорнѣе трупа, его можно убить, разбить на части, но убѣдить нельзя. Къ тому же, на нашемъ Олимпѣ сидятъ уже не сговорчивые, не разгульные боги Греціи, которымъ, по словамъ Лукьяна, пока они придумывали мѣры противъ атеизма, пришли доложить, что дѣло ихъ проиграно и что въ Аѳинахъ доказали, что *ихъ* нѣтъ, а они поблѣднѣли, улетучились и исчезли. Греки, люди и боги были проще. Греки вѣрили вздору, играли въ мраморныя куклы изъ дѣтской артистической потребности, а мы изъ *процентовъ*, изъ барышей поддерживаемъ іезуитовъ и old shop: въ обузданіе народа и обезпеченіе эксплуатацій его. Какая же логика тутъ возьметъ?

Это приводитъ насъ къ вопросу, не о томъ, правъ или не правъ Р. Оуэнъ, а о томъ, *совмѣстны ли вообще разумное сознаніе и нравственная независимость съ государственнымъ бытомъ?*

Исторія свидѣтельствуетъ, что общества постоянно достигаютъ разумной аутономіи, но свидѣтельствуетъ также, что они остаются въ нравственной неволѣ. Разрѣшимы эти вопросы или нѣтъ, сказать трудно; ихъ не рѣшишь съ плеча, особенно одной любовью къ людямъ и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всѣхъ сферахъ жизни, мы наталкиваемся на неразрѣшимыя антиноміи, на эти ассимптоты, вѣчно стремящіяся къ своимъ гиперболамъ, никогда не совпадая съ ними. Это крайнія грани, между которыми

колеблется жизнь, движется и утекаетъ, касаясь то того берега, то другаго.

Появленіе людей протестующихъ противъ общественной неволи и неволи совѣсти — не новость; они являлись обличителями и пророками, во всѣхъ сколько нибудь назрѣвшихъ цивилизаціяхъ, особенно, когда онѣ старѣли. Это высшій предѣлъ, *перехватывающая личность*, явленіе исключительное и рѣдкое, какъ геній, какъ красота, какъ необыкновенный голосъ. Опытъ не доказываетъ, чтобъ ихъ утопіи были осуществляемы.

У насъ передъ глазами страшный примѣръ. Съ тѣхъ поръ, какъ родъ человѣческій запомнитъ себя, не встрѣчалось никогда такого стеченія счастливыхъ обстоятельствъ для разумнаго и свободнаго развитія государственнаго, какъ въ Сѣверной Америкѣ; все мѣшающее на истощенной, исторической почвѣ, или на почвѣ, вовсе невоздѣланной — отсутствовало. Ученіе великихъ мыслителей и революціонеровъ XVIII вѣка, — безъ французской военщины; англійскій common law — безъ кастъ, легли въ основу ихъ государственнаго быта. Чего же больше? Все, о чемъ мечтала старая Европа: республика, демократія, федерація, самозаконность каждаго клочка и — едва связывающій общій правительственный поясъ съ слабымъ узломъ въ серединѣ.

Что же вышло изъ всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую власть; самъ народъ исполняетъ должность Николая Павловича, III-го отдѣленія и палача; народъ, объявившій восемьдесятъ лѣтъ тому назадъ „права человѣка,“ распадается изъ за „права сѣчь.“ Преслѣдованія и гоненія въ Южныхъ Штатахъ, по-

ставившихъ на своемъ знамени слово *Рабство*, такъ какъ нѣкогда Николай ставилъ на своемъ слово *Самодержавіе*, — за образъ мыслей и слова, не уступаютъ въ гнусности тому, что дѣлалъ неаполитанскій король и вѣнскій императоръ.

Въ Сѣверныхъ Штатахъ „рабство“ не возведено въ догматъ религіи; но каковъ уровень образованія и свободы совѣсти въ странѣ, бросающей счетную книгу только для того, чтобъ заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, въ странѣ, хранящей всю нетерпимость пуританъ и квекеровъ!

Въ формахъ, болѣе мягкихъ, мы тожо встрѣчаемъ въ Англіи и въ Швеціи. Чѣмъ страна свободнѣе отъ правительственнаго вмѣшательства, чѣмъ больше признаны ея права на слово, на независимость совѣсти — тѣмъ нетерпимѣе дѣлается толпа, общественное мнѣніе становится застѣнкомъ; вашъ сосѣдъ, вашъ мясникъ, вашъ портной, семья, клубъ, приходъ держатъ васъ подъ надзоромъ и исправляютъ должность квартальнаго. Неужели только народъ, не способный къ *внутренней* свободѣ, можетъ достигнуть свободныхъ учрежденій? или не значитъ ли это наконецъ, что государство развиваетъ постоянно потребности и идеалы, достиженіе которыхъ исполняютъ дѣятельностью лучшіе умы, но которыхъ осуществленіе несовмѣстимо съ государственной жизнью?

Мы не знаемъ рѣшенія этого вопроса; но считать его рѣшенымъ не имѣемъ права. Исторія до сихъ поръ его рѣшаетъ однимъ образомъ; нѣкоторые мыслители, и въ томъ числѣ Р. Оуэнъ, иначе. Оуэнъ *вѣритъ* несокрушимой вѣрой мыслителей XVIII-го столѣтія (прозваннаго вѣкомъ безвѣрія), что человѣчество наканунѣ своего торжественнаго облеченія въ вирильную тогу. А намъ

кажется, что всѣ опекуны и пастухи, дядьки и мамки могутъ спокойно ѣсть и спать на счетъ недоросля. Какой бы вздоръ народы ни потребовали, *на нашемъ вѣку* они не потребуютъ право совершеннолѣтія. Человѣчество еще долго проходитъ съ отложными воротничками à l'enfant.

Причинъ на это бездна. Для того, чтобъ человѣку образумиться и придти въ себя, надобно быть гигантомъ; да наконецъ и никакія колоссальныя силы не помогутъ пробиться, если бытъ общественный такъ хорошо и прочно сложился, какъ въ Японіи или Китаѣ. Съ той минуты, когда младенецъ, улыбаясь, открываетъ глаза у груди своей матери, до тѣхъ поръ, пока, примирившись съ совѣстью и богомъ, онъ также спокойно закрываетъ глаза, увѣренный, что, пока онъ соснетъ, его перевезутъ въ обитель, гдѣ нѣтъ ни плача, ни воздыханія — все такъ улажено, чтобъ онъ не развилъ ни одного простаго понятія, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Онъ съ молокомъ матери сосетъ дурманъ; никакое чувство не остается не искаженнымъ, не сбитымъ съ естественнаго пути. Школьное воспитаніе продолжаетъ то, что сдѣлано дома, оно обобщаетъ оптическій обманъ, книжно упрочиваетъ его, теоретически узакониваетъ традиціонный хламъ и пріучаетъ дѣтей къ тому, чтобъ они *знали, не понимая*, и принимали бы *названія за опредѣленія.*

Сбитый въ понятіяхъ, запутанный словами, человѣкъ теряетъ чутье истины, вкусъ природы. Какую же надобно имѣть силу мышленія, чтобъ заподозрить этотъ нравственный чадъ и уже съ круженіемъ головы броситься изъ него на чистый воздухъ, которымъ въ добавокъ стращаютъ всѣ вокругъ! На это Оуэнъ отвѣ-

чалъ бы, что онъ именно потому и начиналъ свое соціальное перерожденіе людей, не съ фаланстера, не съ Икаріи, а со школы; со школы, въ которую онъ бралъ дѣтей съ двухлѣтняго возраста и меньше.

Оуэнъ былъ правъ, и еще больше, онъ практически доказалъ, что *онъ былъ правъ*, передъ New Lanark'омъ противники Оуэна молчатъ. Этотъ проклятый New Lanark вообще костью стоитъ въ горлѣ людей, постоянно обвиняющихъ соціализмъ въ утопіяхъ и въ неспособности что нибудь осуществить на практикѣ. „Что сдѣлалъ Консидеранъ съ Брейсбеномъ, что монастырь Сито, что портные въ Клиши и Banque du peuple Прудона?“ Но противъ блестящаго успѣха New Lanark'а сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды,все выходило съ удивленіемъ и благоговѣніемъ изъ школы. Докторъ герцога Кентскаго, скептикъ, говорилъ о Lanark'ѣ съ улыбкой. Герцогъ, другъ Оуэна, совѣтовалъ ему съѣздить самому въ New Lanark. Вечеромъ докторъ пишетъ герцогу: „отчетъ я оставляю до завтра; я такъ взволнованъ и тронутъ тѣмъ, что̀ видѣлъ, что не могу еще писать; у меня нѣсколько разъ навертывались слезы на глазахъ.“ На этомъ торжественномъ признаніи я и жду моего старика. И такъ, онъ доказалъ свою мысль на дѣлѣ — онъ былъ правъ. Пойдемте далѣе.

New Lanark былъ на вершинѣ своего благосостоянія. Неутомимый Оуэнъ, не смотря ни на лондонскія поѣздки, ни на митинги, ни на безпрерывныя посѣщенія всѣхъ знаменитостей Европы, даже, какъ мы сказали, самаго Николая Павловича — съ той же дѣятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостояніемъ работниковъ, между которыми развивалъ общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, онъ обанкротился? Учители перессорились, дѣти избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатѣли, школа процвѣтала. Но однимъ добрымъ утромъ въ эту школу взошли какіе-то два черныхъ шута, въ низенькихъ шляпахъ, въ намѣренно дурно сшитыхъ сертукахъ: это были двое квекеровъ, такіе же собственники New Lanark'а, какъ и самъ Оуэнъ. Насупили они брови, видя веселыхъ дѣтей, нисколько не горюющихъ о грѣхопаденіи; ужаснулись, что маленькіе мальчики безъ панталонъ, и потребовали преподаваніе какого-то своего катихизиса. Оуэнъ сначала отвѣчалъ геніально: цифрой приращенія доходовъ. Ревность о господѣ успокоилась на время: такъ грѣховная цифра была велика. Но совѣсть квекеровъ проснулась опять, и они еще настоятельнѣе стали требовать, чтобы дѣтей не учили ни танцовать, ни *свѣтскому* пѣнію, а раскольничьему катихизису непремѣнно.

Оуэнъ, у котораго хоры, правильныя эволюціи и танцы играли важную роль въ воспитаніи, не согласился. Были долгія пренія; квекеры рѣшились, на этотъ разъ, упрочить свои мѣста въ раю и требовали введенія псалмовъ и какихъ-то штанишекъ дѣтямъ, ходившимъ по шотландски. Оуэнъ понялъ, что крестовый походъ квекеровъ на этомъ не остановится. „Въ такомъ случаѣ,“ сказалъ онъ имъ, „управляйте сами; я отказываюсь.“ Онъ не могъ иначе поступить.

„Квекеры,“ говоритъ біографъ Оуэна, „вступивъ въ управленіе New Lanark'омъ, начали съ того, что *уменьшили плату и увеличили число часовъ работы.*

New Lanark палъ.

Не надобно забывать, что успѣхъ Оуена раскрываетъ

еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бѣдный и подавленный работникъ, лишенный образованія, съ дѣтства пріученный къ пьянству и обману, къ войнѣ съ обществомъ, только сначала противодѣйствуетъ нововведеніямъ, и то изъ недовѣрія; но какъ только онъ убѣждается въ томъ, что перемѣна не во вредъ ему, что при ней и онъ не забытъ, онъ слѣдуетъ съ покорностью, потомъ съ довѣрчивой любовью.

Среда служащая тормазомъ не тутъ.

Гейнцъ, литературный холопъ Меттерниха, за обѣдомъ, во Франкфуртѣ, сказалъ Роберту Оуэну: „положимъ, что вы бы успѣли,—что же бы изъ этого вышло?“

— Очень просто — отвѣчалъ Оуэнъ—вышло бы то, что каждый былъ бы сытъ, хорошо одѣтъ, и получилъ бы дѣльное воспитаніе.

—Да вѣдь этого-то именно мы и не хотимъ, замѣтилъ Цицеронъ Вѣнскаго Конгресса. Гейнцъ, чего нѣтъ другаго, былъ откровененъ.

Съ той минуты какъ попы, лавочники догадались, что *потъшныя* роты работниковъ и учениковъ—дѣло очень серьезное, гибель New Lanark'a была неминуема.

И вотъ отчего паденіе небольшой шотландской деревушки, съ фабрикой и школой, имѣетъ значеніе историческаго несчастія. Развалины Оуэнскаго New Lanark'a наводятъ на нашу душу не меньше грустныхъ думъ, какъ нѣкогда другія развалины наводили на душу Марія; съ той разницей, что римскій изгнанникъ сидѣлъ на гробѣ старца и думалъ о суетѣ суетствій; а мы тоже думаемъ, сидя у свѣжей могилы младенца, много обѣщавшаго и убитаго дурнымъ уходомъ, и страхомъ— *что онъ потребуетъ наслѣдства!*

III

И такъ Р. Оуэнъ былъ правъ передъ разумомъ; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Имъ только недоставало *пониманья* со стороны слушавшихъ его.

— Это дѣло времени, когда нибудь люди поймутъ.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтобъ люди никогда не дошли до пониманья своихъ собственныхъ выгодъ.

— Однако до сихъ поръ было такъ; этотъ недостатокъ пониманья восполнялся церковью и государствомъ, т. е. двумя главнѣйшими препятствіями къ дальнѣйшему развитію. Это логическій кругъ, изъ котораго очень трудно выйти. Оуэнъ воображалъ, что достаточно людямъ указать на отжившую нелѣпость ихъ, чтобъ люди освободились—и ошибся. Нелѣпость ихъ, особенно церкви, очевидна; но это имъ нисколько не мѣшаетъ. Несокрушимая твердость ихъ основана не *на разумѣ, а на недостаткѣ его*, и потому они почти также мало зависятъ отъ критики, какъ горы, лѣса, скалы. Исторія развивалась нелѣпостями; люди постоянно стремились за бреднями — а достигали очень дѣйствительныхъ послѣдствій. На яву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небѣ, то небо на землѣ, а по дорогѣ пѣли свои вѣчныя пѣсни, украшали храмы своими вѣчными изваяніями, построили Римъ и Аѳины, Парижъ и Лондонъ. Одно сновидѣніе уступаетъ другому; сонъ становится *иногда* тоньше, но никогда не проходитъ. Люди принимаютъ все, вѣрятъ во все, покоряются всему и многимъ готовы жертвовать; но они съ ужасомъ отпрядываютъ, когда между двумя религіями въ рас-

крытую щель, въ которую проходитъ дневной свѣтъ, дунетъ на нихъ свѣжій вѣтеръ разума и критики. Еслибъ напр. Р. Оуэнъ хотѣлъ исправить англиканскую церковь, ему также бы удалось, какъ унитаріямъ, квекерамъ, и не знаю кому. Перестроивать церковь, ставить алтарь за перегородку, или безъ перегородки, вынести образа, или принесть ихъ еще больше—это все можно, и тысячи пойдутъ за реформаторомъ; но Оуэнъ хотѣлъ вести *вонъ* изъ церкви, тутъ sta viator, тутъ рубежъ. До границы легко идти, труднѣйшее во всякой странѣ—это перейти ее; особенно когда самъ народъ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь исторіи, какъ только накапливалось немного образованія, попытки эти были; нѣсколько человѣкъ просыпались, протестовали противъ спящихъ, заявляли, что они на яву, но другихъ добудиться не могли. Появленіе ихъ доказываетъ, безъ малѣйшаго сомнѣнія, возможность человѣка развиваться до разумнаго пониманья. Но этимъ не разрѣшается нашъ вопросъ: можетъ ли это исключительное развитіе сдѣлаться общимъ? Наведеніе, которое намъ даетъ прошедшее, не въ пользу положительнаго рѣшенія. Развѣ будущее пойдетъ иначе, приведетъ иныя силы, иные элементы, которыхъ мы не знаемъ и которые перевернутъ, по плюсу или минусу, судьбы человѣчества или значительной части его. Открытіе Америки равняется геологическому перевороту; желѣзныя дороги, электрическій телеграфъ измѣнили всѣ человѣческія отношенія. То, чего мы не знаемъ, мы не имѣемъ права вводить въ нашъ разсчетъ; но, принимая всѣ лучшіе шансы, мы все же не предвидимъ, чтобъ люди скоро почувствовали потребность *здраваго смысла*. Развитіе мозга требуетъ своего времени. Въ природѣ нѣтъ торопливости; она

могла тысячи и тысячи лѣтъ лежать въ каменномъ обморкѣ и другія тысячи чирикать птицами, рыскать звѣрями по лѣсу, или плавать рыбой по морю. Историческаго бреда ей станетъ на долго; имъ же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной въ другихъ сферахъ.

Люди, которые поняли, что это сонъ, воображаютъ, что проснуться легко, сердятся на спящихъ, не соображая, что весь міръ ихъ окружающій не позволяетъ имъ проснуться. Жизнь проходитъ рядомъ оптическихъ обмановъ, искуственныхъ потребностей и мнимыхъ удовлетвореній.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тутъ Робертъ Оуэнъ поможетъ? Изъ вздора люди страдаютъ съ самоотверженіемъ, изъ вздора идутъ на смерть, изъ вздора убиваютъ другихъ. Въ вѣчной заботѣ, суетѣ, нуждѣ, тревогѣ, въ потѣ лица, въ трудѣ безъ отдыха и конца, человѣкъ даже и не наслаждается. Если ему досугъ отъ работы, онъ торопится свить семейныя сѣти, вьетъ ихъ совершенно случайно, самъ попадаетъ въ нихъ, стягиваетъ другихъ, и если не долженъ спасаться отъ голодной смерти—каторжной, нескончаемой работой, то начинаетъ ожесточенное преслѣдованіе жены, дѣтей, родныхъ или самъ преслѣдуется ими. Такъ люди гонятъ другъ друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, дѣлая ненавистными священнѣйшія связи. Когда же тутъ образумиться? Развѣ по другую сторону семьи, за ея гробомъ, когда человѣкъ все потерялъ, и энергію, и свѣжесть мысли, когда онъ ищетъ одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы цѣлаго муравейника, или одного муравья отдѣльно; вникните въ его до-

могательства и цѣли, въ его радости и горе, въ его понятія о добрѣ и злѣ, о *чести и позорѣ* — во все что онъ дѣлаетъ въ продолженіи всей жизни, съ утра до ночи; взгляните на что онъ посвящаетъ послѣдніе дни и чему жертвуетъ лучшими мгновеніями своей жизни— васъ обдастъ дѣтской, съ ея лошадками на колесахъ, съ блестками и фольгой, съ куклами, поставленными въ уголъ, и съ розгами, поставленными въ другой. Въ ребячьемъ лепетѣ слышится иной разъ проблескъ дѣла; но онъ теряется въ дѣтской разсѣянности. Остановиться, обдуматься нельзя — дѣла разстроишь, отстанешь, будешь затертъ; всѣ слишкомъ компрометировались и всѣ слишкомъ быстро несутся, чтобъ можно было остановиться, особенно передъ горстью людей, безъ пушекъ, безъ денегъ, безъ власти, *протестующихъ во имя разума,* не подтверждая даже своей истины чудесами.

Ротшильду, или Монтефіоре, *надобно* съ утра въ бюро, чтобъ начать капитализацію сотаго милліона; въ Бразиліи моръ, въ Италіи война, Америка распадается, все идетъ прекрасно; а тутъ, ему говорятъ о безотвѣтственности человѣка и о *иномъ* распредѣленіи богатствъ — разумѣется онъ не слушаетъ. Макъ-Магонъ дни, почи обдумывалъ, какъ вѣрнѣе, въ самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одѣтыхъ въ бѣлые мундиры, людьми одѣтыми въ красные штаны; истребилъ ихъ больше чѣмъ думалъ, всѣ его поздравляютъ, даже ирландцы, которые въ качествѣ папистовъ побиты имъ; а ему говорятъ, что война не только отвратительная нелѣпость но и преступленіе. Разумѣется, вмѣсто того, чтобъ слушать, онъ станетъ любоваться мечемъ, поднесеннымъ Ирландіей.

Въ Италіи, я былъ знакомъ съ однимъ старикомъ, главою богатаго банкирскаго дома. Разъ, поздно ночью,

мнѣ не спалось, я пошелъ гулять и возвращался, часу въ пятомъ утра, мимо его дома. Работники выкатывали изъ подваловъ боченки съ оливковымъ масломъ, для отправки моремъ. Старикъ банкиръ, въ тепломъ сертукѣ, стоялъ съ бумагой въ рукѣ, отмѣчая каждый боченокъ. Утро было свѣжо, онъ зябнулъ.

— Вы уже встали? сказалъ я ему.

— Я здѣсь больше часа, отвѣчалъ онъ, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли какъ въ Россіи.

— Что дѣлать, старъ становлюсь, силы отказываютъ.

— Пріятели-то ваши (т. е. его сыновья) спятъ еще, небось, — и пусть поспятъ пока старикъ еще живъ.

— А безъ собственнаго надзора нельзя. Я прежняго покроя человѣкъ, много наглядѣлся; пять революцій, amico mio, видѣлъ, возлѣ прошли; а я, за своей работой, все также: отпущу масло, пойду въ контору. Я и кофей тамъ пью, прибавилъ онъ.

— И такъ до самаго обѣда?

— До самаго обѣда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочемъ, скажу вамъ откровенно, тутъ много дѣлаетъ привычка. *Мнѣ скучно безъ дѣла.*

Не нынче-завтра онъ умретъ. Кто же будетъ масло отпускать, какъ пойдетъ домъ? думалъ я, оставивъ его. Развѣ, къ тѣмъ порамъ, старшій сынъ тоже сдѣлается человѣкомъ прежняго покроя, и тоже будетъ скучать безъ дѣла, и вставать въ четыре часа? Такъ и пойдетъ одна тысяча золотыхъ къ другой, до тѣхъ поръ, пока кто нибудь изъ династовъ и навѣрное самый лучшій проиграетъ все въ карты, или поднесетъ лореткѣ. — „Родители-то какіе были! скажутъ добрые люди, — они

отказывали во всемъ себѣ и другимъ тоже, и все копили про дѣтей. А вотъ блудный сынъ!...“

Ну гдѣжъ тутъ скоро добраться, сквозь эту толщу нелѣпости, до живаго мяса?

Этимъ людямъ, занятымъ службой, ажіотажемъ, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, — Р. Оуэнъ проповѣдывалъ другое употребленіе силъ и указывалъ имъ на нелѣпость ихъ жизни. Убѣдить ихъ онъ не могъ, а озлобилъ ихъ и опрокинулъ на себя всю нетерпимость непониманія. Одинъ разумъ долготерпѣливъ и милосердъ, потому что онъ понимаетъ.

Біографъ Р. Оуэна очень вѣрно судилъ, говоря, что онъ разрушилъ свое вліяніе, отрѣкаясь отъ религіи. Дѣйствительно, стукнувшись о церковную ограду, ему слѣдовало остановиться, а онъ перелѣзъ на другую сторону и остался тамъ одинъ одинехонекъ, провожаемый благочестивымъ ругательствомъ. Но намъ кажется, что рано или поздно, онъ точно также остался бы и за *другимъ черепкомъ* раковины—одинъ и outlaw!

Толпа только потому не освирѣпѣла на него съ самаго начала, что государство и судъ не такъ популярны, какъ церковь и алтарь. Но за право наказанія вступились бы, à la longue, люди получше подкованные чѣмъ богобѣснующіеся квекеры и фельетонные святоши.

О церковномъ ученіи и истинахъ катехизиса никто, уважающій себя, не споритъ, зная впередъ, что они не могутъ выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать *постное* зачатіе дѣвы Маріи, или увѣрять, что геологическія изслѣдованія Моисея сходны съ изслѣдованіями Мурчисона. Свѣтскія церкви *гражданскаго и уголовнаго суда* и догматы юридическаго катехизиса стоятъ гораздо тверже и пользуются, *впредь до*

разсмотрѣнія, правами доказанныхъ истинъ и незыблемыхъ аксіомъ.

Люди опрокинувшіе алтари не дерзали коснуться до зерцала. Анахарсисъ Клоцъ, Гебертисты, назвавшіе Бога по имени — Разумомъ, были также увѣрены во всѣхъ salus populi и другихъ гражданскихъ заповѣдяхъ, какъ средневѣковые попы въ каноническомъ правѣ и въ необходимости жечь колдуновъ.

Давно ли одинъ изъ сильнѣйшихъ, изъ самыхъ смѣлыхъ мыслителей нашего вѣка, для того, чтобъ нанести церкви послѣдній ударъ, секуляризовалъ ее въ трибуналъ, и вырывая изъ рукъ жрецовъ Исаака, приготовляемаго на закланіе богу, отдалъ его подъ судъ, т. е. на закланіе справедливости?

Вѣковой споръ, споръ тысячелѣтній о *волѣ и предопредѣленіи* не конченъ. Но одинъ Оуэнъ въ наше время сомнѣвался въ отвѣтственности человѣка за его поступки; слѣды того сомнѣнія мы найдемъ у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенауера, у натуралистовъ и у врачей, и, что всего важнѣе, у всѣхъ занимающихся статистикой преступленій. Во всякомъ случаѣ споръ не рѣшенъ, *но о томъ, что преступника наказывать справедливо, и, притомъ, по мѣрѣ преступленія, объ этомъ и спору нѣтъ*, это всякій самъ знаетъ!

Съ которой же стороны lunatic asylum?

„Наказаніе есть неотъемлемое право преступника," сказалъ самъ Платонъ.

— Жаль, что онъ самъ сказалъ этотъ каламбуръ, но впрочемъ мы не обязаны съ Аддисоновымъ Катономъ приговаривать ко всему: „ты правъ Платонъ, ты правъ" даже и тогда, когда онъ говоритъ, что „нашъ духъ не умираетъ".

Если быть выпоронному или повѣшенному составляетъ

право преступника, пусть же онъ самъ и предъявляетъ его, если оно нарушено. Права втѣснять не надобно.

Бентамъ называетъ преступника дурнымъ счетчикомъ; понятно, что кто обчелся, тотъ долженъ нести послѣдствія ошибки, но вѣдь это не право его. Никто не говоритъ, что если вы стукнулись лбомъ, то вы имѣете право на синее пятно, и нѣтъ особаго чиновника, который бы посылалъ фельдшера сдѣлать это пятно, если его нѣтъ. Спиноза еще проще говоритъ о могущей быть необходимости убить человѣка, мѣшающаго жить другимъ, „такъ какъ убиваютъ бѣшеную собаку“. Это понятно. Но юристы или такъ неоткровенны, или такъ забили свой умъ, что они казнь вовсе не хотятъ признать обороной или местью, а какимъ-то нравственнымъ вознагражденіемъ, „возстановленіемъ равновѣсія“. На войнѣ дѣла идутъ прямѣе: убивая непріятеля, солдатъ не ищетъ *его* вины, не говоритъ даже что это справедливо, а кто кого сможетъ, тотъ того и повалитъ.

— Но съ этими понятіями придется затворить всѣ суды.

— Зачѣмъ? дѣлали же изъ базиликъ приходскія церкви, не попробовать ли теперь ихъ отдать подъ приходскія школы?

— Съ этими понятіями о безнаказанности не устоитъ ни одно правительство.

— Оуэнъ могъ бы какъ первый *историческій* братъ на это отвѣчать: развѣ мнѣ было поручено упрочивать правительства?

— Онъ въ отношеніи правительствъ былъ очень уклончивъ и умѣлъ ладить съ коронованными головами, съ министрами тори и съ президентомъ американской республики.

— А развѣ онъ былъ дуренъ съ католиками или протестантами?

— Чтожъ вы думаете Оуэнъ былъ республиканецъ?

— Я думаю, что Р. Оуэнъ предпочиталъ ту *форму правительства*, которая наибольше соотвѣтствуетъ принимаемой имъ церкви.

— Помилуйте у него никакой нѣтъ церкви.

— Ну вотъ видите.

— Однако нельзя быть безъ правительства.

— Безъ сомнѣнія; хотъ какое нибудь дрянное да надобно. Гегель разсказываетъ о доброй старухѣ, говорившей: „Ну чтожъ, что дурная погода, все лучше чтобъ была дурная, чѣмъ еслибъ совсѣмъ погоды не было!“

— Хорошо, смѣйтесь, да вѣдь государство погибнетъ безъ правительства;

— А мнѣ что за дѣло!

IV.

Во время революціи былъ сдѣланъ опытъ кореннаго измѣненія гражданскаго быта, съ сохранечіемъ *сильной правительственной* власти.

Декреты приготовлявшагося правительства уцѣлѣли, съ своимъ заголовкомъ.

Egalité Liberté
Bonheur Commun.

Къ которому иногда прибавляется въ видѣ поясненія, ou la mort!

Декреты, какъ и слѣдуетъ ожидать, начинаются съ *декрета полиціи*.

§ 1. Лица, ничего не дѣлающіе *для отечества*, не

имѣютъ никакихъ политическихъ правъ, это *иностранцы*, которымъ *республика* даетъ гостепріимство.

§ 2. Ничего не дѣлаютъ *для отечества* тѣ, которые не *служатъ* ему полезнымъ трудомъ.

§ 3. *Законъ* считаетъ полезными трудами:

Земледѣліе, скотоводство, рыбную ловлю, мореплаваніе.

Механическія и ручныя работы.

Мелкую торговлю (la vente en detail).

Извозъ и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподаваніе.

§ 4. Впрочемъ, *науки* и *преподаваніе* не будутъ считаться полезными, если *лица*, занимающіеся ими, не представятъ въ данное время свидѣтельство цивизма, *написанное по опредѣленной формѣ.*

§ 6. *Иностранцамъ* воспрещается входъ въ публичныя собранія.

§ 7. Иностранцы находятся подъ прямымъ надзоромъ высшей администраціи, которой предоставляется право высылать ихъ съ мѣста жительства и отправлять въ исправительныя мѣста.

Въ декретѣ о „работахъ“ все росписано и распредѣлено, въ какое время, когда что дѣлать, сколько часовъ работать; старшины даютъ „примѣръ усердія и дѣятельности,“ другіе доносятъ обо всемъ, дѣлающемся въ мастерскихъ, начальству. Работниковъ *посылаютъ* изъ одного мѣста въ другое (такъ какъ гоняютъ мужиковъ на шоссейную работу у насъ), по мѣрѣ надобности рукъ и труда.

§ 11. Высшая администрація посылаетъ на каторжную работу (travaux forcés). подъ надзоръ ею назначенныхъ общинъ, лица обоего пола, которыхъ *инцивизмъ*

(incivisme), лѣнь, роскошь, и *дурное поведеніе*, даютъ обществу дурной примѣръ. Ихъ имущество будетъ конфискòвано.

§ 14. Особенные чиновники заботятся о содержаніи и приплодѣ скота, объ одеждѣ, переѣздахъ и облегченіяхъ, работающихъ гражданъ,

Декретъ о распредѣленіи имущества.

§ 1. Ни одинъ членъ общины, не можетъ пользоваться ни чѣмъ, кромѣ того, что ему опредѣляется закономъ, и дано посредствомъ облеченнаго властью чиновника (magistrat).

§ 2. Народная община съ самаго начала даетъ своимъ членамъ квартиру, платья, стирку, освѣщеніе, отопленіе, достаточное количество хлѣба, мяса, куръ, рыбы, яицъ, масла, вина и другихъ напитковъ.

§ 3. Въ каждой комунѣ, въ опредѣленныя эпохи, будутъ общія трапезы, на которыхъ члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякій членъ, взявшій плату за работу или хранящій у себя деньги, *наказывается*.

Декретъ о торговлѣ.

§ 1 Заграничная торговля частнымъ лицамъ *запрещена*. Товаръ будетъ конфискованъ, преступникъ наказанъ.

Торговля будетъ производиться чиновниками. За тѣмъ деньги уничтожаются. Золото и серебро не велѣно ввозить. Республика не выдаетъ денегъ, внутреніе частные долги уничтожаются, внѣшніе уплачиваются; а если кто обманетъ или сдѣлаетъ подлогъ, то наказывается *вѣчнымъ рабствомъ*, (esclavage perpetuel).

За этимъ такъ и ждешь *Питеръ* въ Сарскомъ Селѣ, или гр. *Аракчеевъ* въ Грузинѣ, а подписалъ не Петръ I, а первый соціалистъ французскій *Гракхъ Бабефъ!*

Жаловаться трудно, чтобъ въ этомъ проектѣ не доставало правительства; обо всемъ попеченіе, за всѣмъ надзоръ, надъ всѣмъ опека, все устроено, все приведено въ порядокъ. Даже воспроизведеніе животныхъ не предоставляется ихъ собственнымъ слабостямъ и кокетству, а реглементировано высшимъ начальствомъ.

И для чего вы думаете все это? Для чего кормятъ „курами и рыбой, обмываютъ, одѣваютъ и *утѣшаютъ*“*) этихъ *крѣпостныхъ* благосостоянія, этихъ приписанныхъ къ равенству арестантовъ? не просто для нихъ, декретъ именно говоритъ, что все это будетъ дѣлаться mediocrement. „Одна Республика должна быть богата, великолѣпна и всемогуща.“

Это сильно напоминаетъ нашу Иверскую Божію матерь, sie hat Perlen und Diamanten, карету и лошадей, іеромонаховъ для прислуги, кучеровъ съ незамерзаемой головой, словомъ у нея все есть — да ее только нѣтъ, она владѣетъ всѣмъ добромъ in effigie.

Противоположность Роберта Оуэна съ Гракхомъ Бабёфомъ очень замѣчательна. Черезъ вѣка, когда все измѣнится на земномъ шарѣ, по этимъ *двумъ кореннымъ зубамъ* можно будетъ возстановить ископаемые остовы Англіи и Франціи до послѣдней косточки. Тѣмъ больше, что въ сущности эти мастодонты соціализма принадлежатъ одной семьѣ, идутъ къ одной цѣли, и изъ тѣхъ же побужденій, тѣмъ ярче ихъ различіе.

Одинъ видѣлъ, что, не смотря на казнь короля, на провозглашеніе республики, на уничтоженіе *федералистовъ* и демократическій терроръ, народъ остался не причемъ. Другой, что, не смотря на огромное развитіе промышленности, капиталовъ, машинъ и усиленной про-

*) „Каждый гражданинъ будетъ отъ администраціи logé, nourri, habillé et amusé.“

изводительности, „веселая Англія“ дѣлается все больше Англіей скучной, и Англія обжорливая, все больше Англіей голодной. Это привело обоихъ къ необходимости измѣненія основныхъ условій государственнаго и экономическаго быта. Почему они (и многіе другіе) почти въ одно и тоже время попали на этотъ порядокъ идей—понятно. Противорѣчія общественнаго быта становились не больше и не хуже, чѣмъ прежде, но они выступали рѣзче, къ концу XVIII вѣка. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонію, которая была прежде между ними, при меньше благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Встрѣтившись такъ близко въ точкѣ исхода, оба идутъ въ противоположныя стороны.

Оуэнъ видитъ въ томъ, что общественное зло приходитъ къ сознанію, послѣднее *достиженіе*, послѣднюю побѣду тяжелаго, сложнаго, историческаго похода; онъ привѣтствуетъ зарю *новаго* дня, никогда не бывалаго и невозможнаго въ прошедшемъ, и уговариваетъ дѣтей, какъ можно скорѣе покинуть пеленки, помочи, и стать на свои ноги. Онъ заглянулъ въ двери будущаго и, какъ путешественникъ, доѣхавшій до мѣста, не сердится больше на дорогу, не бранитъ ни станціонныхъ смотрителей, ни клячъ.

Но конституція 1793 года думала не такъ, а съ ней не такъ думалъ и Гракхъ Бабёфъ. Она декретировала *возстановленіе естественныхъ правъ человѣка, забытыхъ и утраченныхъ*. Государственный бытъ — преступный плодъ узурпаціи, послѣдствіе злодѣйскаго заговора тирановъ и ихъ сообщниковъ — поповъ и аристократовъ. Ихъ слѣдуетъ казнить, какъ враговъ отечества, достояніе ихъ возвратить законному *государю*, которому теперь ѣсть нечего, и который называется поэтому *сан-*

кюлотомъ. Пора возстановить его старыя, *неотъемлемыя* права... Гдѣ они были? Почему пролетарій государь? Почему ему принадлежитъ все достояніе, награбленное другими?... А! вы сомнѣваетесь — вы подозрительный человѣкъ, ближній государь сведетъ васъ къ гражданину судьѣ, а тотъ пошлетъ къ гражданину палачу, и вы больше сомнѣваться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мѣшать практикѣ *акушера* Оуэна.

Бабёфъ хотѣлъ силой, т. е. властью разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжаніе. Для этого онъ сдѣлалъ заговоръ, еслибъ ему удалось овладѣть Парижемъ, комитетъ insurrecteur *приказалъ бы* Франціи новое устройство, точно такъ, какъ Византіи его приказалъ побѣдоносный Османлисъ; онъ втѣснилъ бы французамъ свое *рабство общаго благосостоянія* и разумѣется съ такимъ насиліемъ, что вызвалъ бы страшнѣйшую реакцію, въ борьбѣ съ которой Бабёфъ и его комитетъ погибли бы, бросивъ міру *великую мысль въ нелѣпой формѣ*, мысль, которая и теперь тлѣетъ подъ пепломъ и мутитъ довольство *довольныхъ*.

Оуэнъ, видя, что люди образованныхъ странъ подростаютъ къ переходу въ новый періодъ, не думалъ вовсе о насиліи, а хотѣлъ только облегчить развитіе. Съ своей стороны онъ, также послѣдовательно, какъ Бабёфъ съ своей, принялся за изученіе зародыша, за развитіе ячейки. Онъ началъ, какъ всѣ естествоиспытатели, съ частнаго случая; его микроскопъ, его лабораторія былъ New Lanark; его ученіе росло и мужало вмѣстѣ съ ячейкой, и оно-то довело его до заключенія, что главный путь водворенія новаго порядка — *воспитаніе*.

Заговоръ для Оуэна былъ ненуженъ, возстаніе мо-

гло только повредить ему. Онъ не только могъ ужиться съ лучшимъ въ мірѣ правительствомъ, съ англійскимъ, но со всякимъ другимъ. Онъ въ правительствѣ видѣлъ устарѣлый, историческій фактъ. поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойниковъ, которую надобно неожиданно накрыть. Но домогаясь ниспровергнуть правительства, онъ не домогался нисколько и *поправлять его.* Еслибъ святые лавочники не мѣшали ему, въ Англіи и Америкѣ были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony*), въ нихъ втекали бы свѣжія силы рабочаго народонаселенія, они исподволь отвели бы лучшіе, жизненные соки отъ отжившихъ государственныхъ цистернъ. Что же ему было бороться съ умирающими; онъ могъ ихъ предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенецъ, котораго приносятъ въ его школы, c'est autant de pris надъ церковью и правительствомъ!

Бабёфъ былъ казненъ. Во время процесса онъ выростаетъ въ одну изъ тѣхъ великихъ личностей — мучениковъ и побитыхъ пророковъ, передъ которыми невольно склоняется человѣкъ. Онъ угасъ, а на его могилѣ росло больше и больше всепоглощающее чудовище *централизаціи.* Передъ нею особенность стерлась, завянула, поблѣднѣла личность и исчезла. Никогда на европейской почвѣ, со временъ тридцати тирановъ аѳинскихъ до тридцатилѣтней войны и отъ нея до исхода

*) Съ легкой руки Оуэна начали въ Англіи развиваться *кооперативныя работничьи ассоціаціи,* ихъ считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бѣдно 15 лѣтъ тому назадъ, съ капиталомъ 28 ливровъ, строитъ теперь на общественныя деньги фабрику съ двумя машинами, каждая въ 60силъ, и которая имъ стоитъ за 30,000 фунтовъ. Кооперативныя общества печатаютъ журналъ „The Co-operator," который издается исключительно работниками.

французской революціи, человѣкъ не былъ такъ пойманъ правительственной паутиной, такъ опутанъ сѣтями администраціи, какъ въ новѣйшее время во Франціи.

Оуэна исподоволь затянуло иломъ. Онъ двигался, пока могъ, говорилъ, пока его голосъ доходилъ. Илъ пожималъ плечами, качалъ головой; неотразимая волна мѣщанства росла, Оуэнъ старѣлся и все глубже уходилъ въ трясину; мало по малу его усилія, его слова, его ученіе—все исчезло въ болотѣ. Иногда будто попрыгиваютъ фіолетовые огоньки, пугающіе робкія души либераловъ,—только *либераловъ*: аристократы ихъ презираютъ, попы ненавидятъ, народъ не знаетъ.

— За то будущее ихъ!..

— Какъ случится!

— Помилуйте, къ чему же послѣ этого вся исторія?

— Да и все-то на свѣтѣ къ чему? Что касается до исторіи, я не дѣлаю ее и потому за нее не отвѣчаю. Я, какъ „сестра Анна“ въ Синей Бородѣ, смотрю для васъ на дорогу и говорю, что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... вотъ ѣдутъ... ѣдутъ, кажется, они; нѣтъ, это не братья наши, это бараны, много барановъ! Наконецъ-то приближаются два гиганта разными дорогами. Ну, ужъ не тотъ, такъ другой потреплетъ Рауля за синюю бороду. Не тутъ-то было! грозныхъ указовъ Бабёфа Рауль не слушается, въ школу Р. Оуэна не идетъ; одного послалъ на гильотину, другого утопилъ въ болотѣ. Я этого вовсе не хвалю, мнѣ Рауль не родной; я только констатирую фактъ *и больше ничего*!

V.

... Около того времени, когда въ Вандомѣ упали въ роковой мѣшокъ головы Бабёфа и Дорте, Оуэнъ жилъ

на одной квартирѣ съ другимъ непризнаннымъ геніемъ и бѣднякомъ Фультономъ и отдавалъ ему послѣдніе свои шилинги, чтобъ тотъ дѣлалъ модели машинъ, которыми онъ обогатилъ и облагодѣтельствовалъ родъ человѣческій. Случилось, что одинъ молодой офицеръ показывалъ дамамъ свою батарею. Чтобъ быть вполнѣ любезнымъ, онъ безъ всякой нужды пустилъ нѣсколько ядеръ (это разсказываетъ онъ самъ); непріятель отвѣчалъ тѣмъ же; нѣсколько человѣкъ пали, другіе были изранены; дамы остались очень довольны нервнымъ потрясеніемъ. Офицера немножко угрызала совѣсть, „люди эти, говоритъ, погибли совершенно безполезно“... но дѣло военное, это скоро прошло. Cela promettait и впослѣдствіи молодой человѣкъ пролилъ крови больше, чѣмъ всѣ революціи вмѣстѣ, потребилъ одной конскрипціей больше солдатъ, чѣмъ надобно было Оуэну учениковъ, чтобъ пересоздать весь свѣтъ.

Системы у него не было никакой, добра людямъ онъ не желалъ и не обѣщалъ. Онъ добра желалъ себѣ одному, а подъ добромъ разумѣлъ власть. Теперь и посмотрите, какъ слабы передъ нимъ Бабёфъ и Оуэнъ! Его имя тридцать лѣтъ послѣ его смерти было достаточно, чтобъ его племянника признали императоромъ.

Какой же у него былъ секретъ?

Бабёфъ хотѣлъ людямъ *приказать благосостояніе* и коммунистическую республику.

Оуэнъ хотѣлъ ихъ *воспитать* въ другой экономической бытъ, несравненно больше выгодный для нихъ.

Наполеонъ не хотѣлъ ни того, ни другого; онъ понялъ, что французы не въ самомъ дѣлѣ желаютъ питаться спартанской похлебкой и возвратиться къ нравамъ Брута старшаго, что они не очень удовлетворятся тѣмъ, что по большимъ праздникамъ „граждане бу-

дутъ сходиться разсуждать о законахъ*) и обучать дѣтей цивическимъ добродѣтелямъ.“ Вотъ, дѣло другое, подраться и похвастаться храбростью они, точно, любятъ.

Вмѣсто того, чтобъ имъ мѣшать и дразнить, проповѣдуя вѣчный миръ, лакедемонскій столъ, римскія добродѣтели и миртовые вѣнки, Наполеонъ, видя, какъ они страстно любятъ кровавую славу, сталъ ихъ натравливать на другіе народы и самъ ходить съ ними на охоту. Его винить не за что, французы и безъ него были бы такіе же. Но эта одинаковость вкусовъ совершенно объясняетъ любовь къ нему народа: для толпы онъ не былъ упрекомъ, онъ ее не оскорблялъ ни своей чистотой, ни своими добродѣтелями, онъ не представлялъ ей возвышенный, преображенный идеалъ; онъ не являлся ни карающимъ пророкомъ, ни поучающимъ геніемъ, *онъ самъ принадлежалъ толпѣ* и показалъ ей *ее самое*, съ ея недостатками и симпатіями, съ ея страстями и влеченіями, возведенную въ *Генія* и покрытую лучами славы. Вотъ отгадка его силы и вліянія; вотъ отчего толпа плакала объ немъ, переносила его гробъ съ любовью и вездѣ повѣсила его портретъ.

Если и онъ палъ, то вовсе не отъ того, чтобъ толпа его оставила, что она разглядѣла пустоту его замысловъ, что она устала отдавать послѣдняго сына и безъ причины лить кровь человѣческую. Онъ додразнилъ другіе народы до дикаго отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своихъ господъ. Христіанская нравственность была удовлетворена, нельзя было съ большимъ остервенѣніемъ защищать своихъ враговъ!

*) Не изъ нашихъ ли законовъ взялъ Гракхъ Бабёфъ это развлеченіе? Когда въ коллегіи нѣтъ дѣла, члены должны *читать законы!*

На этотъ разъ военный деспотизмъ былъ побѣжденъ феодальнымъ.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встрѣчу Веллингтона съ Блюхеромъ въ минуту побѣды подъ Ватерлоо, я долго смотрю на нее всякій разъ, и всякій разъ внутри груди дѣлается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обѣщающая ничего свѣтлаго фигура—и этотъ сѣдой, свирѣпо-добродушный нѣмецкій кондотьеръ. Ирландецъ на англійской службѣ, человѣкъ безъ отечества—и пруссакъ, у котораго отечество въ казармахъ—привѣтствуютъ радостно другъ друга; и какъ имъ не радоваться, они только что своротили исторію съ большой дороги по ступицу въ грязь, въ такую грязь, изъ которой ее въ полвѣка не вытащатъ... Дѣло на разсвѣтѣ... Европа еще спала въ это время и не знала, что судьбы ея перемѣнились. И отъ чего? Оттого, что Блюхеръ поторопился, а Груши опоздалъ! Сколько несчастій и слезъ стоила народамъ эта побѣда? А сколько несчастій и крови стоила бы народамъ побѣда противной стороны?

... Да какой же выводъ изъ всего этого?

— Что вы называете выводъ? Нравоученіе въ родѣ fais ce que dois, advienne ce qui pourra, или сентенцію въ родѣ—

И прежде кровь лилась рѣкою,
И прежде плакалъ человѣкъ?

Пониманіе дѣла—вотъ и выводъ, освобожденіе отъ лжи —вотъ и нравоученіе.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбіе и особенно теперь, когда всѣ кричатъ о безнравственности взятокъ? „Истина—религія,“ толкуетъ старикъ Оуэнъ, „не требуйте отъ нея ничего больше, какъ ее самое.“

За все вынесенное, за поломанныя кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблужденія, по крайней мѣрѣ разобрать нѣсколько буквъ таинственной грамоты, понять общій смыслъ того, что дѣлается около насъ... Это страшно много! Дѣтскій хламъ, который мы утрачиваемъ, не занимаетъ больше, онъ намъ дорогъ только по привычкѣ. Чего тутъ жалѣть? Бабу-Ягу или жизненную силу, сказку о золотомъ вѣкѣ сзади, или о безконечномъ прогрессѣ впереди, чудотворную склянку св. Януарія или метеорологическую молитву о дождѣ, тайный умыселъ химичечкихъ заговорщиковъ или natura sic voluit?

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокругъ все колеблется, несется; стой или ступай куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства.... Вѣроятно и море пугало сначала безпорядкомъ, но какъ только человѣкъ понялъ его безцѣльную суету, онъ взялъ дорогу съ собой и въ какой-то скорлупѣ переплылъ океаны.

Ни природа, ни исторія *никуда не идутъ* и потому готовы идти *всюду*, куда имъ укажутъ, *если это возможно*, т. е. если ничего не мѣшаетъ. Онѣ слагаются au fur et à mesure бездной другъ на друга дѣйствующихъ, другъ съ другомъ встрѣчающихся, другъ друга останавливающихъ и увлекающихъ частностей; но человѣкъ вовсе не теряется отъ этого, какъ песчинка въ горѣ, не больше подчиняется стихіямъ, не круче связывается необходимостью, а выростаетъ тѣмъ, что понялъ свое положеніе, въ рулеваго, который гордо разсѣкаетъ волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себѣ путемъ сообщенія.

Не имѣя ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизація исторіи

готова идти съ каждымъ, каждый можетъ вставить въ нее свой стихъ и, если онъ звученъ, онъ останется *его* стихомъ, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будетъ бродить въ ея крови и памяти. Возможностей, эпизодовъ, открытій въ ней и въ природѣ дремлетъ бездна на всякомъ шагу. Стоитъ тронуть наукой скалу, чтобъ изъ нея текла вода; да что вода? подумайте о томъ, что сдѣлалъ сгнетенный паръ, что дѣлаетъ электричество съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, а не Юпитеръ взялъ ихъ въ руки. Человѣческое участіе велико и полно поэзіи, это своего рода творчество. Стихіямъ, веществу все равно, они могутъ дремать тысячелѣтія и вовсе не просыпаться, но человѣкъ шлетъ ихъ на свою работу и они идутъ. Солнце давно ходитъ по небу; вдругъ человѣкъ перехватилъ его лучъ, задержалъ его слѣдъ и солнце стало ему дѣлать портреты.

Природа никогда не борется съ человѣкомъ, это пошлый религіозный поклепъ на нее, она не настолько умна, чтобъ бороться, ей все равно; „по той мѣрѣ, по которой человѣкъ ее знаетъ, по той мѣрѣ онъ можетъ ею управлять,“ сказалъ Бэконъ и былъ совершенно правъ. Природа не можетъ перечить человѣку, если человѣкъ не перечитъ ея законамъ; она, продолжая свое дѣло, безсознательно будетъ дѣлать его дѣло. Люди это знаютъ и на этомъ основаніи владѣютъ морями и сушами. Но передъ объективностью историческаго міра человѣкъ не имѣетъ того же уваженія, тутъ онъ дома и не стѣсняется; въ исторіи ему легче страдательно уноситься потокомъ событій или врываться въ него съ ножемъ и крикомъ: „общее благосостояніе или смерть!“ чѣмъ вглядываться въ приливы и отливы волнъ его несущихъ, изучать ритмъ ихъ колебаній и тѣмъ самымъ открыть себѣ безконечные фарватеры.

Конечно, положеніе человѣка въ исторіи сложнѣе, тутъ онъ разомъ *лодка, волна и кормчій.* Хоть бы карта была!

— А будь карта у Колумба, не онъ открылъ бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта... чтобъ попасть на карту. Только отнимая у исторіи всякой предназначенный путь, человѣкъ и исторія дѣлаются чѣмъ-то серьезнымъ, дѣйствительнымъ и исполненнымъ глубокаго интереса. Если событія подтасованы, если вся исторія—развитіе какого-то доисторическаго *заговора* и она сводится на одно выполненіе, на одну его mise en scène, возьмемте по крайней мѣрѣ и мы деревянные мечи и щиты изъ латуни. Неужели намъ лить настоящую кровь и настоящія слезы для представленія провиденціальной шарады. Съ предопредѣленнымъ планомъ исторія сводится на вставку чиселъ въ алгебраическую формулу, будущее отдано въ кабалу до рожденія.

Люди, съ ужасомъ говорящіе о томъ, что Р. Оуэнъ лишаетъ человѣка воли и нравственной доблести, мирятъ предопредѣленіе не только съ свободой, но и съ палачемъ. Развѣ только на основаніи текста, что „Сынъ человѣческій *долженъ быть* преданъ, но горе тому, кто его предастъ!“ *)

*) Теологи отважнѣе доктринеровъ вообще, они прямо говорятъ, что безъ воли божіей не падетъ волосъ съ головы, а отвѣтственность за каждое дѣйствіе, даже за помыслъ оставляютъ на человѣкѣ. Ученый фатализмъ утверждаетъ, что у нихъ и рѣчи нѣтъ о личностяхъ, *о случайныхъ* носителяхъ идеи... (т. е. рѣчи нѣтъ о нашемъ братѣ, обыкновенномъ человѣкѣ, а что касается до такихъ личностей, какъ Александръ Македонскій или Петръ I — намъ уши прожужжали ихъ всемірно историческимъ призваніемъ). Доктринеры, видите, какъ большіе господа, хозяйствомъ исторіи распоряжа-

Въ мистическомъ воззрѣніи все это на мѣстѣ, и тамъ это имѣетъ свою художественную сторону, которой въ доктринаризмѣ нѣтъ. Въ религіи развертывается цѣлая драма; тутъ борьба, возмущеніе и его усмиреніе; вѣчная Мессіада, Титаны, Луциферъ, Аббадона, изгонямый Адамъ, прикованный Прометей, караемые богомъ и искупаемые спасителемъ. Это романъ, потрясающій душу, но его-то и отбросила метафизическая наука. Фатализмъ, переходя изъ церкви въ школу, утратилъ весь свой смыслъ, даже тотъ смыслъ правдоподобія, который мы требуемъ въ сказкѣ. Изъ яркаго, пахучаго, опьяняющаго, азіатскаго цвѣтка, доктринеры высушили блѣдное сѣно для гербаріума. Отталкивая фантастическіе образы, они остались при голой логической ошибкѣ, при нелѣпости предъ исторической arrière pensée, воплощающейся во чтобы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами, своихъ цѣлей. Зачѣмъ, если она существуетъ, она еще разъ осуществляется. Если же ее нѣтъ и она только *становится и отстаивается* событіями, то что же за новый иммакулатный процессъ зачатія зародилъ, во времен-

ются en gros, гуртомъ... но гдѣ граница стада и личностей, гдѣ нѣсколько зеренъ-то, какъ спрашивали мои милые аѳинскіе софисты, становятся кучей?

Само собою разумѣется, что мы никогда не смѣшивали предопредѣленій съ теоріей вѣроятностей, мы въ правѣ наведеніемъ дѣлать посылки отъ прошедшаго къ будущему. Дѣлая индукцію, мы знаемъ, что̀ дѣлаемъ, основываясь на постоянствѣ нѣкоторыхъ законовъ и явленій, но допуская также и нарушенія. Мы видимъ человѣка тридцати лѣтъ и имѣемъ полное право предполагать, что черезъ другія тридцать лѣтъ онъ будетъ сѣдъ или плѣшивъ, нѣсколько сгорбится и пр. Это не значитъ, что его назначеніе сѣдѣть, плѣшивѣть, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри онъ тридцати пяти лѣтъ, онъ не будетъ сѣдѣть, а пойдетъ „на замазку,“ какъ говоритъ Гамлетъ, или на салатъ.

номъ, преждесущую идею, которая, выходя изъ чрева исторіи, возвѣщаетъ тотчасъ, что она была прежде и будетъ послѣ. Это новое сводное безсмертіе души, идущее въ обѣ стороны, не личное, не чье нибудь, а родовое... *Безсмертная душа* всего человѣчества..... Это стоитъ мертвыхъ душъ! Нѣтъ ли безсмертной березы всѣхъ березъ?

Мудрено ли, что съ такимъ освѣщеніемъ самые простѣйшіе, обыденные предметы сдѣлались при схоластическомъ объясненіи совершенно непонятными. Можетъ ли, напримѣръ, быть фактъ доступнѣе всякому, какъ наблюденіе, что чѣмъ человѣкъ больше живетъ, тѣмъ имѣетъ больше случая нажиться; чѣмъ дольше глядитъ на одинъ предметъ, тѣмъ больше разглядываетъ его, если ничего не помѣшаетъ или онъ не ослѣпнетъ? И изъ этого факта ухитрились сдѣлать кумиръ *прогресса*, какого-то безпрерывно растущаго и обѣщающаго расти въ безконечность золотаго тельца.

Не проще ли понять, что человѣкъ живетъ не для *совершенія судебъ*, не для воплощенія идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился и родился *для* (какъ ни дурно это слово) для настоящаго, что̀ вовсе не мѣшаетъ ему ни получать наслѣдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что по завѣщанію. Это кажется идеалистамъ унизительно и грубо; они никакъ не хотятъ обратить вниманія на то, что все великое значеніе наше, при нашей ничтожности, при едва уловимомъ мельканіи личной жизни, въ томъ - то и состоитъ, что пока мы живы, пока не развязался на стихіи задержанный нами узелъ, *мы все таки сами*, а не куклы, назначенныя выстрадать прогрессъ или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тѣмъ, что мы не нитки и не иголки въ рукахъ фатума, шью-

щаго пеструю ткань исторіи... мы знаемъ, что ткань эта не безъ насъ шьется, но это не цѣль наша, не назначенье, не заданный урокъ, а послѣдствіе той сложной круговой поруки, которая связываетъ все сущее концами и началами, причинами и дѣйствіями.

И это не все, мы можемъ *перемѣнить узоръ ковра.* Хозяина нѣтъ, рисунка нѣтъ, одна основа, да мы одни одинехоньки. Прежніе ткачи судьбы, всѣ эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприкащики скрываютъ отъ насъ ихъ завѣщаніе, а покойники намъ завѣщали свою власть.

„Но если, съ одной стороны, вы отдаете судьбу человѣка на его произволъ, а съ другой, снимаете съ него отвѣтственность, то съ вашимъ ученіемъ онъ сложитъ руки, и просто ничего не будетъ дѣлать.“

Ужъ не перестанутъ ли люди ѣсть и пить, любить и производить дѣтей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнаютъ, что ѣдятъ и слушаютъ, любятъ и наслаждаются для себя, а не для совершенія высшихъ предначертаній и не для *скорѣйшаго* достиженія *безконечнаго* развитія совершенства?

Если религія съ своимъ подавляющимъ фатализмомъ и доктринаризмомъ, съ своимъ безотраднымъ и холоднымъ, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтобъ это сдѣлало воззрѣніе, освобождающее его отъ этихъ плитъ. Одного чутья жизни и непослѣдовательности было достаточно, чтобъ спасти европейскіе народы отъ религіозныхъ проказъ, въ родѣ аскетизма, квіетизма, которые постоянно были только на словахъ и никогда на дѣлѣ; неужели разумъ и сознаніе окажутся слабѣе?

Къ тому же, въ реальномъ воззрѣніи есть свой се-

кретъ; тотъ, кто отъ него сложитъ руки, тотъ не поймметъ его, и не приметъ; онъ еще принадлежитъ къ иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры, съ одной стороны діаволъ съ чернымъ хвостомъ, съ другой, ангелъ съ бѣлой лиліей.

Стремленіе людей къ болѣе гармоническому быту, совершенно естественно, его нельзя ничѣмъ остановить, такъ какъ нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вотъ почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки отъ какого бы ученія ни было. Найдутся ли лучшія условія жизни, совладаетъ ли съ ними человѣкъ, или въ иномъ мѣстѣ собьется съ дороги, а въ другомъ надѣлаетъ вздору, это другой вопросъ. Говоря, что у человѣка никогда не пропадетъ голодъ, мы не говоримъ, будутъ ли всегда и для каждаго съѣстные припасы, и притомъ здоровые.

Есть люди, удовлетворяющіеся малымъ, съ бѣдными потребностями, съ узкимъ взглядомъ и ограниченными желаніями. Есть и народы съ небольшимъ горизонтомъ, съ страннымъ воззрѣніемъ, удовлетворяющіеся бѣдно, ложко, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, безъ сомнѣнія, два народа, нашедшіе наиболѣе соотвѣтствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они такъ неизмѣнно одни и тѣже.

Европа, кажется намъ, тоже близка къ „насыщенію“ и стремится, усталая, осѣсть, скристаллизоваться, найдя свое прочное общественное положеніе *въ мѣщанскомъ устройствѣ*. Ей мѣшаютъ покойно сложиться монархическо-феодальные остатки и завоевательное начало. Мѣщанское устройство представляетъ огромный успѣхъ въ сравненіи съ олигархически-военнымъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но для Европы, и въ особенности для англо-германской, оно представляетъ не только огромный ус-

пѣхъ, *но и успѣхъ достаточный.* Голландія опередила, она первая успокоилась до прекращенія исторіи. Прекращеніе роста—начало совершеннолѣтія. Жизнь студента полнѣе событій и идетъ гораздо бурнѣе, чѣмъ трезвая и работящая жизнь отца семейства. Еслибъ надъ Англіей не тяготѣлъ свинцовый щитъ феодальнаго землевладѣнія и она, какъ Уголино, не ступала бы постоянно на своихъ дѣтей, умирающихъ съ голоду; еслибъ она, какъ Голландія, могла достигнуть для всѣхъ благосостоянія мелкихъ лавочниковъ и небогатыхъ хозяевъ средней руки, она успокоилась бы на мѣщанствѣ. А съ тѣмъ вмѣстѣ уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизилась, и жизнь безъ событій, развлекаемая иногда внѣшними толчками, свелась бы на однообразный круговоротъ, на слегка видоизмѣняющійся semper idem. Собирался бы парламентъ, представлялся бы бюджетъ, говорились бы дѣльныя рѣчи, улучшались бы формы... и на будущій годъ тоже, и черезъ десять лѣтъ тоже; это была бы покойная колея взрослаго человѣка, его дѣловые будни. Мы и въ естественныхъ явленіяхъ видимъ, какъ начала эксцентричны, а устоявшееся продолженіе идетъ потихоньку, не буйной кометой, описывающей съ распущенной косой свои невѣдомые пути, а тихой планетой, плывущей съ своими сателлитами, въ родѣ фонариковъ, битымъ и перебитымъ путемъ; небольшія отступленія выставляютъ еще больше общій порядокъ... весна помокрѣе, весна посуше, но послѣ всякой—лѣто, но передъ всякой—зима.

— Такъ это, пожалуй, все человѣчество дойдетъ до мѣщанства, да на немъ и застрянетъ?

— Не думаю, чтобы все, а нѣкоторыя части навѣрно. Слово „человѣчество“—препротивное, оно не выра-

жаетъ ничего опредѣленнаго, а только къ смутности всѣхъ остальныхъ понятій подбавляетъ еще какого-то пѣгаго полубога. Какое единство разумѣется подъ словомъ „человѣчество“? Развѣ то, которое мы понимаемъ подъ всякимъ суммовымъ названіемъ, въ родѣ икры и т. п. Кто въ мірѣ осмѣлится сказать, что есть какое нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинакимъ образомъ ирокезовъ и ирландцевъ, арабовъ и мадьяръ, кафровъ и славянъ? Мы можемъ сказать одно, что нѣкоторымъ народамъ мѣщанское устройство противно, а другіе въ немъ какъ рыба въ водѣ. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русскіе имѣютъ въ себѣ очень мало мѣщанскихъ элементовъ; общественное устройство, въ которомъ имъ было бы привольно, выше того, которое можетъ имъ дать мѣщанство. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что они *достигнутъ* этого высшаго состоянія, или что они не свернутъ на буржуазную дорогу. Одно стремленіе ничего не обезпечиваетъ, на разницу возможнаго и неминуемаго мы ужасно напираемъ. Недостаточно знать, что такое-то устройство намъ противно, а надобно знать, какого мы хотимъ и возможно ли его осуществленіе. Возможностей много впереди: народы буржуазные могутъ взять совсѣмъ иной полетъ, народы самые поэтическіе—сдѣлаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнетъ, стремленій аборт ируетъ, развитій отклоняется. Что можетъ быть очевиднѣе, осязаемѣе тѣхъ, не только возможностей, а началъ личной жизни, мысли, энергіи, которыя умираютъ въ каждомъ ребенкѣ. Замѣтьте, что и эта ранняя смерть дѣтей тоже не имѣетъ въ себѣ ничего неминуемаго; жизнь девяти десятыхъ навѣрное могла бы сохраниться, еслибъ доктора знали медицину и медицина была бы въ самомъ дѣлѣ наукой. На это *вліяніе чело-*

вѣка и науки мы обращаемъ особенное вниманіе, оно чрезвычайно важно.

Замѣтьте еще посягательство обезьянъ (напр. Шимпанзе) на дальнѣйшее умственное развитіе. Оно видно въ ихъ безпокойно озабоченномъ взглядѣ, въ тоскливо грустномъ присматриваніи ко всему, что дѣлается, въ недовѣрчивой и суетливой тревожности и любопытствѣ, которое съ другой стороны не даетъ мысли сосредоточиться и постоянно ее разсѣваетъ. Ряды и ряды поколѣній вновь и вновь стремятся къ какому-то разумѣнію, замѣняются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умираютъ—и такъ прошли десятки тысячъ лѣтъ и пройдутъ еще десятки.

Люди имѣютъ большой шагъ передъ обезьянами; ихъ стремленія не пропадаютъ безслѣдно, они облекаются словомъ, воплощаются въ образъ, остаются въ преданіи и передаются изъ вѣка въ вѣкъ. Каждый человѣкъ опирается на страшное генеалогическое дерево, котораго корни чуть ли не идутъ до адамова рая; за нами, какъ за прибрежной волной, чувствуется напоръ цѣлаго океана—всемірной исторіи; мысль всѣхъ вѣковъ на сію минуту въ нашемъ мозгу и нѣтъ ея „развѣ него,“ а съ нею мы можемъ быть властью.

Крайности ни въ комъ нѣтъ, но всякой можетъ быть незамѣнимой дѣйствительностью; передъ каждымъ открытыя двери. *Есть что* сказать человѣку, пусть говоритъ, слушать его будутъ; мучитъ его душу убѣжденіе, пусть проповѣдуетъ. Люди не такъ покорны какъ стихіи, но мы всегда имѣемъ дѣло съ современной массой, ни она не самобытна, ни мы не независимы отъ общаго *фонда* картины, отъ одинакихъ предшествовавшихъ вліяній, связь общая есть. Теперь вы

понимаете, отъ кого и кого зависитъ будущность людей, народовъ?

— Отъ кого?

— Какъ отъ кого?... да отъ *насъ съ вами*, напримѣръ. Какъ же послѣ этого намъ сложить руки!

ДВА ПРОЦЕССА*)

Rul Britania!

I.

ДУЭЛЬ

Въ 1853 году извѣстный коммунистъ Виллихъ познакомилъ меня съ парижскимъ работникомъ *Бартелеми*. Имя его я зналъ прежде, по іюньскому процессу, по приговору и наконецъ по его бѣгству изъ Бель-Иля.

Онъ былъ молодъ, невысокаго роста, но мускульно сильнаго сложенія, черные какъ смоль и курчавые волосы, придавали ему что-то южное, лице его, слегка отмѣченное оспой, было красиво и рѣзко. Постоянная борьба воспитала въ немъ непреклонную волю и умѣнье управлять ею. Бартелеми былъ одинъ изъ самыхъ цѣльныхъ характеровъ, которыхъ мнѣ случилось видѣть. Школьнаго, книжнаго образованія онъ не имѣлъ, кромѣ по своей части: онъ былъ отличнымъ механи-

*) *Пол. Зв.* Томъ VII (часть 2-я).

комъ — замѣтимъ мимоходомъ, что изъ числа механиковъ, машинистовъ, инженеровъ, работниковъ на желѣзныхъ дорогахъ вышли самые рѣшительные бойцы іюньскихъ баррикадъ.

Жизненная мысль его, страсть всего его существованія была неутомимая, спартаковская жажда возстанія рабочаго класса противъ средняго сословія. Мысль эта у него была неразрывна съ свирѣпымъ желаніемъ истребленія буржуазіи.

Какой комментарій далъ мнѣ этотъ человѣкъ къ ужасамъ 93 и 94 года, къ сентябрьскимъ днямъ, къ той ненависти, съ которой ближайшія партіи уничтожали другъ друга; въ немъ я наглазно видѣлъ, какъ человѣкъ можетъ соединять желаніе крови съ гуманностью въ другихъ отношеніяхъ, даже съ нѣжностью, и какъ человѣкъ можетъ быть правымъ передъ совѣстью, посылая, какъ Сенъ Жюстъ, десятки людей на гильотину.

„Чтобъ революція въ десятый разъ не была украдена изъ нашихъ рукъ, говорилъ Бартелеми, надобно *дома, въ нашей семьѣ* сломить голову злѣйшему врагу. За прилавкомъ, за конторкой мы его всегда найдемъ — въ *своемъ станѣ* слѣдуетъ его побить!“ Въ его листы проскрипціи входила почти вся эмиграція: Викторъ Гюго, Маццини, Викторъ Шельшеръ и Кошутъ. Онъ исключалъ очень не многихъ и въ томъ числѣ я помню Луи Блана.

Особымъ, задушевнымъ предметомъ его ненависти былъ Ледрю-Ролленъ. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лице Бартелеми судорожно подергивалось, когда онъ говорилъ объ „этомъ диктаторѣ буржуазіи.“

А говорилъ онъ мастерски, этотъ талантъ становит-

ся рѣже и рѣже. Публичныхъ говоруновъ въ Парижѣ и особенно въ Англіи бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевыхъ карандашей, наемные свѣтскіе и духовные ораторы въ паркахъ, всѣ они имѣютъ удивительную способность *проповѣдывать*, но говорить *для комнаты* умѣютъ не многіе.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная въ одну точку, дѣйствовала какъ пламя паяльной трубки. Онъ говорилъ плавно, не возвышая голоса, не махая руками, его фразы и выборъ словъ были правильны, чисты и совершенно свободны отъ трехъ проклятій современнаго французскаго языка, революціоннаго жаргона, адвокатско-судебныхъ выраженій и развязности сидѣльцевъ.

Откуда же взялъ этотъ работникъ, воспитанный въ душныхъ мастерскихъ, гдѣ ковали и тянули желѣзо для машинъ, въ душныхъ парижскихъ закоулкахъ, между питейнымъ домомъ и наковальнею, въ тюрьмѣ и на каторжной работѣ — вѣрное понятіе мѣры и красоты, такта и граціи — понятіе, утраченное буржуазной Франціей? Какъ онъ умѣлъ сохранить естественность языка середь вычурныхъ риторовъ, гасконцевъ революціонной фразы?

Это дѣйствительно задача.

Видно около мастерскихъ вѣетъ воздухъ по свѣжѣе. Впрочемъ, вотъ его жизнь.

Ему не было двадцати лѣтъ, когда онъ замѣшался въ какую-то эмёту при Людвигѣ Филиппѣ. Жандармъ остановилъ его и такъ какъ онъ сталъ ему что-то говорить, то жандармъ хватилъ его кулакомъ въ лицо. Бартелеми, котораго держалъ муниципалъ, рванулся, но не могъ ничего сдѣлать. Ударъ этотъ пробудилъ тиг-

ра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работникъ всталъ на другой день переродившимся.

Надобно замѣтить, что арестованнаго Бартелеми полиція отпустила, найдя его невиноватымъ. Объ обидѣ, причиненной ему, никто и говорить не хотѣлъ. „Зачѣмъ ходить по улицамъ во время эмёты! Да и какъ найти теперь жандарма!“

Вотъ какъ. Бартелеми купилъ пистолетъ, зарядилъ его и пошелъ бродить около тѣхъ мѣстъ; побродилъ день, другой, вдругъ на углу стоитъ жандармъ. Бартелеми отвернулся и взвелъ курокъ. „Вы меня узнали?“ спросилъ онъ полицейскаго. „Еще-бы нѣтъ.“ — „Такъ вы помните, какъ вы.....?“ — „Ну, ступайте, ступайте своей дорогой,“ сказалъ жандармъ. — „Счастливаго и вамъ пути,“ отвѣчалъ Бартелеми и спустилъ курокъ. Жандармъ повалился, а Бартелеми пошелъ. Жандармъ былъ смертельно раненъ, но не умеръ.

Бартелеми судили какъ простаго убійцу. Никто не взялъ въ разсчетъ величину обиды, особенно по понятіямъ французовъ, невозможность работника послать ему вызовъ, невозможность сдѣлать процессъ. Бартелеми былъ осужденъ на *каторжную работу*. Это былъ третій пансіонъ, въ которомъ онъ воспитывался послѣ кузницы и тюрьмы. При переборѣ дѣлъ министромъ юстиціи Кремьё, послѣ февральской революціи, Бартелеми выпустили.

Пришли іюньскіе дни. Бартелеми, принадлежавшій къ горячимъ послѣдователямъ Бланки, явился тутъ во весь ростъ.

Онъ былъ схваченъ, геройски защищая баррикаду, и сведенъ въ форты. Однихъ побѣдители разстрѣливали, другими набивали тюльрійскіе подвалы, третьихъ отсы-

лали въ форты и тамъ иногда разстрѣливали, случайно больше, чтобъ очистить мѣсто.

Бартелеми уцѣлѣлъ; въ судѣ онъ и не думалъ оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимаго, чтобъ изъ нея сдѣлать трибуну для обвиненія національной гвардіи. Ему мы обязаны многими подробностями о каннибальскихъ подвигахъ защитниковъ порядка, сдѣланныхъ въ тихомолку, нѣкоторымъ образомъ семейно. Нѣсколько разъ президентъ приказывалъ ему молчать, и наконецъ перервалъ его рѣчь, приговоромъ на каторжную работу, помнится, на 15 или 20 лѣтъ (у меня нѣтъ передъ глазами іюньскаго процесса).

Бартелеми былъ съ другими отправленъ въ Belle Isle.

Года черезъ два онъ бѣжалъ оттуда и явился въ Лондонъ съ предложеніемъ ѣхать назадъ и устроить бѣгство шести заключенныхъ. Небольшая сумма денегъ, которую онъ просилъ (тысячъ 6, 7 фр.) была ему обѣщана, и онъ, одѣвшись аббатомъ, съ молитвенникомъ въ рукѣ, отправился въ Парижъ, въ Бель-Иль, все устроилъ и возвратился въ Лондонъ за деньгами. Говорятъ, что дѣло не состоялось за споромъ, освобождать ли Бланки или нѣтъ. Сторонники Барбеса и другихъ лучше желали оставить нѣсколько человѣкъ друзей въ тюрьмѣ, чѣмъ освободить одного врага.

Бартелеми уѣхалъ въ Швейцарію. Онъ разошелся со всѣми партіями и отсталъ отъ нихъ; съ ледрю-роллинистами онъ былъ заклятый врагъ, но онъ не былъ другомъ и съ своими; онъ былъ слишкомъ рѣзокъ и угловатъ, крайнія мнѣнія его были непріятны запѣвалямъ и отпугивали слабыхъ. Въ Швейцаріи онъ особенно занялся ружейнымъ мастерствомъ. Онъ изобрѣлъ особеннаго устройства ружье, которое заряжалось по

мѣрѣ выстрѣловъ — и такимъ образомъ давало возможность пустить рядъ пуль въ одну точку, другъ за другомъ. Этимъ ружьемъ онъ думалъ убить Наполеона, но дикія страсти Бартелеми два раза спасли Бонапарта отъ человѣка, въ которомъ рѣшимости было не меньше, чѣмъ у Орсини.

Въ партіи Ледрю-Роллена находился лихой человѣкъ, бретеръ, гуляка и сорви-голова Курне.

Курне принадлежалъ къ особому типу людей, который часто встрѣчается между польскими панами и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими въ деревнѣ, къ нимъ принадлежалъ Денисъ Давыдовъ и его „собутыльникъ“ Бурцовъ, Гагаринъ — Адамова головка и секундантъ Ленскаго Зарѣцкій. Въ вульгарной формѣ они встрѣчаются между прусскими „юнкерами“ и австрійскимъ казарменнымъ брудерствомъ. Въ Англіи ихъ совсѣмъ нѣтъ, во Франціи они дома, какъ рыба въ водѣ, но рыба съ почищенной, лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безразсудства, и очень недальніе. Они всю жизнь живутъ воспоминаніемъ двухъ-трехъ случаевъ, въ которыхъ они прошли сквозь огонь и воду, кому нибудь обрубили уши, простояли подъ градомъ пуль. Случается, что они сперва наклеплятъ на себя отважный поступокъ, а потомъ дѣйствительно его сдѣлаютъ, чтобъ подтвердить свои слова. Они смутно понимаютъ, что этотъ задоръ ихъ сила, единственный интересъ, которымъ они могутъ похвастаться; а хвастаться имъ хочется смертельно. При этомъ они часто хорошіе товарищи, особенно въ веселой бесѣдѣ, и до первой размолвки за своихъ стоятъ грудью; и вообще имѣютъ больше военной отваги, чѣмъ гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки въ картахъ и въ жизни, ланскене всякаго отчаяннаго предпріятія—особенно если притомъ можно надѣть мундиръ съ генеральскимъ шитьемъ, схватить денегъ, крестовъ—и потомъ снова успокоиться на нѣсколько лѣтъ въ бильярдной или кофейной. А ужъ помогая Наполеону ли въ Страсбургѣ, Герцогинѣ ли Берійской въ Блуа или красной республикѣ въ предмѣстіи Св. Антона, все равно. Храбрость и удача для нихъ и для всей Франціи покрываютъ все.

Курне началъ свою карьеру во флотѣ во время ссоры Франціи съ Португаліей. Онъ съ нѣсколькими товарищами влѣзъ на португальскій фрегатъ, овладѣлъ экипажемъ и взялъ фрегатъ. Случай этотъ опредѣлилъ и окончилъ дальнѣйшую жизнь Курне. Вся Франція говорила о молодомъ мичманѣ; далѣе онъ не пошелъ и такъ же кончилъ свою карьеру абордажемъ, которымъ началъ ее, какъ еслибъ онъ на немъ былъ убитъ на повалъ. Изъ флота онъ былъ впослѣдствіи исключенъ. Въ Европѣ царилъ глухой миръ; Курне поскучалъ, поскучалъ, и сталъ воевать на свой салтыкъ. Онъ говорилъ, что у него было до двадцати дуэлей, положимъ, что ихъ было десять, и этого за глаза довольно, чтобъ его не считать серьезнымъ человѣкомъ.

Какъ онъ попалъ въ красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли онъ во французвой эмиграціи не игралъ. Разсказывали объ немъ разные анекдоты, какъ онъ въ Бельгіи поколотилъ полицейскаго, который хотѣлъ его арестовать и ушелъ отъ него, и другіе продѣлки въ томъ же родѣ. Онъ считалъ себя „одной изъ первыхъ шпагъ во Франціи.“

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненнаго по своему необузданнѣйшимъ самолюбіемъ, столкнувшись съ

надменной храбростью Курне, должна была привести къ бѣдствіямъ. Они ревновали другъ друга. Но, принадлежа къ разнымъ кругамъ, къ враждебнымъ партіямъ, они могли всю жизнь не встрѣчаться. Добрые люди братски помогли дѣлу.

Бартелеми имѣлъ на Курне какой-то зубъ, за письма, посланныя ему черезъ Курне изъ Франціи, которыя до него не дошли. Очень вѣроятно, что въ этомъ дѣлѣ онъ не былъ виноватъ; вскорѣ къ этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился въ Швейцаріи съ одной актрисой, итальянкой, и былъ съ нею въ связи. „Какая жалость — говорилъ Курне — что этотъ соціалистъ изъ соціалистовъ пошелъ на содержаніе къ актрисѣ.“ Пріятели Бартелеми тотчасъ написали ему это. Получивъ письмо, Бартелеми бросилъ свой проэктъ ружья и свою актрису и прискакалъ въ Лондонъ.

Мы уже сказали, что онъ былъ знакомъ съ Виллихомъ. Виллихъ былъ человѣкъ съ чистымъ сердцемъ и очень добрый, прусскій артиллерійскій офицеръ; онъ перешелъ на сторону революціи и сдѣлался коммунистомъ. Дрался въ Баденѣ за народъ, начальствуя орудіями во время Гекерова возстанія, и когда все было побито, уѣхалъ въ Англію. Въ Лондонъ онъ явился безъ гроша денегъ, попробовалъ давать уроки математики, нѣмецкаго языка, ему не повезло. Онъ бросилъ учебныя книги и, забывая бывшія эполеты, геройски сталъ работникомъ. Съ нѣсколькими товарищами, они завели мастерскую щеточныхъ издѣлій; ихъ не поддержали. Виллихъ не терялъ недежды ни на возстаніе Германіи, ни на поправку своихъ дѣлъ, однако, дѣла не поправлялись и онъ надежду на тевтонскую республику увезъ съ собою въ Нью-Іоркъ, гдѣ получилъ отъ правительства мѣсто землемѣра.

Виллихъ понялъ, что дѣло съ Курне приметъ очень дурной оборотъ и самъ себя предложилъ въ посредники. Бартелеми вполнѣ вѣрилъ Виллиху и поручилъ ему дѣло. Виллихъ отправился къ Курне; твердый, спокойный тонъ Виллиха подѣйствовалъ на „первую шпагу“; онъ объяснилъ исторію писемъ; послѣ, на вопросъ Виллиха, увѣренъ ли онъ, что Бартелеми жилъ на содержаніи у актрисы? Курне сказалъ ему, что онъ повторилъ слухъ и что жалѣетъ объ этомъ.

— Этого, сказалъ Виллихъ, совершенно достаточно, напишите, что̀ вы сказали, на бумагѣ, отдайте мнѣ и я съ искренной радостью пойду домой.

— Пожалуй — сказалъ Курне и взялъ перо.

— Такъ это вы будете извиняться передъ какимъ нибудь Бартелеми, замѣтилъ другой рефюжье, взошедшій въ концѣ разговора.

— Какъ извиняться?—И вы принимаете это за извиненіе?

— За дѣйствіе, сказалъ Валлихъ, честнаго человѣка, который, повторивши клевету, жалѣетъ объ этомъ.

— Нѣтъ, сказалъ Курне, бросая перо, этого я не могу.

— Не сейчасъ же ли вы говорили?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, „что я сказалъ это потому, что хотѣлъ сказать.“

— Брависсимо — воскрикнулъ другой рефюжье.

— На васъ, м. г., падетъ отвѣтственность за будущія несчастія, сказалъ ему Виллихъ и вышелъ вонъ.

Это было вечеромъ; онъ зашелъ ко мнѣ, не видавшись еще съ Бартелеми; печально ходилъ онъ по комнатѣ, говоря: „теперь дуэль неотвратима, экое несчастіе, что этотъ рефужье былъ на лицо.“

Тутъ не поможешь, думалъ я, умъ молчитъ передъ дикимъ разгаромъ страстей; а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерій и разныхъ хористовъ въ амфитеатрѣ!...

Черезъ день утромъ я шелъ по Пель-Мелю; Виллихъ скорыми шагами торопился куда-то, я остановилъ его; блѣдный и встревоженный, обернулся онъ ко мнѣ.

— Что?

— Убитъ на повалъ.

— Кто?

— Курне. Я бѣгу къ Луи-Бланъ за совѣтомъ, что дѣлать.

Гдѣ Бартелеми?

— И онъ, и его секундантъ, и секунданты Курне— въ тюрьмѣ; одинъ изъ секундантовъ только не взятъ; по англійскимъ законамъ, Бартелеми можно повѣсить. Виллихъ сѣлъ на омнибусъ и уѣхалъ. Я остался на улицѣ, постоялъ, постоялъ, повернулся и пошелъ опять домой.

Часа черезъ два пришелъ Виллихъ, Луи Бланъ принялъ, разумѣется, дѣятельное участіе, хотѣлъ посовѣтоваться съ извѣстными адвокатами. Всего лучше казалось, поставить дѣло такъ, чтобъ слѣдователи не знали, кто стрѣлялъ и кто былъ свидѣтелемъ. Для этого надобно было, чтобъ обѣ стороны говорили одно и то же. Въ томъ, что англійскій судъ не захочетъ въ дѣлѣ дуэли употреблять полицейскія уловки — въ этомъ всѣ были увѣрены.

Надобно было передать это пріятелямъ Курне, но никто изъ знакомыхъ Виллиха не ѣздилъ ни къ нимъ, ни къ Ледрю-Роллену, Виллихъ поэтому отправилъ меня къ Маццини.

Я его засталъ сильно раздраженнымъ. — Вы вѣрно пріѣхали, сказалъ онъ, по дѣлу этого убійцы?

Я посмотрѣлъ на него, намѣренно помолчалъ и сказалъ: по дѣлу *Бартелеми.*

— Вы съ нимъ знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастнаго Курне были тоже пріятели и друзья...

— Которые, вѣроятно, не называли его разбойникомъ за то, что онъ былъ на двадцати дуэляхъ, на которыхъ, кажется, *не онъ* былъ убитъ.

— Теперь ли поминать объ этомъ?

— Я отвѣчаю.

— Что же теперь спасать *его* изъ петли?

— Я полагаю, что особеннаго удовольствія никому не будетъ, если повѣсятъ человѣка, который себя такъ велъ какъ Бартелеми на іюньскихъ баррикадахъ. Впрочемъ рѣчь идетъ не о немъ одномъ, а и о секундантахъ Курне.

— Его не повѣсятъ.

— Почемъ знать, замѣтилъ хладнокровно молодой англійскій радикалъ, причесанный à la Jesus, молчавшій все время и подтверждавшій слова Маццини головой, дымомъ сигары и какими-то неуловимыми *полифтонгами*, въ которыхъ пять-шесть гласныхъ, сплюснутыхъ вмѣстѣ, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имѣете противъ этого?

— Мы любимъ и уважаемъ законъ.

— Не оттого ли, замѣтилъ я, придавая добродушный видъ моимъ словамъ, всѣ народы больше уважаютъ Англію, чѣмъ любятъ англичанъ.

— Оеуэ? спросилъ радикалъ, а можетъ и отвѣчалъ.

— Въ чемъ дѣло? перебилъ Маццини. Я разсказалъ ему.

— Они уже сами думали объ этомъ и пришли къ тому же результату.

Процессъ Бартелеми имѣетъ чрезвычайный интересъ. Рѣдко англійскій и французскій характеръ обличались съ такой рѣзкостью, въ такой тѣсной и удобоизмѣримой рамѣ.

Начиная съ мѣста поединка все было нелѣпо: они дрались близъ Виндзора, для этого надобно было по желѣзной дорогѣ (которая *только* идетъ въ Виндзоръ) отъѣхать нѣсколько десятковъ миль *отъ границы внутрь* королевства,—въ то время какъ вообще люди дерутся на границѣ, близъ кораблей, лодокъ и пр. Выборъ Виндзора сверхъ того самъ по себѣ былъ никуда негоденъ. Королевскій дворецъ, любимая резиденція Викторіи, разумѣется въ полицейскомъ отношеніи, находится подъ двойнымъ надзоромъ. Я полагаю, что мѣсто это было выбрано очень просто потому, что французы изъ всѣхъ окресностей Лондона только и знаютъ: *Ришмонъ'* и *Вансоръ*.

Секунданты взяли *на всякій случай* рапиры съ отточенными концами, хотя и знали, что противники будутъ стрѣляться. Когда Курне палъ—всѣ, за исключеніемъ одного секунданта, который уѣхалъ особо и вслѣдствіе того спокойно пробрался въ Бельгію, поѣхали вмѣстѣ, *не забывъ съ собою взять* рапиры. Когда они прибыли на ватерлоскую станцію въ Лондонѣ, телеграфъ уже давно извѣстилъ полицію. Полиціи искать было нечего: „четыре человѣка, съ бородами и усами, въ фуражкахъ, говорящіе по французски и съ завернутыми рапирами,“ были взяты, выходя изъ вагоновъ.

Какъ же все это могло случиться? не намъ, кажется, учить французовъ прятаться отъ полиціи. Злѣе, расторопнѣе, безнравственнѣе и неутомимѣе въ своемъ усер-

діи нѣтъ полиціи въ мірѣ, какъ французская. Во время Людвика Филиппа *ищущій* и *искомый* играли мастерски свою партію, каждый ходъ былъ расчитанъ—(теперь это не нужно, полиція, по русски, впередъ говоритъ *шахъ и матъ*), но вѣдь время Людвика Филиппа не за горами. Какимъ же образомъ такой умный человѣкъ, какъ Бартелеми, и такіе бывалые люди, какъ секунданты Курне, надѣлали столько промаховъ?

Причина одна и таже: совершенное незнаніе Англіи и англійскихъ законовъ. Они слыхали, что никого арестовать нельзя безъ „уарандъ"; они слыхали о какомъто „абеасъ корпюсъ," по которому слѣдуетъ выпустить человѣка по требованію адвоката, и полагали, что они доѣдутъ домой, переодѣнутся и будутъ въ Бельгіи, когда утромъ за ними придетъ одураченный констабль, *непремѣнно* съ палочкой (какъ ихъ описываютъ во французскихъ романахъ) и скажетъ, увидя, что ихъ нѣтъ, god-damn! Не смотря на то, что ни констабли палочекъ не носятъ, ни англичане не говорятъ god-damn!

Арестованныхъ посадили въ Surrey'скую тюрьму. Начались посѣщенія, поѣхали дамы, поѣхали пріятели убитаго Курне. Полиція, разумѣется, тотчасъ догадалась въ чемъ дѣло и какъ оно было; впрочемъ, этого нельзя ей поставить въ заслугу, пріятели и непріятели Бартелеми и Курне кричали въ трактирахъ и public-гаузахъ о всѣхъ подробностяхъ дуэли, разумѣется, прибавляя и такія, которыхъ вовсе не было и совершенно не могло быть. Но оффиціально полиція *не хотѣла* знать, и потому, когда одни посѣтители спрашивали позволеніе видѣть секунданта „Бароне," другіе секунданта Бартелеми, полицейскій офицеръ рѣшился имъ сказать: „гг. мы вовсе не знаемъ, кто изъ нихъ секундантъ, кто виноватый, слѣдствіе еще не открыло всѣхъ обстоятельствъ

дѣла, называйте, пожалуйста, знакомыхъ вашихъ по именамъ.“ Первый урокъ!

Наконецъ судебный кругъ дошелъ до Surrey, назначенъ былъ день, въ который lord-chief-justice, Кембель будетъ судить дѣло о неизвѣстно кѣмъ убитомъ французѣ Курне и прикосновенныхъ къ его убійству лицахъ.

Я тогда жилъ возлѣ Primrose Hill; часовъ въ семь холодно-туманнаго февральскаго утра вышелъ я въ Реженть Паркъ, чтобы, пройдя его, отправиться на желѣзную дорогу.

День этотъ остался очень рельефно въ моей памяти. Отъ тумана, покрывавшаго паркъ и бѣлыхъ лебедей, сонно плывшихъ по водѣ, подернутой искрасна-желтымъ дымомъ, до той минуты, когда далеко за полночь я сидѣлъ съ однимъ lawyer'омъ у Верп на Режентъ-стритѣ и пилъ шампанское за здоровье Англіи. Все какъ на блюдечкѣ.

Я англійскаго суда не видалъ прежде; комизмъ средневѣковой mise en scène будитъ въ насъ больше воспоминаній оперы буффы, чѣмъ почтенной традиціи, но это можно забыть въ этотъ день.

Около десяти часовъ передъ гостинницею, гдѣ стоялъ лордъ Кембель, явились первыя маски, герольды съ двумя трубачами, возвѣстившіе, что лордъ Кембель въ открытомъ судѣ будетъ въ 10 часовъ судить такое то дѣло. Мы бросились къ дверямъ судебной залы, которая была въ нѣсколькихъ шагахъ; между тѣмъ черезъ площадь двигался и лордъ Кембель въ золоченой каретѣ, въ парикѣ, который только уступалъ въ величинѣ и красотѣ парику его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пѣшкомъ человѣкъ двадцать аторнеевъ, солиситоровъ, подобравъ

мантіи, безъ шляпъ и въ шерстяныхъ парикахъ, намѣренно сдѣланныхъ какъ можно менѣе похожими на человѣческіе волосы. Въ дверяхъ я чуть было, вмѣсто суда чифъ-джустиса Кембеля надъ Бартелеми, не попалъ на судъ, который Богъ держалъ надъ Курне.

Въ самыхъ дверяхъ масса народа, вытѣсняемая полицейскими изъ залы, и нечеловѣческій напоръ сзади, произвели остановку: впередъ нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейскимъ надоѣло работать по мелочи, они схватились за руки и разомъ, дружно пошли на приступъ—передній рядъ меня такъ прижалъ, что дыханіе сперлось, еще и еще храбрый напоръ осаждающихъ, и мы вдругъ очутились вѣтесненными, выжатыми, выброшенными на десять шаговъ далѣе двери на улицу.

Еслибъ не знакомый адвокатъ, мы бы совсѣмъ не попали, зала была набита, онъ насъ провелъ особыми дверями, и мы наконецъ усѣлись, отирая потъ и справляясь, цѣлы ли часы, деньги и пр.

Замѣчательная вещь, что нигдѣ толпа не бываетъ многочисленнѣе, плотнѣе, страшнѣе, какъ въ Лондонѣ, а дѣлать кё ни въ какомъ случаѣ не умѣетъ; англичане всегда берутъ своимъ національнымъ упорствомъ, давятъ два часа, что нибудь да продавятъ. Меня это много разъ дивило при входѣ въ театры, еслибъ люди шли другъ за другомъ, они навѣрное вошли бы въ полчаса, но такъ какъ они прутъ всей массой, то множество переднихъ пробиваются по правой и лѣвой сторонѣ дверей, тутъ ими овладѣваетъ какое-то сосредоточенное ожесточеніе и они начинаютъ давить съ боковъ медленно двигающуюся среднюю струю безъ всякой пользы для себя, но какъ бы вымѣщая на ихъ бокахъ ихъ счастье.

Стучатъ въ двери. Какой-то господинъ, тоже въ маскарадномъ платьѣ, кричитъ, кто тамъ?—Судъ,—отвѣчаютъ съ той стороны; отворяются двери и является Кембель въ шубѣ и въ какомъ-то женскомъ шлафрокѣ; онъ поклонился на всѣ четыре стороны и объявилъ, что судъ открытъ.

Мнѣніе о дѣлѣ Бартелеми, составленное судомъ, т. е. Кембелемъ, было ясно съ начала до конца, и онъ его выдержалъ, не смотря на всѣ усилія французовъ сбить его съ дороги и ухудшить. Была дуэль. Одинъ убитъ. Оба—французы, рефюжье, имѣющіе иныя понятія о чести, чѣмъ мы; кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ, разобрать трудно. Одинъ сошелъ съ баррикадъ, другой бретеръ. Намъ нельзя оставить это безнаказаннымъ, но не слѣдуетъ всею силою англійскихъ законовъ побивать иностранцевъ, тѣмъ больше, что всѣ они люди чистые, и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому— кто убійца, мы не будемъ добиваться—все вѣроятіе, что убійца тотъ изъ нихъ, который бѣжалъ въ Бельгію; подсудимыхъ мы обвинимъ въ участіи, и спросимъ присяжныхъ, виноваты ли они въ manslaughter или нѣтъ? Обвиненные присяжными—они въ нашихъ рукахъ; мы приговоримъ ихъ къ одному изъ наименьшихъ наказаній, и покончимъ дѣло. Оправдаютъ ихъ присяжные — богъ съ ними совсѣмъ, пусть идутъ на всѣ четыре стороны.

Все это французамъ обѣихъ партій было ножъ острый!

Сторонники Курне хотѣли воспользоваться случаемъ, чтобъ потерять въ мнѣніи суда Бартелеми, и не называя его прямо, указать на него, какъ на убійцу Курне.

Нѣсколько человѣкъ друзей Бартелеми и самъ онъ домогались покрыть презрѣніемъ и стыдомъ Бароне и компанію странной подробностью, которая открылась

въ полицейскомъ слѣдствіи. Пистолеты были взяты у ружейника, послѣ дуэли ему ихъ прислали. Одинъ пистолетъ былъ заряженъ. Когда началось дѣло, ружейникъ явился съ пистолетомъ и съ показаніемъ, что подъ пулей и порохомъ лежала небольшая тряпочка, такъ что выстрѣлъ былъ невозможенъ.

Дуэль шла такъ: Курне выстрѣлилъ въ Бартелеми и не попалъ. У Бартелеми капсюль исправно щелкнулъ, но выстрѣла не было, ему дали другой капсюль,—таже исторія. Тогда Бартелеми бросилъ пистолетъ, и предложилъ Курне драться на рапирахъ. Курне не согласился; рѣшились еще разъ стрѣлять, но Бартелеми потребовалъ другой пистолетъ, на что Курне тотчасъ согласился. Пистолетъ былъ поданъ, раздался выстрѣлъ и Курне упалъ мертвый.

Стало быть, пистолетъ, возвратившійся къ ружейнику заряженнымъ, былъ тотъ самый, который былъ въ рукахъ Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты досталъ пріятель Курне, Пардигонъ, нѣкогда участвовавшій въ Voix du peuple и страшно изуродованный въ іюньскіе дни.*)

*) Пардигонъ, схваченный въ іюньскіе дни, былъ брошенъ въ тюльерійскій подвалъ; тамъ находилось тысячъ до пяти человѣкъ. Тутъ были холерные, раненые, умиравшіе. Когда правительство прислало Корменена освидѣтельствовать положеніе ихъ, то отворивши двери, онъ и доктора отпрянули отъ удушающей заразительной вони Къ окошечкамъ soupirail было запрещено подходить. Пардигонъ, изнемогая отъ духоты, поднялъ голову, чтобы подышать; это замѣтилъ часовой изъ національной гвардіи и сказалъ ему, чтобъ онъ отошелъ или онъ выстрѣлитъ. Пардигонъ медлилъ, тогда почтенный буржуа опустилъ дуло и выстрѣлилъ въ него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть, онъ упалъ. Вечеромъ часть арестантовъ повели въ форты, въ томъ числѣ подняли раненаго Пардигона, связали ему руки и повели. Тутъ извѣстная тревога на карусельской площади, въ которой національная гвардія со страха стрѣляла другъ въ друга; раненый Пардигонъ выбился изъ силъ и

Еслибъ можно было доказать, что тряпка была положена съ цѣлью, т. е. что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позоромъ и погублены на вѣки вѣковъ.

За такой пріятный результатъ Бартелеми охотно пошелъ бы на десять лѣтъ въ каторжную работу или въ депортацію.

По слѣдствію оказалось, что лоскутокъ, вынутый изъ пистолета, дѣйствительно принадлежалъ Пардигону, онъ былъ вырванъ изъ тряпки, которой онъ обтиралъ лаковые сапоги. Пардигонъ говорилъ, что онъ чистилъ дуло, надѣвъ тряпочку на карандашъ, и что можетъ, вертѣвши ею, отрѣзалъ лоскутокъ, но друзья Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нѣту городковъ отъ складокъ...

Съ своей стороны противники Бартелеми приготовили фалангу свидѣтелей à decharge въ пользу Бароне и его товарищей.

Политика ихъ состояла въ томъ, что аторней со стороны Бароне будетъ ихъ спрашивать объ антецедентахъ Курне и прочихъ. Они превознесутъ ихъ, и будутъ молчать о Бартелеми и его секундантахъ. Такое единодушное умалчиваніе со стороны соотечественниковъ и „корелижіонеровъ“ должно было, по ихъ мнѣнію, сильно поднять въ глазахъ Кембеля и публики однихъ и сильно уронить другихъ. Призывъ свидѣтелей стоитъ денегъ, да и сверхъ того у Бартелеми не было цѣлой

упалъ; его бросили на полъ въ полицейскую коръ-де-гардію, и онъ остался съ связанными руками, лежа на спинѣ и *захлебываясь* своей кровью изъ раны. Такъ его засталъ какой-то политехникъ, разругавшій этихъ канибаловъ и заставившій ихъ снести больнаго въ больницу. Помнится, я этотъ случай разсказалъ въ „Письмахъ изъ Италіи и Франціи“... но это не мѣшаетъ протверживать, чтобы не забывать, что такое образованная парижская буржуазія.

ширинги друзей, которымъ онъ могъ бы отдать приказаніе говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при слѣдствіи, умѣли краснорѣчиво молчать.

Одного изъ арестованныхъ свидѣтелей, Бароне, слѣдопроизводитель спросилъ, знаетъ ли онъ, кто убилъ Курне, или кого онъ подозрѣваетъ. Бароне отвѣчалъ, что никакія угрозы, никакія наказанія не заставятъ его назвать человѣка, лишившаго жизни Курне, не смотря на то, что покойникъ былъ лучшій другъ его. „Если бы я долженъ былъ десятокъ лѣтъ влачить цѣпи въ душной тюрьмѣ, то я и тогда не сказалъ бы.“

Солиситоръ перебилъ его хладнокровнымъ замѣчаніемъ: „Да это ваше право, впрочемъ вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете.“

И послѣ всего этого они хотѣли перехитрить — кого же?—*Лорда Кембеля?* Я желалъ бы приложить его портретъ для того, чтобы показать всю мѣру нелѣпости этой попытки. Старика лорда Кембеля, посѣдѣвшаго и сморщившагося на своемъ судейскомъ креслѣ, читая равнодушнымъ голосомъ, съ шотланскимъ акцентомъ, страшнѣйшія evidences и распутывая самыя сложныя дѣла съ осязательной ясностью, — его хотѣла перехитрить кучка парижскихъ клубистовъ... Лорда Кембеля, который никогда не поднимаетъ голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяетъ себѣ въ самыхъ смѣшныхъ или сильныхъ минутахъ высморкаться... Лорда Кембеля, съ лицомъ ворчуньи-старухи, въ которомъ, вглядываясь, вы ясно видите извѣстную метаморфозу, такъ непріятно удивившую дѣвочку *красную шапочку*, что это вовсе не бабушка, а волкъ, въ парикѣ, женскомъ робронѣ и кацавейкѣ обшитой мѣхомъ.

За то его лордшипство не осталось въ долгу.

Послѣ долгихъ дискуцій о тряпочкѣ и послѣ показаній Пардигона, защитники Бароне начали вызывать свидѣтелей.

Во первыхъ, явился старикъ рефюжье, товарищъ Барбеса и Бланки. Онъ сначала съ нѣкоторымъ отвращеніемъ принялъ библію, потомъ сдѣлалъ движеніе рукой, „была молъ не была“ — присягнулъ и вытянулъ шею.

— Давно ли вы, спросилъ одинъ изъ аторнеевъ, знакомы съ Курне?

— Граждане — сказалъ рефюжье по французски — съ молодыхъ лѣтъ моихъ преданный одному дѣлу, я посвятилъ жизнь свою священному дѣлу свободы и равенству... и пошелъ было въ этомъ родѣ.

Но аторней остановилъ его и, обращаясь къ переводчику, замѣтилъ: свидѣтель, кажется, не понялъ вопроса, переведите его на французскій.

За нимъ слѣдовалъ другой. Когда пять, шесть французовъ, съ бородами, идущими въ рюмочку, и плѣшивыхъ, съ огромными усами и волосами, выстриженными по николаевски, наконецъ съ волосами, падающими на плечи и въ красныхъ шейныхъ платкахъ, явились одинъ за другимъ, чтобъ сказать варіаціи на слѣдующую тему: „Курне былъ человѣкъ, котораго достоинства превышали добродѣтели, а добродѣтели равнялись достоинствамъ, онъ былъ украшеніе эмиграціи, честь партіи, жена его неутѣшна, а друзья утѣшаются только тѣмъ, что остались въ живыхъ такіе люди, какъ Бароне и его товарищи.“

— А знаете ли вы Бартелеми?

— Да, онъ французскій рефюжье... видалъ, но не

знаю ничего о немъ; при этомъ свидѣтель чмокалъ по французски ртомъ.

— Свидѣтеля такого-то... сказалъ аторней.

— Позвольте, замѣтила бабушка Кембель голосомъ мягкаго участія, не безпокойте ихъ больше, это множество свидѣтелей *въ пользу* покойнаго Курне и подсудимаго Бароне, намъ кажется излишнимъ и вреднымъ, мы не считаемъ ни того, ни другаго такими дурными людьми, чтобы ихъ честность и порядочное поведеніе слѣдовало доказывать съ такимъ упорствомъ. Сверхъ того, Курне умеръ, и намъ вовсе не нужно ничего знать о немъ, мы призваны судить одно дѣло о его убіеніи; все, идущее къ этому преступленію, для насъ важно, а событія прошлой жизни подсудимыхъ, которыхъ мы равно считаемъ весьма порядочными джентельменами, намъ не нужно знать. Я съ своей стороны не имѣю никакихъ подозрѣній на счетъ г. Бароне.

— А на что у тебя, бабушка, такіе хитрые, да смѣющіеся глаза?

— На то, что ртомъ я по моему сану не могу смѣяться надъ вами, милые внучата, а потому посмѣюсь глазами.

Разумѣется, что послѣ этого свидѣтелей съ прической внизу и съ прической на верху, съ военнымъ видомъ и съ кашне всѣхъ семи цвѣтовъ призмы, отпустили, не слушавши.

Затѣмъ дѣло пошло быстро.

Одинъ изъ защитниковъ, представляя присяжнымъ, что подсудимые иностранцы, совершенно не знающіе англійскихъ законовъ, заслуживаютъ всякаго снисхожденія, прибавилъ: „Представьте себѣ, гг. присяжные, г. Бароне такъ мало зналъ Англію, что на вопросъ, знаете ли вы, кто убилъ Курне, отвѣчалъ, что еслибъ

его въ цѣпяхъ посадили лѣтъ на десять въ тюремные склепы, то онъ и тогда бы не сказалъ имени. Вы видите, что г. Бароне еще имѣлъ объ Англіи какія-то средневѣковыя понятія, онъ могъ думать, что за его умалчиваніе его можно ковать въ цѣпи, бросить на десять лѣтъ въ тюрьму. Надѣюсь, сказалъ онъ, не удерживая смѣха, что несчастное событіе, по которому г. Бароне былъ нѣсколько мѣсяцевъ лишенъ свободы, убѣдило его, что тюрьмы въ Англіи нѣсколько улучшились съ среднихъ вѣковъ и врядъ ли хуже тюремъ въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. Докажемте же подсудимымъ, что и судъ нашъ также человѣчественъ и справедливъ“ и пр.

Присяжные, составленные на половину изъ иностранцевъ, нашли подсудимыхъ „виновными.“

Тогда Кембель обратился къ подсудимымъ, напомнилъ имъ строгость англійскихъ законовъ, напомнилъ, что иностранецъ, ступая на англійскую землю, пользуется всѣми правами англичанина и за это долженъ нести и равную отвѣтственность передъ закономъ. Потомъ перешелъ къ разницѣ нравовъ и сказалъ, наконецъ, что онъ не считалъ бы справедливымъ наказать ихъ по всей строгости законовъ, а потому приговариваетъ ихъ *къ двухмѣсячному тюремному заключенію.*

Публика, народъ, адвокаты и мы всѣ были довольны; ждали рѣзкаго наказанія, но не смѣли думать о меньшемъ minimum'ѣ, какъ три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошелъ къ Бартелеми, онъ мрачно сжалъ мнѣ руку и сказалъ: Пардигонъ-то остался чистъ, Бароне... и онъ пожалъ плечами.

Когда я выходилъ изъ залы, я встрѣтилъ моего зна-

комаго, lawyer'a, онъ стоялъ съ Бароне. „Лучше бы меня," говорилъ послѣдній, „на годъ посадили, чѣмъ смѣшать съ этимъ злодѣемъ Бартелеми."

Судъ кончился часовъ около десяти вечеромъ. Когда мы пришли на желѣзную дорогу, мы застали въ амбаркадерѣ толпы французовъ и англичанъ, громко и шумно разсуждавшихъ о дѣлѣ. Большинство французовъ было довольно приговоромъ, хотя и чувствовало, что побѣда не по ту сторону Ламанша. Въ вагонахъ французы затянули Марсельезу.

— Господа, сказалъ я, справедливость прежде всего; на этотъ разъ споемте-ка Rule Britania!

И Rule Britania запѣли!

II.

NOT GUILTY.

„..... Вчера арестовали на собственной квартирѣ доктора Симона Бернара, по дѣлу Орсини..."

Надобно нѣсколько лѣтъ прожить въ Англіи, чтобъ понять, какъ подобная новость удивляетъ... какъ ей не сразу вѣришь... какъ *континентально* становится на душѣ!...

На Англію находятъ, и довольно часто, періодическіе страхи, и въ это время оторопѣлости не попадайся ей ничего на дорогѣ. Страхъ вообще безжалостенъ, безпощаденъ; но имѣетъ ту выгоду за собой, что онъ скоро проходитъ. Страхъ не злопамятенъ, онъ старается, чтобъ его поскорѣе забыли.

Не надобно думать, чтобъ трусливое чувство осторожности и тревожнаго самохраненія лежало въ самомъ

англійскомъ характерѣ. Это слѣдствіе отучнѣнія отъ богатства и воспитанія всѣхъ помысловъ и страстей на стяжаніе. Робость въ англійской крови внесена капиталистами и мѣщанствомъ, они передаютъ болѣзненную тревожность свою оффиціальному міру, который въ представительной странѣ постоянно поддѣлывается подъ нравы — голосъ и деньги имущихъ. Составляя господствующую среду, они при всякой неожиданной случайности теряютъ голову и, не имѣя нужды стѣсняться, являются во всей безпомощной, неуклюжей трусости своей, не прикрытой пестрымъ и линялымъ фуляромъ французской риторики.

Надобно умѣть переждать, какъ только капиталъ придетъ въ себя, успокоится за проценты, все опять пойдетъ своимъ чередомъ.

Взятіемъ Бернара думали отдѣлаться отъ гнѣва кесарева, за то, что Орсини на англійской почвѣ обдумывалъ свои гранаты. Слабодушныя уступки обыкновенно раздражаютъ, и вмѣсто спасиба — грозныя ноты сдѣлались еще грознѣе, военныя статьи, въ французскихъ газетахъ, запахли еще сильнѣе порохомъ. Капиталъ поблѣднѣлъ, въ глазахъ его помутилось, онъ ужъ видѣлъ, чуялъ винтовые пароходы, красные штаны, красныя ядра, красное зарево, банкъ, превращенный въ Мабиль, съ исторической надписью: Ici l'on danse! Что же дѣлать? — Не только выдать и уничтожить доктора Симона Бернара, но, пожалуй, срыть гору Сенъ-Бернаръ и ее уничтожить, лишь бы проклятый призракъ красныхъ штановъ и черныхъ бородокъ исчезъ, лишь бы смѣнить гнѣвъ союзника на милость.

Лучшій метеорологическій снарядъ въ Англіи — Пальмерстонъ, показывающій очень вѣрно состояніе температуры среднихъ слоевъ, перевелъ „очень страш-

но“ на Conspiracy Bill. По этому закону, если бы онъ прошелъ, съ нѣкоторой старательностью и усердіемъ къ службѣ, каждое посольство могло бы усадить въ тюрьму, а въ иныхъ случаяхъ и на корабль, любаго изъ враговъ своихъ правительствъ.

Но по счастью, температура острова не во всѣхъ слояхъ одинакая, и мы сейчасъ увидимъ премудрость англійскаго распредѣленія богатствъ, освобождающую значительную часть англичанъ отъ заботы о капиталѣ. Будь въ Англіи всѣ до единаго капиталисты, Conspiracy Bill былъ бы принятъ, а Симонъ Бернаръ былъ бы повѣшенъ... или отправленъ въ Каэну.

При слухѣ о Conspiracy Bill и о почти несомнѣнной возможности, что онъ пройдетъ, старое англо-саксонское чувство независимости встрепенулось; ему стало жаль своего древняго *права убѣжища*, которымъ кто и кто не пользовался отъ гугенотовъ до католиковъ въ 1793, отъ Вольтера и Паоли до Карла X и Людвика Филиппа? Англичанинъ не имѣетъ особой любви къ иностранцамъ, еще меньше къ изгнанникамъ, которыхъ считаетъ бѣдняками, а этого порока онъ не прощаетъ — но за *право убѣжища* онъ держится; безнаказанно касаться его онъ не позволяетъ, такъ точно, какъ касаться до права митинговъ, до свободы книгопечатанія.

Предлагая Conspiracy Bill, Пальмерстонъ считалъ, и очень вѣрно, на упадокъ британскаго духа; онъ думалъ объ одной средѣ, очень мощной, но забылъ о другой, очень многочисленной.

За нѣсколько дней до вотированія биля, Лондонъ покрылся афишами: комитетъ, составившійся для противодѣйствія новому закону, приглашалъ на митингъ въ слѣдующее воскресенье въ Hyde Park, тамъ коми-

тетъ хотѣлъ предложить адресъ королевѣ. Въ этомъ адресѣ требовалось объявленіе Пальмерстона и его товарищей измѣнниками отечества, ихъ подсудимость и просьба въ томъ случаѣ, если законъ пройдетъ, чтобъ королева, въ силу ей предоставленнаго права, отвергла его. Количество народа, которое ожидали въ паркѣ, было такъ велико, что комитетъ объявилъ о невозможности говорить рѣчи, параграфы адреса комитетъ распорядился предлагать на сужденіе телеграфическими знаками.

Разнесся слухъ, что къ субботѣ собираются работники, молодые люди, со всѣхъ концовъ Англіи, что желѣзныя дороги привезутъ десятки тысячъ людей, сильно раздраженныхъ. Можно было надѣяться на митингъ въ двѣсти тысячъ человѣкъ. Что могла сдѣлать полиція съ ними? Употребить войско противъ митинга законнаго и безоружнаго, собирающагося для адреса королевѣ, было невозможно, да и на это необходимъ былъ Mutiny Bill, слѣдовало предупредить митингъ. И вотъ въ пятницу Мильнеръ Гибсонъ явился съ своею рѣчью противъ пальмерстонова закона. Пальмерстонъ былъ до того увѣренъ въ своемъ торжествѣ, что, улыбаясь, ждалъ счета голосовъ. Подъ вліяніемъ будущаго митинга, часть пальмерстоновыхъ кліентовъ вотировала противъ него, и когда большинство больше 30 голосовъ было со стороны Мильнеръ Гибсона, онъ думалъ, что считавшій обмолвился, переспросилъ, потребовалъ рѣчи, ничего не сказалъ, а растерянный произнесъ нѣсколько безсвязныхъ словъ, сопровождая ихъ натянутой улыбкой, и потомъ опустился на стулъ, оглушаемый враждебнымъ рукоплесканіемъ.

Митингъ сдѣлался невозможенъ, не было больше причины ѣхать изъ Манчестера, Бристоля, Ньюкастля на

Тейнѣ... Conspiracy Bill палъ и съ нимъ Пальмерстонъ съ своими товарищами.

Классически велерѣчивое и чопорно консервативное министерство Дерби, съ своими еврейскими мелодіями д'Израели и дипломатическими тонкостями временъ Кастельри, смѣнило ихъ.

Въ Воскресенье, часу въ третьемъ, я пошелъ съ визитомъ и именно къ Г-жѣ Мильнеръ Гибсонъ, мнѣ хотѣлось ее поздравить; она жила возлѣ Гайдъ-Парка. Афиши были сняты и носильщики ходили съ печатными объявленіями на груди и спинѣ, что по случаю паденія закона и министровъ митинга не будетъ. Тѣмъ не меньше, пригласивши тысячъ двѣсти гостей, нельзя было ожидать, чтобы Паркъ остался пустъ. Вездѣ стояли густыя группы народа, ораторы, взгромоздившись на стулья, на столы, говорили рѣчи, и толпы были возбуждены больше обыкновеннаго. Нѣсколько полицейскихъ ходили съ дѣвичьей скромностью, ватаги мальчишекъ распѣвали во все горло: Pop goes the weasel! Вдругъ кто-то, указывая на поджарую фигуру француза съ усиками, въ потертой шляпѣ, закричалъ: A french spy!... въ ту же минуту мальчишки бросились за нимъ. Перепуганный шпіонъ хотѣлъ дать стрѣчка, но, брошенный на землю, онъ уже пошелъ не пѣшкомъ, его потащили волокомъ съ торжествомъ и крикомъ: „french spy, въ Серпентину его!“ привели къ берегу, помокнули его (это было въ Февралѣ), вынули и положили на берегъ, съ хохотомъ и свистомъ. Мокрый, дрожащій французъ, барахтался на пескѣ, выкликая *въ Паркѣ:* „кабман'! кабман'!“

Вотъ какъ повторилось черезъ пятьдесятъ лѣтъ въ Гайдъ-Паркѣ знаменитое тургеневское: „француза топимъ.“

Этотъ прологъ à la Pristnitz къ бернаровскому процессу показалъ, какъ далеко распространилось негодованіе. Народъ англійскій былъ дѣйствительно разсержень, и спасъ свою родину отъ пятна, которымъ conglomerated mediocrity С. Милля непремѣнно опозорила бы ее.

Англія велика и сносна *только* при полнѣйшемъ сохраненіи своихъ правъ и свободъ, неспѣтыхъ въ одно, одѣтыхъ въ средневѣковыя платья пуританскіе кафтаны, но допустившихъ жизнь до гордой самобытности и незыблемой юридической увѣренности въ законной почвѣ.

То, что понялъ инстинктомъ народъ англійскій, Дерби также мало оцѣнилъ, какъ и Пальмерстонъ. Забота Дерби состояла въ томъ, чтобъ успокоитъ капиталъ и сдѣлать всевозможныя уступки для разсерженнаго союзника; ему онъ хотѣлъ доказать, что и безъ Conspiracy Bill онъ надѣлаетъ чудеса. Въ излишнемъ рвеніи онъ сдѣлалъ двѣ ошибки.

Министерство Пальмерстона требовало подсудимости Бернара, обвиняя его въ misdemeanour, т. е. въ дурномъ поведеніи, въ бездѣльничествѣ, словомъ, въ преступленіи, которое не влекло за собою *большаго* наказанія какъ трехлѣтнее тюремное заключеніе. А потому ни присяжные, ни адвокаты, ни публика, не приняли бы особеннаго участія въ дѣлѣ, и оно вѣроятно кончилось бы противъ Бернара. Дерби потребовалъ судить Бернара за felony, за уголовное преступленіе, дающее судьѣ право, въ случаѣ обвинительнаго вердикта, приговорить его къ висѣлицѣ. Это нельзя было такъ пропустить, сверхъ того увеличивать виновность, пока виноватый подъ судомъ, совершенно противно юридическому смыслу англичанъ.

Пальмерстонъ въ самыхъ острыхъ припадкахъ страха, послѣ атентата Орсини, поймалъ безвреднѣйшую книжонку какого-то Адамса, разсуждавшаго о томъ, когда tyranicide позволено и когда нѣтъ, и отдалъ подъ судъ ея издателя Трулова.

Вся независимая пресса съ негодованіемъ взглянула на эту континентальную замашку. Преслѣдованіе брошюры было совершенно безсмысленно, въ Англіи тирановъ нѣтъ, во Франціи никто не узналъ бы объ брошюрѣ, писанной на англійскомъ языкѣ, да и такія ли ли вещи печатаются въ Англіи ежедневно.

Дерби съ своими привычками торфа и скачекъ захотѣлъ нагнать, а если можно, обскакать Пальмерстона. Феликсъ Пья написалъ отъ имени революціонной коммуны какой-то манифестъ, оправдывавшій Орсини, никто не хотѣлъ издавать его; польскій изгнанникъ Тхоржевскій поставилъ имя своей книжной лавки на посланіи Пья. Дерби велѣлъ схватить экземпляръ и отдать подъ судъ Тхоржевскаго.

Вся англо-саксонская кровь, въ которой желѣзо не было замѣнено золотомъ, отъ этого новаго оскорбленія бросилась въ голову, всѣ органы — Шотландіи, Ирландіи и, разумѣется, Англіи (кромѣ двухъ-трехъ журналовъ *на содержаніи*)—приняли за преступное посягательство на свободу книгопечатанія эти опыты урѣзыванія словъ и спрашивали, въ полномъ ли разсудкѣ поступаетъ такъ правительсто или оно сошло съ ума?

При этомъ благопріятномъ настроеніи въ пользу правительственныхъ преслѣдованій, начался въ Old-Bailey процессъ Бернара, это „юридическое Ватерлоо“ Англіи, какъ мы сказали тогда въ *Колоколѣ*.

Процессъ Бернара я прослѣдилъ отъ доски до доски,

я былъ всѣ засѣданія въ Old-Bailey (разъ только часа два опоздалъ), и не раскаяваюсь въ этомъ. Первый процессъ Бартелеми и процессъ Бернара доказали мнѣ очевидно, насколько Англія совершеннолѣтнѣе Франціи въ юридическомъ отношеніи.

Чтобъ обвинить Бернара, французское правительство и англійское министерство взяло колосальныя мѣры, процессъ этотъ стоилъ обоимъ правительствамъ до 30,000 ф. стер., т. е. до 750,000 фр. Ватага французскихъ агентовъ жила въ Лондонѣ, ѣздила въ Парижъ и возвращалась, для того, чтобъ сказать одно слово, для того, чтобъ быть въ готовности *на случай* надобности, семьи были выписаны, доктора медицины, жокеи, начальники тюремъ, женщины, дѣти... и все это жило въ дорогихъ гостинницахъ, получая фунтъ (25 фр.) въ день на содержаніе. Цезарь былъ испуганъ. Карѳагены были испуганы! И все-то это понялъ насупившись неповоротливый англичанинъ, и въ продолженіи слѣдствія преслѣдовалъ мальчиками, свистомъ и грязью на Гай-Маркетѣ и Ковентри французскихъ шпіоновъ; англійская полиція должна была не разъ ихъ спасать.

На этой ненависти къ политическимъ шпіонамъ и къ безцеремонному вторженію ихъ въ Лондонъ основалъ Едвинъ Джемсъ свою защиту. Что онъ дѣлалъ съ англійскими агентами, трудно себѣ вообразить. Я не знаю, какія средства нашелъ Scotland Yard или французское правительство, чтобъ вознаградить за пытку, которую заставлялъ ихъ выносить Е. Джемсъ.

Нѣкто Рожерсъ свидѣтельствуетъ, что Бернаръ въ клубѣ на Лестеръ Скверѣ говорилъ то-то и то-то о предстоящей гибели Наполеона.

— Вы были тамъ? — спрашиваетъ Е. Джемсъ.

— Былъ.

— Вы стало занимаетесь политикой?

— Нѣтъ.

— Зачѣмъ же вы ходите по политическимъ клубамъ?

— *По обязанностямъ службы.*

— Не понимаю, какая же это служба?

— Я служу у Серъ Ричарда Мена*).

— А... Что же, вамъ дается инструкція?

— Да.

— Какая?

— Велѣно слушать, что говорится, и сообщать объ этомъ по начальству.

— И вы получаете за это жалованье?

— Получаю.

— Въ такомъ случаѣ *вы шпіонъ* — a spy? Вы давно бы сказали.

Королевскій атторней Фицрой Келли встаетъ и, обращаясь къ лорду Кембелю, одному изъ четырехъ судей, призванныхъ судить Бернара, проситъ его защитить *свидѣтеля* отъ дерзкихъ наименованій адвоката. Кембель, съ всегдашнимъ безстрастіемъ своимъ, совѣтуетъ Е. Джемсу не обижать свидѣтеля. Джемсъ протестуетъ, онъ и намѣренія не имѣлъ его обижать, слово spy, говоритъ онъ, — plain english word и есть названіе его должности; Кембель увѣряетъ, что лучше называть *иначе*, адвокатъ отыскиваетъ какой-то фоліантъ и читаетъ опредѣленіе слова шпіонъ. „Шпіонъ, лице, употребляемое за плату полиціей для подслушиванія и пр.“ — а Рожерсъ, прибавляетъ онъ, сейчасъ сказалъ, что онъ за деньги, получаемыя отъ Серъ Ричарда Мена (при чемъ онъ указываетъ на самого Ричарда Мена головой), ходитъ слушать въ клубы и доносить, что тамъ дѣлается. А потому онъ про-

*) Начальникъ Metropolitan Police.

ситъ у Лорда извиненія, но иначе не можетъ его называть, и потомъ, обращаясь къ негодяю, на котораго обращены всѣ глаза и который второй разъ обтираетъ потъ, выступившій на лицѣ, спрашиваетъ: „Шпіонъ Рожерсъ, вы можетъ тоже и отъ французскаго правительства получали жалованье?

Пытаемый Рожерсъ бѣсится и отвѣчаетъ, что онъ никогда не служилъ никакому деспотизму.

Едвинъ Джемсъ обращается къ публикѣ и середь гомерическаго смѣха говоритъ: „нашъ spy Roggers за представительное правительство.“

Допрашивая агента, взявшаго бумаги Бернара, онъ спросилъ его: съ кѣмъ онъ приходилъ? (горничная показала, что онъ былъ не одинъ).

— Съ моимъ дядей.

— А чѣмъ вашъ дядюшка занимается?

— Онъ кондукторомъ омнибуса.

— Зачѣмъ же онъ приходилъ съ вами?

— Онъ меня просилъ взять его съ собой, такъ какъ онъ никогда не видалъ, какъ арестуютъ или забираютъ бумаги.

— Экой любопытный у васъ дядюшка. Да кстати, вы у доктора Бернара нашли письмо отъ Орсини, письмо это было на итальянскомъ языкѣ, а доставили вы его въ переводѣ, не дядюшка ли вашъ переводилъ?

— Нѣтъ, письмо это переводилъ Убичини*).

— Англичанинъ?

— Англичанинъ.

— Никогда не случалось мнѣ слышать такой англійской фамиліи. Что же, г. Убичини занимается литературой?

— Онъ переводитъ по обязанности.

*) Кажется такъ.

— Такъ вашъ пріятель можетъ, какъ шпіонъ Рожерсъ, служитъ у серъ Ричардъ Мена (снова кивая на серъ Ричарда головой)?

— Точно такъ.

— Давнобъ вы сказали.

Съ французскими шпіонами онъ до этой степени не доходилъ. хотя доставалось и имъ.

Всего больше мнѣ понравилось то, что, вызвавъ на эстраду свидѣтеля, какого-то содержателя трактира француза или бельга, за весьма неважнымъ вопросомъ, онъ вдругъ остановился и, обращаясь къ лорду Кембелю, сказалъ: „вопросъ, который я хочу предложить свидѣтелю, такого рода, что онъ можетъ его затруднить въ присутствіи французскихъ агентовъ. Я прошу васъ ихъ на время выслать.

— Huissier, выведите французскихъ агентовъ, сказалъ Кембель.

И huisser, въ шелковой мантильи, съ палочкой въ рукахъ, повелъ дюжину шпіоновъ съ бородками и удивительными усами, съ золотыми цѣпочками, перстнями, черезъ залу, набитую биткомъ. Чего стоило одно такое путешествіе, сопровождаемое едва сдержимымъ хохотомъ?

Процессъ извѣстенъ. Я не буду его разсказывать.

Когда свидѣтелей переспросили, обвинитель и защитникъ произнесли свои рѣчи, Кембель холодно субсумировалъ дѣло, прочитавъ всю evidence.

Кембель читалъ часа два. „Какъ это у него достаетъ груди и легкихъ?...“ сказалъ я полицейскому. Полицейскій посмотрѣлъ на меня съ чувствомъ гордости и, поднося мнѣ табакерку, замѣтилъ: „что это для него! Когда Пальмера судили, онъ *шесть съ половиной* часовъ читалъ, и то ничего, — вотъ онъ какой!“

Страшно сильные организмы у англичанъ. Какъ они пріобрѣтаютъ такой запасъ силъ и на такой длинный срокъ, это задача. У насъ понятія не имѣютъ о такой дѣятельности и о такой работѣ, особенно въ *первыхъ трехъ* классахъ. Кембель напр. пріѣзжалъ въ Old-Bailey ровно въ 10 часовъ, до 2 онъ безостановочно велъ процессъ. Въ 2 судьи выходили на четверть часа или минутъ на двадцать, и потомъ снова оставались до 5 и 5½. Кембель писалъ всю evidence своей рукой. Вечеромъ того же дня онъ являлся въ палату лордовъ и произносилъ длинныя рѣчи, какъ слѣдуетъ, съ ненужными латинскими цитатами, произнесенными такъ, что самъ Горацій не понялъ бы своего стиха.

Гладстонъ между двумя управленіями финансовъ, имѣя полтора года времени, написалъ комментаріи къ Гомеру.

А *вѣчно юный* Пальмерстонъ, скачущій верхомъ, являющійся на вечерахъ и обѣдахъ, вездѣ любезный, вездѣ болтливый и неистощимый, бросающій ученую пыль въ глаза на экзаменахъ и раздачахъ премій — и пыль либерализма, національной гордости и благородныхъ симпатій въ застольныхъ рѣчахъ, Палмерстонъ, завѣдующій своимъ министерствомъ и отчасти всѣми другими, исправляющій парламентъ!

Эта прочность силъ и страстная привычка работы тайна англійскаго организма, воспитанія, климата. Англичанинъ учится медленно, мало и поздно, съ раннихъ лѣтъ пьетъ портъ и шери, объѣдается и пріобрѣтаетъ каменное здоровье; не дѣлая школьной гимнастики нѣмецкихъ Turner-Uebungen — онъ скачетъ верхомъ черезъ плетни и загородки, правитъ всякой лошадью, гребетъ во всякой лодкѣ и умѣетъ въ кулачномъ бою поставить самый разноцвѣтный фо-

нарь. При этомъ жизнь введена въ наѣзженную колею и правильно идетъ отъ *извѣстнаго* рожденія, *извѣстными* аллеями къ *извѣстнымъ* похоронамъ; страсти слабо ее волнуютъ. Англичанинъ теряетъ свое состояніе съ меньшимъ шумомъ, чѣмъ французъ пріобрѣтаетъ свое; онъ проще застрѣливается, чѣмъ французъ переѣзжаетъ въ Женеву или Брюсель.

Vous voyez, vous manger votre veau froid chaudement, говорилъ одинъ старый англичанинъ, желавшій объяснить французу разницу англійскаго характера отъ французскаго. Et nous manger notre beaf chaud froidement. Оттого-то ихъ и становится лѣтъ на восемьдесятъ...

...Прежде чѣмъ я возвращусь къ процессу, мнѣ остается объяснить, почему полицейскій подчивалъ меня табакомъ. Въ первый день суда я сидѣлъ на лавочкакъ стенографовъ; когда ввели Бернара на помостъ подсудимыхъ, онъ провелъ взглядомъ по залѣ, до нельзя набитой народомъ,—ни одного знакомаго лица; онъ опустилъ глаза, взглянулъ около и, встрѣтивъ мой взглядъ, слегка кивнулъ мнѣ головой, какъ бы спрашивая, желаю ли я признаться въ знакомствѣ или нѣтъ; я всталъ и дружески поклонился ему. Это было въ самомъ началѣ, т. е. въ одну изъ тѣхъ минутъ безусловной тишины, въ которыя каждый шорохъ слышенъ, каждое движеніе замѣчено. Сандерсъ, одинъ изъ начальниковъ detective police, пошептался съ кѣмъ-то изъ своихъ и велѣлъ наблюдать за мной, т. е. онъ очень просто указалъ на меня пальцемъ какому-то детективу, и съ той минуты онъ постоянно былъ вблизи. Я не могу выразить моей благодарности за это начальническое распоряженіе. Уходилъ ли я на четверть часа, во время отдыха судей, въ таверну выпить стаканъ элю и приходя не

находилъ мѣста, полицейскій кивалъ мнѣ головой и указывалъ гдѣ сѣсть. Останавливалъ ли меня въ дверяхъ другой полицейскій, тотъ давалъ ему знакъ и полицейскій пропускалъ. Наконецъ, я разъ поставилъ шляпу на окно, забылъ объ ней и напоромъ массы былъ совершенно оттертъ отъ него. Когда я хватился, не было никакой возможности пройти; я приподнялся, чтобы взглянуть, нѣтъ ли какой щели, но полицейскій меня успокоилъ: „Вы вѣрно шляпу ищете, я ее прибралъ".

Послѣ этого не трудно понять, почему его товарищъ подчивалъ меня шотландскимъ рыженькимъ кавендишемъ.

Пріятное знакомство съ детективомъ послужило мнѣ на пользу даже впослѣдствіи. Разъ, взявши какихъ-то книгъ у Трюбнера, я сѣлъ въ омнибусъ и забылъ ихъ тамъ; на дорогѣ хватился, омнибусъ уѣхалъ. Отправился я въ Сити на станцію омнибусовъ, идетъ мой детективъ, поклонился мнѣ. — Очень радъ, вотъ научитека, какъ скорѣе достать книги. — А какъ называется омнибусъ? — Такъ-то. — Въ которомъ часу? — Сейчасъ. — Это пустяки, пойдемте, — и черезъ четверть часа книги были у меня.

Фицрой Келли прочелъ свой обвинительный актъ, съ примѣсью желчи, сухой, cassant, Кембель прочелъ evidence, и присяжныхъ увели.

Я подошелъ къ лавкѣ адвокатовъ и спросилъ знакомаго sollicitor'a, какъ онъ думаетъ? — Плохо, сказалъ онъ, я почти увѣренъ, что приговоръ присяжныхъ будетъ противъ него.—Скверно.—И неужели его..?—Нѣтъ, не думаю, перебилъ солиситоръ, ну а въ депортацію попадетъ, все будетъ зависѣть отъ судей,

Въ залѣ былъ страшный шумъ, хохотъ, разговоръ, кашлянье. Какой-то алдерманъ снялъ съ себя свою зо-

лотую цѣпь и показывалъ ее дамамъ; толстая цѣпь ходила изъ рукъ въ руки, неужели ее никто не украдетъ? думалъ я. Часа черезъ два раздался колокольчикъ, взошелъ снова Кембель, взошелъ Поллокъ— дряхлый, худой старикъ, нѣкогда адвокатъ королевы Шарлоты и два другіе собрата, судьи. Huissier возвѣстилъ имъ, что присяжные согласны.

„Введите присяжныхъ!“ сказалъ Кембель; водворилась мертвая тишина, я смотрѣлъ кругомъ, лица измѣнились, стали блѣднѣе, серьезнѣе, глаза зажглись, дамы дрожали. Въ этой тишинѣ, при этой толпѣ, обычный ритуалъ вопросовъ, присяги, былъ необыкновенно торжественъ. Скрестивъ руки на груди, спокойно стоялъ Бернаръ, нѣсколько блѣднѣе обыкновеннаго (во весь процессъ онъ держалъ себя превосходно).

Тихимъ, но внятнымъ голосомъ спросилъ Кембель: „Согласны ли присяжные, избрали ли они изъ среды своей старшаго—и кто онъ?“

Они избрали какого-то небогатаго портнаго изъ Сити.

Когда онъ присягнулъ, и Кембель, вставши, сказалъ ему, что судъ ждетъ рѣшенія присяжныхъ, сердце замерло, дыханье сперлось.

... Передъ Богомъ и подсудимымъ на помостѣ... объявляемъ мы, что докторъ Симонъ Бернаръ, обвиняемый въ участіи атентата 12 Января, сдѣланнаго противъ Наполеона, и въ убійствѣ, онъ усилилъ голосъ и громко прибавилъ not guilty!“

Нѣсколько секундъ молчанья, потомъ пробѣжалъ какой-то нестройный вздохъ и вслѣдъ за тѣмъ безумный крикъ, трескъ рукоплесканій, громъ радости..... дамы махали платками, адвокаты вскочили на свои лавки, мущины съ раскраснѣвшимся лицомъ, съ слезами, стру-

ившимися на щекахъ, судорожно кричали — уре! уре! Прошли минуты двѣ, судьи, недовольные неуваженіемъ, велѣли huissiers возстановить тишину, двѣ, три жалкія фигуры съ палками махали, шевелили губами, шумъ не переставалъ и не дѣлался слабѣе. Кембель вышелъ и товарищи его вышли. Никто не обращалъ на это вниманія, шумъ и крикъ продолжались. Присяжные торжествовали.

Я подошелъ къ эстрадѣ, поздравилъ Бернара и хотѣлъ пожать ему руку, но какъ онъ ни наклонялся и я ни вытягивался, руки его я не досталъ. Вдругъ два адвоката, незнакомые, въ мантіяхъ и парикахъ, говорятъ мнѣ: „постойте, погодите,“ и не ожидая отвѣта схватываютъ меня, и подсаживаютъ, чтобъ я могъ достать его руку.

Только что крикъ сталъ утихать, и вдругъ какое-то море ударилось въ стѣны и ворвалось съ глухимъ плескомъ во всѣ окна и двери зданія, это былъ крикъ на лѣстницѣ въ сѣняхъ, онъ уходилъ, приближался и разливался все больше и больше и, наконецъ, слился въ общій гулъ: это былъ голосъ народа.

Кембель взошелъ и объявилъ, что Бернаръ по этому дѣлу отъ суда освобожденъ, и вышелъ съ своими „братьями судьями“; вышелъ и я. Это была одна изъ тѣхъ рѣдкихъ минутъ, когда человѣкъ смотритъ на толпу съ любовью, когда ему легко съ людьми... Много грѣховъ Англіи будутъ отпущены ей и за этотъ вердиктъ, и за эту радость!

Я вышелъ вонъ, улица была запружена народомъ.

Изъ боковаго переулка выѣхалъ угольщикъ, посмотрѣлъ на толпу народа и спросилъ: кончилось? — Да. — Чѣмъ? — not guilty. Угольщикъ положилъ возжи, снялъ свою кожаную шапку съ огромнымъ козыркомъ

сзади, бросилъ ее вверхъ и неистовымъ голосомъ принялся кричать: Уре! Уре! и толпа опять принялась кричать Уре.

Въ это время изъ дверей Old-Bailey вышли подъ прикрытіемъ полиціи присяжные. Народъ ихъ встрѣтилъ съ *непокрытой головой* и съ безконечными криками одобренія. Дороги имъ не приходилось расчищать полицейскимъ, толпа сама разступилась — присяжные пошли въ таверну на Флитъ стритъ, народъ пошелъ ихъ провожать, новыя толпы по мѣрѣ того, какъ они проходили, кричали имъ ура и бросали шляпы вверхъ.

Это было часу въ шестомъ, въ семь часовъ въ Манчестрѣ, Ньюкестлѣ, Ливерпулѣ и пр. работники бѣгали по улицамъ съ факелами, возвѣщая жителямъ освобожденіе Бернара. Вѣсть эту сообщили по телеграфу ихъ знакомые; съ четырехъ часовъ толпы стояли у телеграфическихъ конторъ.

Вотъ какъ Англія отпраздновала новое торжество своей свободы!

Послѣ Пальмерстоновскаго пораженія за Conspiracy bill и неудачу Дербитовъ въ дѣлѣ Бернара, процессы, затѣянные правительствомъ противъ двухъ брошюръ, становились невозможными. Еслибъ Бернаръ былъ обвиненъ, повѣшенъ или посланъ лѣтъ на двадцать въ депортацію, и общественное мнѣніе осталось бы равнодушнымъ, тогда было бы легко принести на закланіе, для полноты жертвы, двухъ-трехъ Исааковъ книгопечатанія. Французскіе агенты уже точили зубы на другія брошюры, и въ томъ числѣ на письмо Маццини.

Но Бернаръ былъ отъ суда освобожденъ, и это не все. Овація присяжнымъ, восторженный шумъ въ Old-Bailey, радость во всей Англіи не предсказывали успѣха. Дѣло брошюръ перенесли въ Queen's-Bench.

Это былъ послѣдній опытъ обвинить подсудимыхъ. Присяжные Old-Bailey казались ненадежными, жители Сити, строго державшіеся своихъ правъ и нѣсколько оппозиціонные по традиціи, не внушали довѣрія, присяжные Queen's-Bench изъ Вестъ Энда, большей частью богатые торговцы, строго придерживающіеся религіи порядка и традиціи наживы. Но и на это jury трудно было считать, послѣ вердикта портнаго.

Къ тому же, вся пресса въ Лондонѣ и во всемъ королевствѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ, завѣдомо подкупленныхъ листовъ, возстала, безъ различія партій, противъ посягательства на свободу книгопечатанія. Сбирались митинги, составлялись комитеты, дѣлались складки для уплаты штрафовъ и проторей, если бы правительству удалось осудить издателей, писались адрессы и петиціи.

Дѣло становилось труднѣе и нелѣпѣе со всякимъ днемъ. Франція въ широкихъ шароварахъ, couleur garance, въ кепи нѣсколько на бокъ, съ зловѣщимъ видомъ смотрѣла изъ-за Ла-Манша — чѣмъ кончится дѣло, предпринятое въ защиту ея господина. Освобожденіе Бернара ее глубоко обидѣло, и она вынимала изъ ноженъ свой тесакъ, ругаясь, какъ капралъ.

Пуще сердце замираетъ,
Тяжелѣй тоска...

Съ серебряной блѣдностью смотрѣлъ капиталъ на правительство — зеркальное правительство отразило его испугъ. Но до этого нѣтъ никакого дѣла Кембелю и судебной власти *не отъ міра сего*. Она знала одно, что процессъ противъ свободы книгопечатанія противенъ духу всей націи и строгій приговоръ лишитъ ихъ всей популярности и вызоветъ грозный протестъ. Имъ оставалось приговорить къ ничтожному наказанію, къ

фардингу королевѣ—къ одному дню тюрьмы... А Франція-то, съ кепи на бекрень, приняла бы такое рѣшеніе за личную обиду.

Еще хуже бы было, еслибъ присяжные оправдали Трулова и Тхоржевскаго, тогда вся вина пала бы на правительство, почему оно не велѣло лондонскому префекту или лорду-меру назначить присяжныхъ изъ service de suretė—по крайней мѣрѣ, изъ *друзей порядка*... Ну и вслѣдъ за тѣмъ.

Tambourgi! Tambourgi! they'larum afar.....

Это безвыходное положеніе очень хорошо понимали министры королевы и ея аторней, можетъ бы и они что нибудь сдѣлали, еслибъ въ Англіи вообще можно было дѣлать то, что̀ англичане называютъ *коупъ дете*, а французы coup d'état, а примѣръ къ тому же извертливаго, двужильнаго, неуловимаго, молодаго-стараго Пальмерстона былъ такъ свѣжъ.....

Что за коммиссія, создатель,
Быть *взрослой націи царемъ!*

Пришелъ день суда.

Наканунѣ нашъ Б. отправился въ Queen's bench и вручилъ какому-то полицейскому 5 шил., чтобъ онъ его завтра провелъ. Б. смѣялся и потиралъ руки, онъ былъ увѣренъ, что мы останемся безъ мѣста, или что насъ не пропустятъ въ дверяхъ. Онъ одного не взялъ въ расчетъ, что именно дверей-то въ залу Queen's bench'a и нѣтъ, а есть большая арка. Я пришелъ за часъ до Кембеля, народу было не много и я усѣлся превосходно. Смотрю, минутъ черезъ двадцать является Б., глядитъ по сторонамъ, ищетъ, безпокоится. — Что тебѣ надобно? —Ищу, братецъ, моего полицейскаго. — Зачѣмъ тебѣ его? —Да онъ обѣщалъ мѣсто дать. —По-

милуй, тутъ сто мѣстъ къ твоимъ услугамъ. —Надулъ полицейскій, сказалъ Б., смѣясь. — Чѣмъ же онъ надулъ, вѣдь мѣсто есть. Полицейскій, разумѣется, не показывался.

Между Тхоржевскимъ и Труловымъ шелъ горячій разговоръ, въ немъ участвовали и ихъ солиситоры; наконецъ Тхоржевскій обратился ко мнѣ и сказалъ, подавая письмо: „какъ вы думаете объ этомъ письмѣ?“ Письмо было отъ Трулова къ его адвокату, онъ жаловался въ немъ на то, что его арестовали, и говорилъ, что, печатая брошюру, онъ вовсе не думалъ о Наполеонѣ, что онъ и впредь не намѣренъ издавать подобныхъ книгъ; письмо было подписано. Труловъ стоялъ возлѣ.

Совѣтовать Трулову мнѣ было нечего, я отдѣлался какой-то пустой фразой, но Тхоржевскій сказалъ мнѣ: „они хотятъ, чтобъ и я подписалъ такое письмо; этого не будетъ, я лучше пойду въ тюрьму, а такого письма не подпишу.“

„Сайленсъ,“ закричалъ huisser; явился лордъ Кембель. Когда всѣ формальности были окончены, присяжные приведены къ присягѣ, Фицрой Келли всталъ и объявилъ Кембелю, что онъ имѣетъ сообщеніе отъ правительства. „Правительство, сказалъ онъ, имѣя въ виду письмо Трулова, въ которомъ онъ объясняетъ то-то и то-то, и принявъ въ расчетъ то-то и то-то, съ своей стороны отъ преслѣдованія *отказывается*.“

Кембель, обратившись къ присяжнымъ, сказалъ на это, „что виновность издателя брошюры о tyrannicid'ѣ несомнѣнна, что англійскій законъ, давая всевозможную свободу печати, тѣмъ не менѣе имѣетъ полныя средства наказывать вызовъ на такое ужасное преступленіе и пр. Но такъ какъ правительство, по такимъ-то сооб-

раженіямъ, отъ преслѣдованія отказывается, то и онъ готовъ, если присяжные согласны, судъ прекратить; впрочемъ, если они этого не хотятъ, онъ будетъ продолжать.“

Присяжные хотѣли завтракать, идти по своимъ дѣламъ и потому, не выходя вонъ, обернулись спиной и, переговоривши, отвѣчали, какъ и слѣдовало ожидать, что они тоже согласны на прекращеніе суда.

Кембель возвѣстилъ Трулову, что онъ отъ суда и слѣдствія свободенъ. Тутъ не было даже рукоплесканія, а только хохотъ.

Наступилъ антръ-актъ. Въ это время Б. вспомнилъ, что онъ еще не пилъ чаю, и пошелъ въ ближнюю таверну. Черту эту я особенно отмѣчаю, какъ совершенно русскую. Англичанинъ ѣстъ много и жирно, нѣмецъ много и скверно, французъ не много, но съ энтузіазмомъ; англичанинъ сильно пьетъ пиво и все прочее, нѣмецъ пьетъ тоже пиво, да еще пиво за все прочее; но ни англичанинъ, ни французъ, ни нѣмецъ не находятся въ такой полной зависимости отъ желудочныхъ привычекъ, какъ русскій. Это связываетъ ихъ по рукамъ и ногамъ. Остаться безъ обѣда..... какъ можно..... лучще днемъ опоздать, лучше того-то совсѣмъ не видать. Б. заплатилъ за свой чай, сверхъ двухъ шилинговъ, слѣдующей превосходной сценой.

Когда чередъ дошелъ до Тхоржевскаго, Фицрой Келли всталъ и снова объявилъ, что онъ имѣетъ сообщеніе отъ правительства. Я натянулъ уши. Какую же причину онъ выдумалъ? Тхоржевскій письма не писалъ.

„Подсудимый, началъ Ф. Келли, Stanislas Trouj..... Torj..... Toush.....“ и онъ остановился, добавивъ: „that is impossible! The foreign gentleman at the bar..... хотя и дѣйствительно виноватъ въ изданіи и продажѣ брошю-

ры Ф. Пья, но правительство, взявъ въ расчетъ, что онъ иностранецъ и англійскихъ законовъ по этой части не зналъ, на первый случай отказывается отъ преслѣдованія."

И таже комедія. Кембель спросилъ присяжныхъ. Присяжные въ ту же минуту акитировали Тхоржевскаго.

Французы и тутъ были недовольны. Имъ хотѣлось пышную mise en scéne, имъ хотѣлось громить тирановъ и защитить la cause des peuples..... можетъ по дорогѣ Трулова и Тхоржевскаго приговорили бы къ штрафу, къ тюрьмѣ; но что значитъ тюрьма, десять лѣтъ тюрьмы..... передъ всенароднымъ повтореніемъ великихъ началъ, ставящихъ внѣ закона тирановъ и ихъ Сеидовъ... незыблемыхъ началъ 1789 года, на которыхъ такъ твердо стоитъ свобода Франціи... въ ссылкѣ!

Правительство, испуганное сосѣдомъ, ударилось второй разъ объ гранитной утесъ англійской свободы и смиренно отступило; какого же больше торжества свободной печати?

CAMICIA ROSSA*)

Шекспировъ день превратился въ день Гарибальди. Сближеніе это вытянуто за волосы исторіей, такія натяжки удаются ей одной.

Народъ, собравшись на Примрозъ-Гиль, чтобъ посадить дерево въ память trecentenary, остался тамъ, чтобъ поговорить о *скоропостижномъ* отъѣздѣ Гарибальди. Полиція разогнала народъ. Пятьдесятъ тысячъ человѣкъ (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейскихъ, и изъ глубокаго уваженія къ законности, въ половину сгубили великое право сходовъ подъ чистымъ небомъ и, во всякомъ случаѣ, поддержали беззаконное вмѣшательство власти.

... Дѣйствительно, какая-то шекспировская фантазія пронеслась передъ нашими глазами на сѣромъ фондѣ Англіи, съ чисто шекспировской близостью великаго и отвратительнаго, раздирающаго душу и скрипящаго по тарелкѣ. Святая простота человѣка, наивная простота массъ и тайные скопы за стѣной, интриги, ложь. Знакомыя тѣни мелькаютъ въ другихъ образахъ—отъ Гамлета до короля Лира, отъ Гонериль и Корделій до *честнаго* Яго. Яго все крошечные, не за то какое количество и какая у нихъ честность!

Прологъ. Трубы. Является идолъ массъ, единственная, великая, народная личность нашего вѣка, выраба-

*) *Напечатано было въ Колоколѣ 15 августа, 15 сентября и 15 ноября 1864 года.*

тавшаяся съ 1848 года, является во всѣхъ лучахъ славы. Все склоняется передъ ней, все ее празднуетъ, это очью совершающееся hero worship Карлейля. Пушечные выстрѣлы, колокольный звонъ, вымпела на корабляхъ — и только потому нѣтъ музыки, что *гость Англіи* пріѣхалъ въ Воскресенье, а Воскресенье здѣсь постный день... Лондонъ ждетъ пріѣзжаго часовъ семь на ногахъ, овацiи растутъ съ каждымъ днемъ; появленіе человѣка въ *красной рубашкѣ* на улицѣ дѣлаетъ взрывъ восторга, толпы провожаютъ его ночью въ часъ изъ оперы, толпы встрѣчаютъ его утромъ въ семь часовъ передъ Стаффордъ гаузомъ. Работники и дюки,*) швеи и лорды, банкиры и high church, феодальная развалина Дерби и осколокъ февральской революціи—республиканецъ 1848 года, старшій сынъ королевы Викторіи и босой swiper, родившійся безъ родителей, ищутъ на перерывъ его руки, взгляда, слова. Шотландія, Ньюкестль онъ Тейнъ, Глазговъ, Манчестеръ трепещутъ отъ ожиданія — а онъ исчезаетъ въ непроницаемомъ туманѣ, въ синевѣ океана.

Какъ тѣнь Гамлетова отца, гость попалъ на какую-то министерскую досчечку, и исчезъ. Гдѣ онъ? Сейчасъ былъ тутъ и тутъ, а теперь нѣтъ. . . Остается одна точка, какой-то парусъ готовый отплыть.

Народъ англійскій одураченъ. „Великій, глупый народъ“ — какъ сказалъ о немъ поэтъ. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джонъ-буль, и жаль его и смѣшно! Быкъ съ львиными замашками — только что было тряхнулъ гривой и порасправился, чтобъ встрѣтить гостя, такъ какъ онъ

*) Я прошу позволеніе дюковъ называть дюками, а не герцогами. Во-первыхъ оно правильнѣе, а во-вторыхъ однимъ нѣмецкимъ словомъ меньше въ русскомъ языкѣ. Autant de pris sur le Teutchthum.

никогда не встрѣчалъ ни одного ни на службѣ состоящаго, ни отрѣшеннаго отъ должности монарха, а у него его и отняли. Левъ-быкъ бьетъ двойнымъ копытомъ, царапаетъ землю, сердится... но сторожа знаютъ хитрости замковъ и засововъ *свободы*, которыми онъ запертъ, болтаютъ ему какой-то вздоръ и держатъ ключъ въ карманѣ... а точка исчезаетъ въ океанѣ.

Бѣдный левъ-быкъ, ступай на свой hard labour, тащи плугъ, подымай молотъ. Развѣ три министра, одинъ не министръ, одинъ дюкъ, одинъ профессоръ хирургіи и одинъ лордъ піэтизма, не засвидѣтельствовали всенародно въ камерѣ перовъ и въ низшей камерѣ, въ журналахъ и гостинныхъ, что здоровый человѣкъ, котораго ты видѣлъ вчера, *больнъ* и болѣнъ такъ, что его надобно послать на яхтѣ вдоль атлантическаго океана и поперегъ средиземнаго моря... „Кому же ты больше вѣришь, моему ослу или мнѣ?“ — говорилъ обиженный мельникъ, въ старой баснѣ, скептическому другу своему, который сомнѣвался, слыша ревъ, что осла нѣтъ дома...

Или развѣ они не друзья народа, больше чѣмъ друзья — они его опекуны, его отцы съ матерью...

... Газеты подробно разсказали о пирахъ и яствахъ, рѣчахъ и мечахъ, адресахъ и кантатахъ, Чизикѣ и Гильдголѣ. Балетъ и декораціи, пантомины и арлекины этого „сновидѣнія въ весеннюю ночь“ описаны довольно. Я не намѣренъ вступать съ ними въ соревнованіе, а просто хочу передать изъ моего небольшаго фотографическаго снаряда нѣсколько картинокъ, взятыхъ съ того скромнаго угла, изъ котораго я смотрѣлъ. Въ нихъ, какъ всегда бываетъ въ фотографіяхъ, захватилось и осталось много случайнаго, неловкія складки, неловкія позы, слишкомъ выступившія мелочи—рядомъ

съ нерукотворенными чертами событій и неподслащенными чертами лицъ...

Разсказъ этотъ дарю я вамъ, отсутствующія дѣти (отчасти онъ для васъ и писанъ) и еще разъ очень, очень жалѣю, что васъ здѣсь не было съ нами 17 Апрѣля.

I.

ВЪ БРУКЪ ГАУЗѢ.

Третьяго Апрѣля къ вечеру Гарибальди пріѣхалъ въ Соутамтонъ. Мнѣ хотѣлось видѣть его прежде, чѣмъ его завертятъ, опутаютъ, утомятъ.

Хотѣлось мнѣ этого по многому: во-дервыхъ просто потому, что я его люблю и не видалъ около десяти лѣтъ. Съ 1848 я слѣдилъ шагъ за шагомъ за его великой карьерой; онъ уже былъ для меня въ 1854 г. лицо взятое цѣликомъ изъ Корнелія Непота или Плутарха... съ тѣхъ поръ онъ переросъ половину ихъ, сдѣлался „невѣнчаннымъ царемъ“ народовъ, ихъ упованіемъ, ихъ живой легендой, ихъ святымъ человѣкомъ, и это отъ Украйны и Сербіи до Андалузіи и Шотландіи, отъ Южной Америки до Сѣверныхъ Штатовъ. Съ тѣхъ поръ онъ съ горстью людей побѣдилъ армію, освободилъ цѣлую страну и былъ отпущенъ изъ нея, какъ отпускаютъ ямщика, когда онъ довезъ до станціи. Съ тѣхъ поръ онъ былъ обманутъ и побитъ, и такъ какъ ничего не выигралъ побѣдой, не только ничего не проигралъ пораженіемъ, но удвоилъ ею свою народную силу. Рана, нанесенная ему *своими*, кровью спаяла его съ народомъ. Къ величію героя прибавился вѣнецъ

мученика. Мнѣ хотѣлось видѣть тотъ ли же это добродушный морякъ, приведшій Common Wealth изъ Бостона въ Indian Docks, мечтавшій о пловучей эмиграціи, носящейся по океану и угощавшій меня ницскимъ Белетомъ, привезеннымъ изъ Америки.

Хотѣлось мнѣ, во-вторыхъ, поговорить съ нимъ о здѣшнихъ интригахъ и нелѣпостяхъ, о добрыхъ людяхъ, строившихъ одной рукой пьедесталъ ему и другой привязывавшихъ Маццини къ позорному столбу. Хотѣлось ему разсказать объ охотѣ по Стансфильду и о тѣхъ нищихъ разумомъ либералахъ, которые вторили лаю готическихъ своръ, не понимая, что тѣ имѣли по крайней мѣрѣ цѣль—сковырнуть на Стансфильдѣ пѣгое и безхарактерное министерство, и замѣнить его своей подагрой, своей вѣтошью и своимъ линялымъ тряпьемъ съ гербами.

... Въ Соутамтонѣ я Гарибальди не засталъ. Онъ только что уѣхалъ на Островъ Вайтъ. На улицахъ были видны остатки торжества, знамена, группы народа, бездна иностранцевъ...

Не останавливаясь въ Соутомтонѣ, я отправился въ Коусъ. На пароходѣ, въ отеляхъ все говорило о Гарибальди, о его пріемѣ. Разсказывали отдѣльные анекдоты, какъ онъ вышелъ на палубу, опираясь на дюка Сутерландскаго, какъ сходя въ Коусѣ съ парохода, когда матросы выстроились, чтобъ проводить его, Гарибальди пошелъ было поклонившись, но вдругъ остановился, подошелъ къ матросамъ и каждому подалъ руку, вмѣсто того, чтобъ подать на водку.

Въ Коусъ я пріѣхалъ часовъ въ 9 вечера; узналъ, что Брукъ гаусъ очень не близокъ, заказалъ на другое утро коляску и пошелъ по взморью. Это былъ первый

теплый вечеръ 1864. Море совершенно покойное, лѣниво-шаля колыхалось; кой гдѣ сверкалъ, исчезая, фосфорическій свѣтъ; я съ наслажденіемъ вдыхалъ влажно іодистый запахъ морскихъ испареній, который люблю какъ запахъ сѣна; издали раздавалась бальная музыка изъ какого-то клуба или казино, все было свѣтло и празднично.

За то на другой день, когда я часовъ въ шесть утра отворилъ окно, Англія напомнила о себѣ; вмѣсто моря и неба, земли и дали была одна сплошная масса неровнаго сѣраго цвѣта, изъ которой лился частый, мелкій дождь, съ той британской настойчивостью, которая впередъ говоритъ: „если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану". Въ семь часовъ поѣхалъ я подъ этой душей въ Брукъ-гаусъ.

Не желая долго толковать съ тугой на пониманье и скупой на учтивость англійской прислугой, я послалъ записку къ секретарю Гарибальди—Гверцони. Гверцони провелъ меня въ свою комнату и пошелъ сказать Гарибальди. Вслѣдъ за тѣмъ я услышалъ постукиванье трости и голосъ: „Гдѣ онъ, гдѣ онъ?" Я вышелъ въ корридоръ, Гарибальди стоялъ передо мной и прямо, ясно, кротко смотрѣлъ мнѣ въ глаза, потомъ протянулъ обѣ руки и сказавъ: „Очень, очень радъ, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете," обнялъ меня. „Куда вы хотите?" Это комната Гверцони; хотите ко мнѣ, хотите остаться здѣсь?" спросилъ онъ и сѣлъ.

Теперь была моя очередь смотрѣть на него.

Одѣтъ онъ былъ такъ, какъ вы знаете по безчисленнымъ фотографіямъ, картинкамъ, статуеткамъ; на немъ была красная шерстяная рубашка и сверху плащъ, особымъ образомъ застегнутый на груди; не на шеѣ. а на

плечахъ былъ платокъ, такъ какъ его носятъ матросы, узломъ завязанный на груди. Все это къ нему необыкновенно шло, особенно его плащъ.

Онъ гораздо меньше измѣнился въ эти десять лѣтъ, чѣмъ я ожидалъ. Всѣ портреты, всѣ фотографіи его ни куда не годятся, на всѣхъ онъ старше, чернѣе, и главное, выраженіе лица нигдѣ не схвачено. А *въ немъ-то* и высказывается *весь секретъ*, не только его лица, но его самого, его силы — той притяжательной и отдающейся силы, которой онъ постоянно покорялъ все окружавшее его... какое бы оно ни было, безъ различія діаметра: кучку рыбаковъ въ Ниццѣ, экипажъ матросовъ на океанѣ, drapello гверилльясовъ въ Монтевидео, войско ополченцовъ въ Италіи, народныя массы всѣхъ странъ, цѣлыя части земнаго шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильнаго и скорѣе напоминающаго славянскій типъ, чѣмъ итальянскій, оживлена, проникнута безпредѣльной добротой, любовью и тѣмъ, что называется bienveillance (я употребляю французское слово, потому что наше „благоволѣніе“ затаскалось до того по переднимъ и канцеляріямъ, что его смыслъ исказился и оподлѣлъ). Тоже въ его взглядѣ, тоже въ его голосѣ, и все это такъ просто, такъ отъ души, что если человѣкъ не имѣетъ задней мысли, жалованья отъ какого нибудь правительства и вообще не остережется, то онъ непремѣнно его полюбитъ.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характеръ, ни выраженіе его лица; рядомъ съ его добродушіемъ и увлекаемостью чувствуется несокрушимая, нравственная твердость и какой-то возвратъ на себя задумчивый и страшно грустный. Этой черты меланхолической, печальной я прежде не замѣчалъ въ немъ.

Минутами разговоръ обрывается; по его лицу, какъ

тучи по морю, пробѣгаютъ какія-то мысли — ужасъ-ли то передъ судьбами, лежащими на его плечахъ, передъ тѣмъ народнымъ *помазаніемъ*, отъ котораго онъ уже не можетъ отказаться? Сомнѣніе ли послѣ того, какъ онъ видѣлъ столько измѣнъ, столько паденій, столько слабыхъ людей? Искушеніе ли величія? Послѣдняго не думаю, его личность давно исчезла въ его дѣлѣ...

Я увѣренъ, что подобная черта страданья передъ призваньемъ, была и на лицѣ Дѣвы Орлеанской, и на лицѣ Іоанна Лейденскаго — они принадлежали народу, стихійныя чувства или лучше предчувствія, заморенныя въ насъ—сильнѣе въ народѣ. Въ ихъ вѣрѣ былъ фатализмъ, а фатализмъ самъ по себѣ безконечно грустенъ. „Да совершится воля твоя“ — говоритъ всѣми чертами лица Сикстинская Мадона. — „Да совершится воля твоя“, говоритъ ея сынъ плебей и Спаситель, грустно молясь на масличной горѣ.

... Гарибальди вспомнилъ разныя подробности о 1854 годѣ, когда онъ былъ въ Лондонѣ, какъ онъ ночевалъ у меня, опоздавши въ Indian docks; я напомнилъ ему, какъ онъ въ этотъ день пошелъ гулять съ моимъ сыномъ и сдѣлалъ для меня его фотографію у Кальдези, объ обѣдѣ у американскаго консула съ Бьюхананомъ, который нѣкогда надѣлалъ бездну шума и въ сущности не имѣлъ смысла.*)

„Я долженъ вамъ покаяться, что я поторопился къ вамъ пріѣхать не безъ цѣли, сказалъ я наконецъ ему; я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишкомъ англійская, т. е. туманная, для того, чтобъ ясно видѣть закулисную механику одной пьэсы, которая съ успѣхомъ разыгривается теперь въ парламентѣ... чѣмъ

*) Въ ненапечатанной части „Былое и Думы“ обѣдъ этотъ разсказанъ.

вы дальше поѣдете, тѣмъ гуще будетъ туманъ. Хотите вы меня выслушать?“

— Говорите, говорите—мы старые друзья.

Я разсказалъ ему дебаты, журнальный вопль, нелѣпость выходокъ противъ Мацини, пытку, которой подвергали Стансфильда. „Замѣтьте, добавилъ я, что въ Стансфильдѣ тори и ихъ сообщники преслѣдуютъ не только революцію, которую они смѣшиваютъ съ Мацини, не только министерство Пальмерстона, но сверхъ того человѣка, своимъ личнымъ достоинствомъ, своимъ трудомъ, умомъ достигнувшаго въ довольно молодыхъ лѣтахъ мѣста лорда въ адмиралтействѣ, человѣка безъ рода и связей въ аристократіи. — На васъ прямо они не смѣютъ нападать на сію минуту, но посмотрите, какъ они безцеремонно васъ трактуютъ. Вчера въ Коусѣ я купилъ послѣдній листъ Standard'a; ѣхавши къ вамъ, я его прочиталъ, посмотрите. „Мы увѣрены, что Гарибальди пойметъ на столько обязанности, возлагаемыя на него гостепріимствомъ Англіи, что не будетъ имѣть сношеній съ прежнимъ товарищемъ своимъ и найдетъ на столько такта, чтобъ не ѣздить въ 35 Thourloe Square“*). За тѣмъ выговоръ par anticipation, если вы этого не исполните“.

— Я слышалъ кое-что — сказалъ Гарибальди — объ этой интригѣ. *Разумѣется одинъ изъ первыхъ визитовъ моихъ будетъ къ Стансфильду.*

— Вы знаете лучше меня, что вамъ дѣлать, я хотѣлъ вамъ только показать безъ тумана безобразныя линіи этой интриги.

Гарибальди всталъ, я думалъ, что онъ хочетъ окончить свиданіе и сталъ прощаться. „Нѣтъ, нѣтъ, пойдемте теперь ко мнѣ“, сказалъ онъ и мы пошли. При-

*) Квартира Стансфильда.

храмываетъ онъ сильно, но вообще его организмъ вышелъ торжественно изъ всякаго рода моральныхъ и хирургическихъ сондированій, операцій и пр.

Костюмъ его, скажу еще разъ, необыкновенно идетъ къ нему и необыкновенно изященъ; въ немъ нѣтъ ничего профессіонно-солдатскаго и ничего буржуазнаго, онъ очень простъ и очень удобенъ. Непринужденность, отсутствіе всякой афектаціи въ томъ, какъ онъ носитъ его, остановили салонные пересуды и тонкія насмѣшки. Врядъ существуетъ-ли европеецъ, которому бы сошла съ рукъ *красная рубашка* въ дворцахъ и палатахъ Англіи.

Притомъ костюмъ его чрезвычайно важенъ, *въ красной рубашкѣ* народъ узнаетъ себя и своего. Аристократія думаетъ, что, схвативши его коня подъ уздцы, она его поведетъ, куда хочетъ и, главное, отведетъ отъ народа; но народъ смотритъ на *красную рубашку* и радъ, что дюки, маркизы и лорды пошли въ конюхи и оффиціанты къ революціонному вождю, взяли на себя должности мажордомовъ, пажей и скороходовъ, при великомъ плебеѣ въ плебейскомъ платьѣ.

Консервативныя газеты замѣтили бѣду, и чтобъ смягчить безнравственность и безчиніе гарибальдіевскаго костюма, выдумали, что онъ носитъ *мундиръ* монтевидейскаго волонтера. Да вѣдь Гарибальди съ тѣхъ поръ былъ пожалованъ генераломъ—королемъ, которому онъ пожаловалъ два королевства — отчего же онъ носитъ мундиръ монтевидейскаго волонтера?

Да и почему то, что онъ носитъ—мундиръ?

Къ мундиру принадлежитъ какое нибудь смертоносное оружіе, какой нибудь знакъ власти, или кровавыхъ воспоминаній. Гарибальди ходитъ безъ оружія, онъ не боится никого и никого не стращаетъ; въ Гарибальди

также мало военнаго, какъ мало аристократическаго и мѣщанскаго. „Я не солдатъ, говорилъ онъ въ Кристальпаласѣ итальянцамъ, подносившимъ ему мечъ, и не люблю солдатскаго ремесла. Я видѣлъ мой отчій домъ наполненный разбойниками и схватился за оружіе, чтобъ ихъ выгнать".—„Я работникъ, происхожу отъ работниковъ и горжусь этимъ", сказалъ онъ въ другомъ мѣстѣ.

При этомъ нельзя не замѣтить, что у Гарибальди нѣтъ также ни на іоту плебейской грубости, ни изученаго демократизма. Его обращеніе мягко до женственности. Итальянецъ и человѣкъ, онъ на вершинѣ общественнаго міра представляетъ не только плебея, вѣрнаго своему началу, но итальянца, вѣрнаго эстетичности своей расы.

Его мантія, застегнутая на груди, не столько военный плащъ, сколько риза воина первосвященника, propheta-re. Когда онъ поднимаетъ руку, отъ него ждутъ благословенія и привѣта, а не военнаго приказа.

Гарибальди заговорилъ о польскихъ дѣлахъ. Онъ дивился отвагѣ поляковъ. „Безъ организаціи, безъ оружія, безъ людей, безъ открытой границы, безъ всякой опоры — выступить противъ сильной военной державы, и продержаться слишкомъ годъ — такого примѣра нѣтъ въ исторіи... Хорошо, еслибъ другіе народы переняли. Столько геройства не должно, не можетъ погибнуть, я полагаю, что Галиція готова къ возстанію?"

Я промолчалъ.

— Также какъ и Венгрія—вы не вѣрите?

— Нѣтъ, я просто не знаю.

— Ну, а можно ли ждать какого нибудь движенія въ Россіи?

— Никакого. Съ тѣхъ поръ какъ я вамъ писалъ письмо, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, ничего не перемѣнилось.

Правительство, чувствующее поддержку во всѣхъ злодѣйствахъ въ Польшѣ, идетъ очертя голову, ни въ грошъ не ставитъ Европу, общество падаетъ глубже и глубже. Народъ молчитъ. Польское дѣло не его дѣло, у насъ врагъ одинъ, общій, но вопросъ розно поставленъ. Къ тому же у насъ много времени впереди, а у нихъ его нѣтъ.

Такъ продолжался разговоръ еще вѣсколько минутъ, начались въ дверяхъ показываться архи-англійскія физіономіи, шурстѣть дамскія платья... я всталъ.

— Куда вы торопитесь?—сказалъ Гарибальди.

— Я не хочу васъ больше красть у Англіи.

— До свиданья въ Лондонѣ—не правда ли?

— Я непремѣнно буду. Правда — что вы останавливаетесь у дюка Сутерландскаго?

— Да, сказалъ Гарибальди и прибавилъ будто извиняясь, не могъ отказаться.

— Такъ я явлюсь къ вамъ напудрившись, для того, чтобъ лакеи въ Стаффордъ гаузѣ подумали, что у меня пудренный слуга.

Въ это время явился поэтъ *лавреатъ* Тенисонъ съ женой — это было слишкомъ много лавровъ, и я по тому же безпрерывному дождю отправился въ Коусъ.

Перемѣна декораціи, но продолженіе той же пьэсы. Пароходъ изъ Коуса въ Соутамтонъ только что ушелъ, а другой отправлялся черезъ три часа, въ силу чего я пошелъ въ ближайшій ресторанъ, заказалъ себѣ обѣдъ и принялся читать „Теймсъ“. Съ первыхъ строкъ я былъ ошеломленъ. Семидесятипятилѣтній Авраамъ, судившійся мѣсяца два тому назадъ за какія-то шашни съ новой Агарью, принесъ окончательно на жертву своего Галифакскаго Исаака. Отставка Стансфильда была принята. И это въ самое то время, когда Гари-

бальди начиналъ свое торжественное шествіе въ Англіи. Говоря съ Гарибальди я этого даже не предполагалъ.

Что Стансфильдъ подалъ во второй разъ въ отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему съ самаго начала слѣдовало стать во весь ростъ и бросить свое лордшипство. Стансфильдъ сдѣлалъ свое дѣло. Но что сдѣлалъ Пальмерстонъ съ товарищами? И что онъ лепеталъ потомъ въ своей рѣчи?.. Съ какой подобострастной лестью отзывался онъ о великодушномъ союзникѣ, о притрепетномъ желаніи ему долговѣчья и всякаго блага на вѣки нерушимаго. Какъ будто, кто нибудь бралъ au sérieux эту полицейскую фарсу Greco, Trabucco et C°.

Это была *Мажента.*

Я спросилъ бумаги и наиисалъ письмо къ Гверцони, написалъ я его со всей свѣжестью досады и просилъ его прочесть „Теймсъ“ Гарибальди; я ему писалъ о безобразіи этой апотеозы Гарибальди—рядомъ съ оскорбленіями Маццини. „Мнѣ 52 года, говорилъ я, но признаюсь, что слезы негодованія навертываются на глазахъ, при мысли объ этой несправедливости“ и проч.

За нѣсколько дней до моей поѣздки, я былъ у Маццини. Человѣкъ этотъ многое вынесъ, многое умѣетъ выносить, это старый боецъ, котораго ни утомить, ни низложить нельзя; но тутъ я его засталъ сильно огорченнымъ, именно тѣмъ, что его выбрали средствомъ для того, чтобъ выбить изъ стремянъ его друга. Когда я писалъ письмо къ Гверцони образъ исхудалаго, благороднаго старца съ сверкающими глазами носился передо мной.

Когда я кончилъ и человѣкъ подалъ обѣдъ, я замѣтилъ, что я не одинъ — небольшаго роста бѣлокурый молодой человѣкъ съ усиками и въ синей пальто-курткѣ,

которую носятъ моряки, сидѣлъ у камина, à l'américaine, хитро утвердивши ноги въ уровень съ ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинціальный акцентъ, дѣлавшій для меня его рѣчь непонятной, убѣдили меня еще больше, что это какой нибудь пирующій на берегу мичманъ, и я пересталъ имъ заниматься — говорилъ онъ не со мной, а съ слугой. Знакомство окончилось было тѣмъ, что я ему подвинулъ соль, а онъ за то тряхнулъ головой.

Вскорѣ къ нему присоединился пожилыхъ лѣтъ черноватенькій господинъ, весь въ черномъ и весь до невозможности застегнутый—съ тѣмъ особеннымъ видомъ помѣшательства, которое даетъ людямъ близкое знакомство съ небомъ и натянутая религіозная экзальтація, дѣлающаяся натуральной отъ долгаго употребленія.

Казалось, что онъ хорошо зналъ мичмана и пришелъ, чтобъ съ нимъ повидаться. Послѣ трехъ-четырехъ словъ, онъ пересталъ *говорить* и началъ *проповѣдывать*. „Видѣлъ я говорилъ онъ, Маковея, Гедеона... орудіе въ рукахъ промысла, его мечъ, его пращъ... и чѣмъ болѣе я смотрѣлъ на него, тѣмъ сильнѣе былъ тронутъ, и со слезами твердилъ: мечъ Господень! мечъ Господень! Слабаго Давида избралъ онъ побить Голіаѳа. Отъ того-то народъ англійскій, народъ избранный, идетъ ему на срѣтеніе, какъ къ невѣстѣ Ливанской..... Сердце народа въ рукахъ Божіихъ; оно сказало ему, что это мечъ Господень, орудіе промысла, Гедеонъ!“

... Отворились настежъ двери и вошла не невѣста ливанская, а разомъ человѣкъ десять, важныхъ бритовъ и въ ихъ числѣ лордъ Шефсбюри, Линдзей. Всѣ они усѣлись за столъ и потребовали что нибудь перекусить, объявляя, что сейчасъ ѣдутъ въ Brook-house. Это была оффиціальная депутація отъ Лондона, съ приглаше-

ніемъ къ Гарибальди. Проповѣдникъ умолкъ; но мичманъ поднялся въ моихъ глазахъ, онъ съ такимъ не двусмысленнымъ чувствомъ отвращенія смотрѣлъ на взошедшую депутацію, что мнѣ пришло въ голову, вспоминая проповѣдь его пріятеля, что онъ принимаетъ этихъ людей, если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросилъ его, какъ слѣдуетъ надписать письмо въ Brook-house, достаточно ли назвать домъ, или надобно прибавить ближній городъ. Онъ сказалъ, что не нужно ничего прибавлять.

Одинъ изъ депутаціи, сѣдой, толстый старикъ, спросилъ меня, къ кому я посылаю письмо въ Brook-house?

— Къ Гверцони.

— Онъ кажется секретаремъ при Гарибальди?

— Да.

— Чего-же вамъ хлопотать, мы сейчасъ ѣдемъ, я охотно свезу письмо.

Я вынулъ мою карточку и отдалъ ее съ письмомъ. Можетъ ли что нибудь подобное случиться на континентѣ? Представьте себѣ, еслибъ во Франціи кто нибудь спросилъ бы васъ въ гостинницѣ — къ кому вы пишете—и узнавши что это къ секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано и я на другой день имѣлъ отвѣтъ въ Лондонѣ.

Редакторъ иностранной части Morning Star'a узналъ меня. Начались вопросы о томъ, какъ я нашелъ Гарибальди, о его здоровьи. Поговоривши нѣсколько минутъ съ нимъ, я ушелъ въ smoking room. Тамъ сидѣли за пель-элемъ и трубками мой бѣлокурый морякъ и его черномазый теологъ. „Что, сказалъ онъ мнѣ, наглядѣлись вы на эти лица?.. а вѣдь это неподражаемо хо-

рошо, лордъ Шефсбюри, Линдзей дутъ депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедія! Знаютъ ли они кто такое Гарибальди?

— Орудіе промысла, мечъ въ рукахъ Господнихъ, его пращъ... потому-то онъ и вознесъ его и оставилъ его въ святой простотѣ его...

— Это все очень хорошо, да за чѣмъ ѣдутъ эти господа? Спросилъ бы я кой у кого изъ нихъ — сколько у нихъ денегъ въ Алабамѣ?.. Дайте-ка Гарибальди пріѣхать въ Ньюкестль он' Тейнъ, да въ Глазговъ, тамъ онъ увидитъ народъ по ближе, тамъ ему не будутъ мѣшать лорды и дюки.

Это былъ не мичманъ, а корабельный постройщикъ. Онъ долго жилъ въ Америкѣ, зналъ хорошо дѣла Юга и Сѣвера, говорилъ о безвыходности тамошней войны, на что утѣшительный теологъ замѣтилъ: „Если Господь раздвоилъ народъ этотъ и направилъ брата на брата, онъ имѣетъ свои виды, и если мы ихъ не понимаемъ, то должны покоряться провидѣнію, даже тогда когда оно караетъ.“

Вотъ гдѣ и въ какой формѣ мнѣ пришлось слышать въ послѣдній разъ комментарій на знаменитый гегелевскій мотто: „Все что дѣйствительно—то разумно“.

Дружески пожавъ руку моряку и его каплану, я отправился въ Соутамтонъ.

На пароходѣ я встрѣтилъ радикальнаго публициста Голіока, онъ видѣлся съ Гарибальди позже меня, Гарибальди черезъ него приглашалъ Маццини; онъ ему уже телеграфировалъ, чтобъ онъ ѣхалъ въ Соутамтонъ, гдѣ Голіокъ намѣренъ былъ его ждать съ Менотти Гарибальди и его братомъ. Голіоку очень хотѣлось доставить еще въ тотъ-же вечеръ два письма въ Лондонъ

(по почтѣ онѣ придти не могли до утра). Я предложилъ мои услуги.

Въ 11 часовъ вечера пріѣхалъ я въ Лондонъ, заказалъ въ York hotel'ѣ возлѣ Ватерлоской станціи комнату и поѣхалъ съ письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успѣлъ перестать. Въ часъ или въ началѣ втораго пріѣхалъ я въ гостинницу—заперто. Я стучался, стучался... какой-то пьяный, оканчивавшій свой вечеръ возлѣ рѣшетки кабака, сказалъ „не тутъ стучите, въ переулкѣ есть night-bell;“ пошелъ я искать night-bell, нашелъ и сталъ звонить. Не отворяя дверей, изъ какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая „чего мнѣ?“ — Комнаты. — „Ни одной нѣтъ“. — Я въ 11 часовъ самъ заказалъ. — „Говорятъ, что нѣтъ ни одной“‘ и онъ захлопнулъ дверь преисподней, не дождавшись даже, чтобъ я его обругалъ, что я и сдѣлалъ платонически, потому что онъ слышать не могъ.

Дѣло было непріятное, найти въ Лондонѣ въ два часа ночи комнату, особенно въ такой части города, не легко. Я вспомнилъ объ небольшомъ французскомъ ресторанѣ и отправилсл туда.—„Есть комната?“—спросилъ я хозяина.—„Есть, да не очень хороша“—Показывайте. Дѣйствительно онъ сказалъ правду, комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было, я отворилъ окно и сошелъ на минуту въ залу. Тамъ все еще пили, кричали, играли въ карты и домино какіе-то французы. Нѣмецъ колосальнаго роста, котораго я видалъ, подошелъ ко мнѣ и спросилъ, имѣю ли я время съ нимъ поговорить на единѣ, что ему нужно мнѣ сообщить что-то особенно важное.

— Разумѣется имѣю, пойдемте въ другую залу, тамъ никого нѣтъ.

Нѣмецъ сѣлъ противъ меня и трагически началъ мнѣ разсказывать, какъ его патронъ французъ надулъ, какъ онъ три года эксплуатировалъ его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что онъ его приметъ въ товарищи, и вдругъ, не говоря худаго слова, уѣхалъ въ Парижъ и тамъ нашелъ товарища. Въ силу этого, нѣмецъ сказалъ ему, что онъ оставляетъ мѣсто, а патронъ не возвращается...

— Да за чѣмъ-же вы вѣрили ему безъ всякаго условія?

— Weil ich ein dummer Deutscher bin.

— Ну это другое дѣло.

— Я хочу запечатать заведеніе и уйти.

— Смотрите, онъ вамъ сдѣлаетъ процессъ; знаете-ли вы здѣшніе законы?

Нѣмецъ покачалъ головой. — Хотѣлось бы мнѣ насолить ему... а вы вѣрно были у Гарибальди?

— Былъ.

— Ну что онъ? Ein famoser Kerl — да вѣдь еслибъ онъ мнѣ не обѣщалъ цѣлые три года, я бы иначе велъ дѣла..... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

— Кажется ничего.

— Эдакая бестія, все скрылъ и въ послѣдній день говоритъ у меня ужъ есть товарищъ-associé. Я вамъ кажется надоѣлъ?

— Совсѣмъ нѣтъ, только я не много усталъ, хочу спать, я всталъ въ 6 часовъ, а теперь два съ хвостикомъ.

— Да что же мнѣ дѣлать? Я ужасно обрадовался, когда вы взошли, ich habe so bei mir gedacht der wird Rath schaffen. Такъ не запечатывать заведенія?

— Нѣтъ. А такъ какъ ему полюбилось въ Парижѣ,

такъ вы ему завтра же напишете: „Заведеніе запечатано, когда вамъ угодно принимать его?“ Вы увидите, эфектъ, онъ броситъ жену и игру на биржѣ, прискачетъ сюда и—и увидитъ, что заведеніе не заперто.

— Saperlot! das ist eine Idée—ausgezeichnet, я пойду писать письмо.

— А я спать. Gute Nacht.

— Schlafen sie wohl!

Я спрашиваю свѣчку. Хозяинъ подаетъ ее собственноручно и объясняетъ, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сдѣлался духовникомъ.—Что вамъ надобно, оно не много поздно, но я готовъ.

— Нѣсколько словъ. Я васъ хотѣлъ спросить—какъ вы думаете, если я завтра выставлю бюстъ Гарибальди, знаете, съ цвѣтами, съ лавровымъ вѣнкомъ, вѣдь это будетъ очень хорошо? Я ужъ и о надписи думалъ... трехцвѣтными буквами Garibaldi — liberateur?

— Отчего-же — можно! Только французское посольство запретитъ ходить въ вашъ ресторанъ французамъ, а они у васъ съ утра до ночи.

— Оно такъ..... Но знаете, сколько денегъ зашибешь, выставивши бюстъ... а потомъ забудутъ...

— Смотрите, замѣтилъ я, рѣшительно вставая, чтобъ идти, не говорите никому, у васъ украдутъ эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили останется, я надѣюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомнѣвайтесь, и я отправился въ нечистую спальню его.

Симъ оканчивается мое первое свиданье съ Гарибальди въ 1864 году.

II.

ВЪ СТАФФОРДЪ ГАУЗѢ.

Въ день пріѣзда Гарибальди въ Лондонъ, я его не видалъ, а видѣлъ море народа, рѣки народа, запруженныя имъ улицы въ нѣсколько верстъ, наводненныя площади; вездѣ, гдѣ былъ корнизъ, балконъ, окно, выступили люди, и все это ждало, въ иныхъ мѣстахъ *шесть часовъ*... Гарибальдп пріѣхалъ въ половинѣ третьяго на станцію Нейн Эльмсъ и только въ половинѣ девятаго подъѣхалъ къ Стаффордъ-гаузу, у подъѣзда котораго ждалъ его дюкъ Сутерландъ съ женой.

Англійская толпа груба, многочисленныя сборища ея не обходятся безъ дракъ, безъ пьяныхъ, безъ всякаго рода отвратительныхъ сценъ и главное безъ организованнаго на огромную скалу воровства. На этотъ разъ порядокъ былъ удивительный, народъ понялъ, что это *его* праздникъ, что онъ чествуетъ однаго изъ *своихъ*, что онъ больше чѣмъ свидѣтель; и посмотрите въ полицейскомъ отдѣлѣ газетъ сколько было покражъ въ день въѣзда невѣсты Вельскаго и сколько*) при проѣздѣ Гарибальди, а полиціи было несравненно меньше. Куда-же дѣлись пик-покеты?

У Вестминстерскаго моста, близъ Парламента, народъ такъ плотно сжался, что коляска, ѣхавшая шагомъ, остановилась и процессія, тянувшаяся на версту, ушла впередъ съ своими знаменами, музыкой и пр. Съ криками ура народъ облѣпилъ коляску, все что могло продраться жало руку, цаловало края плаща Гарибальди,

*) Я помню одинъ процесъ кражи часовъ и двѣ - три драки съ ирландцами.

кричало Wellcom! Съ какимъ-то упоеньемъ любуясь на великаго плебея, народъ хотѣлъ отложить лошадей и везти на себѣ, но его уговорили. Дюковъ и лордовъ, окружавшихъ его, никто не замѣчалъ; они сошли на скромное мѣсто гайдуковъ и офиціантовъ. Эта овація продолжалась около часа, одна народная волна передавала гостя другой, при чемъ коляска двигалась нѣсколько шаговъ и снова останавливалась.

Злоба и остервенѣніе континентальныхъ консерваторовъ совершенно понятны. Пріемъ Гарибальди не только обиденъ для табели о рангахъ, для ливреи, но онъ чрезвычайно опасенъ какъ примѣръ. За то бѣшенство листовъ, состоящихъ на службѣ трехъ императоровъ и одного „imperial“ торизма, вышло изъ всѣхъ границъ, начиная съ границъ учтивости. У нихъ помутилось въ глазахъ, зашумѣло въ ушахъ... Англія дворцовъ, Англія сундуковъ, забывъ всякое приличіе, идетъ вмѣстѣ съ Англіей мастерскихъ на срѣтеніе какого-то „aventurier“ мятежника, который былъ бы повѣшенъ, еслибъ ему не удалось освободить Сициліи. „Отчего, говоритъ опростоволосившаяся La France, отчего Лондонъ никогда такъ не встрѣчалъ маршала Пелисье, котораго слава такъ чиста?“ и даже не смотря на то, забыла она прибавить, что онъ выжигалъ сотнями арабовъ съ дѣтьми и женами, такъ какъ у насъ выжигаютъ таракановъ.

Жаль, что Гарибальди принялъ гостепріимство дюка Сутерландскаго. Неважное значеніе и политическая стертость „пожарнаго“ дюка, до нѣкоторой степени дѣлали Стаффордъ гаузъ гостинницей Гарибальди... но все-же обстановка не шла и интрига, затѣянная *до въѣзда* его въ Лондонъ, разцвѣла удобно на дворцовомъ грунтѣ. Цѣль ея состояла въ томъ, чтобъ удалить Гарибальди отъ народа, т. е. отъ работниковъ и отрѣ-

зать его отъ тѣхъ изъ друзей и знакомыхъ, которые остались вѣрными прежнему знамени и разумѣется пуще всего отъ Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдула большую половину этихъ ширмъ, но другая половина осталась—именно невозможность говорить съ нимъ безъ свидѣтелей. Еслибъ Гарибальди не вставалъ въ 5 часовъ утра и не принималъ въ 6, она удалась бы совсѣмъ; по счастію усердіе интриги раньше половины девятаго не шло; только въ день его отъѣзда дамы начали вторженіе въ его спальню часомъ раньше. Разъ какъ-то Мордини, не успѣвъ сказать ни слова съ Гарибальди въ продолженіи часа, смѣясь замѣтилъ мнѣ: „Въ мірѣ нѣтъ человѣка, котораго бы было легче видѣть какъ Гарибальди, но за то нѣтъ человѣка, съ которымъ бы было труднѣе говорить“.

Гостепріимство дюка было далеко лишено того широкаго характера, которое нѣкогда мирило съ аристократической роскошью. Онъ далъ только комнату для Гарибальди и для молодаго человѣка, который перевязывалъ его ногу; а другимъ, т. е. сыновьямъ Гарибальди, Гверцони и Базиліо хотѣлъ нанять комнаты. Они разумѣется отказались и помѣстились на свой счетъ въ Bath hotel. Чтобъ оцѣнить эту странность, надо знать что такое Стаффордъ гаузъ. Въ немъ можно помѣстить, не стѣсняя хозяевъ, всѣ семьи крестьянъ, пущенныхъ по міру отцомъ дюка, а ихъ очень много.

Англичане дурные актеры, и это имъ дѣлаетъ величайшую честь. Въ первый разъ какъ я былъ у Гарибальди въ Стаффордъ гаузѣ, придворная интрига около него бросилась мнѣ въ глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали безпрерывно. Какой-то итальянецъ сдѣлался полицмейстеромъ, це-

ремоніймейстеромъ, экзекуторомъ, дворецкимъ, бутафоромъ, суфлеромъ. Да и какъ не сдѣлаться за честь засѣдать съ дюками и лордами, вмѣстѣ съ ними предпринимать мѣры для предупрежденія и пресѣченія всѣхъ сближеній между народомъ и Гарибальди, и вмѣстѣ съ дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянскаго вождя и которую хромой генералъ рвалъ ежедневно, не замѣчая ее.

Гарибальди, напримѣръ, ѣдетъ къ Маццини. Что дѣлать? Какъ скрыть? Сейчасъ на сцену бутафоры, фактотумы—средство найдено. На другое утро весь Лондонъ читаетъ: „Вчера въ такомъ-то часу Гарибальди посѣтилъ въ Онсло Террасъ *Джонъ Френса*“. Вы думаете, что это вымышленное имя — нѣтъ, это имя хозяина содержащаго квартиру.

Гарибальди не думалъ отрѣкаться отъ Маццини, но онъ могъ уѣхать изъ этого водоворота, не встрѣчаясь съ нимъ при людяхъ и не заявивъ этого публично. Маццини отказался отъ посѣщеній къ Гарибальди, пока онъ будетъ въ Стаффордъ гаузѣ. Они могли бы легко встрѣтиться при небольшомъ числѣ, но никто не бралъ инициативы. Подумавъ объ этомъ, я написалъ къ Маццини записку и спросилъ его, приметъ ли Гарибальди приглашеніе въ такую даль какъ Теддингтонъ, если нѣтъ, то я его не буду звать, тѣмъ дѣло и кончится; если же поѣдетъ, то я очень желалъ бы ихъ обоихъ пригласить. Маццини написалъ мнѣ на другой день, что Гарибальди очень радъ, и что если ему ничего не помѣшаетъ, то они пріѣдутъ въ Воскресенье, въ часъ. Маццини въ заключеніе прибавилъ, что Гарибальди очень бы желалъ видѣть у меня Ледрю-Роллена.

Въ субботу утромъ я поѣхалъ къ Гарибальди, и не заставъ его дома, остался съ Саффи, Гверцони и др.

его ждать. Когда онъ возвратился, толпа посѣтителей, дожидавшихся въ сѣняхъ и корридорѣ, бросилась на него; одинъ храбрый бритъ вырвалъ у него палку, всунулъ ему въ руку другую и съ какимъ-то азартомъ повторялъ: „Генералъ, эта лучше, вы примите, вы позвольте, эта лучше“. — „Да за чѣмъ-же? — спросилъ Гарибальди улыбаясь — я къ моей палкѣ привыкъ“. Но видя, что англичанинъ безъ боя палки не отдастъ, пожалъ слегка плечами и пошелъ дальше.

Въ залѣ, за мною шелъ крупный разговоръ. Я не обратилъ бы на него никакого вниманія, еслибъ не услышалъ громко повторенныя слова: „Capite, Теддингтонъ въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта. Помилуйте, да это невозможно, матеріально невозможно... въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта, это 16. 18 миль“. Я обернулся и видя совершенно мнѣ незнакомаго человѣка, принимавшаго такъ къ сердцу разстояніе отъ Лондона до Теддингтона, я ему сказалъ: „Двѣнадцать или тринадцать миль“.

Спорившій тотчасъ обратился ко мнѣ: „И тринадцать милей страшное дѣло. Генералъ долженъ быть въ три часа въ Лондонѣ... во всякомъ случаѣ Теддингтонъ надо отложить“.

Гверцони повторялъ ему, что Гарибальди хочетъ ѣхать и поѣдетъ.

Къ итальянскому опекуну прибавился англицкій, находившій, что принять приглашеніе въ такую даль, сдѣлаетъ гибельный антецедентъ... Желая имъ напомнить неделикатность дебатировать этотъ вопросъ при мнѣ, я замѣтилъ имъ: „Господа, позвольте мнѣ покончить вашъ споръ“ и тутъ же, подойдя къ Гарибальди, сказалъ ему: „Мнѣ ваше посѣщеніе безконечно дорого и теперь больше чѣмъ когда нибудь, въ эту черную

полосу для Россіи, ваше посѣщеніе будетъ имѣть особое значеніе, вы посѣтите не одного меня, но друзей нашихъ, заточенныхъ въ тюрьмы, сосланныхъ на каторгу. Зная какъ вы заняты, я боялся васъ звать. По одному слову общаго друга, вы велѣли мнѣ передать, что пріѣдете. Это вдвое дороже для меня. Я вѣрю, что вы хотите пріѣхать, но я не настаиваю, (je n'insiste pas) если это сопряжено съ такими непреоборимыми препятствіями, какъ говоритъ этотъ господинъ, котораго я не знаю.“ Я указалъ его пальцемъ.

— Въ чемъ же препятствія?— спросилъ Гсрибальди.

Impresario подбѣжалъ и скороговоркой представилъ ему всѣ резоны, что ѣхать завтра въ 11 часовъ въ Теддингтонъ и пріѣхать къ тремъ невозможно.

— Это очень просто—сказалъ Гарибальди—значитъ надо ѣхать не въ 11, а въ 10, кажется ясно?—Импрезаріо исчезъ.

— Въ такомъ случаѣ, чтобъ не было ни потери времени, ни исканья, ни новыхъ затрудненій, сказалъ я, позвольте мнѣ пріѣхать къ вамъ въ десятомъ часу и поѣдемте вмѣстѣ.

— Очень радъ, я васъ буду ждать.

Отъ Гарибальди я отправился къ Ледрю-Ролленъ. Въ послѣдніе два года я его не видалъ. Не потому, чтобъ между нами были какіе нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общаго. Къ тому же лондонская жизнь и въ особенности въ его предмѣстьяхъ разводитъ людей какъ-то незамѣтно. Онъ держалъ себя въ послѣднее время одиноко и тихо, хотя и вѣрилъ съ тѣмъ же ожесточеніемъ, съ которымъ вѣрилъ 14 іюня 1849 въ близкую революцію во Франціи. Я не вѣрилъ въ нее почти также долго и тоже оставался при моемъ невѣріи.

Ледрю-Ролленъ, съ большей вѣжливостію ко мнѣ, отказался отъ приглашенія. Онъ говорилъ, что душевно былъ бы радъ опять встрѣтиться съ Гарибальди и, разумѣется, готовъ бы былъ ѣхать ко мнѣ, но что онъ, какъ представитель французской республики, какъ пострадавшій за Римъ (13 іюня 1849 года), не можетъ Гарибальди видѣть въ первый разъ иначе, какъ у себя. „Если, говорилъ онъ, политическіе виды Гарибальди не дозволяютъ ему оффиціально показать свою симпатію французской республикѣ, въ моемъ ли лицѣ, въ лицѣ Луи Блана или кого нибудь изъ насъ, все равно, я не буду сѣтовать. Но отклоню свиданье съ нимъ, гдѣ бы оно ни было. Какъ частный человѣкъ, я желаю его видѣть, но мнѣ нѣтъ особеннаго дѣла до него; французская республика не куртизана, чтобъ ей назначать свиданье полутайкомъ. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете къ себѣ, и скажите откровенно, согласны вы съ моимъ разсужденіемъ или нѣтъ“?

— Я полагаю, что вы правы, и надѣюсь, что вы не имѣете ничего противъ того, чтобъ я передалъ нашъ разговоръ Гарибальди?

— Совсѣмъ напротивъ.

Затѣмъ разговоръ перемѣнился. Февральская революція и 1848 годъ вышли изъ могилы и снова стали передо мной въ томъ же образѣ тогдашняго трибуна, съ нѣсколькими морщинами и сѣдинами больше. Тотъ же слогъ, тѣ же мысли, тѣ же обороты, а главное та же надежда. „Дѣла идутъ превосходно. Имперія не знаетъ, что дѣлать. Elle est debordée. Сегодня еще я имѣлъ вѣсти, невѣроятный успѣхъ въ общественномъ мнѣніи. Да и довольно; кто могъ думать, что такая нелѣпость продержится до 1864.“

Я не противорѣчилъ и мы разстались довольные другъ другомъ.

На другой день, пріѣхавши въ Лондонъ, я началъ съ того, что взялъ карету съ парой сильныхъ лошадей и отправился въ Стаффордъ-гаузъ.

Когда я взошелъ въ комнату Гарибальди, его въ ней не было. А ярый итальянецъ уже съ отчаяніемъ проповѣдывалъ о совершенной невозможности ѣхать въ Теддингтонъ.

— Неужели вы думаете, говорилъ онъ Гверцони, что лошади дюка вынесутъ 12 или 13 миль взадъ и впередъ, да ихъ просто не дадутъ на такую поѣздку.

— Ихъ не нужно, у меня есть карета.

— Да какія же лошади повезутъ назадъ, все тѣ же?

— Не заботьтесь, если лошади устанутъ, впрягутъ другихъ.

Гверцони съ бѣшенствомъ сказалъ мнѣ: „Когда это кончится эта каторга, всякая дрянь распоряжается, интригуетъ.“

— Да вы не обо мнѣ ли говорите, кричалъ блѣдный отъ злобы итальянецъ, я, м г., не позволю съ собой обращаться, какъ съ какимъ нибудь лакеемъ, и онъ схватилъ на столѣ карандашъ, сломалъ его и бросилъ. Да если такъ, я все брошу, я сейчасъ уйду.

— Объ этомъ-то васъ просятъ.

Ярый итальянецъ направился быстрымъ шагомъ къ двери, но въ дверяхъ показался Гарибальди, покойно посмотрѣлъ онъ на нихъ, на меня и потомъ сказалъ: „Не пора ли? Я въ вашихъ распоряженіяхъ, только доставьте меня, пожалуста, въ Лондонъ къ 2 ½ или 3 часамъ, а теперь позвольте мнѣ принять стараго друга, который только что пріѣхалъ, да вы можетъ его знаете, Мордини.

— Больше, чѣмъ знаю, мы съ нимъ пріятели. Если вы не имѣете ничего противъ, я его приглашу.

— Возьмемъ его съ собой.

Взошелъ Мордини, я отошелъ съ Саффи къ окну. Вдругъ фактотумъ, измѣнившій свое намѣреніе, подбѣжалъ ко мнѣ и храбро спросилъ меня: „Позвольте, я ничего не понимаю, у васъ карета, а ѣдете вы, сосчитайте: генералъ, вы, Меноти, Гверцони, Саффи и Мордини... гдѣ вы сядете?“

— Если нужно, будетъ еще карета, двѣ...

— А время-то ихъ достать...

Я посмотрѣлъ на него и, обращаясь къ Мордини, сказалъ ему: Мордини, я къ вамъ и къ Саффи съ просьбой, возьмите энсомъ и поѣзжайте сейчасъ на Ватерлоскую станцію, вы застанете train, а то вотъ этотъ господинъ заботится, что намъ негдѣ сѣсть и нѣтъ времени послать за другой каретой. Еслибъ я вчера зналъ, что будутъ такія затрудненія, я пригласилъ бы Гарибальди ѣхать по желѣзной дорогѣ, теперь это потому нельзя, что я не отвѣчаю, найдемъ ли мы карету или коляску у теддингтонской станціи. А пѣшкомъ идти до моего дома я не хочу его заставить.

— Очень рады, мы ѣдемъ сейчасъ, отвѣчали Саффи и Мордини.

— Поѣдемте и мы, сказалъ Гарибальди, вставая.

Мы вышли, толпа уже густо покрывала мѣсто передъ Стаффордъ - гаузомъ. Громкое, продолжительное *ура* встрѣтило и проводило нашу карету.

Менотти не могъ ѣхать съ нами, онъ съ братомъ отправлялся въ Виндзоръ. Говорятъ, что королева, которой хотѣлось видѣть Гарибальди, но которая одна во всей Великобританіи не имѣла на то права, желала *не-*

чаянно встрѣтиться съ его сыновьями. Въ этомъ дѣлежѣ львиная часть досталась не королевѣ...

III.

У НАСЪ.

День этотъ удался необыкновенно и былъ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ, безоблачныхъ и прекрасныхъ дней послѣднихъ пятнадцати лѣтъ. Въ немъ была удивительная ясность и полнота, въ немъ была эстетическая мѣра и законченность, очень рѣдко случающіяся. *Однимъ* днемъ позже, и праздникъ нашъ не имѣлъ бы того характера. Однимъ не итальянцемъ больше и тонъ былъ бы другой, по крайней мѣрѣ была бы боязнь, что онъ исказится. Такіе дни представляютъ вершины... дальше, выше, въ сторону—ничего, какъ въ пропѣтыхъ звукахъ, какъ въ распустившихся цвѣтахъ.

Съ той минуты, какъ исчезъ подъѣздъ Стаффордъ-гауза съ фактотами, лакеями и швейцаромъ сутерландскаго дюка и толпа приняла Гарибальди своимъ *ура*, на душѣ стало легко, все настроилось на свободный человѣческій діапазонъ и такъ осталось до той минуты, когда Гарибальди снова тѣснимый, сжимаемый народомъ, цалуемый въ плечо и въ полы, сѣлъ въ карету и уѣхалъ въ Лондонъ.

На дорогѣ говорили объ разныхъ разностяхъ. Гарибальди дивился, что нѣмцы не понимаютъ, что въ Даніи побѣждаетъ не ихъ свобода, не ихъ единство, а двѣ арміи двухъ деспотическихъ государствъ, съ которыми они послѣ не сладятъ*). „Еслибъ Данія была под-

*) Не странно ли, что Гарибальди въ оцѣнкѣ своей Шлезвигъ-Гольштинскаго вопроса встрѣтился съ К. Фогтомъ?

держана въ ея борьбѣ, говорилъ онъ, силы Австріи и Пруссіи были бы отвлечены, намъ открылась бы линія дѣйствій на противоположномъ берегѣ."

Я замѣтилъ ему, что нѣмцы страшные націоналисты, что на нихъ наклепали космополитизмъ, потому что ихъ знали по книгамъ. Они патріоты не меньше французовъ, но французы спокойнѣе, зная, что ихъ боятся. Нѣмцы знаютъ невыгодное мнѣніе о себѣ другихъ народовъ и выходятъ изъ себя, чтобъ поддержать свою репутацію. Неужели вы думаете, прибавилъ я, что есть нѣмцы, которые хотятъ отдать Венецію и квадрилатеръ? Можетъ еще Венецію, вопросъ этотъ слишкомъ на виду, неправда этого дѣла очевидна, аристократическое имя дѣйствуетъ на нихъ; а вы поговорите о Тріэстѣ, который имъ нуженъ для торговли, и о Галиціи или Познани, которыя имъ нужны для того, чтобъ ихъ *цивилизовать*.

Между прочимъ я передалъ Гарибальди нашъ разговоръ съ Ледрю-Ролленомъ и прибавилъ, что по моему мнѣнію Ледрю-Ролленъ правъ.

— Безъ сомнѣнія, сказалъ Гарибальди, совершенно правъ. Я не подумалъ объ этомъ. Завтра поѣду къ нему и къ Луи Блану. Да нельзя ли заѣхать теперь? прибавилъ онъ.

Мы были на Вондсвортскомъ шоссе, а Ледрю Ролленъ живетъ въ Сенъ-Джонсъ-Вудъ Паркѣ, т. е. за восемь миль. Пришлось и мнѣ à l'impressario сказать, что это матеріально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчалъ, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминалъ. Онъ глядѣлъ въ даль, словно искалъ чего-то на горизонтѣ. Я не прерывалъ его, а смотрѣлъ и думалъ: „мечъ ли онъ въ рукахъ

провидѣнія“ или нѣтъ, но навѣрное не полководецъ по ремеслу, не *генералъ*. Онъ сказалъ святую истину, говоря, что онъ не солдатъ, а просто человѣкъ, вооружившійся, чтобъ защитить поруганный очагъ свой, апостолъ-воинъ, готовый проповѣдывать крестовый походъ и идти во главѣ его, готовый отдать за свой народъ свою душу, своихъ дѣтей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, разсѣять его прахъ... и, позабывши потомъ побѣду, бросить окровавленный мечъ свой вмѣстѣ съ ножнами въ глубину морскую...

Все это и *именно это* поняли народы, поняли массы, поняла чернь тѣмъ ясновидѣніемъ, тѣмъ откровеніемъ, которымъ нѣкогда римскіе рабы поняли непонятную тайну пришествія христова и толпы страждущихъ и обремененныхъ, женщинъ и старцевъ, молились кресту казненнаго. Понять значитъ для нихъ увѣровать, увѣровать значитъ чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейскій Теддингтонъ и толпился у рѣшетки нашего дома, съ утра поджидая Гарибальди. Когда мы подъѣхали, толпа въ какомъ-то изступленіи бросилась его привѣтствовать, жала ему руки, кричала God bless you, Garibaldi, женщины хватали руку его и цаловали, цаловали край его плаща—я это видѣлъ своими глазами—подымали дѣтей своихъ къ нему, плакали... Онъ, какъ въ своей семьѣ, улыбаясь, жалъ имъ руки, кланялся и едва могъ пройти до сѣней. Когда онъ взошелъ, крикъ удвоился—Гарибальди вышелъ опять и положа обѣ руки на грудь, кланялся во всѣ стороны. Народъ затихъ, но остался и простоялъ все время, пока Гарибальди уѣхалъ.

Трудно людямъ, не видавшимъ ничего подобнаго, людямъ, выросшимъ въ канцеляріяхъ, казармахъ и передней, понять подобныя явленія — „флибустеръ,“ сынъ

моряка изъ Ниццы, матросъ, *повстанецъ*... и этотъ царскій пріемъ! Что онъ сдѣлалъ для англійскаго народа?... И добрые люди ищутъ, ищутъ въ головѣ объясненія, ищутъ тайную пружину: „въ Англіи удивительно съ какимъ плутовствомъ умѣетъ *начальство* устроивать демонстраціи... Насъ не проведешь—Wir wissen was wir wissen—мы сами Гнейста читали!“

Чего добраго можетъ и лодочникъ въ Неаполѣ, который разсказывалъ*), что медальонъ Гарибальди и медальонъ Богородицы предохраняютъ во время бури, былъ подкупленъ партіей Сикарди и министерствомъ Веносты!

Хотя оно и сомнительно, чтобъ журнальные Видоки, особенно наши москворѣцкіе, такъ ужъ ясно могли отгадывать игру такихъ мастеровъ какъ Пальмерстонъ, Гладстонъ и К°., но все же иной разъ они ее скорѣе поймутъ, по сочувствію крошечнаго паука съ огромнымъ тарантуломъ, чѣмъ секретъ Гарибальдіевскаго пріема. И это превосходно для нихъ—пойми они *эту тайну*, имъ придется повѣситься на ближней осинѣ. Клопы на томъ только основаніи и могутъ жить счастливо, что они не догадываются о своемъ запахѣ. Горе клопу, у котораго раскроется *человѣческое* обоняніе...

... Маццини пріѣхалъ тотчасъ послѣ Гарибальди, мы всѣ вышли его встрѣчать къ воротамъ. Народъ, услышавъ кто это, громко привѣтствовалъ; народъ вообще ничего не имѣетъ противъ него. Старушечій страхъ передъ конспираторомъ, агитаторомъ начинается съ лавочниковъ, мелкихъ собственниковъ и проч.

Нѣсколько словъ, которыя сказали Маццини и Гари-

*) „Колоколъ,“ № 177, (1864).

бальди, извѣстны читателямъ *Колокола*, мы не считаемъ нужнымъ ихъ повторять.*)

*) Это указаніе относится къ слѣдующей замѣткѣ, помѣщенной въ „Колоколѣ“ № 184, 1 Мая 1864 г. стр. 1509:

17 АПРѢЛЯ 1864.

За юную Россію, которая страдаетъ и борется за новую Россію которая, разъ одолѣвъ Россію царскую, будетъ, очевидно, въ своемъ развитіи имѣть огромное значеніе въ судьбахъ міра!

Изъ тоста Гарибальди.

Тостъ вашъ дойдетъ до нашихъ друзей, дойдетъ до казематъ и рудниковъ...

Изъ отвѣта на него.

Мы обѣщали статью о путешествіи Гарибальди въ Англіи; теперь, когда оно такъ *неожиданно* окончилось, мы убѣдились въ историческомъ значеніи его. Но та статья впереди. Теперь мы хотимъ только передать нашимъ друзьямъ нѣкоторыя подробности о посѣщеніи Гарибальди у насъ. Да, и эти подробности будутъ собственно состоять изъ короткихъ рѣчей Мацини и Гарибальди. Англійскіе журналы до того перегружены описаніемъ пріемовъ, встрѣчъ, блюдъ, гирляндъ и пр., что мы также мало хотимъ вступать съ ними въ состязаніе, какъ мало могли соревновать съ вальтазаровскими и аристократическими пирами въ честь революціонаго вождя.

Нашъ праздникъ былъ скроменъ, на немъ не было и двадцати приглашенныхъ гостей†). Въ «Daily News,» въ «Morning Star'ѣ,» въ „Листкѣ“ князя Долгорукаго было сказано, какъ толпился народъ передъ рѣшеткой сада, кричалъ *ура* (когда Гарибальди входилъ, его чуть не сшибли съ ногъ, дамы цѣловали руки, края шинели) и пр., — все такъ, какъ было во всѣхъ домахъ, въ которые пріѣзжалъ *невѣнчанный король*.

За завтракомъ Мацини всталъ и, поднявъ свой бокалъ, сказалъ слѣдующее:

†) Въ ихъ числѣ, не считая Гарибальди и Мацини, было нѣсколько близкихъ имъ людей, Саффи, бывшій тріумвиръ въ Римѣ, Мордини, продиктаторъ Сициліи, Гверцони и пр Въ числѣ дамъ была M-me Stansfeld.

... Всѣ были до того потрясены словами арибальди о Маццини, тѣмъ искреннимъ голосомъ, которымъ они

„Въ провозглашенномъ мною тостѣ я соединю все то, что мы любимъ, все то, за что мы боремся —

„За свободу народовъ,

„За союзъ народовъ,

„За того человѣка, который въ наше время представляетъ живое воплощеніе этихъ великихъ идей, за Джюзеппе Гарибальди!

„За несчастную, святую, героическую *Польшу*, которой сыны въ молчаніи дерутся болѣе года и умираютъ за свободу.

„За *юную Россію*, которая, подъ знаменемъ *Земли* и *Воли*, въ скоромъ времени подастъ Польшѣ братскую руку, признаетъ ея равенство, независимость и изгладитъ воспоминаніе о Россіи царской.

„За тѣхъ *русскихъ*, которые вслѣдъ за другомъ нашимъ Герценомъ наиболѣе трудились для развитія этой Россіи.

„За религію долга, которая даетъ намъ силы на борьбу и смерть, за эти идеи!“

Тогда всталъ Гарибальди и, съ *рюмкой марсалы* въ рукахъ, сказалъ:

„Я хочу сегодня исполнить долгъ, который уже давно слѣдовало бы исполнить. Между нами здѣсь человѣкъ, оказавшій величайшія услуги и моему родному краю и свободѣ вообще. Когда еще я былъ юношей и имѣлъ одни неопредѣленныя стремленія, я искалъ человѣка, который бы могъ быть путеводителемъ, совѣтникомъ моей юности, искалъ его, какъ жаждущій ищетъ воды... Я нашелъ его. Онъ одинъ бодрствовалъ, когда все спало кругомъ. Онъ сдѣлался моимъ другомъ и остался имъ навсегда, въ немъ никогда не потухалъ священный огонь любви къ отечеству и къ свободѣ. Этотъ человѣкъ Джюзеппе Маццини — я пью за него, за моего друга, за моего наставника!“

Въ голосѣ, въ выраженіи лица, съ которымъ были сказаны эти слова, было столько захватывающаго и потрясающаго, что они были приняты не шумомъ, а слезами.

Послѣ минутнаго молчанія Гариблаьди всталъ со словами:

„Маццини сказалъ нѣсколько словъ о несчастной Польшѣ, съ которыми я совершенно сочувствую. За Польшу, отчизну мучениковъ, за Польшу, идущую на смерть за независимость и подающую великій примѣръ народамъ.

„Теперь выпьемъ за *юную* Россію, которая страдаетъ и борется,

были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало въ нихъ, той торженственностью, которую они пріобрѣтали отъ ряда предшествовавшихъ событій, что никто не отвѣчалъ, одинъ Маццини протянулъ руку и два раза повторилъ—„это слишкомъ.“ Я не видалъ ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида recueilli и не было бы взволновано сознаніемъ,

какъ мы, и побѣдитъ, какъ мы, за новый народъ, который, освободившись и одолѣвъ Россію царскую, очевидно, призванъ играть великую роль въ судьбахъ Европы.

„За *Англію* наконецъ, за страну независимости и свободы, страну, которая своимъ гостепріимствомъ и сочувствіемъ къ гонимымъ заслуживаетъ полную благодарность нашу. За Англію, которая даетъ намъ возможность собраться дружески вмѣстѣ, какъ теперь“ ...

...Послѣ отъѣзда Гарибальди я написалъ ему слѣдующее письмо:

„Я былъ такъ взволнованъ вчера, что не сказалъ вамъ того, что хотѣлъ и ограничился одной благодарностью во ямя *наступающей* Россіи, притѣсненной не менѣе Польши, во имя Россіи, умирающей въ казематахъ и рудникахъ и *живущей* въ сознаніи народа, просыпающагося съ своимъ идеаломъ неразрывности *Земли и Воли*, да въ меньшинствѣ, гонимомъ за то, что оно высказало это народное стремленіе.

„Съ радостью услышатъ наши дальніе друзья сочувствующіе слова ваши; они имъ нужны, на ихъ страданія рѣдко бросаютъ вѣнки; отблескъ преступленій, совершающихся въ Польшѣ, падаетъ на насъ всѣхъ.

„Въ сущности я и не жалѣю, что ничего не прибавилъ къ словамъ благодарности. Что могъ я прибавить? Тостъ за Италію? Да развѣ все собраніе наше не было тостомъ за Италію? То, что я чувствовалъ, дурно умѣщалось въ тостъ. Я смотрѣлъ на васъ обоихъ, слушалъ васъ съ юнымъ чувствомъ піэтета, которое мнѣ уже не подъ лѣта, и, видя, какъ вы, два великихъ путеводителя народовъ, привѣтствовали зорю восходящей Россіи, я благословлялъ васъ подъ скромной крышей нашей.

„Вамъ я обязанъ лучшимъ днемъ моей зимы, днемъ ясности безусловной и за то еще разъ обнимаю васъ съ пламенной благодарностью, съ глубокой любовью и безграничнымъ уваженіемъ.“

18 Апрѣль 1864.
Elmfild House, Teddington.

что тутъ пали великія слова, что эта минута вносилась въ исторію.

.. Я подошелъ къ Гарибальди съ бокаломъ, когда онъ говорилъ о Россіи и сказалъ, что его тостъ дойдетъ до друзей нашихъ въ казематахъ и рудникахъ, что я благодарю его за нихъ.

Мы перешли въ другую комнату. Въ корридорѣ понабрались разные лица, вдругъ продирается старикъ итальянецъ, стародавній эмигрантъ, бѣднякъ, дѣлавшій мороженое, онъ схватилъ Гарибальди за полу, остановилъ его и, заливаясь слезами, сказалъ: „ну теперь я могу умереть, я его видѣлъ, я его видѣлъ!“ Гарибальди обнялъ и поцаловалъ старика. Тогда старикъ, перебиваясь и путаясь, съ страшной быстротой народнаго итальянскаго языка, началъ разсказывать Гарибальди свои похожденія и заключилъ свою рѣчь удивительнымъ цвѣткомъ южнаго краснорѣчія: „Я теперь умру покойно, а вы—да благословитъ васъ Богъ—живите долго, живите для нашей родины, живите для насъ, живите пока я воскресну изъ мертвыхъ!“ Онъ схватилъ его руку, покрылъ ее поцалуями и рыдая ушелъ вонъ.

Какъ ни привыкъ Гарибальди ко всему этому, но явнымъ образомъ взволнованный, онъ сѣлъ на небольшой диванъ, дамы окружили его, я сталъ возлѣ дивана и на него налетѣло облако тяжелыхъ думъ—но на этотъ разъ онъ не вытерпѣлъ и слазалъ: „Мнѣ иногда бываетъ страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... слишкомъ много хорошаго. Я помню, когда изгнанникомъ я возвращался изъ Америки въ Ниццу —когда я опять увидалъ родительскій домъ, нашелъ свою семью, родныхъ, знакомыя мѣста, знакомыхъ людей—я былъ удрученъ счастіемъ... Вы знаете, прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, что и что было потомъ,

какой рядъ бѣдствій. Пріемъ народа англійскаго превзошелъ мои ожиданія... Что же дальше? Что впереди?"

Я не имѣлъ ни одного слова успокоенія, я внутренно дрожалъ передъ вопросомъ: *Что дальше? Что впереди?*

... Пора было ѣхать. Гарибальди всталъ, крѣпко обнялъ меня, дружески простился со всѣми—снова крики, снова *ура*, снова два толстыхъ полицейскихъ и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу, снова God bless you, Garibaldi for ever —и карета умчалась.

Всѣ остались въ какомъ-то поднятомъ, тихо торжественномъ настроеніи. Точно послѣ праздничнаго богослуженія, послѣ крестинъ или отъѣзда невѣсты, у всѣхъ было полно на душѣ, всѣ перебирали подробности и примыкали къ грозному, безотвѣтному—„А что дальше?"

Князь П. В. Долгорукій первый догадался взять листъ бумаги и записать оба тоста. Онъ записалъ вѣрно, другіе пополнили. Мы показали Маццини и другимъ, и составили тотъ текстъ (съ легкими и несущественными перемѣнами), который какъ электрическая искра облетѣлъ Европу, вызывая крикъ восторга и ревъ негодованія...

Потомъ уѣхалъ Маццини, уѣхали гости. Мы остались одни съ двумя-тремя близкими и тихо настали сумерки.

Какъ искренно и глубоко жалѣлъ я, дѣти, что васъ не было съ нами въ этотъ день, такіе дни хорошо помнить долгіе годы, отъ нихъ свѣжѣетъ душа и примиряется съ изнанкой жизни. Ихъ очень мало...

IV

26. PRINCESS GATE

„Что то будетъ?"... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Какъ въ старыхъ эпопеяхъ, въ то время, какъ герой спокойно отдыхаетъ на лаврахъ, пируетъ или спитъ— Раздоръ, Месть, Зависть въ своемъ парадномъ костюмѣ съѣзжаются въ какихъ нибудь тучахъ; Месть съ Завистью варятъ ядъ, куютъ кинжалы, а Раздоръ раздуваетъ мѣха и оттачиваетъ острія. Такъ случилось и теперь, въ приличномъ переложеніи на наши мирно-кроткіе нравы. Въ нашъ вѣкъ все это дѣлается просто людьми, а не аллегоріями; они собираются въ свѣтлыхъ залахъ, а не во „тьмѣ ночной," безъ растрепанныхъ фурій, а съ пудренными лакеями; декораціи и ужасы классическихъ поэмъ и дѣтскихъ пантоминъ замѣнены простой мирной *игрой*—въ крапленныя карты, колдовство—обыденными коммерческими продѣлками, въ которыхъ *честный* лавочникъ клянется, продавая какую-то смородинную ваксу съ водкой, что это „портъ" и притомъ „олдпортъ ххх," зная, что ему никто не вѣритъ, но и процесса не сдѣлаетъ, а если сдѣлаетъ, то самъ же будетъ въ дуракахъ.

Въ то самое время, какъ Гарибальди называлъ Мацини своимъ „другомъ и учителемъ," называлъ его тѣмъ раннимъ, бдящимъ сѣятелемъ, который одиноко стоялъ на полѣ, когда все спало около него и указывая просыпавшимся путь, указалъ его тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, изъ котораго вышелъ вождь народа итальянскаго — въ то время, какъ окруженный друзьями, онъ смотрѣлъ на плакавшаго бѣдняка-изгнанника, повторявшаго свое „нынѣ отпущаеши" и самъ чуть не плакалъ—въ то время, когда онъ повѣрялъ намъ свой тайный ужасъ передъ будущимъ, какіе-то *заговорщики* рѣшили отдѣлаться во чтобъ ни стало отъ неловкаго гостя и не смотря на то, что въ *заговорѣ* участвовали люди состарившіеся въ дипломаціяхъ и

интригахъ, посѣдѣвшіе и падшіе на ноги въ каверзахъ и лицемѣріи, они сыграли свою игру вовсе не хуже честнаго лавочника, продающаго на свое *честное* слово смородинную ваксу за Old Port xxx.

Англійское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди, это все вздоръ, выдуманный глубокомысленными журналистами на континентѣ. Англичане, приглашавшіе Гарибальди, не имѣютъ ничего общаго съ министерствомъ. Предположеніе правительственнаго плана также нелѣпо, какъ тонкое замѣчаніе нашихъ кретиновъ о томъ, что Пальмерстонъ далъ Стансфильду мѣсто въ адмиралтействѣ *именно потому*, что онъ другъ Мацини. Замѣтьте, что въ самыхъ яростныхъ нападкахъ на Стансфильда и Пальмерстона объ этомъ не было рѣчи ни въ парламентѣ, ни въ англійскихъ журналахъ, подобная пошлость возбудила бы такой же смѣхъ, какъ обвиненіе Уркуарда, что Пальмерстонъ беретъ деньги съ Россіи. Чамберсъ и другіе спрашивали Пальмерстона, не будетъ ли пріѣзъ Гарибальди непріятенъ правительству. Онъ отвѣчалъ то, что ему слѣдовало отвѣчать: правительству не можетъ быть непріятно, чтобъ генералъ Гарибальди пріѣхалъ въ Англію, оно съ своей стороны не отклоняетъ его пріѣзда и не приглашаетъ его.

Гарибальди согласился пріѣхать съ цѣлью снова выдвинуть въ Англіи итальянскій вопросъ, собрать на столько денегъ, чтобъ начать походъ въ Адріатикѣ и совершившимся фактомъ увлечь Виктора Емануила.

Вотъ и все.

Что Гарибальди будутъ ѳваціи—знали очень хорошо приглашавшіе его и всѣ желавшіе его пріѣзда. Но оборотъ, который приняло дѣло въ народѣ, они не ждали.

Англійскій народъ при вѣсти, что человѣкъ „красной

рубашки," что *раненый итальянской пулей* ѣдетъ къ нему въ гости, встрепенулся и взмахнулъ своими крыльями, отвыкнувшими отъ полета и потерявшими гибкость отъ тяжелой и безпрерывной работы. Въ этомъ взмахѣ была не одна радость и не одна любовь, въ немъ была жалоба, былъ ропотъ, былъ стонъ—въ апотеозѣ одного было порицаніе другимъ.

Вспомните мою встрѣчу съ корабельщикомъ изъ Ньюкестля. Вспомните, что лондонскіе работники были первые, которые въ своемъ адресѣ преднамѣренно поставили имя Маццини рядомъ съ Гарибальди.

Англійская аристократія на сію минуту отъ своего могучаго и забитаго недоросля ничего не боится, сверхъ того ея Ахиловы пяты вовсе не со стороны европейской революціи. Но все же ей былъ крайне непріятенъ характеръ, который принимало дѣло. Главное, что коробило народныхъ пастырей въ мирной агитаціи работниковъ, это то, что она выводила ихъ изъ достодолжнаго строя, отвлекала ихъ отъ доброй, нравственной и притомъ безвыходной заботы о хлѣбѣ насущномъ, отъ пожизненнаго hard labor, на который не они его приговорили, а нашъ общій фабрикантъ, our Maker, богъ Шефсбюри, богъ Дерби, богъ Сутерландовъ и Девоншировъ—въ неисповѣдимой премудрости своей и нескончаемой благости.

Настоящей англійской аристократіи, разумѣется, и въ голову не приходило изгонять Гарибальди; напротивъ, она хотѣла утянуть его въ себя, закрыть его отъ народа золотымъ облакомъ, какъ закрывалась волоокая Гера, забавляясь съ Зевсомъ. Она собиралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему придти въ себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочетъ денегъ—много ли могутъ ему собрать, осужден-

ные благостью нашего „фабриканта,“ фабриканта Шефсбюри, Дерби, Девоншира на тихую и благословенную бѣдность? Мы ему набросаемъ полмилліона, милліонъ франковъ, поппари за лошадь на Эпсомской скачкѣ, мы ему купимъ —

Деревню, дачу, домъ,
Сто тысячъ чистымъ серебромъ.

Мы ему купимъ остальную часть Капреры, мы ему купимъ удивительную яхту, онъ такъ любитъ кататься по морю — а чтобъ онъ не бросилъ на вздоръ деньги (подъ вздоромъ разумѣется освобожденіе Италіи) мы сдѣлаемъ маіоратъ, мы предоставимъ ему пользоваться рентой *)

Всѣ эти планы приводились въ исполненіе съ самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди точно мѣсяцъ въ ненастную ночь, какъ облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались, выходилъ свѣтлый, ясный и свѣтилъ къ намъ внизъ.

Аристократія начала нѣсколько конфузиться. На выручку ей явились *дѣльцы*. Ихъ интересы слишкомъ скоротечны, чтобъ думать о нравственныхъ послѣдствіяхъ агитаціи, имъ надобно владѣть минутой, кажется, одинъ Цезарь поморщился, кажется, другой насупился—какъ бы этимъ не воспользовались тори.... и то Стансфильдова исторія вотъ гдѣ сидитъ.

По счастью въ самое это время Кларендону занадобилось попилигримствовать въ Тьюльри! Нужда была небольшая, онъ тотчасъ возвратился. Наполеонъ говорилъ съ нимъ о Гарибальди и изъявилъ свое удоволь-

*) Какъ будто Гарибальди просилъ денегъ для себя. Разумѣется, онъ отказался отъ приданаго англійской аристократіи, даннаго на такихъ нелѣпыхъ условіяхъ къ крайнему огорченію полицейскихъ журналовъ, разсчитавшихъ грошъ въ грошъ, сколько онъ увезетъ на Капреру.

ствіе, что англійскій народъ чтитъ великихъ людей. Дрюинъ-де-Люйсъ говорилъ, т. е. онъ ничего не говорилъ, а еслибъ онъ заикнулся—

Я близъ Кавказа рождена,
Civis romanus sum!

Австрійскій посолъ даже и не радовался пріему— *умвелцунісъ* генерала. Все обстояло благополучно. А на душѣ-то кошки—кошки.

Не спится министерству; шепшется „первый“ со вторымъ, „второй“ съ другомъ Гарибальди, другъ Гарибальди съ родственникомъ Пальмерстона, съ лордомъ Шефсбюри и съ еще большимъ его другомъ Силли, Силли шепчется съ операторомъ Фергюсономъ — испугался Фергюсонъ, ничего не боявшійся за ближняго и пишетъ письмо за письмомъ о болѣзни Гарибальди. Прочитавши ихъ, еще больше хирурга испугался Гладстонъ. Кто могъ думать, какая пропасть любви и состраданія лежитъ иной разъ подъ портфелемъ министра финансовъ?...

...На другой день послѣ нашего праздника поѣхалъ я въ Лондонъ. Беру на желѣзной дорогѣ вечернюю газету и читаю большими буквами „Болѣзнь генерала Гарибальди,“ потомъ вѣсть, что онъ на дняхъ ѣдетъ въ Капреру. *не заѣзжая ни въ одинъ городъ.* Не будучи ни такъ нервно чувствителенъ, какъ Шефсбюри, ни такъ тревожливъ за здоровье друзей, какъ Гладстонъ, я нисколько не обезпокоился газетной вѣстью о болѣзни человѣка, котораго вчера видѣлъ совершенно здоровымъ — конечно, бываютъ болѣзни очень быстрыя, императоръ Павелъ, напр., хирѣлъ недолго, но отъ *апоплексическаго* удара Гарибальди былъ далекъ, а еслибъ съ нимъ что и случилось, кто нибудь изъ общихъ дру-

зей далъ бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monté.

Ѣхать къ Гарибальди было поздно. Я отправился къ Маццини и не засталъ его, потомъ къ одной дамѣ, отъ которой узналъ главныя черты министерскаго сострадания къ болѣзни великаго человѣка. Туда пришелъ и Маццини, такимъ я его еще не видалъ; въ его чертахъ, въ его голосѣ были слезы.

Изъ рѣчи, сказанной на второмъ митингѣ на Примрозъ Гилѣ Шеномъ, можно знать en gros, какъ было дѣло. „Заговорщики“ были имъ названы и обстоятельства описаны довольно вѣрно. Шефсбюри пріѣзжалъ совѣтоваться съ Силли; Силли, какъ дѣловой человѣкъ, тотчасъ сказалъ, что необходимо письмо Фергюсона; Фергюсонъ, слишкомъ учтивый человѣкъ, чтобъ отказать въ письмѣ. Съ нимъ-то въ Воскресенье вечеромъ, 17 Апрѣля, явились заговорщики въ Стаффордъ гаусъ и возлѣ комнаты, гдѣ Гарибальди спокойно сидѣлъ, не зная ни того, что онъ такъ болѣнъ, ни того, что онъ ѣдетъ, ѣлъ виноградъ—сговаривались что дѣлать. Наконецъ храбрый Гладстонъ взялъ на себя трудную роль и пошелъ въ сопровожденіи Шефсбюри и Силли въ комнату Гарибальди. Гладстонъ заговаривалъ цѣлые парламенты, университеты, корпораціи, депутаціи, мудрено ли было заговорить Гарибальди, къ тому же онъ рѣчь велъ на итальянскомъ языкѣ, и хорошо сдѣлалъ, потому что вчетверомъ говорилъ безъ свидѣтелей. Гарибальди ему отвѣчалъ сначала, „что онъ здоровъ“, но министръ финансовъ не могъ принять случайный фактъ его здоровья за оправданіе и доказывалъ по Фергюсону, что онъ болѣнъ, и это съ документомъ въ рукѣ. Наконецъ Гарибальди, догадавшись, что нѣжное участіе прикрываетъ что-то другое, спросилъ Гладсто-

на, „значитъ ли все это, что они желаютъ, чтобъ онъ ѣхалъ?“ Гладстонъ не скрылъ отъ него, что присутствіе Гарибальди во многомъ усложняетъ трудное безъ того положеніе. „Въ такомъ случаѣ я ѣду“.

Смягченный Гладстонъ испугался слишкомъ *замѣтнаго* успѣха и предложилъ ему ѣхать въ два-три города, и потомъ отправиться въ Капреру.

— Выбирать между городами я не умѣю—отвѣчалъ оскорбленный Гарибальди—и даю слово, что черезъ два дня уѣду.

... Въ понедѣльникъ была интерцеляція въ парламентѣ. Вѣтреный старичекъ Пальмерстонъ въ одной и быстрый пилигримъ Кларендонъ въ другой палатѣ все объясняли по чистой совѣсти. Кларендонъ удостовѣрилъ перовъ, что Наполеонъ вовсе не требовалъ высылки Гарибальди. Пальмерстонъ, съ своей стороны, вовсе не желалъ его удаленія. Онъ только безпокоился о его здоровьи. . . и тутъ онъ вступилъ во всѣ подробности, въ которыя вступаетъ любящая жена или врачъ, присланный отъ страховаго общества — о часахъ сна и обѣда, о послѣдствіяхъ раны, о діэтѣ, о волненіи, о лѣтахъ. Засѣданіе парламента сдѣлалось консультаціей лекарей. Министръ ссылался не на Чатама и Кембеля, а на лечебники и Фергюсона, помогавшаго ему въ этой трудной операціи.

Законодательное собраніе рѣшило, что Гарибальди болѣнъ. Города и села, графства и банки управляются въ Англіи по собственному крайнему разумѣнію. Правительство, ревниво отталкивающее отъ себя всякое подозрѣніе въ вмѣшательствѣ, дозволяющее ежедневно умирать людямъ съ голоду — боясь ограничить самоуправленіе рабочихъ домовъ, позволяющее морить на работѣ и кретинизировать цѣлыя населенія — вдругъ

дѣлается больничной сидѣлкой, дядькой. Государственные люди бросаютъ кормило великаго корабля и шушукаются о здоровьи человѣка, не просящаго ихъ о томъ, прописываютъ ему безъ его спроса Атлантическій океанъ и Сутерландскую „Ундину“, министръ финансовъ забываетъ балансъ, income taxe, debit и credit, и ѣдетъ на консиліумъ. Министръ министровъ докладываетъ этотъ патологическій казусъ парламенту. Да неужели самоуправленіе желудкомъ и ногами меньше свято чѣмъ произволъ богоугодныхъ заведеній, служащихъ введеніемъ въ кладбище?

Давно ли Стансфильдъ пострадалъ за то, что служа королевѣ, не счелъ обязанностью поссориться съ Мацини. А теперь самые *мѣстные* министры пишутъ не адресы, а рецепты и хлопочутъ изъ всѣхъ силъ о сохраненіи дней такого же революціонера какъ Маццини?

Гарибальди *долженъ былъ* усомниться въ желаніи правительства, изъявленномъ ему слишкомъ горячими друзьями его—и остаться. Развѣ кто нибудь могъ сомнѣваться въ истинѣ словъ перваго министра, сказанныхъ представителямъ Англіи, ему это совѣтовали всѣ друзья — „Слова Пальмерстона не могутъ развязать моего честнаго слова“, отвѣчалъ Гарибальди и велѣлъ укладываться.

Это Сольферино!

Бѣлинскій давно замѣтилъ, что секретъ успѣха дипломатовъ состоитъ въ томъ, что они съ нами поступаютъ какъ съ дипломатами, а мы съ *дипломатами* какъ съ людьми.

Теперь вы понимаете, *что однимъ днемъ позже* и нашъ праздникъ и рѣчь Гарибальди, его слова о Мацини не имѣли бы того значенія.

... На другой день я поѣхалъ въ Стаффордъ гаузъ и

узналъ, что Гарибальди переѣхалъ къ Силли, 26 Princess Gate, возлѣ Кензинтонскаго сада. Я отправился въ Princess Gate; говорить съ Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали съ глазъ, человѣкъ двадцать гостей, ходило, сидѣло, молчало, говорило въ залѣ, въ кабинетѣ. „Вы ѣдете?“ сказалъ я и взялъ его за руку. Гарибальди пожалъ мою руку и отвѣчалъ печальнымъ голосомъ: „Я покоряюсь необходимостямъ (je plie aux nécéssités)“.

Онъ куда-то ѣхалъ; я оставилъ его и пошелъ внизъ, тамъ засталъ я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона, всѣ были внѣ себя отъ отъѣзда Гарибальди. Взошла Mme Силли и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась съ чрезвычайнымъ краснорѣчіемъ къ хозяйкѣ дома, говоря о счастіи познакомиться съ такой personne distinguée. Mme Силли обратилась къ Стансфильду, прося его перевести въ чемъ дѣло. Француженка продолжала: „Ахъ боже мой, какъ я рада, это вѣрно вашъ сынъ, позвольте мнѣ ему представиться“. Стансфильдъ разувѣрилъ француженку не замѣтившую, что Mme Силли однихъ съ нимъ лѣтъ и просилъ ее сказать что ей угодно. Она бросила взглядъ на меня (Саффи и другіе ушли) и сказала „мы не одни“. Стансфильдъ назвалъ меня. Она тотчасъ обратилась съ *рѣчью* ко мнѣ и просила остаться, но я предпочелъ ее оставить въ tête à tête съ Стансфильдомъ и опять ушелъ на верхъ. Черезъ минуту пришелъ Стансфильдъ съ какимъ-то крюкомъ или рванью. Мужъ француженки изобрѣлъ его и она хотѣла одобренія Гарибальди.

Послѣдніе два дня были смутны и печальны. Гарибальди избѣгалъ говорить о своемъ отъѣздѣ и ничего не говорилъ о своемъ здоровьи. . . во всѣхъ близкихъ

онъ встрѣчалъ печальный упрекъ. Дурно было у него на душѣ, но онъ молчалъ.

Наканунѣ отъѣзда, часа въ два, я сидѣлъ у него, когда пришли сказать, что въ пріемной уже тѣсно. Въ этотъ день представлялись ему члены парламента съ семействами и разная nobility и gentry, всего по „Тейм-су“ до двухъ тысячъ человѣкъ, это было Grande levée, царскій выходъ, да еще такой, что не только король виртембергскій, но и прусскій врядъ натянетъ ли, безъ профессоровъ и унтеръ-офицеровъ.

Гарибальди всталъ и спросилъ: неужели пора? Станс-фильдъ, который случился тутъ, посмотрѣлъ на часы и сказалъ: „Еще минутъ пять есть до назначеннаго времени“. Гарибальди вздохнулъ и весело сѣлъ на свое мѣсто. Но тутъ прибѣжалъ фактотумъ и сталъ распоряжаться, гдѣ поставить диванъ, въ какую дверь входить, въ какую выходить — „Я уйду“, сказалъ я Гарибальди. „За чѣмъ, оставайтесь“. — Что же я буду дѣлать? — „Могу же я, сказалъ онъ улыбаясь, оставить одного знакомаго, когда принимаю столько незнакомыхъ“.

Отворились двери; въ дверяхъ сталъ импровизированный церемоніймейстеръ съ листомъ бумаги и началъ громко читать какой-то адресъ-календарь — The right honorable so and so — honorable — esquire — lady — esquire—lordship—Missss — esquire—m. p. — m. p.— m. p. безъ конца. При каждомъ имени врывались въ дверь и потомъ покойно плыли старыя и молодыя кринолины, аэростаты, сѣдыя головы и головы безъ волосъ, крошечные и толстенькіе старички-крѣпыши и какіе-то худые жирафы, безъ заднихъ ногъ, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что какъ-то подпирали верхнюю часть головы на огромные жел-

тые зубы. . . каждый имѣлъ три, четыре, пять дамъ, и это было очень хорошо, потому что онѣ занимали мѣсто пятидесяти человѣкъ, и такимъ образомъ спасали отъ давки. Всѣ подходили по очереди къ Гарибальди, мущины трясли ему руку съ той силой, съ которой это дѣлаетъ человѣкъ, попавши пальцемъ въ кипятокъ, иные при этомъ что-то говорили. большая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрѣли такъ страстно и долго на Гарибальди, что въ нынѣшнемъ году навѣрное въ Лондонѣ будетъ урожай дѣтей съ его чертами, а такъ какъ дѣтей и теперь ужъ водятъ въ такихъ же красныхъ рубашкахъ какъ у него, то дѣло станетъ только за плащемъ.

Откланявшіеся плыли въ противоположную дверь, открывавшуюся въ залу и спускались по лѣстницѣ; болѣе смѣлые не торопились, а старались побыть въ комнатѣ.

Гарибальди сначала стоялъ, потомъ садился и вставалъ, наконецъ просто сѣлъ. Нога не позволяла ему долго стоять, конца пріему нельзя было и ожидать. . . кареты все подъѣзжали... церемоніймейстеръ все читалъ памятцы.

Грянула музыка horse gard'овъ, я постоялъ, постоялъ и вышелъ сначала въ залу а потомъ вмѣстѣ съ потокомъ кринолинныхъ волнъ достигъ до каскады и съ нею очутился у дверей комнаты, гдѣ обыкновенно сидѣли Саффи и Мордини. Въ ней никого не было, на душѣ было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка съ позолотой и рядомъ эта комедія царскаго пріема? Усталый бросился я на диванъ, музыка играла изъ Лукреціи, и очень хорошо, я сталъ слушать — Да, да, Non curiamo l'incerto domani.

Въ окно былъ видѣнъ рядъ каретъ; эти еще не

подъѣхали, вотъ двинулась одна и за ней вторая, третья, опять остановка и мнѣ представилось, какъ Гарибальди, съ раненой *рукой*, усталый, печальный сидитъ, у него по лицу идетъ туча, этого никто не замѣчаетъ, и все плывутъ кринолины, и все идутъ right honorabl'и — сѣдые, плѣшивые, скулы, жирафы...

... Музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ, не знаю, какъ это случилось, но я заснулъ, кто-то отворилъ дверь и разбудилъ меня... музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ, конца не видать... они въ самомъ дѣлѣ его убьютъ!

Я пошелъ домой.

На другой день, т. е. въ день отъѣзда, я отправился къ Гарибальди въ семь часовъ утра, и нарочно для этого ночевалъ въ Лондонѣ. Онъ былъ мраченъ, отрывистъ, тутъ только можно было догадаться, что онъ привыкъ къ начальству, что онъ былъ желѣзнымъ вождемъ на полѣ битвы и на морѣ.

Его поймалъ какой-то господинъ, который привелъ сапожника, изобрѣтателя обуви съ желѣзнымъ снарядомъ для Гарибальди. Гарибальди сѣлъ самоотверженно на кресло—сапожникъ въ потѣ лица надѣлъ на него свою колодку, потомъ заставилъ его потопать и походить, все оказалось хорошо.—„Что ему надобно заплатить?“ спросилъ Гарибальди. „Помилуйте, отвѣчалъ господинъ, вы его осчастливите принявши“. Они отретировались.

— „На дняхъ это будетъ на вывѣскѣ“, замѣтилъ кто-то, а Гарибальди съ умоляющимъ видомъ сказалъ молодому человѣку, который ходилъ за нимъ: „Бога ради, избавьте меня отъ этого снаряда, мочи нѣтъ больно“. Это было ужасно смѣшно.

За тѣмъ явились аристократическія дамы — менѣе важныя толпой ожидали въ залѣ.

Я и Огаревъ мы подошли къ нему. „Прощайте“, сказалъ я. „Прощайте и до свиданья въ Капреръ“. Онъ обнялъ меня, сѣлъ, протянулъ намъ обѣ руки и голосомъ, который такъ и рѣзнулъ по сердцу, сказалъ: “Простите меня, простите меня, у меня голова кругомъ идетъ, пріѣзжайте въ Капреру“. И онъ еще разъ обнялъ насъ.

Гарибальди послѣ пріема собирался ѣхать на свиданіе съ дюкомъ Вельскимъ въ Стаффордъ гаузъ.

Мы вышли изъ воротъ и разошлись. Огаревъ пошелъ къ Маццини, я къ Ротшильду. У Ротшильда въ конторѣ еще не было никого. Я взошелъ въ таверну св. Павла и тамъ не было никого... я спросилъ себѣ ромстекъ и, сидя совершенно одинъ, перебиралъ подробности этого „сновидѣнія въ весеннюю ночь“...

— Ступай великое дитя, великая сила, великій юродивый и великая *простота.* Ступай на свою скалу, плебей въ красной рубашкѣ и король Лиръ!—Гонериль тебя гонитъ, оставь ее, у тебя есть бѣдная Корделія, она не разлюбитъ тебя и не умретъ!

Четвертое дѣйствіе кончилось...

Что то будетъ въ пятомъ?

15 Мая 1864.

ОГЛАВЛЕНІЕ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

(1850—1864)

Часть пятая

Стр.

ГЛАВА XL. — Европейскій комитетъ — Русскій генеральный консулъ въ Ниццѣ — Письмо къ А. Ѳ. Орлову — Преслѣдованіе ребенка — Фогты — Перечисленіе изъ надворныхъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне — Пріемъ въ Шателѣ 1

ГЛАВА XLI. — П. Ж. Прудонъ — Изданіе La voix du Peuple — Переписка — Значеніе Прудона — Прибавленіе 42

Раздумье по поводу затронутыхъ вопросовъ 66

ГЛАВА XLII. — Прокуроръ покойной реслублики — Гласъ коровій въ пустынѣ — Высылка прокурора — Порядокъ и цивилизація торжествуютъ 79

Oceano nox 89

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ

Русскія тѣни: Н. И. Сазоновъ 104

— — Энгельсоны 127

АНГЛІЯ

(1852—1855)

ГЛАВА I. — Лондонскіе туманы 175

ГЛАВА II. — Горныя вершины — Центральный европейскій комитетъ — Маццини — Ледрю-Ролленъ — Кошутъ . . . 180

Изъ IV и V части 196

ГЛАВА III. — Эмиграціи въ Лондонѣ — Нѣмцы, французы Партіи — В. Гюго — Феликсъ Пья — Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ 200

ГЛАВА IV. — Польскіе выходцы:

Алоизій Бернацкій — Станиславъ Ворцель — Агитація 1854 — 56 года — Смерть Ворцеля 223

On liberty 240

Pater V. Petcherine 255

Робертъ Оуэнъ 272

Два процесса 334

Camicia Rossa 378

Chez H. GEORG, Genève — Bâle — Lyon :

Herzen (Iskander). Œuvres posthumes. In-8°, Genève, seconde édition, 1874. . . . . 6 —
(**Сборникъ посмертныхъ статей.**
— Fin et commencement. In-12°, 1863. . . . . 2 50
(**Концы и Начала,** Искандера.)
— Souvenirs et Pensées, tome IV. In-12°, Genève. . 8 —
— — Les tomes I à III ont paru à Londres. . . 30 —
(**Былое и Думы.**)

Ogareff (N.). Critique du nouveau droit d'esclavage. 1 50
(**Разборъ** Новаго Крѣпостнаго Права.)
— Sur les finances en Russie. In-8°, 1864.. . . . . 1 50
(**Финансовые Споры,** Изд. исправленное.)

Dolgoroukow (prince Pierre). Mémoires (en français). Tome I, in-8°, Genève, 1867. . . . . 10 —
— — Le tome II, livr. I. . . . . 2 —
— Biographie de Mouraview. In-12°, 1864. . . . . 1 —
(**Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ.**)

Décembristes. Mémoires des Exilés du 14 décembre 1825. 3 vol. en 2, petit in-8°. Londres, 1862—63. 9 —
(**Записки Декабристовъ,** выпускъ I: Записки И. Д. Якушкина. Выпускъ II: Записки кн. Трубецкаго).

Étoile Polaire. Vol. V, pour l'année 1859. In-12°. . . 8 —
— Vol. VIII, pour l'année 1869, In-8°. . . . . 4 —
(**Полярная Звѣзда** на 1859 и 1869 годы.)

Fletcher. Sur l'Empire Russe &, en russe. Réimpression de l'édition rarissime, de Londres, 1591, in-8°. 4 —
(**Сочиненіе Флетчера.** О государствѣ русскомъ и пр.

Cloche (la). Rédacteurs A. Herzen et N. Ogareff. № 1 à 245 et suppléments en russe, publiés du 1 juillet 1857 au 15 février 1869. Collection complète . . 250 —
(**Колоколъ,** Лондонское и Женевское изданіе.)

Tchernyschewsky (N.). Tome II. Critique littéraire et scientifique, 1855—56. In-8°. 1870. . . . . 4 —
(**Научная и литературная критика,** 1855—1856.)
— Tome III. Economie politique. In-8°, 1869. . . . 4 —
(**Дополненія и примѣчанія** на первую книгу политической экономіи Д. С.-Милля).
— Tome IV. Economie politique. 1870. . . . . 6 —
(**Очерки** изъ политической экономіи (по Миллю).
— Le principe anthropologique en Philosophie. In-8°, Genève, 1874. . . . . 2 —
(**Антропологическій принципъ** въ Философіи).
— Cavaignac. In-8°. Geneve. 1874. . . . . 2 —
(**Кавеньякъ.**)

783147